





Class_____

Book _____

YUDIN COLLECTION



89-168191 67-27-89 6962 CYR

1/50

mordor tser

349

BHANKERIASE ESPENSERIES.

- Company of the Comp

«Не знаю, за что меня эти злые люди держать подъ стражею. какъ преступника. Говорятъ, будто я сумасшедшій. Какіе глупые и злые люди! они называють сумасшествіемь мою любовь къ Россіи. На развъ любовь къ Россіи составляеть такую бользнь воли, за которую сажають въ домъ умалишенныхъ? Не понимаю, имчего не понимаю!.. Что ихъ поражаетъ въ этомъ чувствъ? Что въ немъ находять они преступнаго и опаснаго?.. Да и что имъ за дъло, что я могу летать и видъть то, чего они не видять? "Летаетъ же воронъ вездъ и видитъ, какъ въ травъ змъя извивается, и какъ въ глухой степи одинъ человъкъ убиваетъ другаго, а другіе этого не видять. Вёдь летала же какая-то птица къ Гейне, и эту птицу могъ видъть одинъ Гейне, тогда какъ другіе ее не видъли. Отчегожъ мнъ не летать, когда я могу это дёлать? Отчего мив не пользоваться этой способностью, которой другіе не имъють? А они эту-то способность и называють моимъ пунктомъ помѣшательства. Да, вѣдь, это мучительно, это обидно, это ужасно! Зачимъ называють помимъшательствомъ такую способность въ человъкъ, которой другіе не имъють? Они-то и есть сумасшедшіе, эти жалкіе, подлые люди, понимающие такъ ограниченно. Въдь они и Галилея называли сумасшедшимъ за то, что онъ имълъ способность видъть то, чего другіе не видели. Онъ видель, что земля вертится вокругь солнца, а они не видёли — и за это сочли сумасшедшимъ, за это засадили въ тюрьму, за это казнили... Да въдь это жестоко! Они и

Данта называли сумасшедшимъ за то, что онъ видѣлъ то, чего они не видѣли: онъ видѣлъ адъ, а они его не видѣли; онъ былъ въ аду, и описалъ этотъ адъ, и это описаніе люди читаютъ до сихъ норъ, и восхищаются, и ужасаются... И вѣдь всѣ, съ кѣмъ я ни говорю, какъ-то странно смотрятъ на меня, пожимаютъ плечами, улыбаются, а въ сторонѣ, я слышу, говорятъ тихонько между собю: «какое странное помѣшательство»... я воображаю, каково же было Галилею и Данту слышать тоже что я слышу... Это ужасно! Вотъ отъ этого такъ можно съ ума сойти».

Такъ говорилъ одинъ больной, сидя на своей койкъ въ домъ умалишенныхъ, когда его показывали посътителямъ. Больной былъ среднихъ лътъ мужчина, по видимому кръпкаго сложенія, съ большими зелеными глазами и сильно развитой лобной костью.

- Когдажъ проявилась въ васъ способность летать? спросилъ его одинъ посътитель.
- Я самъ не знаю... Въроятно виъстъ съ способностію думать и чувствовать, только я этого не замътиль.
 - А когда замътили?
 - Когда уже полетълъ.
 - -- А теперь можете подняться?
- Теперь не могу... я не свободенъ .. Развѣ вы можете сосредоточенно думать, когда вамъ мѣшаютъ, когда васъ мучатъ? Да теперь ко мнѣ и птица не прилетаетъ...
 - -- Какая птица?
 - Съ которой я летаю и которая говорить со мной.
 - Чтожъ это за птица? Какъ она называется?
 - Я не знаю.
 - Какая же она? большая, маленькая?
- Большая... В фроятно такая же, какую видълъ Гейне, когда она къ нему летала. Поминте?
 - Да, помню... У него гдъ-то есть объ этомъ.
 - Въ «Buch der Lieder».
 - Зачъмъ же вы летаете? Для удовольствія?
- 0, нътъ! Развъ для удовольствія Дантъ сходиль въ адъ?... Впрочемъ, въ созерцаніи земли и движенія на ней съ далекой высоты, такъ много глубокаго наслажденія. Я не забуду моего пер-

ваго полета... Мы пролегали выше горъ и лёсовъ, и казались эти лъса темпо-зелеными нивами, а ръки и озера казались клочками годубаго неба, брошенными на землю, и когда перебъгалъ по нимъ вътеръ, очарованье исчезало, и казалось, что на эти голубые клочки неба кто-то набросаль битыхъ стеколъ, и въ этихъ стеклахъ отражалось холодное солнце... Тамъ въдь оно такое холодное... И пролетали мы надъ городами, и высокіе шпицы церквей казались такими маленькими, и все представлялось въ такихъ уменьшенныхъ, ничтожных в странных размёрахь, въ странных формахъ и положеніяхъ, къ которымъ не привыкъ глазъ; виднёлись только вершины деревьевъ, а стволовъ и корней не было видно, виднълись крыши домовъ, видижлись только верхи горъ, ландшафты были уже не тъ, какіе видны съ земли, а такіе, какихъ никогда не рисовалъ ни одинъ художникъ къ какимъ не привыкъ глазъ, свыкшійся съ иною перспективою, съ инымъ освъщениемъ, съ иными изломами линій и положеніями фигуръ. Люди казались такими малыми, жалкими, беззащитными существаме.... И чёмъ выше поднимались мы надъ землею, тъмъ дороже становилась миъ эта земля, тъмъ болье меня тянуло къ ней.

- II вамъ не было страшно? спрашивалъ посътитель, запитересованиый странною ръчью безумца.
 - Нътъ... меня тянуло все дальше и дальше.
 - И долго вы летали?
 - -- Нъсколько лътъ, и эти года казались миъ часами.
 - Гдъ же вы летали?
- Я былъ вездѣ—и носился надъ океанами, видѣлъ, какъ жалкіе корабли, въ видѣ обугленныхъ щепокъ, бьются съ валами. и
 пролеталъ надъ пустынями Африки, куда не заходила пога ни Ливингстона, ни Гранта, пи Беккера .. Но сердце тянуло меня домой,
 на родину, въ Россію.... Когда мы пролетали низко падъ землею,
 до насъ доносились земные звуки, и пѣнье птицъ, и говоръ людской, и дѣтскій плачь, и вздохи взрослыхъ, и рыданія несчастныхъ,
 и колокольный звонъ, то радостный, то глухой, погребальный. А
 когда мы поднимались выше, земля казалась беззвучною, мертвою,
 и все въ пространствѣ было беззвучно, и мертвая тишина ничѣмъ
 не нарушалась, кромѣ тихаго шума отъ полета моей птицы... Мы

летъли все выше и выше, и мит казалось, что мы уже были за предълами тяготънія къ землю, и мит казалось, что за этими предълами уже итът возврата на землю, что потерявъ силу земнаго тяготънія, мы или останемся въчно въ пространствъ, скитаясь въчно между блуждающими планетами, или насъ притянетъ къ себъ другой міръ, невъдомый, далекій, невидимый землею. И страшно мит стало глядъть въ далекое пространство, гдъ подъ нами, далеко, далеко, болтался громадный шаръ, и казалось мит, что этотъ шаръ уже не земля, а мертвое тъло, которое я видълъ тамъ, подъ тъмъ пасмурпымъ небомъ, качающееся на веревкъ, хотя веревки я и не видълъ, за которую повъшена земля-преступникъ, а тамъ я видълъ и веревку, и его самого, повъшеннаго, съ головою въ бъломъ мъшътъ, склопенною на лъвое плечо...

- Какого повъщеннаго вы видъли? спросилъ изумленный посътитель.
 - Да его, этого высокаго, худаго...
- Это-то, кажется, и было причиною его помъщательства, шепнулъ посътителю смотритель.
 - Что же такое?
 - Казнь.... знаете?
- Какой же это повъшенный? спросилъ посътитель, обращаясь къ больному, — гдъ вы его видъли?

Больной закрылъ глаза, какъ бы сплясь припомнить что-то дале-кое, давно забытое.

«Мы летьли — началь онь посль продолжительнаго молчанія—
по сърому, туманному небу, и подъ моими ногами я не видълъ ни
земли, ни солнца, а только сплошпое, сърое пространство, и страшно
мнъ стало, что я потеряль землю, что до меця уже не дойдеть ни
свътъ солнца, ни звуки земные.... Слышу, до меня доносятся какія-то неясныя подобія звуковъ, что-то смъщанное, неопредъленное, не то далекій шумъ волнъ, мърно перекатывающихся черезъ
рибы, не то треніе облаковъ одно о другое и ихъ споръ между собою въ воздушномъ пространствъ... мнъ все тогда могло казаться...
и вотъ я слышу, звуки становятся опредъленнъе — то были земные
звуки, — я такъ привыкъ къ нимъ, мое ухо могло ихъ отличать даже въ планетномъ пространствъ... Мы летъли тихо, какъ бы боясь

упасть въ бездну, и вотъ звуки какъ бы стали видимы, какъ бы стали отдѣляться отъ сѣраго пространства въ какихъ-то неясныхъ очертаніяхъ — понимаете вы это?... Я сталъ вглядываться, и мои глаза начали различать не звуки, не ихъ очертанье, потому что звуковыя очертанія невидимы, хотя и они имѣютъ иногда опредѣленныя формы, а я началъ видѣть предметы, неясные, неопредѣленные какъ звуки, и чѣмъ долѣе мы летѣли, тѣмъ яснѣе очерчивались образы этихъ предметовъ: то были высокіе шпицы церквей, а тамъ уже выдѣлялись и очертанья земнаго горизонта, очертанія сѣраго лѣса, неясныя очертанія домовъ, улицъ, плошадей, рѣкъ и каналовъ... Подъ нами изъ облака выступаль городъ, хотя изъ-за облака не выступало солнце, котораго я ждалъ, чтобы разсѣять эти чары.

- Что это за городъ? спросилъ я птицу.
- Смотри-и узнаешь, отвъчала она, шумя крыльями.

«Я смотрълъ, и видълъ городъ, большой, раскидистый, и слышаль, ясно различаль звуки жизни. Мы опускались все ниже и ниже надъ городомъ, и я уже видълъ людей, видълъ движение экипажей, слышаль и стукъ ихъ и неясный гуль отъ говора людскаго... Всъ люди шли, бъжали и ъхали куда-то по одному направленію... Ихъ были тысячи, десятки тысячъ... Понеслись и мы за этими движущимися массами, и тамъ, гдё мы остановились, увидёлъ я высокій, черный столбъ съ черною перекладиною, такъ ярко очерчивавшіеся на сфромъ полотић неба, и мои глаза различили на этомъ столбъ конецъ веревки и блоки, и кольца, и тихо, тихо качалась веревка, и показалась она такою тяжелою, что какъ бы желала оторваться отъ столба и упасть на землю, въ черную грязь, замъщенную человъческими ногами... И волновались живыя массы народа вокругъ этого чернаго столба; рядомъ съ нимъ стоялъ другой черный столбъ, безъ перекладины и безъ веревки, и вокругъ этого столба чернълось возвышение, съ чернымъ поломъ, съ черными перилами и черными ступеньками, взводившими на это черное возвышение. И у подножія этого возвышенія ходили взадъ и впередъ двѣ человѣческія фигуры, высокія, сильныя, и лица у этихъ фигуръ были свъжія, молодыя, здоровыя. Туть же стояли другія фигуры съ серьезными лицами, а вокругь всего этого, вокругъ этихъ черныхъ столбовъ и серьезныхъ фигуръ, обви-

лись кольцомъ, какъ стъноко, люди съ оружіемъ въ рукахъ, и казалась строгою, холодною какъ камень эта живая людская ствна, сквозь которую могла пробиться только смерть, а далбе отъ этой живой стъны, черезъ интервалъ, стояла другая живая стъна конныхъ людей, и эти люди, какъ и кони подъ ними, равнодушно смотръли и на другихъ людей, и на строе небо, и на черные столбы, и на тяжелую веревку, и на черное возвышение, съ черными перилами и черными ступеньками... А масса народа все прибывала къ этому мъсту, тысячи живыхъ существъ все тёснёе и тёснёе облегали тотъ страшный кругъ съ черными столбами, куда могла пробраться только смерть: то была ея тъсно замкнутая аудиторія съ черною канедрою для професора.... И слышу я, гдв-то недалеко пробило семь часовъ, и глухо заволновались народныя массы, и слышу я шопотъ тысячи усть: «вдеть, вдеть, вдеть»... Кто же это вдеть? Кого съ такимъ напряженнымъ вниманіемъ ждуть эти тысячи? И вглядываюсь я въ сърую, туманиую даль, что повисла надъ тысячами людскихъ головъ, и всъ эти головы обратились туда же, куда обратилась и моя голова, ища того, кто вдеть, и туда же обратились, не обращая головъ, глаза тъхъ людей, которые стройнымъ и тяжелымъ, живымъ, но неподвижнымъ кольцомъ обвились вокругъ черныхъ столбовъ и вокругъ аудиторіи смерти. И вижу я неясно очерченныя на съромъ полотит неба головы въ шишакахъ, высоко поднявшіяся надъ головами народа, и двигаются, покачиваясь, эти головы въ шишакахъ, какъ солице, съ востока на западъ, а надъ этими головами качается, въ неопредъленной формъ выступая изъ съраго воздуха, что-то тоже похожее на голову, а тамъ оттъняется что-то похожее на человъческія плечи, а лица человъческаго не видно... Все ближе и ближе эти головы въ шишакахъ, все ближе и ближе подвигается, качаясь, и та одинокая голова, или что-то такое, что я принималъ за голову, возвышающееся надъ всею массою и надъ головами въ шишакахъ. И вотъ я ясно различаю человъческую голову надъ всей этой массой другихь головъ, хотя лица у этой головы не различаю; и все качается эта голова и качаются плечи, а около плечъ я вижу какіе-то столбики, и различаю что-то вродѣ ремней, которыми плечи пристегнуты къ столбикамъ... И вотъ все явственнъе и явственнъе обозначаются очертанія того, что двигалось въ серединъ головъ въ

шишакахъ—и одинокая, сидящая человъческая фигура въ чемъ-то съромъ или темиомъ, въ чемъ-то безцвътномъ, какъ это небо, и выскви колесница подъ этой одинокой человъческой фигурой, и возница и лошади. И вижу я лице у возницы, но лица у той одинокой фигуры не вижу...

«Что же это?.. И узнаю я, что это лице смотрить туда, куда изъ массы уже никто не смотрить, —смотрить на востокъ, назадъ, на пройденный путь, что этому лицу нечего смотрять впередъ: ему надо прощаться съ предметами, которые уже пройдены, ему надо оглянуться назадъ, на пройденную и быстро удаляющуюся жизнь и на воспоминанія, которыя, какъ эти массы народныя, тъснятся передъ его глазами, идутъ за нимъ, провожають его до самаго чернаго столба съ перекладиною... И надъ этой головой пролетъла какая-то птица, безцвътно окрашенная безцвътнымъ колоритомъ съраго неба, голубь ли то сизый, воропъ ли черный, и какъ бы въ лице, обращенное назадъ, заглянула эта птица... И стали тъсниться миъ въ голову вопросы, —вспомнилъ ли онъ, какъ можетъ быть въ дътствъ онъ слъдилъ глазами за такою же птицей, и что вызвало въ душъ его это воспоминаніе, и что онъ думаетъ, и что онъ чувствуетъ?..

«И вотъ высокая колесница у самыхъ черныхъ столбовъ повернулась туда, куда смотрѣлъ онъ, а онъ повернулся сюда къ памъ, и показалось въ сѣромъ воздухѣ его бѣлое лице, бѣлое и блѣдное, и всѣ увидѣли это лице, а оно увидѣло не пасъ, которыхъ было такъ много, а два черныхъ столба и перекладину, и тяжелую веревку съ блоками и кольцами... То было лице молодое, истомленное чѣмъ-то... А на груди чериая доска, и на доскѣ что-то бѣлымъ паписано...

«И взошле на колесинцу другая фигура, и отвязала ремин, которыми прикръплялись его руки къ столбикамъ, и оба они вмъстъ сошли съ колесинцы на землю... И тогда подошли къ нему тъ двъ человъческія фигуры, высокія, сильныя, и коспулись его рукъ, и всъ трое по ступенькамъ взошли на черное возвышеніе съ перилами, и стали они тамъ всъ трое, опъ, такой худой, блъдный, хрункій...

«Онъ стоялъ и не глядѣлъ на массы парода, его обступившія, по за то всѣ эти массы глядѣли на него — и я на него глядѣлъ, не стараясь даже понять что онъ чувствуетъ и что онъ думаетъ... А онъ, можетъ быть, думалъ, что онъ не онъ, что онъ не тотъ, ко-

тораго когда-то, маленькаго и невиннаго, мать держала на колиняхъ и ласкала и думала о томъ, что ждетъ ея сына, что ему на роду написано... А ему было на роду написано го, чего никто изъ людей не могъ прочитать...

«Тогда взошелъ на возвышеніе еще кто-то, а въ рукахъ у него были бумаги, и сталъ онъ читать то, что тому, которому онъ читалъ, было на роду написано, и читалъ онъ долго, долго... А тотъ кому онъ читалъ, стоялъ и слущалъ, на можетъ быть и не слушалъ... Но его усталая голова видимо падаетъ на лъвое плечо, и волосы падаютъ на лобъ, и поправляетъ онъ иногда эти падающіе волосы, и переноситъ падающую голову съ лъваго плеча къ правому, а голова снова клонится... Я слышу, онъ кашляетъ, а тотъ все читаетъ, все читаетъ, все читаетъ, все читаетъ, все читаетъ, все читаетъ.

«И вотъ, все прочитано. Тотъ, кто читалъ, сходитъ съ возвышенія, а онъ начинаетъ кланяться народу на всё четыре стороны, и кланяется даже въ ту сторону, гдѣ на перекладинѣ виситъ веревка, и когда онъ кланяется, волосы падаютъ ему на лобъ, и онъ отводитъ ихъ рукою ото лба, и опять кланяется... И народъ что-то шепчетъ ему на поклоны... должно быть, коритъ его за его вину великую... И мать, думаю, тамъ гдѣ либо въ глуши, за тысячи верстъ, гдѣ онъ родился и бѣгалъ маленькими ногами, цѣпляясь за ея платье, проклинаетъ его за его вину великую...

«Тогда всходить на возвышеніе еще одинь человікь, въ черномъ платьй, въ какихь обыкновенно отпівають покойниковъ. Тоть, которому читали бумагу, подходить къ нему, наклоняеть голову и становится на коліни; а тоть, что въ черномъ платьй, наклоняется надъ нимъ и что-то тихо говорить ему, віроятно то, чего никто изъ насъ никому не пересказываеть...

«Фу, какъ мучительно было ждать, какъ судорожно дышалось въ это время!... Хоть бы скорти ужъ!...

«И вотъ онъ опять вланяется на всё четыре стороны, кланяется и веревкё, а тотъ, что быль въ черномъ, сходить съ возвышенія, и уносить съ собою последній звукъ человеческаго голоса, который слышаль тотъ, кому этотъ сошедшій съ возвышенія говорилъ то, чего изъ насъ никто никому не пересказываетъ...

«Тогда всходить на возвышение еще одна фигура съ бълымъ мъ-

шкомъ и вынимаетъ изъ этого мёшка саванъ и бёлую повязку пля глазъ-и завязываетъ ему глаза... Это онъ будетъ играть въ жмурки со смертью... Поймаеть или не поймаеть онъ эту смерть? Поймаеть. непремънно поймаетъ!.. Онъ уже не видитъ ни веревки, ни насъ, ни этихъ массъ народа, который, затаивъ дыханіе, смотрить на него. ни этого съраго, пасмурнаго неба, ни того яркаго неба, подъ которымъ онъ бъгалъ въ дътствъ, ни человъческихъ глазъ, ни той птицы, которая опять пролетбла надъ толной, и какъ бы хотбла заглянуть ему въ глаза -- ничего и никогда не увидитъ! Даже ужъ этой повязки не видить онь, которая закрыла отъ него такой прекрасный и такой скорбный міръ божій... Но онъ еще слышить и свое собственное дыханіе, и шуршанье ленточекъ отъ повязки на затылкъ, и безмолвное, глухое движение толпы, и звуки смертной, похоронной, раздирающей музыки... Онъ только слышитъ!.. И слышить онь, какь снимають съ него черную доску, на которой что-то написано бълыми буквами, и какъ снимаютъ съ него верхнюю одежду... И онъ чихаетъ... чихаетъ!.. Хорошій знакъ...

«Но какъ долго надъваютъ на него смертную рубашку—парусинный саванъ съ капишономъ для головы! Какъ путается его усталая голова въ грубыхъ складкахъ савана... Его руки — ослабъвшія, вялыя—не входятъ въ длинные рукава, путаются въ нихъ, но онъ самъ поднимаетъ надъ головой руки, самъ вдъваетъ пхъ въ эти рукава, и на него опустилась рубашка, и опустилась низко, низко,—до самыхъ ногъ...

«Воть онъ и въ саванъ, хотя живой и понимающій это... А мы все на него смотримъ, и всѣ на него смотрятъ, только онъ ужъ не смотритъ на насъ. Но онъ все еще слышитъ: —слышитъ, какъ длинные рукава савана завязываютъ вмѣстѣ съ руками у него за спиною, и встряхиваютъ его, затягивая рукава... И вотъ сводятъ его съ возвышенія, и онъ не видитъ ступенекъ, по которымъ надо идти, и ноги его ощупываютъ эти ступеньки, и эти же ноги сводятъ его въ послѣдній разъ на землю, и эти же ноги подводятъ его къ тому черному столбу съ перекладиной, на которомъ висѣла веревка съ блоками и кольцами, и эти же ноги, хотя путаясь и не попадая куда сяѣдуетъ, взводятъ его по другимъ ступенькамъ, подъ самую веревку, а за нимъ всходятъ и тѣ двѣ фигуры съ молодыми

лицами. И вотъ опускаютъ веревку и онъ слышитъ и осязаетъ, какъ веревка шуршитъ у него по затылку, задъваетъ его, задъваетъ его плечи... А онъ все стоитъ, все ждетъ, все слушаетъ, — и мы ждемъ.

«И вотъ расправили петлю на веревки и вдили въ эту петлю голову... А онъ все стоитъ и ждетъ... Насъ бъетъ лихорадка, но мы тоже ждемъ....»

Сказавъ это, больной замолчалъ. У него сильно тряслась голова. Присутствующие не смъли прервать этого тяжелаго молчанія, пока больной самъ не взглянулъ на нихъ какими-то странными глазами.

— Что же было дальше? спросилъ посътитель.

Больной молчалъ.

- Что же, вы кончили?
- Кончилъ, отвъчалъ тотъ. Дальше ничего не было.
- Вы остановились на томъ, какъ ему надъли на шею веревку.
- Да, надёли... помню, помню, говориль онь, какъ бы опять погружаясь въ воспоминаніе. Онъ стоить съ веревкой на шеё... Мы ждемъ... Вдругъ изъ подъ его ногъ выбивается какая-то подставка, и онъ опустился, упалъ, но, какъ бы боясь упасть въ пропасть, онъ конвульсивно поджимаетъ подъ себя ноги петля затягивается... Его тянутъ выше, по блоку, встряхиваютъ... Встряска въ тѣлѣ.. Вольты тѣла по воздуху точь въ точь какъ на конькахъ, по льду, катаются живые люди и круги дѣлаютъ... Ноги сжимаются и разжимаются.. Каблуки бьютъ одинъ по другому... Ноги расходятся, вытягиваются... Вольтъ за вольтомъ все меньше и меньше размахи... Но въ головъ, склоненной на бокъ, еще замѣтна дрожь... И качанья все дѣлается медленнѣе, ровиѣе, спокойнѣе... спокойнѣе!..

«И долго я смотрелъ, какъ на свромъ фонв неба висвла и качалась эта белая, длинная фигура, съ головою на левое плечо... Но качанья все тише, тише... я вижу только белую фигуру въ мешке, но веревки не вижу... И представляется мне, что этотъ мертвецъ въ саване — виситъ на воздухе, какъ, казалось мне, виситъ земля въ пространстве, когда я смотрелъ на нее изъ безконечной дали, и земля казалась мне тоже мертвою, беззвучною...

«Но вотъ подъбзжаетъ къ этой бълой висящей фигуръ всадникъ,

и смотритъ на нее—есть ли признаки жизни въ томъ, что виситъ въ этомъ бъломъ мъшкъ, иль оно умерло... Миъ казалось, что оно не умирало, что оно виситъ и чувствуетъ свое ноложеніе, какъ чувствовалъ я въ томъ далекомъ планетномъ пространствъ свою отчужденность отъ всего міра, что оно думаетъ глубокую, глубокую думу, оттого и не шелохнется, что оно ждетъ чего-то... Но чего ему ждать?

«Изъ-за массъ народа, между двухъ черныхъ столбовъ, на сѣ-ромъ небѣ обрисовывается телѣга... Ближе, ближу — вижу лошадь, телѣгу, на телѣгѣ стоитъ что-то длинное, покрытое рогожей... Останавливается телѣга около бѣлой висящей фигуры, снимается рогожа—и я вижу гробъ... Такъ вотъ чего ждалъ онъ!

«Снимаютъ гробъ и ставятъ на землю подъ бълой висящей фигурой... Спускаютъ по блоку эту бълую фигуру, распускаютъ петлю, вынимаютъ его изъ нетли.... и двое берутъ его — одинъ за ноги, другой за голову, а онъ гнется какъ не туго набитый мъшокъ, — и думаю я, что они его уронятъ, ушибутъ, но они бережно кладутъ его въ гробъ, накрываютъ крышкой, заколачиваютъ крышку, ставятъ на телъгу, нокрываютъ рогожей и куда-то увозятъ... Должно быть, къ матери...

«И хлынули назадъ массы народа... Пошелъ и я... А тамъ и солице нроглянуло, такое теплое, яркое, веселое... И не хотълось мнъ оставаться на землъ, гдъ такъ много зла, гръховъ и скорби, и я вновь полетълъ въ планетное пространство... Но земля тянула меня къ себъ, злая, скорбная—но дорогая...

«Вотъ и тенерь, на съромъ фонѣ неба, качается передъ моими глазами въ бъломъ мъшкъ что-то тяжелое, гибкое.. Каблуки прижаты одинъ къ другому... Подошвы видны, такія потертыя... А много они ходили по землъ?.. Теперь не ходятъ ужъ... И корова не ходитъ давно.. Съ коровы сняли шкуру, сдълали ему подошвы.. Смъшно!.. Зачъмъ убивали корову? Она тоже хотъла жить, по травъ ходить... Какъ все это странно... Нътъ, что-нибудь да не такъ...»

Больной замолчаль и, положивъ локти на колвни и поднеревъ голову руками, закрылъ глаза. — «Странно, очень странно», говорилъ онъ самъ съ собой.

⁻ На этомъ онъ, кажется, и помѣшался, говорилъ шонотомъ

смотритель, —а то, что ему кажется, будто онъ летаетъ, было уже послъдствіемъ помъщательства.

- Да, странное помъщательство... Что же, бываетъ онъ неспокоенъ?
- Нѣтъ, онъ тихъ, только иногда раздражается. Въ иное время онъ говоритъ какъ совершеннно здоровый человъкъ.
 - Но почему же именно кажется ему, что онъ летаетъ?
- В вроятно, въ болъзненномъ состоянии онъ думалъ что нибудь подобное. Иногда изъ его словъ можно догадаться, что видъ казни произвелъ на него такое сильное потрясение, что голова его не выдержала. По крайней мъръ, съ этого дня начался періодъ летанья.
- Но онъ самъ въдь сейчасъ говорилъ, что на мъсто казни онъ попалъ съ облаковъ, возражалъ посътитель.
- Да, но прежде онъ связнъе разсказывалъ это обстоятельство, и знавшіе его говорятъ, что до того времени въ немъ незамътно было признаковъ помъщательства.
 - Что же онъ еще говоритъ?
- Ему все кажется больше, что все что онъ прежде видълъ и слышалъ, все что читалъ и что произвело на него сильное впечатлъніе, —все это, по его словамъ, онъ видълъ во время летанья.

Въ это время больной открылъ глаза и прямо посмотрълъ на постителя.

- Васъ, въроятно, интересуютъ сумасшедшіе, и вы пришли посмотръть на меня? спросилъ онъ его съ совершенно осмысленной улыбкой, приподнимаясь съ койки.
- Нѣтъ, я здѣсь совершенно случайно, отвѣчалъ тотъ, потому что вопросъ больнаго пѣсколько озадачилъ его.
- Въроятно, такъ же, какъ и я... Только меня не выпускаютъ отсюда, а васъ выпустятъ?

Посттитель не зналъ что ему отвъчать.

- Я думаю, что васъ и меня выпустять, когда не будеть никакого препятствія, сказаль онъ, поглядывая на смотрителя.
 - Да какія же могуть быть препятствія?
 - Я не знаю.

Смотрителя куда-то позвали — и посътитель останся одинь съ больнымъ.

- Велите меня выпустить отсюда, вдругъ обратился онъ умоляющимъ голосомъ къ посътителю.
- Я не имъю здъсь власти, отвъчалъ посътитель.
- Выпустите меня, спасите меня, я сойду съ ума, говорилъ больной, падая на колъни: я ничего не сдълалъ... Я не буду больше говорить о Россіи, я не буду любить ее... Пощадите меня.

II.

Волга. Пароходъ готовится отчалить. На берегу гамъ и пыль. На пароходъ готовится отчалить. На берегу гамъ и пыль. На пароходъ гамъ и дымъ. На берегу, сверхъ того, раздавался нестерпимый бабій вой, такъ что можно было подумать, будто пароходная пристань устроена на кладбищъ, на которомъ десятка два бабъ опускали въ могилу своихъ мужей. Одна изъ этихъ бабъ, уткнувщись носомъ въ грязную котомку, выла какъ бы по заказу, съ правильными метрическими повышеніями и пониженіями здороваго, ревучаго голоса. Другая стояла по кольни въ водъ и, протягивая руки къ пароходу, выплакивала какія-то причитанія звонкимъ говоркомъ. Третья рыдала отрывочно какимъ-то надорваннымъ голосомъ. У четвертой на рукахъ заливался завернутый въ лохмотья ребенокъ, и заливался не потому, чтобы ему лично было горько, а вслъдствіе того закона, по которому соловей начинаетъ свистать, когда застучатъ тарелками и ножами.

- Партію солдать куда-то посылають.
 - Да, вижу.
 - Почему же ты улыбаещься?
 - Такъ, весело.
- Странный ты человъкъ... нашель чему радоваться.
 - А что?
 - Да тяжело все это видъть.
- Вотъ какую новость сказалъ... А знаешь, я хочу предложить русскимъ статистикамъ новую, оригинальную работу.
 - Какую?

- Говорять, что наука признаетъ поступательный ходъ человъчества къ лучшему.
- Ну, не всъ это признаютъ: старые люди говорятъ, будто прежде было лучше, а чъмъ дальше, тъмъ тяжелъе жить людямъ.
 - Исторія этого не говоритъ.
 - Какую же ты работу хочешь предложить статистикамъ?
- А вотъ какую: статистика новаго времени пришла къ замъчательнымъ результатамъ. Она знаетъ величину средней жизни людей того или другаго города или государства, а нравственная статистика можетъ даже весьма точно опредълить, сколько въ будущемъ году будетъ совершено преступленій въ такомъ-то мъстъ или городъ, и опредълитъ даже роды преступленій.
 - Чтожъ изъ этого?
- Да то, что статистикъ не мъщало бы высчитать, сколько ведеръ, бочекъ, гектолитровъ, галлоновъ или штофовъ...
 - Выпивается вина?..
- Нътъ, не вина, а сколько штофовъ хоть бы проливается слезъ среднимъ числомъ на человъка по каждому государству, по городамъ, по сословіямъ, возрастамъ, положеніямъ въ обществъ.
- Ну, ужъ ты выдумаешь! Да это и невозможно.
- Для науки и для современнаго человъка все возможно. Въдь метеорологія высчитываетъ же сколько за лъто и за зиму вына-даетъ дождя и снъга на квадратную сажень; такъ наука можетъ высчитаетъ и количество выпавшихъ слезъ на каждую квадратную сажень, что-ли.
 - Для чего же это?
- Да чтобъ видъть, лучше ли становится жить человъчеству или хуже.
- Ну, это оплософскій вопросъ вродѣ тѣхъ, которые задавалъ себѣ Кифа Мокіевичъ:

Этотъ странный разговоръ вели между собой два пасажира, изъ которыхъ одному было лётъ за двадцать, а другому лётъ за тридцать. Младшій былъ красивый брюнетъ съ дланными волосами. У старшаго свётлые волосы были острижены гладко, за то бородё данъ свободный ростъ. Оба они сидёли на палубё и курили, спокойно ожидая отплытія парохода.

Къ нимъ подощелъ солдатикъ съ котомкою за плечами. Котомку эту онъ старался подпихнуть подъ скамейку.

 — Куда васъ, кавалеръ, отправляютъ? спросилъ солдатика старшій изъ двухъ пасажировъ.

Солдатикъ поглядълъ на вопрошающаго и замахалъ рукой на бабу, которая выла стоя въ водъ.

Пасажиръ повторилъ вопросъ.

- Насъ-то, отвъчалъ солдатикъ, -нодъ Кукань.
- А гдъ эта Кукань?
- А кто ее знаетъ, Кукань-ту эту.... Слышали, что за самой за Сибпрью будетъ.
- А что вы тамъ будете дълать подъ Куканью?
- Знамо что-стражаться.
- Съ къмъ же?
- Да съ этой самой Куканью.
- A за что?
- Бунтуетъ, слышно; такъ и претъ на нашу армію.

Онъ снова замахалъ на бабу, которая выла въ водъ.

- Хозяйка тоже... жалко... Куда бредешь, дура! крикнуль онъ, когда баба потянулась къ нему.
 - А тебъ жаль ее?
- Не што.... не собака чать человёкъ тоже называется, хотя и баба.
 - Ты не бывалъ еще подъ Куканью?
- Нету, подъ Куканью не бывалъ, а въ Кіев бывалъ и пещеры видалъ... Страшно.
 - А Кукани не боишься?
- Какъ не бояться: тамъ, сказываютъ, за Куканью самъ агличъ спрятался и изъ подъ воды стръляетъ: ты въ него изъ пушки, а онъ изъ подъ воды только пузыри пущаетъ—дышитъ, значитъ. Продувной народецъ! какъ ты его тамъ возьмешь, подъ водой-то.
- Супоня! ступай къ перекличкъ, закричалъ другой солдатикъ, и Супоня отошелъ отъ нашихъ пасажировъ.

Подмостки сняты, капитанъ, ходя по трапу, далъ знать кому-то 9 чемъ-то свисткомъ и пароходъ двинулся.

На пароходъ и на берегу поднялись руки и начали креститься;

иныя руки махали платками, да такъ отчаянно, какъ бы желая выразить: «отвяжитесь вы совежть съ вашимъ пароходомъ». Бабій вой на берегу усилился до того, что забравшаяся на крышу конторки собака тоже начала выть, поднявъ морду къ небу и какъ бы стараясь выговорить: «на кого ты меня, кормилецъ, покинулъ». Почти всъ пасажиры столпились на той сторонъ палубы, которая обращена была къ пристани, и съ такимъ вниманіемъ смотрѣли на эту, съ каждымъ взмахомъ пароходнаго колеса удалявшуюся отъ нихъ пристань, какъ будто никогда ее въ жизни не видѣли. Свойство человъческой природы именно таково, что онъ едва-ли не съ одинаковымъ любопытствомъ разсматриваетъ предметы и явленія никогда имъ невиданныя и такія, которыя онъ видитъ въ послѣдній разъ: оттого, умершаго человъка, когда на него накладываютъ гробовую крышку, мы разсматриваемъ едва ли не съ бо́льшимъ вниманіемъ, чъмъ тогда, когда онъ былъ живъ и мы видѣли его каждый день.

Бабій плачь становился все менте и менте слышент, хотя это не доказывало, что онт прекратился: какт ни кртпки были бабы легкія, однако издаваемые этими легкими вопли не могли доноситься до парохода и пропадали вт пространствт, какт и вой собаки, помъстившейся на конторкт, хотя все еще видно было, что морда этого разстроеннаго животнаго обращена была кт небу.

- То Кубань, а то Кукань... Какъ же ты, землякъ любезный, этого не сообразишь?
 - Да ты, кавалеръ, что инбудь не такъ толкуешь.
- Не такъ!.. пойми ты, милый человъкъ, что Кукань Кукань и есть, такъ и прозывается, а Кубань и есть Кубань это особъстатья, а Кіевъ самъ по себъ... поняль?
 - Ну, понялъ.
- Кубань это, значить, земля такая есть, какъ примърно Анапа али Туречина, а Кукань—это вода, море такое, а въ этомъ моръ подъ водою агличь сидить.
 - Подъ водою! что ты врешь?
 - Песъ вретъ, а я не вру.
 - Ну, кавалеръ?
 - Вотъ его, аглича-то проклятаго, только и распознаешь въ

водъ по пузырямъ: гдъ пуз и изъ моря подымаются, тамъ и есть онъ, туда и стръляй.

- Какъ ме онъ подъ годо. живетъ, не рыба, чать?
- Не рыба, а хуже рыбы... Корабли у него такіе есть.

Это солдатикъ, котораго назвали Супоней, толковалъ уже съ какимъ-то землякомъ о Кукани.

- Вотъ она какова, Кукань-то, ораторствовалъ Супоня.
- Что-жъ ты супротивъ этой самой Кукани подълаешь?
- Что подълаешь!.. Велитъ начальство и возьмемъ Кукань.
- Да какъ же ты, кавалеръ, воду-то возымешь? Ну, коть бы, къ примъру, Волгу али Каму—какъ ее возымешь?
- Эхъ ты, голова! голова! сказано, мужикъ необразованный!— Пойми ты меня: въдь Кукань-то не одна, а двъ. Во что!
- Какъ двъ?
- Да двѣ и есть: одна Кукань—Кукань-море, другая Кукань— Кукань-земля. То вода, а то земля. — Такъ и двѣ Москвы, а не одна: то Москва-городъ, а то Москва-рѣка. Понялъ!
 - Понялъ.
 - Ну, Кукань-то мы и возьмемъ.
 - А на кой ее песъ, Кукань-ту?
- Для порядку... Порядки, знаешь, чтобы заводить тамъ—становыхъ, примърно, исправниковъ, чтобы народъ не баловался.

Мужикъ цочесалъ въ затылкъ.

- Ну, знамо, агличъ, опосля всего эвтого, носу туда не покажетъ, замътилъ онъ въ раздумьи.
 - Въстимо, не покажетъ.

Два пасажира, о которыхъ мы прежде говорили, при послъднихъ словахъ собесъдниковъ значительно переглянулись.

Разглагольствованія солдата съ землякомъ видимо интересовали ихъ. Супоня, кажется, былъ, что называется, въ ударъ.

Мужикъ, довольный бесъдой съ кавалеромъ, продолжалъ философствовать, потому что передъ отъйздомъ выпилъ винца.

- А теперь скажи мнъ, землякъ, на кой песъ вы все воюете?
- Эхъ ты, дапоть! у тебя все на кой песъ!.. А на кой песъ ты пашешь?

- Ни-ни, кавалеръ! тутъ пса не поминай, гръхъ... Пахота-то для хлъбушки, а хлъбушко-то святой, отъ Бога.
 - То-то отъ Бога! А война рази не отъ Бога?
 - Въстимо, все отъ Бога.
- Ну, такъ и не мели пустаго... а то на кось—на кой песъ!.. Эдакъ я и тебъ загадку загану:—на кой песъ ты оброкъ платишь? Мужикъ снова почесалъ въ затылкъ, не злая что отвъчать.
 - Для отечествія, знать.. это вельно.
- Ну, и война для отечествія... Сойдутся это двѣ войски, одна войска и говорить другой: берегись! стрѣлять буду, ну и начнется страженіе... А какъ бы не отечествіе, такъ и войны не было бы.
 - А колибы Кукань на насъ напала?
- Кукань—это ужъ совсёмъ иное дёло: сказано, покорить Кукань,—ну и воюй! А безъ войны нельзя,—на что-жъ будутъ тогда енаралы да полковники?
 - То-то, и я такъ мекаю.

Тутъ въ разговоръ ихъ вмѣшалось третье лице, шустрый мѣщанинъ, изъ городскихъ крикуновъ, что называется—чуйка.

- Дёло ты говоришь, господинъ кавалеръ, замётила чуйка.
 Супоня самодовольно кивнулъ головой.
- Объ Кукани ты тамъ какъ хошь думай, а безъ войны можно
- обойтись, продолжала чуйка.
 - Какъ же ты обойдешься, коли тамъ агличъ?
 - Да такъ и обойдусь.
 - -- Ну-ка, попробуй. Зачёмъ же сказано -- «христолюбивое воинство?» .
 - А для близиру сказано.
 - Нътъ, не для близиру.
- Ну, инъ быть по твоему... Только я во что думаю, кавалеръ: Возьмемъ къ примъру такое дъло: живутъ на свътъ двъ земли расейская и аглицкая. Понимаещь?
 - Понимаю... А Кукань-ту куда дънешь?
 - Погоди съ Куканью-то, успъешь.
 - Hy?
- Ну, такъ живутъ двъ земли расейская и аглицкая. Будь ты, къ примъру, самая эта аглицкая земля, а я Расея. Вотъ и

захотёли мы воевать другъ съ дружкой—ты супротивъ меня, а и супротивъ тебя. Ладно?

- Ладно... Только ужъ лучше я буду Расеей, замътилъ Супоня.
- Ну, инъ будь ты Расея... Ладно.. Я тебя въ ухо, ты меня въ другое, особливо коли подпимши.
- Это что и говорить.
- Ладно. Слушай же дальше, кавалерь любезный. Захотёль я оттягать у тебя шинель, къ примъру.
 - Ну, братъ, дудки! шинель-то казенная.
- Да ты слушай!—я къ примъру... Захотълъ я это твою шинель взять, ты и говоришь: — нътъ, шалишь, молъ! пойдемъ по начальству.. въ полицію тебя...—Не будь суда и расправы, я бы у тебя шинель-то отнялъ, коли я тебя сильнъе.
 - Это точно что такъ.
 - Ну, такъ и война.
- А гдъ-жъ ты найдешь судъ аглицкой землъ? Ее въ полицію не потащишь...
- Да ты слушай! Воть у меня сусъдъ-- Филатка, столяръ, настоящій агличь, все бы шель на меня войной, все бы куръ монхъ гонять ему... Такъ шалишь!.. Два раза ужъ сажаль его на съъзжую — и пересталь воевать. А то, можетъ, и до смертоубійства дошло бы, коли все бы воевать да и воевать, какъ вы воюете. Замъсто того, чтобъ воевать, пусть бы лучше разсудились...
 - А кто судьей-то будеть?

Этотъ вопросъ озадачилъ чуйку. Она не нашлась что отвъчать.

- Ну, приставалъ Супоня, ты скажи мив, кто судьей-то будеть?
- Да ты постой, возражала чуйка,—вотъ, примърно, Филатка столяръ на меня войной идетъ...
- Что мит твой Филатка! плевать на него!... А какъ ты съ Куканью-то сладишь?
 - Какъ слажу? что Кукань, что Филатка -все едино.
- Да и кто судить-то будетъ—хоть бы куканскаго царя?
 - Другіе цари.
- А онъ скажетъ: «не боюсь я другихъ царей» —и ну пушками жарить въ другихъ царей-то.
 - Это ты дёло говоришь, кавалерь, виёшался снова мужичекь-

у насъ вотъ есть Микита кузнецъ, всему міру поперекъ горла сталъ, и начальства не боится, что твоя Кукань: знать, говоритъ, никого не хочу!

Солнце, между тъмъ, такъ сильно начало бить жаркими лучами въ открытую палубу парохода, что два упомянутые нами, въ началъ этого повъствованія, пасажира, не могли болье оставаться на солнцъ и отправились въ каюту втораго класса.

- Не правда ли, хороша Кукань, замътиль младшій.
- Да и Микита съ Филаткой не дурны, добавилъ старшій, голько на этотъ смѣшной разговоръ я смотрю серьезно и признаюсь, вижу въ немъ «внаменія времени»..
 - Ну, ты во всемъ видишь эти знаменія.
 - Да, во многомъ.
 - Отчего-жъ я не вижу?
 - Не привыкъ, да и близорукъ порядкомъ.
 - Что же ты выводишь изъ этого разговора?
- Утвинительнаго не много: хотя чуйка права, но и солдатикъ правъ со своей точки зрвнія... Филатку столяра еще можно запугать съвзжей, а хоть бы Наполеона не запугаешь ничемъ, кромъ миліона штыковъ, съ заряженными съ казенной части ружьями.
 - Но въдь теперь всъ говорять о всеобщемъ разоружении.
- Знаю, что говорятъ. Читалъ даже, какъ Наполеонъ на дняхъ по этому предмету объяснился съ такимъ господиномъ, котораго онъ же убилъ.
 - Какъ, съ мертвецомъ?
- Да, съ мертвецомъ.
 - Съ къмъ же это?
 - Съ капиталомъ.
 - Съ какимъ капитаномъ?
- Не съ капитаномъ, а съ капиталомъ... Капиталъ—понимаешь, деньги... Онъ держалъ ръчь къ капиталу, движеніе котораго онъ же самъ, главнымъ образомъ, задерживаетъ и убиваетъ во всей Европъ то опасеніемъ войнъ, то непроизводительной тратой на войско...
- Я этого случая не читалъ.
- Да, это очень трогательно и картинно... Иныя газеты пишутъ, что Наполеонъ въ Труа, 11 августа, говорилъ съ капита-

номъ, вотъ какъ и тебѣ послышалось, и всѣ интересовались, что́ это за капитанъ—ужъ не капитанъ ли Копейкинъ чего добраго?

- Въ самомъ дѣлѣ?
- Въ самомъ дѣлѣ... Оказывается, что Наполеонъ, въ провядъ черезъ Труа, произпесъ миролюбивую рѣчь и даже обратился къ капиталу съ слѣдующими словами: «Отважься! Будущность принадлежитъ тебѣ. Опасныя времена миновались!»

Сказавъ эти слова, старшій изъ пасажировъ взяль со стола газету (они находились уже въ каютъ) и показаль ее младшему, говоря:

- Смотри, вотъ этотъ разговоръ Наполеона съ капитаномъ Копейкинымъ.
 - Да, правда, замътилъ младшій, улыбаясь.
 - А знаешь, вдругъ спросилъ старшій, —что это напоминаетъ мнъ?
 - А что?
 - Ръчь гробовщика въ Гамлетъ.
 - Къ кому ръчь, къ Гамлету?
 - Нътъ, къ Офеліи, когда онъ копалъ ей могилу.
 - Но въдь онъ съ ней не говорилъ...
- Могъ говорить, и онъ долженъ былъ сказать: «Офелья, отважься! будущность припадлежитъ тебъ. Опасныя времена миновали!.. Ты, утонувши разъ, въ другой разъ уже пе утонешь».
- Да, это хоть и остроумно, но несправедливо.
- Несправедливо!.. Такъ что же по твоему Филатка столяръ такъ и перестанетъ сосъдскихъ куръ загонять, а Микита кузнецъ смирится?
- Смирятся... Теперь чёмъ дальше, тёмъ больше сознаютъ всё гибельность войнъ...
 - Да и гибельность холеры сознають вст, а что толку?
 - Война не холера: война въ нашей власти, какъ и миръ.
- Въ нашей .. А если въ нашей, такъ отчего бы намъ не отмънить походъ этихъ солдатиковъ подъ Кукань?
 - Я говорю въ общемъ, а не объ этомъ случав.
- Да и я говорю въ общемъ... Въ частности-то, пожалуй, и идетъ трактатъ о непринятіи въ войска разрывныхъ пуль, а въ общемъ всѣ олоты снабжаются панцырными судами, мониторами, раз-

рушительными таранами, пушками чудовищныхъ размѣровъ, такими, что скоро изъ Лондона станутъ стрѣлять въ Парижъ, а изъ Парижа въ Вѣну... Э! все вздоръ! Ничто отъ насъ не зависитъ... Надъ нами тяготѣтъ это проклятое «ананке» и будетъ тяготѣть вѣчно, если мы...

Онъ остановился.

- Если мы что? спросилъ младшій.
- Ничего... Если даже будеть это если, то и то ничего не будеть.
 - Почему же?
 - А вотъ я сейчасъ докажу.
 - Посмотримъ.
 - Смотри.

Ш.

Старшій изъ пасажировъ, сказавъ эти слова своему младшему товарйщу, обвелъ глазами каюту парохода, въ которой они находились. Почти вся каюта была занята пасажирами. На самомъ видномъ мъстъ, посреди каюты, за разставленнымъ столомъ, сидъло четыре субъекта. Они заняты были игрою вт карты. По временамъ слышались фразы вродъ слъдующихъ:

- **4** Дамъ не быютъ.
- Какія дамы—иныхъ и быютъ.
- А вы короля-то по усамъ, по усамъ!
- Я не бунтовщикъ, чтобы королей бить.
- Бацъ! Акулину Прохоровну въ рыло....
- Xa! xa! xa!
- Человъкъ, водки!
- Дуй ее...
- Король самъ шостъ.
- Тузъ самъ чортъ!
- Xa! xa! xa!

Иные изъ пасажировъ пили чай, другіе просто валялись, растя-

нувшись на койкахъ, и смотръли то на играющихъ въ карты, то на пьющихъ чай. Въ углу каюты, на сосъднихъ койкахъ, лежали двое студентовъ и беседовали о томъ, что прежде въ университетъ занимались болёе естественными науками, а теперь настали совсёмъ другія времена: студенты уже менте заняты изследованіями и наблюденіями, а болье ударяють въ практическія науки и болье думають о томъ, какъ составить себъ будущность. Они разсказывали другъ другу разные анекдоты про своихъ професоровъ, которые стали практичны не менте студентовъ и для примтра своимъ слушателямъ хлопочуть болже о теплыхъ мъстечкахъ, чъмъ о научномъ усоверчиенствованіи. — Пароходъ шелъ довольно ровно, по временамъ только какъ бы вздрагивая; а колеса парохода, роя воду, своимъ ровнымъ, однообразнымъ шумомъ вторили такому же ровному журчанію, въ звуки котораго сливались голоса разговаривавшихъ кучекъ и паръ... И что это за кучки, что за пары, что за разговоры: кто про что, кто во что... Не далеко отъ двери каюты, за маленькимъ столикомъ, сидели два собеседника и пили чай, облокотившись на столикъ. Длиннополые сюртуки и и которые наружные признаки обличали въ нихъ купеческихъ прикащиковъ.

- Вотъ сидпшь это себъ, думаешь, да ажно чудно станетъ, говорилъ одинъ въ раздумьи.
 - Что тебъ чудно такъ?
- Да что, Сеня: сидишь это словно въ трактирѣ, сидишь себѣ прохлаждаешься, а самъ ѣдешь... Ни лошадей подъ тобой, ни паруса не нужно, ни гребли, а тебя само везетъ.
 - Везетъ, братъ... такія ныньче времена.
 - Времена-то-времена, да смотри, чай, они послъднія...
 - Кто?
 - Времена-то.
 - Ты это почемъ съ пуда брехать сталъ.
- Почемъ съ пуда!.. не брешу, а люди гуторятъ.
 - Върь ты дуракамъ-то!
 - Чего дуракамъ... Нъшто все дураки?
 - Знамо дураки-вотъ-те и сказъ.
 - Да съ чего имъ дураками быть?...
 - А съ чего не быть, да быть... Ты мий, душевный человикъ,

вотъ что скажи: съ какой стати времена-то послѣдними станутъ.... Ништо такія послѣднія-то времена по писанію?

- Въстимо нътъ...
- То-то же и оно-то.
 - Да и я такъ думаю.
 - Ну и думай да чай попивай.

Въ сторонъ отъ всъхъ прочихъ пасажировъ, за третьимъ столикомъ сидълъ блёдный молодой человъкъ, лътъ подъ тридцать, въ красной курткъ и съ сумочкой черезъ плечо. Передъ нимъ лежала книга, которую онъ читалъ, по видимому, съ большимъ вниманіемъ, иногда улыбаясь, иногда качая головой.

- Подойдемъ вонъ къ тому господину что читаетъ, сказалъ старшій изъ упомянутыхъ нами выше пасажировъ, — онъ читаетъ серьезную книгу, я видълъ.
 - Это красная-то куртка?
 - Да.
 - А что она читаетъ?
 - -- Спенсера. Онъ теперь въдь въ большомъ ходу у насъ.

Они подошли къ красной курткъ и заговорили съ ней по поводу книги, которую куртка читала.

- Вы куда же теперь? спросилъ старшій пасажиръ.
- Въ Нижній, по торговымъ дёламъ отца.
- Вы купецъ?
- Купецъ.
- Что же, вамъ Спенсеръ нравится?

Красная куртка улыбнулась.

 Спенсеръ тятенит не нравится, сказалъ онъ, какъ-то странно глядя на воспрошающихъ.

Тѣ поняли иронію въ его отвѣтѣ.

- Отчего же Спенсеръ не нравится вашему батюшкъ!
- А Чернышевскій нравится вашей маменькъ? въ свою очередь спросила куртка.
 - Нътъ, моя мать стараго закала.
- Миъ... А мой тятенька—самъ кузнецъ, другихъ закаливаетъ, да при томъ онъ старой въры, и я самъ раскольникъ

Собесъдники его вытаращили глаза отъ удивленія.

- Вы раскольникъ!.. Не можетъ быть!
- Раскольникъ.
- ІІ читаете Спенсера?
- И читаю Спенсера... Васъ это удивляетъ?
- Нътъ... да... какъ-то странно.
- Вы, въроятно, думали встрътить во мнъ купеческаго сынка, безобразника, который по трактирамъ зеркала бьетъ, лишь бы его ндраву не препятствовали, да?
- -- Нътъ... Но все какъ-то странно: раскольникъ-и читаете Спенсера.
- Я читаю не только Спенсера, но и Молешота и Ренана... А Ренана и мой батюшка—виновать—тятенька любить. Да и чтожъ тутъ удивительнаго?
- Удивительно то, какъ это трегубое и сугубое аллилуія можетъ вязаться съ Молешотомъ и Спенсеромъ.
 - Привычка и... расчетъ... дъло комерческое.
- И много между купечествомъ такихъ какъ вы?
 - Кажется, есть не мало.

Старшій изъ собесъдующихъ пасажировъ улыбнулся.

- Вы что улыбаетесь? спросила куртка.
- Такъ... Въ васъ п въ вашихъ словахъ я опять вижу «знаменія времени».

Красная куртка въ свою очередь улыбнулась.

- А вы чему? спросилъ тотъ.
- Словамъ моего батюшки и вашимъ: мой отецъ говоритъ, что «знаменіе времени» деньги.
 - А вы?,
- Я... Я люблю, видите, Спенсера, а тятенька не любитъ.
 - Признаюсь, вы загадочный человекь, и я вась не понимаю.
 - Не читали.
 - Koro?
 - Меня.
 - Какъ васъ?
 - Да, меня-и оттого не понимаете.
- Да васъ прочитать-то трудио: вы писаны на незнакомомъ мнъ языкъ.

- Нѣтъ, просто на русскомъ, и пзданъ, съ дозволенія ценсуры, «товариществомъ общественной пользы».
 - Такъ позвольте мит прочитать васъ.
- Читайте: обертку и эпиграфъ прочли развертывайте дальше... Однако, не напиться ли и намъ чаю?
 - Пожалуй.

Чай быль подань. Разговорь продолжался. Красная куртка все болье и болье заинтересовывала нашихь пасажировь, которые находили въ ней ръдкую начитанность и оригипальный взглядь на вещи. Разговорь, какъ и слъдовало ожидать, вертълся около современныхъ общественныхъ вопросовъ и личныхъ убъжденій каждаго изъ бесьщовавшихъ.

- И вашъ батюшка не преслѣдуетъ вашихъ убѣжденій? спросилъ младшій пасажиръ красную куртку.
 - Онъ не знаетъ что ему пресивдовать,
 - Какъ?
- Очень просто: онъ не умъетъ меня читать... А если иную страничку и прочитаеть, тотчасъ же пускаетъ въ ходъ красный цензорскій карандашъ.
 - Запрещаетъ?
 - Перечеркиваетъ: «печатать-де не дозволяется».
 - Что-жъ вы?
- --- Ничего: перечеркнутую страницу я пускаю въ ходъ въ рукописи, или перепечатываю тайно, въ вольной типографіи или на ручномъ типографскомъ станкъ.
- И вамъ не тяжело постоянно притаться съ своими убѣжденіями?
- Не легко... Но будто и вы высказываете вашимъ маменькамъ и вашимъ папенькамъ все, что вы думаете?
 - Нътъ, не все.
- То-то же... А у насъ съ батюшкой есть общая точка соприкосновенія.
 - Какая же?
 - Политико-экономическая понятіе о трудѣ и капиталѣ.
- Какія же ваши понятія?
 - На этотъ разъ мы оба держимся теорій Дарвина.

- Какой же именно?
- Да объихъ виъстъ! во первыхъ наступай другому на мозоль, чтобъ тебъ не наступилъ другой, пожирай другаго, чтобъ другой тебя не пожралъ, души, да не задушенъ будешь, не давай инкому сморкаться въ твой платокъ.
 - А вторая теорія?
- Вторая—родительница нервой: борись за существованіе, и для этого крупные виды должны пожирать виды мелкіе и безсильныя разновидноств... Эта теорія примъняется и государствами.

Старшій изъ пасажировъ не могъ удержаться, чтобъ не воскликнуть:

- Это подлыя, животныя, лакейскія теоріп! II вы живете по нимъ?
- Живемъ... Мы работаемъ и копимъ деньги... И почему-жъ эти теоріп подлы?
- Помилуйте! Это животныя теоріи: животное иначе не можетъ ничего събсть, какъ ограбивши другое животное или укравши у него.
- Но это оттого, что животныя не сознаютъ необходимости труда;
 животныя не работаютъ, пока ихъ не заставятъ.
- Животное иначе не защитить себя, какъ убивши или ранивши другое въ борьбѣ за существованіе. И человѣкъ долженъ бить, ранить или убивать другихъ, чтобъ существовать?
 - Да, бъетъ, ранитъ и убиваетъ, иногда медленно, иногда быстро.
 - Бьетъ, ранитъ, убиваетъ!.. Но долженъ ли?
 - Долженъ по необходимости, чтобъ существовать.
- По необходимости! Да по необходимости онъ и воруетъ. А честно ли это?
 - Нечестно.
- Такъ зачёмъ же въ попятія XIX вёка переносить понятія IX или XIII вёковъ? Ну, чёмъ вы отличаетесь отъ дикаря, отъ собаки, отъ носорога, слёдуя этимъ теоріямъ?
- Да мы ничтыть и не отличаемся отъ нихъ, а дълаемъ то, что дълаетъ дикарь, собака, носорогъ, только не такъ грубо, какъ они дълаютъ, а подъ благовидными предлогами, политично.
- И вы читаете послъ этого Спенсера?
- Читаю.

- И согласны съ нимъ?
- Согласенъ.
- Ну, вотъ и поди, и бейся какъ рыба объ ледъ!.. Эхъ, какая тоска! какъ глупо и подло устроена человъческая жизнь!.. Въдь вы сожальете о подлыхъ грекахъ, которые охотились на илотовъ, какъ на лисицъ, и презираете ихъ?
- Презираю.
- Вы презпраете средне-въковаго барона, который захватиль все сосъднее население и сосъдния земли и, укръпившись въ своемъ замкъ, обиралъ всъхъ и каждаго, кого могъ осилить?
 - Да, и его презираю.
- Вы не оправдали бы теперь пом'ящиковъ, если бы они опять возвратили кр'япостное право и наложили свою руку на миліоны крестьянъ?
 - Не оправдаль бы... Это было бы варварство, насиліе.
- A развъ капиталъ не насиліе? Развъ вы, капиталистъ, не тотъ же негодяй въ замкъ?
- Ну, вы ходите, я вижу, въ старыхъ сапогахъ Прудона, замътила красная куртка, улыбаясь.
- Что-жъ! Лучше ходить въ старыхъ сапогахъ Прудона, чёмъ съ нагайной Держиморды.

Въ это время отъ стола играющихъ въ карты донеслись къ собесъдникамъ фразы:

- Ныньче ужъ не тъ времена!
- Держи карманъ!
- Тъхъ же щей да пожиже влей.

Красная куртка, лукаво подмигнувъ на играющихъ, тихонько подсказала:

- Слышите?
- Что-жъ! слышу, отъъчалъ горячо старшій пасажиръ, —эти жидкіе щи....
- Кто? Я?.. Согласенъ, замътила куртка, а мой тятенька щи густые... Видите ли, добавила куртка серьезно, то, что видъла во снъ героиня въ романъ Чернышевскаго, такъ и останется сномъ.
- Что романъ Чернышевскаго! Это—для насъ уже старье; мы дожили до иныхъ попятій... Можетъ быть, Чернышевскій тоже до-

жилъ до нихъ теперь, можетъ быть онъ ушелъ еще дальше насъ мы не знаемъ... Онъ объ этомъ молчитъ, и можетъ быть, будетъ несчастнъе даже Бонивара, шильонскаго узника, и не оставитъ своихъ записокъ... Я говорю о томъ, что я знаю, что я передумалъ... Въдь вы согласны, что убивать людей—подло и преступно.

- Подло и преступно, да п/невыгодно, не практично #
- А сѣчь людей—тоже варварство?
- Варварство.
- А принудительный трудъ на другаго-варварство?
- Варварство.
- Ну, такъ слушайте же... Было время, когда болъе сильные и болъе вліятельные люди имъли право убивать менъе сильныхъ и менъе вліятельныхъ, какъ, напримъръ, рабовъ, невольниковъ, а родители дътей. Не правда ли, это гадко?
 - Гапко.
- Вѣдь гадко и то, что существовала прежде кровавая месть, хоть бы по «русской правдѣ»: убьетъ мужъ мужа, то этого убившаго долженъ убить сынъ или братъ убитаго. Умпо?
- Глупо, правда.
- Но когда у людей отнимали право убивать рабовъ, у родителей—право убивать дѣтей, согласитесь, былъ ропотъ, и недовольные говорили: «какъ! у насъ отнимать право на жизнь и смерть раба, на жизнь и смерть дѣтей! Что-жъ послѣ этого будетъ? Зачѣмъ же намъ было и пріобрѣтать рабовъ, когда они становятся такими же какъ и мы, господами?... Это несправедливо, это грабежъ»! Но былъ ли это, по нашимъ понятіямъ, дѣйствительно грабежъ?
- Нътъ, говорила красная куртка; что-жъ изъ этого? зачъмъ вы повторяете старье, что всъмъ извъстно?
- А за тъмъ, чтобъ отъ извъстныхъ величинъ перейдти къ неизвъстнымъ. Слушайте дальше. Было время, когда пмъвшіе право съчь другихъ—съкли этихъ другихъ. Справедливо ли было отнимать у нихъ это право? Развъ это не былъ грабежъ? Развъ они не пріобръли это право, можетъ быть, такимъ же потомъ и кровью, какъ вы пріобрътаете свой капиталъ?— И все-таки у нихъ его отняли.
 - Такъ и капиталы слъдуетъ отнять? спросила куртка. Кто-жъ

тогда станетъ работать, когда онъ не имъетъ права располагать результатами своего труда?

- Эхъ! воскликнулъ противникъ, это возражение давно испошлилось... Да въдь и рабы были результатомъ труда, и право розги результатъ труда: одни работали и пріобрътали право убивать или съчь другихъ, а другіе, можетъ быть и больше работали, только не пріобрътали этого права. Такъ и теперь: одни работаютъ и пріобрътаютъ право ъсть сладко и жить въ довольствъ, а другіе работаютъ и пріобрътаютъ право на голодъ или крайнюю нужду.
- Значитъ, или не умъютъ работать, или работаютъ глупъе тъхъ, которые вырабатываютъ себъ больше.
- Но отъ этого человъчеству не легче! Въ результатъ все же выходитъ, что XIX-й въкъ превращается въ XIII-й, только виъсто замковъ съ голодными подданными, воздвигнуты капиталы и заводы съ голодными рабочими.
- Я противъ этого не спорю, сказала красная куртка задумчиво (если только красныя куртки могутъ задумываться), но что же дёлать?
- Проклятое что дѣлать! Надо же человъчеству *что-нибудь* сдѣлать, чтобы выйдти изъ этого адскаго положенія. Неужели же люди осуждены на вѣчное рабство?
- Можетъ быть.
- Нѣтъ, не можетъ быть! Еслибы это было такъ, то всй были бы рабами. А такъ какъ нѣкоторымъ можно быть и не рабами, то, значитъ, можно и всймъ быть не рабами, это прямой логическій выводъ, это, наконецъ, математическая истина, вродѣ той, что если двѣ величины порознь—равны третьей, то онѣ всѣ равны между собою.
- Оно такъ-то такъ, возразила куртка, но полное равенство только и возможно знаете гдк?
 - А гдъ?
- Въ математикъ... А въ жизни нътъ величинъ равныхъ между собою, положительно нътъ; это тоже математическая истина.
 - Но должно же быть равенство правъ.
 - Эхъ, снова возразила красная куртка, равенство правъ! Пой-

мите вы — въ природъ нътъ абсолютиаго равенства, а потому не можетъ и не должно быть равенства правъ.

- Какъ! вы даже это защищаете!
- Даже это—но не защищаю, а доказываю. Равенство правъ не мыслимо, хоть и говорять, что оно есть, какъ, напримѣръ, равенство передъ закономъ. Все это вздоръ, все это условные знаки, которыхъ никто не примѣняеть къ дѣлу, да и примѣнить нельзя. Какъ вы примѣните законъ вмѣняемости преступленія хоть бы ко мнѣ и идіоту? Меня будутъ судить такъ, а идіота иначе. Да и какое можетъ быть равенство между мною и идіотомъ, между Бисмаркомъ и лѣнтяемъ ладзарони, считающимъ галокъ на храмѣ Петра?

Когда красная куртка сказала это, старшій изъ пасажировъ, говорившихъ съ этою курткою, обратившись къ младшему своему товарищу, спросилъ:

- Ты все слышалъ что мы говорили?
 - Все, отвъчалъ тотъ.
- И видѣлъ то, что я тебѣ хотѣлъ показать?
 - Видълъ; но все-таки не скажу, чтобъ все было безнадежно.
- Въ чемъ дѣло? вмѣшалась красная куртка.
- Да то, отвъчалъ старшій пасажиръ, что мы спорили о томъ, есть ли подъ носомъ у алжирскаго бея шишка или иътъ. Онъ доказывалъ, что есть, а я — что иътъ.
- Выражайтесь, пожалуйста, безъ алегорій; я не понимаю васъ, сказала куртка.
- Дѣло въ томъ, что я не вѣрю въ наше время, а онъ вѣритъ. Я этому времени придаю слишкомъ мало цѣны и, чтобы доказать ему, что XIX вѣкъ не далеко ушелъ отъ IX въ основныхъ человѣческихъ понятіяхъ, я случайно наткнулся на васъ и увидѣлъ, что вы не вѣрите даже въ то, во что вѣрили въ XVIII вѣкѣ.
- Извърплся, отвъчала куртка, да и тятенька ие велитъ... Однако, позвольте узнать, по крайней мъръ, съ къмъ я имъю удовольствие говорить.
- Мы васъ должны просить о томъ же, отвѣчали два другіе собесѣдника.

И они начали знакомиться.

Отчего же авторъ не познакомить съ ними своихъ читателей? Да

такъ, изъ осторожности. Такъ какъ они говорили о предметахъ не совсемъ скромнаго свойства и говорили, не зная, что ихъ слова могутъ быть подслушаны и переданы по принадлежности, то авторъ и скрылъ ихъ фамиліи, пока они были на пароходѣ.

IV.

Старшій изъ пасажировъ, который доказываль, будто Наполеонъ въ Труа разговариваль съ капитаномъ Копейкинымъ, назывался Григоріемъ Борисовичемъ Стожаровымъ. Беззубая старушка, гречанка парка, навязала на свой гребень куделю и стала прясть нитку Гришенькиной жизни послъ полуночи 10 декабря 1835 года. Въ этотъ же день, въ дневникъ отца Гришеньки, отставнаго штабсъ-капитана Бориса Григорьевича Стожарова, было записано:

«Нынъ родился у меня сынъ, появление коего на свътъ было преждевременное, изъ чего я заключаю, что его ожидаетъ отмънное счастіе и громкая будущность, ибо всѣ недоноски, яко Наполеонъ и Пезарь, были великими людьми и много славныхъ и намяти достойныхъ дълъ совершили. Причиною преждевременнаго рожденія сына моего быль маловажный, паче же достойный смеха случай. Хотя Катюша была уже на сносяхъ, однако родовъ ранъе святокъ не ожидала. Случай же таковъ быль: Услыхала она утромъ звонъ дорожнаго колокольца, и думая, что это я возвратился изъ города, куда я іздиль въ убздный судь, по ділу о перепаханіи моей новины разбойникомъ Харламовымъ, - подбъжала къ окну. Каково же было ея удивленіе, смѣшанное съ ужасомъ, когда на дворѣ она увидѣла толну людей съ топорами, а впереди всёхъ человёка, ёдущаго на другомъ человъкъ верхомъ, и у сего послъдняго человъка висящій на шев почтовый колоколець. Она думала встретить меня-и вместо меня узрѣла осѣдланнаго человѣка, у коего подъ бородою, какъ у лошади подъ дугою, звенълъ колокольчикъ. И Катюшъ представилось, что то убійцы, что меня уже нётъ въ живыхъ, хотя въ испугъ своемъ не могла ръшить, какую роль въ сей страшной трагедін играль колокольчикь подъ бородою осъдланнаго человъка. Сіе зрѣлище такимъ ужасомъ исполнило Катюшину душу, что она, какъ стояла, такъ и грохнулась объ ислъ... Оказалось, что то была продѣлка нашего Ивана Лезаревича, становаго, моего пріятеля и однополчанина. Подъѣзжая къ деревнѣ, онъ поймалъ моихъ мужиковъ на рубкѣ моего лѣса, и потому, въ знакъ наказанія и посмѣянія, осѣдлавъ старосту и подвѣсивъ ему на шею колоколецъ, онъ въѣхалъ на ономъ верхомъ ко мнѣ на дворъ, желая доставить намъ сюрпризъ и развлеченіе въ нашей деревенской скукѣ. Но сей сюрпризъ едва не кончился смертью Катюши. Однако, благодаря Бога, въ ночь она разрѣшилась отъ бремени, и сей смѣшной случай, быть можетъ, послужитъ появленію на свѣтъ великаго человѣка. Давно замѣчено мудрецами, что великія событія бываютъ отъ малыхъ причинъ — Дай-то Господи...»

Маленькому Гришъ впослъдствін втолковали, что онъ будеть веливимъ человъкомъ. Сначала онъ величіе свое полагалъ въ томъ, что, подобно становому, вздилъ верхомъ на деревенскихъ мальчишкахъ, а для поддержанія митнія о своей геройской храбрости, кунался подъ мельничными колесами. Чтобы быть похожимъ на Цезаря, Гриша переходить въ бродъ ръчку Гремячку, которую называлъ Рубикономъ. Съ Наполеономъ онъ думалъ сравняться тёмъ, что выбралъ на гумнъ самое высокое одонье, которое назвалъ египятскою пирамидою, и, взобравшись на это одонье, декламировалъ къ собиравшимся около него деревенскимъ мальчишкамъ: «Солдаты! сорокъ въковъ смотрятъ на васъ съ высоты этихъ пирамидъ.» Потомъ, подрастая и бросая дътскія игры съ деревенскими мальчишками, онъ полюбилъ чтеніе и непремънно старался выискивать жизнеописанія великихъ людей. Надъ особенно замічательными чертами изъ жизни этихъ людей онъ останавливался съ любовью и въ себъ самомъ старался отыскать подобіе великимъ людямъ.

Поступивъ въ гимназію, онъ учился прекрасно и былъ превосходнымъ товарищемъ. При блестящихъ дарованіяхъ онъ былъ крайне самолюбивъ, по самолюбивъ глубоко скрытно. Онъ не могъ перенести мысли, чтобы товарищи или учителя могли подумать, что онъ чего либо не знаетъ, и потому онъ не только училъ все, что было въ программѣ его курса, но и страстно любилъ чтеніе. Многосторонностью знаній и оригинальностью мнѣній онъ приводилъ въ пзумленіе всѣхъ,

съ къмъ ему приходилось случайно высказываться. Онъ обыкновенно считалъ себя оскорбленнымъ, когда во время классовъ учитель спрашивалъ его о такихъ обыкновенныхъ предметахъ, которые могли знать и проче его товарищи. Аналитическая сторона его способностей развилась въ немъ очень рано Когда учитель геомстріи, объясная воспитанникамъ терминологію своего предмета, говорилъ, напримъръ, что «аксіома есть истина, которая не требуетъ доказательствъ», Стожаровъ требовалъ логическаго доказательства истины этихъ словъ и часто затруднялъ своимъ вопросомъ учителя. Когда товарищи его твердили, что «два катета больше гипотенузы», Стожаровъ доказывалъ имъ совершенно противное, и тъмъ ставилъ ихъ въ полное недоумъніе.

Въ гимназіи же онъ пережиль пѣсколько мѣсяцевъ глубокаго нравственнаго страданія, когда прочиталь «записки доктора Крупова», гдѣ этотъ докторъ весьма остроумно доказываетъ, что всѣ люди одержимы сумасшествіемъ, только въ различной степени, и что человѣчество, періодами, страдаетъ извѣстнаго рода повальнымъ безумствомъ, эпидемическою мономаніею. И представлялась ему вся работа человѣчества безумными выходками мономановъ. «Развѣ не мономанъ Наполеонъ (думалъ онъ), который вѣрилъ въ какую-то свою счастливую звѣзду?» И когда ему на экзаменѣ пришлось говорить о Наполеонъ, онъ долго не хотѣлъ отвѣчать.

 Опредълите значение его въ исторіи нашего времени, спрашивалъ учитель Стожарова.

Стожаровъ молчалъ.

- Говорите же, настаивали асистенты.
- Развѣ могутъ имѣть органическую связь съ какимъ бы то ни было временемъ дѣйствіе сумасшедшаго? отвѣчалъ Стожаровъ.
 - Какого сумасшедшаго? спрашивали съ удивленіемъ учителя.
- Да Нополеона, котораго считаютъ геніемъ... Это былъ сумагшедшій, — мало того, это былъ человъкъ, одержимый бъщенствомъ, и его слъдовало посадить на цъпъ.
 - За что же?
- Онъ върилъ въ какое-то свое призваніе, и для этого убивалъ сотни тысячъ людей... Какъ убійцу-мономана, невольнаго въ своихъ

дъйствіяхъ, его слъдовало приковать къ стънъ, а его назвали великимъ.

И онъ самъ себъ казался сумасшедшимъ, и всъ дъйствія свои онъ считалъ поступками мономана, слова и дъла котораго не должны быть вмъняемы ему ни въ похвалу, ни въ порицаніе, какъ не должны быть вмъняемы человъку въ охужденіе ни цвътъ его волосъ, ни форма ногтей.

Поступивъ въ университетъ, Стожаровъ продолжалъ работатъ дихорадочно, хотя никакъ не могъ рѣшиться избрать какую либо спеціальность. Ни что не удовлетворило его, ксе ему хотѣлось чего-то
большаго, совершеннѣйшаго. На вопросы, которые задавала ему его
неутомимая мысль, онъ не находилъ отвѣта ни въ лекціяхъ професоровъ, ни въ доступныхъ ему книгахъ. Онъ думалъ найти отвѣты
на неотвязчивые вопросы въ тѣхъ таинственныхъ книгахъ публичной библіотеки, которыя безусловно считались, по каталогамъ, запрещенными, но когда удалось ему добраться и до этихъ книгъ,
жажда его не удовлетворилась. «Все это не то, не то, твердилъ онъ,
возвращаясь въ свою квартиру: и этотъ источникъ не напоилъ меня,
и въ немъ вода мутная—и я по прежнему хочу пить, я во чтобы
то ни стало долженъ удовлетворить эту дьявольскую жажду».

Въ числѣ нѣсколькихъ студентовъ, начавшихъ писать къ выпуску дисертаціи на предложенныя университетамъ темы, или на медали, писалъ и Стожаровъ. Въ этой дисертаціи онъ высказалъ всѣ свои сомнѣнія, наставилъ въ ней такихъ вопросовъ, на которые не могли отвѣчать всѣ факультеты виѣстѣ, и все это были по выраженію Гейне, «вопросы проклятые».

Послѣ разсмотрѣпія совѣтомъ университета всѣхъ подапныхъ дисертацій, Стожаровъ заговориль объ нихъ съ однимъ изъ професоровъ.

 Скажите, пожалуйста, господинъ професоръ, какія дисертаціи удостоплись медалей? спросилъ онъ.

Професоръ назвалъ имена студентовъ.

- А вы писали на тему? спросилъ въ свою очередь професоръ.
- Нътъ, отвъчалъ Стожаровъ, потому что въ пакетъ, при которомъ представлена была въ совътъ его дисертація, въ которомъ, по заведенному порядку, долженъ быть выставленъ его эпиграфъ и

фамилія автора, именно фамиліп своей Стожаровъ и не выставилъ, понимая, что подъ такою дисертаціей опасно подписывать свое имя.

- А я думалъ, ужъ не ваша ли это дисертація, замѣтилъ професоръ.
- Какая? спросилъ Стожаровъ, въ полной увъренности, что о его-то дисертаціи и идетъ ръчь.
- Да съ эпиграфомъ извъстной фразы Галилея: «п все-таки вертится».
 - А что?
 - Ее сожгли, отвъчалъ професоръ.
 - Что-жъ, плоха была?
- 0, нътъ, далеко не плоха: въ ней замъчательная начитанность, логика такая въская и не ломкая, что противъ нея какъ противъ пушки не устоишь, и казуистика ловкая, но...
 - За что же ее сожгли?
- Да за то, за что въ прежнія времена сожигали на кострахъ самихъ авторовъ подобныхъ сочиненій.

Стожарова передернули эти слова професора.

- Въ наше время, продолжалъ професоръ, автора такого сочинения посадили бы въ кръпость.
 - Кто же авторъ? спросилъ Стожаровъ.
- Въ пакетъ не оказалось его фамиліи; но я думаю, что авторъ-вы.
 - А еслибы и я?
- Въ такомъ случав вы должны молчать объ этомъ, и я бы совътовалъ вамъ перемънить ваши мивнія...
- Митнія не грязное б'єлье, которое можно см'єнить, отв'єчаль Стожаровъ.
 - Ну, такъ я вамъ предрекаю-вы погибнете....

Около этого времени Стожаровъ сблизился съ одною дѣвушкой—и полюбилъ ее. Дѣвушка также горячо къ пему привязалась. Но капризная воля Стожарова не позволила ему установить правильныхъ отношеній къ этой дѣвушкѣ, и онъ какъ-то странно разошелся съ нею, боясь, что эти отношенія уснановятся на общепринятыхъ, рутинныхъ началахъ. Рутину онь считалъ первороднымъ грѣхомъ человѣка. Рутина, по его мнѣнію, а не дерево познанія добра и зла,

была причиною изгнанія Адама изъ рал. Рутина и сѣчетъ человѣка, и моритъ его голодомъ, и подвергаетъ его униженіямъ. Рутина сдѣлала его рабомъ, рутина надѣла ему цѣпи на руки и на ноги. Рутиною жилъ человѣкъ болѣе семи тысячъ лѣтъ и до сихъ поръ бъется изъ за куска хлѣба, когда этого хлѣба могло быть столь же достаточно для питанія людей, какъ достаточно воздуха для ихъ дыханія.

- Такъ вы дъйствительно любите меня! спросиль онъ дъвушку.
- Дъйствительно люблю.
- И я васъ люблю много, очень много... Но вы безъ меня можете жить?
 - Нътъ, не могу
 - А прежде могли жить безъ меня, когда меня не знали?
- Могла, потому именно, что васъ не знала.... Но тогда я не жила.
- Такъ.... Это п миѣ казалось.... кажется даже.... Не можете ли вы жить безъ плщи и воздуха?
 - Странный вопросъ! Конечно не могу.
- II даже не зпая еще меня, не могли жить безъ пищи и воздуха, то есть безъ дыхапія?
 - Да.
 - А безъ меня жили?
 - -- Жила.
 - Такъ следовательно и можете жить безъ меня.
 - Какой вы странный!
- Правда, странный. Но вы меня какого полюбили? Именно страннаго?
- Да страннаго: другаго бы я и не полюбила.
- Помню, помню: вы именно за то и полюбили меня, что я не похожъ на другихъ... А если я стану похожъ на другихъ, вы меня разлюбите?
 - Нътъ... То уже будете не вы.
- Правда. Такъ этотъ странный человъкъ васъ спрашиваетъ, въ полной увъренности, что вы поймете его: есть такіе люди, которымъ не достаетъ пищи и свободы для дыханія?
 - Есть.

- А у васъ есть и то и другое?
- Есть... Какой вы странный.
- Да, странный. . но позвольте: имъете ли вы право ъсть въ то время, когда другимъ ъсть нечего?
 - Имъю, хотя...
 - Хотя вамъ и жаль ихъ-да?
 - Да.
 - И вы бы хотёли помочь имъ?
 - Хотъла бы.
 - Чъмъ же?
 - Я не знаю... Я возьму у маменьки...
 - А своего у васъ ничего нътъ?
 - Ничего... Ахъ, какой вы странный!
- Да, странный... Но чего же вы дадите ъсть тъмъ, кому ъсть нечего?
 - Я буду работать для нихъ.
- Прекрасно.... но вотъ что оказывается: когда мы женимся,
 мы тогда должны уже будемъ работать на дътей.
 - Ахъ, какой вы!... ну чтожъ?
 - А то, что мы прежде должны поработать на другихъ.
 - Что же дальше?
 - Дальше.. Мы должны разстаться.

Дъвушка испугалась, не понимая что съ нимъ.

— До свиданья, сказалъ онъ, —я долженъ идти работать.

Дъвушка ударилась въ слезы. Онъ кръпко сжалъ ея руку, сказавъ: «не забывайте меня, а и... и буду слъдить за вами» — и ушелъ.

Мать дѣвушки, случайно слышившая этотъ разговоръ молодыхъ людей, восклицала въ удивленіи: «да это какой то сумасшедшій! И пошелъ работать—на кого же? на хамовъ!... Вотъ какіе ныньче молодые люди!... Мой женихъ самъ купилъ пятьдесятъ душъ хамовъ, чтобъ они на меня работали, а этотъ самъ пошелъ на нихъ работать да и Вареньку заставляетъ... ну, времячко! Тьфу, прости Господи»!

По окончании курса въ университетъ со степенью кандидата, Стожаровъ бросился въ Европу-поглядъть что тамъ, найдетъ ли онъ тамъ разрѣшеніе своихъ неугомонныхъ вопросовъ и дѣйствительно ли тамъ исторія выработала лучшія отношенія между людьми какъ въ нравственной, такъ и въ матеріальной жизни, чѣмъ тѣ, которыя онъ видѣлъ въ Россіи. Онъ исколесилъ пѣшкомъ почти всю Европу, слушалъ лекцін въ разныхъ университетахъ, приглядывался ко всему, изучалъ все, сравнивалъ, сопоставлялъ, анализировалъ. Но и въ Европѣ онъ видѣлъ почти все то же, что возмущало его въ Россіи: то же неравенство и обидность отношеній между людьми, то же высокомѣріе однихъ и холопство другихъ, ту же скаредность богача и забитость и безправность бѣднаго. На лекціяхъ слышалъ то же, что читалъ въ книгахъ, за то въ книгахъ не находилъ тѣхъ мервостей, какія видѣлъ самъ, на мѣстѣ, въ жизни.

- Ну что, спрашивали его знакомые по возвращении изъ Европы: какое впечатлъние произвела на васъ тамошняя жизнь?
- Разумъется, скверное.
- Чёмъ же?
- Да тамъ тоже что и у васъ въ Кинеший: городничій деретъ носъ передъ обручникомъ, а обручникъ для него же дѣлаетъ кадки къ огурцамъ и унижается. чтобъ городничій позволилъ ему набить на кадку обручь.
- А въ Лондонъ?
- Въ Лондонъ меня чуть не вытолкали въ шею изъ одного яафе за то, что я похвалилъ ръчь Брайта, произнесенную за рабочихъ.
- А рабочіе что?
- А рабочіе приколотили меня за то, что я не выпилъ за здоровье какого то пьянаго боксера.
- А Парижъ?
- Да все та же Кинешма: свой исправникъ, свои чиновникъ, острогъ, оброкъ, лакен да нищіе, только нищихъ больше, чънъ въ Кинешмъ, и называютъ ихъ не «божьими людьми», а пролетаріями.

Но слыша за границей всеобщую ругань на Россію и на русскихъ, онъ воротился на родину съ такимъ тяжелымъ чувствомъ, что не зналъ за что приняться. Послѣ того что онъ видълъ въ Европъ, Россія показалась ему еще безотраднъе и безнадежнъе, и взглянувши попристальнъе на русскіе города вродъ Кинешмы, онъ скоро пересталъ говорить, что въ Кинешмъ и въ Лондонъ одни и тъже порядки, а приглядъвшись и прислушавшись къ тому что дълалось и говорилось въ Россіи, онъ на нѣкоторое время окончательно упалъ духомъ, и только благодаря живучести своей природы оправился духомъ и пришелъ къ убъжденію, что надо же во тчо бы то ни стало дъйствовать, чтобъ было лучше. Но и къ этому убъжденію онъ пришелъ не раньше, какъ побывавши во всъхъ концахъ Россіи, прошедши сквозь огонь и воду и мъдныя трубы.

Огнемъ была для него литературная дѣятельность, и сквозь этотъ огонь прошель онъ въ ту именно пору, когда «Современникъ» былъ въ высшей порѣ развитія своихъ силъ, и когда въ «Русскомъ Словѣ» только что началъ раздаваться рѣякій голосъ Писарева, Добролюбова только что похоронили. Но когда надъ этою журналистикой встряслась бѣда нежданная, — Стожаровъ изъ огня брогился въ воду, въ самый омутъ. Онъ перебрался въ глушь и тамъ думалъ найти примѣненіе своихъ теорій, которыя, ему казалось, онъ выстрадалъ: но и въ глуши ему сказали почти тоже, что когда-то сказалъ ему професоръ.

Все это до того его мучило, что онъ готовъ былъ опять бъжать изъ Россіи—и бъжалъ изъ провинціи опять въ Петербургъ.

- Ну что вы нашли тамъ? спрашивали его друзья.
- Скверно и въ жизни, какъ и въ литературъ, отвъчалъ онъ. Когда перегоръли эти первыя молодыя силы и порыванья, Стожаровъ понялъ, что дёло современныхъ «великихъ людей», о которыхъ онъ мечталъ еще съ дътства, вследствіе того, что отецъ предрекъ ему величіе, такъ какъ мать родила его недоноскомъ оттого, что становому вздумалось пробхать верхомъ на ихъ староств, --состоитъ не въ томъ, въ чемъ состояло дёло тёхъ великихъ людей, которымъ исторія приписывала величіе иногда по ошибкъ, иногда же въ силу того, почему для мелкаго воришки закоренълый убійца и негодяй кажется великимъ человъкомъ. Проходя изъ дътства къ возмужалости, опъ на дорогъ столкнулъ съ пьедестала многихъ великихъ людей, которыхъ прежде считалъ таковыми, и въ своей памити отвель имъ самое нужное мъсто, тотъ бросовый уголокъ, въ которомъ помъщался старостинъ племянникъ Ларька, угодившій въ Сибирь за конокрадство и убійство. За то на этой же дорогѣ онъ встратиль дайствительно великихъ людей, и поняль, что величіе

ихъ следуетъ мерить не всегда темъ аршиномъ, которымъ мерилъ Плутархъ.

Исходной точкой жизни Стожарова съ той поры стала — польза, если и не въ шпрокихъ размърахъ, не въ общечеловъческихъ видахъ, то хоть самая узенькая, хоть бы такая, которая принесла бы счастіе и спасеніе Ларькъ, укравшему у его отца пътаго иноходца, на которомъ маленькій Грища иногда переходилъ черезъ Рубиконъ.

Полагаю, что этихъ свъденій о Стожаровъ будетъ достаточно на первый разъ.

Я сказаль, что съ Стожаровымъ находился другой пасажиръ, молодой человъкъ лътъ за двадцать, съ длиниыми черными волосами. Сначала никто на пароходъ не зналъ, кто этотъ молодой человъкъ, хотя Стожаровъ, въ обращения съ нимъ, называлъ его «Надей», что всъхъ приводило въ недоумъніе, и нъкоторые изъ пасажировъ предположили даже, что это переряженная дівушка, вроді дівнцы Пустовойтовой или Инны Горобець въ романъ Клюшникова «Марево». «Ты, Надя, болатешь вздоръ» или «ты, Надя, еще не видала этого» — говорилъ иногда Стожаровъ этому молодому человъку. Нъкоторые даже полагали, что это агенты какой-нибудь революціонной асоціаціи или польскаго жонда. Вхавшій на пароход'в столоначальникъ одной дворянской опеки, ръшился даже донести своему исправнику, что такъ и такъ, молъ, въ поволжьв свются ковы и что разъвзжаетъ де какая то Надя въ панталонахъ и сюртукъ.... Меня самаго заинтересовала эта личность, и за свъденіями о ней я обратился къ Музъ, къ моей старой знакомой. Хотя миъ и совъстно сознаться, что я знакомъ съ этой женщиной, знакомство съ которой въ наше время не дълаетъ чести порядочному человъку, однако я все-таки иногда пользуюсь услугами этой женщины. Читатели, въроятно, догадываются, что я говорю о той женщинъ легкаго повсденія, которая находилась въ связи со всёми сочинителями, начиная отъ слъпаго и стараго Гомера и кончая безбородыми писателями-мальчишками. Эта греческая старушка - большая сплетница, но за то она все знаетъ, все слышитъ и все видитъ, и для того, чтобы все знать, унотребляеть иногда непозволительныя средства, какъто подслушиванье, подглядыванье, похищение чужихъ документовъ, карманничество и проч. Иныхъ своихъ любовниковъ она возвеличила

и прославила, другихъ сдёлала нищими, третьихъ посадила въ остроги, въ кръпости, гдъ иногда и посъщаетъ ихъ тихонько.

- Муза! сказалъ я, обращаясь къ старушкѣ (съ нею всѣ обращаются фамильярно, на ты).
- Что, голубчикъ? отвъчала она.
- Узнай, пожалуйста, кто этотъ молодой человъкъ, съ длинными волосами?
- Хорошо, дружечекь, отвъчала старушка, вздохнувь; такъ когда-то бывало спрашивалъ меня старикъ Гомеръ: «Муза, повъдай миъ о томъ-то», «Муза, скажи миъ о томъ многоопытномъ мужъ»— это объ Одиссеъ и я все бывало разскажу ему, все повъдаю.... О-о-охо! времена-то ныньче ужъ не тъ....

Но все-таки старушка побѣжала къ тому мѣсту, гдѣ сидѣли разговаривавшіе пасажиры, которые приняли ее за монашенку, собиравшую на монастырь; постояла около нихъ и вернулась ко мнѣ съ бумажникомъ, который она утащила изъ кармана младшаго изъ пасажировъ.

- Украла-таки! сказалъ я.
- Взяла на минуточку, голубчикъ... опять положу.

Я развернулъ бумажникъ. Въ немъ находилосъ удостовъреніе, выданное отъ инспектора одного изъ университетовъ, что студентъ Павелъ Серпороевъ отпущенъ къ роднымъ на вакаціонное время.

- Такъ это студентъ Серпороевъ?
- Да, мой другъ.

Муза стала копаться въ бумажникъ Серпороева и вынула оттуда листокъ розовой бумажки. — «На, прочти это, голубчикъ», сказала она мнъ, подавая листокъ.

Я прочелъ слъдующее:

«Хотя ты объщалъ писать мив, мой дорогой Павелъ, однако, вотъ уже два мъсяца, какъ ты уъхалъ къ роднымъ, и отъ тебя нътъ ни одной строчки. Гдъ ты, что съ тобой, отчего это странное молчаніе — все это такіе вопросы, которые мучатъ меня днемъ и ночью, которые задаются помимо моей воли, стоятъ передо мною какъ страшныя привидъпія, гдъ бы я ни была, что бы ни дълала, о чемъ бы ни думала. Уже одна разлука съ тобой казалась мнъ не переживаемою — и я должна была пережить ее, и пережила, удив-

ляясь только живучести человъка, который не только живетъ подъ обухомъ, подъ обрушившимися на него горами, подъ пытками-но и подъ тяжестью такихъ мукъ, которыя въ состояніи задавить все, что только есть самаго сильнаго на землъ... А меня эти муки не задавили, я все вынесла, я только похудёла, сосредоточившись въ себъ самой и сосредоточенно работая. Но оказалось, что всякая, даже самая тяжелая мука можеть увеличиваться до безконечности, а за ней следують новыя муки, еще тяжелейшія. Ведь это все равно что человъка измученнаго, избитаго, несчастнаго повъсить, со всёми муками ожиданій и предварительныхъ приготовленій, рыть это повѣшенное, умершее тѣло, а потомъ вырыть на гругой день, оживить или полуоживить для того только, чтобъ оно могло чувствовать всю силу страданій, а тамъ снова вдёвать его шею, уже потертую веревками, во вчерашнюю петлю, снова затягивать эту петлю медленно, медленно, чтобы качалось и корчилось въ конвульсіяхъ пов'єщенное тело, а тамъ опять вынимать изъ петли и готовить въ петят, и опять вышать, и опять вызывать въ тель предсмертныя подергиванья... И такъ день за день, часъ за часомъ-да когда же конепъ!

«Но не подумай, мой милый, что я малодушно и сразу отдалась моимъ мукамъ. Я старалась не думать о тебѣ, не вспоминать твоихъ словъ милыхъ, обаятельныхъ, твоихъ ласкъ жгучихъ и мучительныхъ. Всю жизнь моего сердца я силою перетянула въ мою голову, въ мой мозгъ— я работала до отупѣнія, читала до боли глазъ
и головы, писала до судорогъ въ пальцахъ, я приготовилась къ
экзаменамъ и увѣрена, что выдержу ихъ блистательно; но все мое
тѣло думало о тебѣ, мои разбитые нервы съ какой-то болѣзненной
дрожью тянулись за тобой—и по ночамъ въ безсонницѣ, меня обступали мои муки, мои думы, мои палачи лютые, и начиналось это
вѣшанье и выниманье моей шеи изъ петли, и это зарыванье моего
разбитаго тѣла въ могилу, а тамъ новая раскопка могилы, новое
захлестыванье петли за шею, новое вздергиванье повѣшеннаго, новая агонія и смерть, а тамъ опять тоже, тоже!

«Я встрѣчалась съ твоими товарищами и спрашивала о тебѣ— они тоже ничего не знаютъ.

«Скоро начнутся лекціи въ университеть. Я жду тебя. Я хочу,

чтобы ты видълъ, какъ я буду сдавать мои экзамены, и похвалилъ бы меня. Иди же скоръй ко мнъ, не мучь меня больше: право весь запасъ моихъ силъ истощился.

Твоя В.»

Вотъ все, что я могъ узнать о второмъ изъ нашихъ пасажировъ, о младшемъ, именно о студентъ Серпороевъ.

- Отчего же Стожаровъ называетъ его «Надей»? спросилъ я Музу.
- Да въ шутку, другь мой: видишь ли, Стожаровъ не надъется, чтобы Россія была лучше, пока въ ней остаются многіе старые порядки, старые люди и старые предразсудки, а потому думаеть, что измѣнить Россію къ лучшему предназначено было молодому поколѣнію, которое онъ и называеть «надеждою» Россіи. Оттого и Серпороева онъ называетъ «Надей»... 0-о-охо! все это такъ было во всъ времена: такъ, бывало, старикъ Геродотъ называлъ падеждою Греціи маленькаго Фукицида, который, уткнувшись носомъ въ кольни своего отца, разливался-плакаль, когда мой милый Геродотинька читалъ свою исторію... И все-то это прошло, все миновалось, а люди все быются изъ-за того, чтобы было лучше жить на свътъ, чтобы меньше ихъ били, чтобы меньше лилось слезъ... А слезы все льются и старые по прежнему называютъ младшихъ «Наденьками».... Вотъ и мои соотечественники, греки, плачутъ отъ турецкаго ятагана, и быотся съ турками, а что дальше будетъ, скоро ли перестанутъ люди ръзаться, скоро ли поумнъють люди - этого даже я не знаю.

Сказавъ это, она взяда изъ рукъ моихъ бумажникъ Серпоросва и незамътно опять положила его въ карманъ студента.

Третій изъ пасажировъ, котораго мы, по наружнымъ признакамъ, назвали «красной курткой» и который читалъ Спенсера, былъ сынъ богатаго купца раскольника, Василій Парменовичь Гридневъ. Онъ получилъ образованіе въ одномъ изъ высшихъ учебныхъ заведеній, много їздилъ по Россіи и за-границей по торговымъ дёламъ отца, много читалъ и передумалъ едвали не больше, чёмъ многіе изъ передовой молодежи, потому что пріобрётенныя имъ знанія и усвоенныя имъ, по лучшимъ современнымъ учителямъ, уб'яжденія—встрётились

съ другаго рода знаніями и съ другаго рода убъжденіями старика отца. Въ этой борьбъ двухъ покольній — отживающаго и только что начинающаго жить на Руси, въ сопоставленіи тепденцій «Домостроя» съ доктринами Прудона; Молешота и Дарвина — окръпло въ молодомъ Гридневъ то, что засъло въ его гелову прочно и оперлось на прочный фундаментъ, и пошатнулось то, что росло въ немъ безпочвенно и могло шататься.

- Нътъ, батюшка, какъ хотите, а отъ этого я не отступлюсь, говорилъ иногда молодой Гридневъ, отстаивая свои убъжденія.
- Смотри, Василій, чтобы я отъ тебя не отступился.
- Какъ хотите, батюшка: для васъ дорога Макрида-начетчица, для меня дороги Бокль и Спенсеръ.
- Не груби, Василій!
- Я не грублю вамъ, я только не хочу быть похожимъ на тъхъ купеческихъ сынковъ, которые върятъ Макридъ-пачетчицъ, а между тъмъ проматываютъ отцовскія деньги на цыгапокъ, да быютъ зеркала по трактирамъ, Я веду ваши дъла хорошо.
 - Да, ты не мотъ, а вольнодумецъ.
- Что-жъ мнѣ дѣлать, батюшка, когда я знаю то, чего вы не знаете.
 - Что-жъ это ты такое знаешь, чего я не знаю?.. Говори.
- Разомъ всего этого объяснить нельзя, батюшка; а вы перечитайте все, что я перечиталь, тогда не то скажете.
- Плевать я хотъть на всь твои книги! Да и тебь бы не знаться съ ними: пусть бы ужъ дворяне, отъ нечего дълать, читали ихъ... А по моему, такъ всь эти книги въ огонь...
- А по-моему, батюшка, такъ всѣ ваши книги—въ огонь...

Отецъ вскочилъ со стула и поднялъ палку.

- Я тебя убыю, щенокъ, за такія слова!
- Не убивайте, батюшка, я лучше такъ уйду отъ васъ: я найду себъ работу вездъ, а васъ не стану огорчать.

Старикъ испугался. Сынъ былъ его лучшій совътникъ и дълецъ.

— То-то же! моя плоть и кровь, да меня же и кусаетъ.

Сынъ молчалъ, собираясь уйдти.

 Оставайся, сказалъ старикъ, — только смотри, чтобъ до матери не дошли твои рѣчи, а то намъ обоимъ будетъ худо.

«Ужъ и что это за сердце золотое у моего Васюшки, говоритъ своимъ пріятельницамъ, богомольнымъ кумушкамъ, мать Гриднева, -ужъ такого сердца я отродясь не видала, -- мухи не обидитъ, -- не то, что отецъ: тотъ, коли что не по-немъ, такъ и съ Господомъ-Богомъ наровить зубъ-за-зубъ, только кудаки сжимаетъ да на кіоту ноглядываетъ, словно-бы онъ не проситъ, а грозитъ. А этотъ-ровно дъвушка храсная: нищій придеть — нищаго наградить; прикащикъ провинится — прикащика выгородить, и со мной такой ласковый да тихій. Ни буйства за нимъ, ни озорства: живетъ у насъ онъ, словно свъчечка воскояровая передъ Господомъ-Богомъ въ кіотъ теплится. Все бы онъ книжки читалъ, только та бъда, что книжки-то онъ читаетъ все новыя да незнакомыя. А когда мать Макрида придетъ, да заговорить о чудесахъ угодниковъ божінхъ, да какъ люди въ скитахъ святою жизнію подвизаются, онъ, Васюшка-то, слушаетъ, слушаетъ это, словно-бы и съ сокрушеніемъ, и съ воздыханіемъ — а тамъ, глядь, и улыбнется тихонько, да такою какою-то усмъшкою, ровно онъ тебя этою самою усмъшкою за сердце ущипнетъ али у него у самого сердце оть боли перевернется...»

- У Гриднева не сынъ, а чертъ, говорятъ кулаки-купчики.
 - А что? спрашиваютъ другіе.
 - Да тихъ больно и укладчивъ: безъ мыла въ душу влезетъ.
- И то правда: говорить съ тобой, словно у тебя въ душт побывалъ, да вст конурки тамъ высмотрълъ, вст твои мысли руками перебралъ да перенюхалъ да перещупалъ... Такой окаянный!
 - А дъло знаетъ.
- Что и говорить! дёло-то знаетъ, да Бога, говорятъ, не знаетъ. Оттого, когда онъ, таперича, говоритъ съ тобой, да душу твою руками переминаетъ, такъ это у него изъ глазъ точно змёя выглядываетъ... Вотъ какіе нынъ купцы-то бываютъ!

with the first of the property of the second

Пароходъ, между тѣмъ, двигался все дальше и дальше, вверхъ по Волгѣ, съ приличною русскому пароходу скоростью. Колеса его продолжали ревностно загребать воду, не зная усталости и не требуя за трудъ свой никакого вознагражденія. Машина дышала тяжело, какъ бы силясь сказать глазѣвшимъ на нее мужичкамъ:—что, любо вамъ смотрѣть, какъ я за всѣхъ за васъ работаю на барщинѣ, Кланяйтесь же мнѣ въ ножки: безъ меня вы бы тянули на своихъ плечахъ эту махину до гробовой доски... А мужикъ ее же ругаетъ: «Ишь она, окаянная, какъ иыхтитъ!»

- Опа! говоритъ Супоня укоризненно, эхъ ты, мужикъ!
- А что? спрашиваетъ мужикъ.
- А то что не она пыхтить, а онг.
- Ой-ли?
- То-то же! Кабы не онт—не пошла бы.
- Кто-жъ онъ?
- Самъ дъдушка.
- Водяной?
- Како́ водяной!.. Самъ.... Оттого и пыхтитъ, умаялся, сердечный.
 - Что ты говоришь, паря?
- Дѣло говорю! А то поди-ко на! Окаянная... Дастъ онг тебѣ за это слово.
 - Я ево, паря, не ругалъ, я машину.
- А въ машинъ кто-жъ сидитъ, коли не опъ? Все онъ!... Времена нынъ не тъ: прежде, вонъ, его въ кувшины сажали, а нынъ на барщинъ заставляютъ работать...
- Ужъ и подлинно времена!
 - Скоро заставять его улицы мести, оброкь платить.
- Что ты, кавалеръ! Вотъ кабы за насъ... А кто-жъ землю будетъ пахать?

- Онъ же, все онъ... машинами, знать... А его въ машину посадятя, она и будетъ работать... Ужъ нынъ все машинами...
 - Ну времена!.. А что-жъ мы-то будемъ дёлать, коли все онъ?
 - Мы то? Знамо-воевать да добро наживать.
 - Ну ужъ этого, кавалеръ, не моги... Намъ-то для че воевать?
 - Сказано, для отечествія.

Мужикъ почесалъ въ затылкъ. Разглагольствованія Супони о явленіяхъ нашего времени видимо были ему не по сердцу.

- Такъ ты баншь времена? спросиль онъ, глядя куда-то въ сторону.
 - Времена, сказалъ Супоня, и плюнулъ.

А пароходъ между тъмъ шелъ все дальше и дальше. По объимъ сторонамъ Волги проходили мимо него то высокіе изломы покрытыхъ зеленью горъ, то серожелтые обрывы, то песчанныя отмели левобережья съ тальникомъ, осинникомъ и ветлянникомъ. Картины все скромныя, однообразныя, хотя въ этомъ однообразіи нельзя было не видъть грандіозной размашистости, съ которою невидимый художникъ набрасываль на эти картины то неуклюжіе обрывы, по которымь можно проследить все наслоенія земной коры, то высокіе курганы, то искривленный и цъпляющійся за обрывы дубнякъ, то синюю безбрежную даль, такую раскидистую, что воть такъ и кажется, будто художникъ-природа, создавая ее, сказалъ всему окружающему: «сторонись дальше все на чемъ можетъ остановиться глазъ человъческій! Сторонитесь дальше, горы и пригорки, лёсь и курганъ и вы, жалкія избенки б'єднаго народа! Я хочу, чтобъ вышла только ширь и даль, небо и земная гладь, такая гладь, чтобы тоска хватала за сердце глядя на нее»... И тоска дъйствительно хватала за сердце при взглядё на эту гладь заволжскую, надъ которой только бёлый лунь плаваль въ воздухъ; расправивъ свои крылья въ видъ креста падмогильнаго. А тамъ изъ-за пригорковъ выбъгали по временамъ скромныя деревеньки съ искривленными и законтълыми избенками, съ неуклюжими клътями и клътушками, съ бълоголовыми и босоногими ребятициками, бъгавшими по берегу ръки, которая служила имъ и ихъ отцамъ кормилицею и поилицею, а нерѣдко и могилою. Иногда на серединъ ръки показывался плотъ, едва замътный надъ поверхностію воды и двигавшійся такъ медленно, что, казалось, нужны цівлые годы, чтобъ онъ дошелъ отъ Ветлуги или Камы до Астрахани. и на этомъ плоту виднълись фигуры, не то люди, не то воротовые столбы и кокорникъ. А тамъ опить откуда-нибудь выползала на берегъ, съежившаяся въ междугоры, сърая деревенька, съ сърыми, двигавшимися по ней людьми, съ сфрыми крышами, съ зеленъющими вокругъ озимями и съ одинокимъ, искривленнымъ крестомъ на отшибъ, обозначившимъ, что подъ нимъ табютъ кости бурдака, двадцать лътъ топтавшаго своими размочалившимися лаптями и исцарапанными объ острые камии ногами безконечный бичевникъ Волгиматушки отъ Астрахани до Рыбинска и на двадцать-первый годъ умершаго подъ тяжелой лямкой и похороненнаго, какъ говорится, безъ попа - безъ савана, безъ воску - безъ ладону, горемыками-товарищами, завернувшими покойника Ванюху въ непутящую рогожину и понесшими вповъ Вонюхи и малымъ дътушкамъ сироткамъ паспортъ батюшкинъ, батюшкино благословение да въ тряпицъ десять полтинъ съ полтиною.... И тянутся мимо парохода эти грустныя картины долго, долго, и надрывается сердце глядя на нихъ, и невольно приходять на мысль слова, навъянныя поэту этими самыми картинами:

Эти бъдныя селенья,
Эта бъдная природа,
Край родной долготерпънья,
Край ты русскаго народа!

Иногда задымится вдали пароходная труба.... Дымъ все ближе, ближе.... Видна черная точка съ посящимся надъ нею облачкомъ дыма.... Черная точка увеличивается, очертанія дѣлаются явственнѣе... Точка становится пароходомъ, и видно, какъ неустанные бурлаки новаго времени, пароходныя колеса загребаютъ и пѣнятъ воду.... И проносится пароходъ мимо, всколыхнувъ поверхность рѣки и какъ бы силясь сказать встрѣчному пароходу: «некогда миѣ, мой другъ, съ тобою поздороваться... Люди генятъ меня, люди сиѣшатъ жить—вѣдь такъ мало дано имъ этого наслажденія, а надо успѣть и то сҳѣлать, и другое увидѣть, и падъ третьимъ поплакать... Прощай же, до свиданья»!..

— Фу! да какая же тоска глядъть на все это! говорилъ Стожа-

ровъ, снова показываясь на палубт парохода и оглядывая Волгу съ берегами.

- На что? спрашивалъ Серпороевъ.
- Да вотъ на эти жадкія картины, на эту пустынность, на эту бъдность.
 - Что, върно, Некрасова припомнилъ:

Словно какъ мать надъ сыновней могилой,
Стонетъ куликъ надъ равниной унылой,
Пахарь ли пъсню вдали запоетъ,
Грустная пъсня за сердце беретъ.
Лъсъ ли начнется—сосна да осина:
Не весела ты, родная картина!...

- Нътъ, не то.... А вотъ пустынность эта душитъ меня.... Вмъсто богатыхъ городовъ, которые должны бы встръчаться на каждомъ десяткъ верстъ, вмъсто богатства и довольства, вмъсто кипучей дъятельности, какъ въ любой мъстности западной Европы, хотъ бы на Рейнъ, я вижу только эти раскиданныя по берегу хижинки, напоминающія шалаши дикихъ, эту глушь, это безлюдье.... Точно мы и не начинали жить.... Отъ города до города сотни верстъ, да и какіе города!... Скучно!
- Времена, все времена прахъ бы ихъ побралъ! ворчалъ мужичекъ, проходя мимо Стожарова и тоже оглядывая Волгу съ берегами.
- Вотъ и онъ о временахъ толкуетъ, сказалъ Серпороевъ, указывая на мужичка.
- Слышу, отвъчалъ Стожаровъ; только онъ ругаетъ ихъ, кажется, за что-то, а самъ того не замъчаетъ, дуралей, что ходитъ въ сапогахъ и ситцевой рубахъ и ъдетъ на пароходъ, тогда какъ отецъ его навърное изъ лаптей и поскони не вылазилъ и по Волгъ ъздилъ бичевой.

Проходя далѣе по палубѣ, они увидѣли, что пожилой мужикъ, довольно почтенной наружности, сидя подъ тентою и опершись спиною о стѣнку рупки, читалъ какую-то небольшую книжку. Чтеніе, по видимому, поглощало все его вниманіе.

- Посмотри, замѣтилъ Серпороевъ Стожарову, съ какимъ усердіемъ рыжая борода что-то читаетъ: должно быть сказку о семи Семіонахъ.
 - Не думаю.... Скоръй о чудесахъ Тихона или Митрофанія.
 - А любопытно, однако, посмотръть.

Они подошли и усклись не далеко отъ рыжей бороды. Борода продолжала читать шопотомъ, но такъ, что некоторыя слова можно было разслышать. Эти слова были: «уёздныя собранія» и «не позже сентября»... «губернскіе гласные», и т. п.

Стожарова сильно заинтересовала рыжая борода, и онъ старался заговорить съ ней. Скоро они свели разговоръ на книгу, которую читала борода.

- Что это у васъ за книга? спросилъ Стожаровъ.
- Да это, батюшка, земское положение у меня, отвъчала борода.
 - Положение о земскихъ учрежденияхъ?
 - Оно самое.
 - Что же вы читаете?
- Да вотъ купилъ... надоть прочесть все, пообзнакомиться... А безъ того въ собраніи какъ въ темномъ лъсу.
- - Въ какомъ собраніи?
- Да хоть бы въ утвеномъ, али губернскомъ.
- Вы развѣ гласный?
- Гласный, батюшка, и въ ужэдѣ гласный, и въ губерніи гласный.... Трудненько это, да нечего дѣлать: надо сполнять мірскую волю тягота-то общая. Оно бы и ничего, пожалуй, когдабъ мы были грамотные, а то... боязно.
 - Да въдь вы же грамотный, читаете.
- Какая наша грамота? Стыдно и признаться какъ ее, этой грамоты-то, добился я.
 - А что?
- Да то, батюшка, что надо-мной стряслась такая пословица, что и сказать нельзя.
- Какая же это пословица?
- Старинная... Слыхали вы, можетъ, присловье: «яйца курицу не учатъ»?

- Слыхалъ.
- То-то и я съ дътства его слыхивалъ, отъ родителей царство имъ небесное узналъ, и върплъ этому присловью... А нынъ все выходитъ наоборотъ времена не тъ настали: все то старое ни къ чему стало не пригодно.
- Въ чемъ же дѣло?
- Да то, что нонъ «яйца курицу учатъ»... Я самъ, родимый, эта курица.
- Я не совстви понимаю васъ, сказалъ Стожаровъ, не зная къ чему клонитъ борода.
- Я вамъ растолкую... Вы говорите, я грамотный? Такъ я вамъ на это скажу, что грамота мнъ съ большимъ стыдомъ далась.
 - Что же, вы плохо понимали?
- Видите ли, прожилъ я свой въкъ темнымъ человъкомъ, и дъла свои вель безъ грамоты. Богъ меня достаткомъ не обидълъ, семья моя рабочая, такъ я и въ торги пускался, и бумажныя дёла доводилось иметъ. А где бумага, тамъ и рукоприкладство. Въ старинуто мы, бывало, коли рукопривладство давать, такъ и дашь руку доброму человъку, онъ за тебя и распишется. Случалось и такъ, что дадуть тебъ въ руку перо, и велять поставить крестъ подъ бумагой. Ну. съ трудомъ, кое какъ, а поставищь. А что это за рукоприкладство? Твой ли это крестъ, мой ли-кто его узнаетъ? крестъ у всёхъ одинъ. Вогъ и выискался добрый человёкъ, научилъ меня подписывать: Парменъ Прокофьевъ Ногинъ. Я и подписывался, и слылъ я за грамотнаго. А какъ вышли эти земскіе порядки и міръ меня выбраль гласнымъ, я и очутился въ собраніи какъ въ темномъ лѣсу, и всякая-то бумага казалась тебѣ звѣремъ лютымъ, а законъ, да эти уставы, да положенія еще страшнёй того... Пришлось на старости леть за указку садиться. Ну, и сталь я тогда курицей.
 - Какъ же это?
- Да вотъ какъ, слушайте. Есть у меня паренекъ махонькій, Кузя, внучекъ. Вострый такой малецъ. Какъ земскіе-то порядки пошли, открыли это у насъ земскую школу. Учатъ не учителя, а учительницы, барышни. Ужъ такіе мастерицы своего дъла, что и сказать нельзя. Паренекъ мой ходилъ въ эту самую школу, учился хо-

рошо, читалъ бойко, и писать умъетъ. Я и заставлялъ его читать при себъ, такъ всякія книжки, какую ни дай, сразу и уразумълъ. И дивился я моему пареньку. Вотъ онъ и говоритъ: дъдушка! «Что?» говорю. «Дай я тебя поучу, говорить, книжки читать». Засмъядся я-чудно мит стало, какъ это клопъ такой станетъ дедушку учить. Даже стыдно стало. «Какъ же ты, говорю, постреленовъ учить меня станешь? Не съ указкой же мив сидъть подъ старость». «У насъ, говорить, дъдушка, безъ указокъ учатъ». - «А какъ же?» говорю. «Пальцемъ», говоритъ. «Ну, говорю, а съчь дъдушку будешь, коли что не уразамъю?» «Нътъ, говоритъ, у насъ не съкутъ»... Ну, п начали мы учиться. Посажу и это Кузьку къ себъ на колъни, возьметь онъ азбуку, и показываеть мит пальчишкомъ-то своимъ, что какъ называется. Я и говорю: «нътъ ужъ, Кузя, знать мнъ несуждено грамотнымъ быть-память слаба становится». - «Нътъ, говорить, дъдушка, попробуемъ... А коли выучу тебя, говорить, что дашь?» - «Не выучишь, говорю, молодое деревцо легко принимается, а старый пень, какъ ни поливай, на новомъ мъстъ не зацвѣтетъ».

Стоптъ паренекъ на своемъ—выучу да выучу. «Учи», говорю. — «А что дашь»? пристаетъ. — «На пряники», говорю, «дамъ». — На пряники мнѣ, говоритъ, и мамка дастъ, а ты что, дѣдушка, дашь»? — «Ну, говорю, что хошь, то и дамъ». — «Отдай меня въ гимназію», говоритъ. Вотъ каковъ пострѣленокъ! Куда захотѣлъ! «А Кузькину мать», говорю, «знаешь?» — «знаю», говоритъ. — «То-то же!» говорю—и пригрозилъ ему.

- За что же, когда мальчикъ хочетъ учиться? спросилъ Стожаровъ.
- Такъ-то, такъ! ученіе свѣтъ, неученіе тьма; да нашему-то брату крестьянину нужна грамота, а не гимназія. Прежде хлѣбъ, а тамъ и медъ, а за медомъ погонишься, въ голодѣ насидишься.
 - Ну, такъ какъ же ваше ученіе?
- Такъ и пошло: сидить это у меня учитель на колфияхъ, въ бородъ моей копается, и учитъ... Стыдно спервоначала было, ни кого къ себъ въ свътлицу не пускалъ, когда учились, а тамъ привыкъ. Правду говорилъ Кузька: грамота далась миъ, и вотъ я теперь самъ читаю положеніе. Вотъ вамъ и пословица!

- Какая пословица?
- Да говорять: русская пословица въкъ не сломится. А на миъ вонъ сломилась.
 - Да, правда ваша: не всякая пословица къ дълу идетъ.
- И я тожъ говорю теперь: думаль, что яйца курицу не учать, анъ вышло наоборотъ: учатъ! Наши внуки стали насъ учить: вотъ они времена-то!

«И этотъ говоритъ о временахъ», подумалъ Стожаровъ, и улыбнулся. Ему тотчасъ же припомнились «Отцы и Дѣти» Тургенева и цѣлая литература трактатовъ о нихъ «И тутъ, думалъ онъ, таже исторія, и тутъ отцы и дѣти, и тутъ тѣже нигилисты и ихъ противники, таже борьба молодаго съ старымъ, и у нихъ свои Чернышевскіе, Добролюбовы, Писаревы, свои Тургеневы, даже свои Аскоченскіе и Всеволоды Костомаровы—все тутъ есть, что есть и у насъ, и борьба класицизма съ реализмомъ, и отрицаніе искуства, и предпочтеніе хорошо сшитыхъ сапоговъ Байрону»...

- А какъ идутъ дъла вашего земства? спросилъ Стожаровъ послъ этого раздумья.
 - Идутъ помаленьку.
- А налогами не тяготитесь?
- Тяжеленько бываеть, да что дёлать, коли налоги идуть на доброе дёло? Только дай Богъ, чтобы все было на пользу, а ужъмы поприжмемся.
- Съ дворянами-то ладите ли вы? Не гнутъ ли они на свою сторону?
- Кто-жъ себъ врагъ? Въстимо всякій гнеть на свой бокъ, безъ этого нельзя. А ладить—отчего не ладить, Да есть и межъ благородными такіе, что наши выгоды блюдутъ, хоть и круто имъ приходится отъ иныхъ дворянъ за это. Вотъ и въ прошломъ году у насъ такой случай былъ.
 - Какой случай?
- А вотъ какой. Есть у насъ одинъ гласный, изъ чиновниковъ онъ, а не изъ помѣщиковъ—такъ всякій тебѣ разъ у него война либо съ предсѣдателемъ, либо съ другими дворянами. Въ прошлоето собраніе такую кашу заварили, что и до сихъ поръ не расхлебаютъ. А все изъ за двухъ только словъ—смѣшно оно даже.

- Изъ-за какихъ же словъ?
- Да все изъ за узкаго да изъ-за русскаго.
- Какъ это изъ-за узкаго «да изъ-за русскаго?» Я не понимаю.
- А вотъ какъ, батюшка. Это исторія занятная и смѣху подобная. Этотъ-то гласный изъ чиновниковъ, что наши выгоды блюдетъ, дока говорить—за словомъ въ карманъ не полѣзетъ. Языкъ точно бритва—не рѣжетъ, такъ до чиста брѣетъ, а бываетъ такъ, что и до крови порѣжетъ. Вотъ этимъ-то языкомъ своимъ да несутерпчивостью онъ и не угоди предсѣдателю: предсѣдатель-то его осаживаетъ, а тотъ свое рѣжетъ. Тотъ говоритъ, замолчи, а этотъ говоритъ—не замолчу. Ну, такъ у нихъ за всегда война и велась. Предсѣдатель и говоритъ ему:
- Вы, говоритъ, крестьянъ бунтуете.
 - Нътъ, говоритъ, не бунтую.
- Нѣтъ, бунтуете! Вы, говоритъ, возстановляете одно сословіе противъ другаго.
- Нътъ, говоритъ гласный, я никогда не возстановлялъ одного сословія противъ другаго.
- Вы, говоритъ, предсъдатель, такъ дъйствуете, что возстановляете.
- Нётъ, говоритъ гласный, такъ понимать мои действія могутъ только узкіе, тупые умы.
- Ну, ладно. Сказалъ онъ эти слова—и сълъ. Мы пичего. Предсъдатель тоже пичего. А говорилъ это гласный не по памяти, а по бумагъ: раньше, значитъ, у него это заявленіе было написано. Прочитавши заявленіе, онъ и подалъ его предсъдателю, а тотъ велълъ пріобщить его къ журиалу... Ладно!.. Слушайте же, что изъ этого вышло. Собираемся мы на другой день въ собранье. Сидимъ, ждемъ что будетъ. Предсъдатель и говоритъ гласному что заквленіе-то наканунъ подалъ:
- Вы, говорить, милостивый государь, оскорбили вчера весь русскій народъ.
 - Чѣмъ, говоритъ гласный, я оскорбилъ весь русскій народъ?
- А тъмъ, говоритъ, что вы всъхъ русскихъ назвали тупыми умами.

- Неправда, говоритъ гласный, никогда я этого не говорилъ.
- Нътъ, говорили: все собрание слышало.
- Какъ же я сказалъ? спрашиваетъ гласный.
- Вы сказали: такъ понимать мон дъйствія могутъ только русскіе тупые умы.
- Я этого не сказаль, говорить гласный.—Я сказаль—«узкіе тупые умы», а не «русскіе».
- Нѣтъ, говоритъ предсѣдатель, —вы сказали русскіе, а не узкіе, это всѣ слышали.
- Я очень хорошо слышаль, какъ онъ говориль, говорить другой гласный,—и сидёль позади его, и слышаль, что онъ сказаль узкіе, а еслибъ онъ сказаль русскіе, я бы остановиль его.
 - Я слышаль, что онъ сказаль *русскіе*, говорить третій гласный.
- И я своими собственными ушами слышаль, что онь сказаль русские тупые умы, говорить четвертый гласный.
- А я слышаль явственно, что онъ сказаль *узкіе*, говорить пятый.
- Ну и пошла исторія. Тотъ говорить узкіе, этоть—русскіе, просто, я вамъ скажу, ума помраченье! Одинъ говоритъ, что, дескать, такого и слова нъть-«узкіе умы», что такъ по-русски и сказать-де нельзя, потому-де, что можно сказать «узкіе сапоги», «узкій ситець», а «узкій умь» — эдакь-де нельзя сказать. Другой говорить, что онъ непремънно сказалъ «русскіе тупые умы», а не «узкіе», что-де это оскорбленіе Россіи, русскаго народа, что такъ-де могъ сказать только полякъ и что самый-де гласный этотъ изъ поляковъ, что-де и фамилія его польская... А гласный-то этотъ, я вамъ скажу, чиновникъ-то, изъ поповичей, оттого и фамилія его смахиваетъ на польскую... Ну, такъ вотъ всѣ и заголдили - «русскій», «узкій», «русскій», «узкій»!... И раздълилось все собраніе на двъ части: одна-то часть за «узкихъ», другая-за «русскихъ», и тъ, что говорили, будто тотъ гласный сказалъ «русскіе тупые умы», написали протестъ, чтобы-де такого вреднаго гласнаго исключить изъ собранія. Соблазнъ вышелъ такой, что и разсказать нельзя! У меня даже, я вамъ скажу, голова кругомъ пошла: сижу да все про себя твержу: «русскіе», «узкіе», «русскіе», «узкіе» -- и смѣхъ, и горе! И вспомнилась мит тутъ наша мужицкая сказка: идетъ му-

жикъ въ синемъ кафтанъ и красныхъ сапогахъ, а ворона летитъ и кричитъ: синь кафтанъ! Мужику послышалось: «скинь кафтанъ»!— онъ взялъ да и скинулъ. Далъ ворона кричитъ: — красны сапоги! Мужику послышалось — «крадены сапоги», онъ взялъ да и сапоги скинулъ. Такъ-то и намъ послышалось «скинь кафтанъ» — мы взяли да и скинули кафтанъ и сапоги. Онъ-то говоритъ: «узкіе тупые умы», а намъ слышится — «русскіе тупые умы». Вотъ изъ-за этого самаго и вышла вся бъда. — Когда шумъ-то поутихъ маленько, гласный и говоритъ:

— А посмотрите, господинъ предсъдатель, мое заявленіе: тамъ ясно написано — «узкіе тупые умы».

А предстадатель ему на это (посмотртвши въ заявленіе):

- Тутъ-де написано по подчищенному: «узкіе», а видно-де, что было написано: «русскіе».
- Кто же это, говорить гласный, —подчистиль? Я-де вамъ вчера въ руки передаль мое заявленіе, а тамъ было написано не по подчищенному «узкіе». Да я-де и не могъ написать «русскіе тупые умы», потому-де, что это самое я въ прошломъ году написаль шефу жандармовъ, а у него-де вы можете справиться въ канцеляріи правду ли я говорю.... Такъ кто-жъ это подчистку сдѣлалъ?... Это, говоритъ, подлогъ, преступленіе.

И пошла и пошла писать! Мнт инда моторошно стало, въ ушахъ шумъ: сижу, да все про-себя твержу: «синь кафтанъ», «скинь кафтанъ», «краденны сапоги», «русскіе», «узкіе», «синь кафтань«, «русски сапоги», «крадены сапоги»!...

- Чемъ же это дело кончилось? спросиль Стожаровъ.
- Дошло до губернатора. Губернаторъ ужъ насилу, слышь, размоталъ этотъ клубокъ, а то бы опъ никогда не размотался. «Вы, говоритъ, господа, будете спорить объ «узкихъ» да объ «русскихъ», а смътъ и раскладокъ не разсмотрите. Такъ сдълайте прежде дъло, а тамъ и спорьте: «узкіе» и «русскіе» не уйдутъ отъ васъ. Тутъ миѣ пришла на память побасенка: Въ одномъ городъ случился пожаръ. Одинъ квартальный и кричитъ другому:—велите, батюшка, подать пожарную кишку. Другой ему на это:—у насъ-де нѣтъ пожарной кишки, а есть пожарный рукавъ. Тотъ говоритъ: «нѣтъ, кишка!» «Нѣтъ, кишка!» «Нѣтъ, кишка!» «Нътъ,

рукавъ!» Пока они такимъ то манеромъ спорили, городъ весь сгорълъ...

А пароходъ шелъ все дальше и дальше, оставлвяя за собою и высокіе изломы покрытыхъ зеленью горъ, и съроватые обрывы, и песчаныя отмели лъвобережья съ тальникомъ, осинникомъ и ветлянникомъ, и сърыя деревеньки съ сърыми избенками и сърыми людьми, и неподвижно стоящій на серединъ ръки плотъ, и торчащій на отшибъ одинскій крестъ съ лежащими подъ нимъ сухими костями Ванюхи-бурлака.

Д. Мордовцевъ.

(Продолжение будеть)

Assert property (see any frame) property seems (see as

На пологомъ берегу волжскаго левобережья лежитъ богатое торговое село Варгуны. Оно заселено недавно, въ прошломъ только стольтіи, выходцами изъ другихъ, центральныхъ губерній, по уже успъло шагнуть далеко впередъ, благодаря счастливымъ условіямъ мъстности и предпримчивости колопистовъ (мы разумъемъ не иъмецкихъ колонистовъ, а русскихъ), и въ настоящее время далеко оставило за собою тъ города нашей метрополіи - старинные, бъдные, богатые только воспоминаніями старины, которые какъ бы заснули въ своей неподвижности. Впрочемъ, и неудивительно шагать впереди всего тамъ, гдъ это все спитъ непробудно, какъ въ сказочномъ сонномъ царствъ, гдъ даже галки спятъ на колокольняхъ, будучи пробуждаемы къ жизни только звономъ старинныхъ, пъкогда звонкихъ, но потомъ разбитыхъ временемъ и человъческою рукою колоколовъ. Варгуны, можетъ быть, и потому стали передовикомъ въ ряду другихъ селеній и городовъ, что, по общему историческому закону, всё колоніи идутъ дальше своихъ метрополій, какъ ушла впередъ колонія старой Англіи -- Съверо-Американская республика, какъ ушла впередъ наша Новороссія, какъ некогда колоніп древней Греціп оставили далеко за собой назади свою метрополію. Варгуны, какъ и все наше заволжье - русская колонія, и оттого заволжье показываеть признаки жизни болъе, чъмъ метрополія, и оттого метрополія неръдко завидуетъ своимъ колоніямъ, и ворчитъ на нихъ, какъ ворчатъ старики на живую молодежь, у которой ноги не отходили еще, глаза не отглядели и спину не ломитъ.

Вотъ и тутъ повторение истории отцовъ и дътей, думалъ Стожаровъ, который вмъстъ съ изкоторыми другими пасажирами сошелъ ст парохода и входилъ въ Варгуны съ пристани, гдъ остановился пароходъ. Серпороевъ, между тъмъ, что-то замъшкался около пароходной конторки, желая отправить въ Петербургъ какое-то письмо. Въ это время, на возвышениомъ берегу, у пристани, шумъла толпа мальчиковъ. Стожаровъ тотчасъ же догадался, что это были швольники.

- Дъвкины ученики! дъвкины ученики! кричала одна группа мальчиковъ другой.
- Двухвосткины ученики! двухвосткины ученики! кричала эта другая группа первой.
 - Васъ въ школъ дъвка шить учитъ, кричала первая группа.
 - А вы въ школъ блины печете, отвъчала ей другая.

Эти перебранки двухъ группъ заинтересовали Стожарова, тъмъ болъе, что онъ не могъ понять значенія выраженій «дъвкины ученики» и «двухвосткины ученики». Но онъ догадывался, что въ этой дътской шалости проявляется борьба двухъ направленій, но какихъ— опъ не могъ догадаться. Поэтому Стожаровъ остановился, чтобъ прислушаться къ дальнъйшему спору.

- Вы чёмъ дышите? спрашивали нёкоторые изъ мальчиковъ той группы, которую называли «дёвкиными учениками».
 - Носомъ, отвъчали изъ другой группы.
 - Ротомъ, говорили другіе.
- У! у! они дышать ротомъ и носомъ! кричали «дъвкины ученики»; а мы дышимъ воздухомъ... А изъ чего состоитъ воздухъ? спрашивали они.
- А что такое жездъ аароновъ? спрашивали въ свою очередь «двухвосткины ученики», которые, по видимому, не могли ничего отвъчать на вопросъ о воздухъ и думали поразить своихъ противниковъ богословскимъ вопросомъ.
- Васъ съкутъ жезломъ Аарона-вотъ что такое жезлъ аароновъ, отвъчали «дъвкины ученики».

Въ это время къ Стожарову подошелъ и Серпороевъ, который шелъ съ пристани вмъстъ съ гласнымъ Ногинымъ.

- Ты что туть дълаешь? спросиль Серпороевъ товарища.
- Да вотъ смотрю на борьбу двухъ направленій въ молодомъ поколѣніи, отвѣчалъ тотъ.
- Ба! да тутъ и мой Кузька! Ты что тутъ балуешь, постръленокъ? спросилъ Ногинъ, подходя къ одному изъ «дѣвкиныхъ учениковъ».
 - Я, дъдушка, ничего, отвъчалъ мальчикъ.

- То-то ничего... а домой что нейдешь?
- Да вонъ они все задираютъ.
- Кто они?
- Двухвосткины ученики.
- Скажите мив, пожалуйста, вившался Стожаровъ, что это за «двухвосткины ученики» и почему они называють этихъ «дввкиными учениками»?
- Да это у насъ, изволите видѣть, двѣ школы: въ одной-то, въ земской школѣ, гдѣ вотъ и мой Кузька учится, учительницей барышня, такъ ихъ и называютъ «дѣвкиными учениками», а другая-то школа казенная. Въ земской-то школѣ ребятишекъ балуютъ, не сѣкутъ, а въ казенной-то посѣкиваютъ. Вотъ когда эти пострѣлята сойдутся—и пошла война: наши-то земскіе хвалятся, что ихъ лучше учатъ, а тѣмъ обидно это—ну и бранятъ ихъ «дѣвкиными учениками».
- Да у нихъ, дъдушка, ничему не учатъ, вмѣшался Кузя, они не знаютъ что такое воздухъ, что такое вода.
- У шихъ, дъдушка, по казенному-то учатъ, такъ дважды-два выходитъ не четыре, заговорили другіе мальчики, обступая Ногина.
- Да оно по казенному-то, можетъ, и не четыре, замътилъ Стожаровъ, улыбаясь.
 - Нътъ, четыре, и по казенному и по земскому, спорилъ Кузя.
- Ужъ ты миѣ, пострѣленокъ, все знаешь, замѣтилъ на это Ногинъ дасково.
- Знаю, дъдушка, а казенные-то ничего не знають; а только ругаются.
- У нихъ, дъдушка, у земскихъ-то, Богъ сотворилъ міръ не въ шесть дией, говорили въ свою очередь казенные, обступая старика.
 - А во сколько?
- Можетъ, въ шесть тысячъ, а можетъ—въ шестьдесятъ тысячъ лътъ... это неправда.
 - Нътъ, правда!
- Нѣтъ, не правда! Это вамъ стриженан дѣвка наговорила, а въ книжкѣ этого нѣтъ.

«Вотъ и тутъ стриженая дёвка (думалъ Стожаровъ), и тутъ рутинисты бранятъ и эту дёвку, и все что учится не по ихъ программѣ, и туть, какъ и вездъ, задоръ и смѣлость выпадають на долю невъжества, которое знаетъ, какого цвѣта былъ хвостъ у алкивіадовой собаки, а не знаетъ, чъмъ оно дышетъ и что́ такое воздухъ. И тутъ класицизмъ и реализмъ въ лицъ Кузи и его противниковъ».

Мальчики, между тъмъ, продолжали спорить.

- А на сколько колѣнъ была раздѣлена земля израильская? спрашивали казенные.
- На двѣнадцать, отвѣчалъ Кузя; а вотъ вы не знаете, на сколько уѣздовъ раздѣлена наша губернія.

Казенные дъйствительно не знали, потому что до этого они еще «не прошли географіи».

— А кто былъ отецъ Ганнибала? спрашивали въ свою очередь казенные.

Озадаченные этимъ вопросомъ, земскіе не нашлись сразу, потому что въ ихъ школъ обращали преимущественное вниманіе на реальныя, практическія познанія, тогда какъ вт казенной школъ преобладалъ класицизмъ и знаніе древностей. Но Кузя, ободряемый присутствіемъ дѣдушки, нашелся скоръе другихъ.

- На что намъ отецъ Ганнибала, сказалъ онъ, его по батюшкъ пикто не называетъ. А вотъ вы не знаете кто у насъ предсъдатель земской управы, и кто мировой судья, и какая въ нашей губерніи торговля, и какая почва, и что такое акція.
- Ай да Кузя! невольно замътилъ Стожаровъ, а ты знаешь что такое акція, и кто предсъдатель управы, и что такое гласный?
- Знаю, дяденька, бойко отвъчалъ мальчикъ, акцію а видълъ у дъдушки, и предсъдатели знаю какъ зовутъ, а гласный вотъ дъдушка гласный.
 - -- А отца Ганнибала не хочешь знать?
- Не хочу... А опи учатся только тому, что никому не нужно... Стожарову и радостно, и грустио было смотръть на эту молодежь, которая напомнила ему его собственное дътство, когда онъ переходиль черезъ Рубиконъ или, стоя на копнъ съна, воображалъ, что на него, какъ на Наполеона, дъйствительно смотрятъ сорокъ въковъ. Что то выработаютъ, думалъ онъ, эти молодыя силы, которыхъ ожидаетъ суровая борьба въ жизни, неудачи, разочарованье? Или въ двадцать-тридцать лътъ жизнь выработаетъ лучшія формы, и будетъ

легче жить, легче дышаться? Нѣтъ. думалъ опъ, слишкомъ поздно началась эта выработка лучшаго, слишкомъ мало, еще сдѣлано для этого лучшаго, чтобъ можно было думать, что въ двадиать-тридцать лѣтъ воздухъ очистится, когда еще и не начинали чистить конюшии наря Авгія, заражающія воздухъ. А гдѣ Геркулесъ, который взялъ бы на себя эту работу, гдѣ предвѣстники того, что будетъ лучше? Бѣдная Россія...

- Ты что замечтался? спросиль его Серпороевъ.
- Такъ, Надя.
- Нътъ, не такъ-я тебя знаю.
- Да грустно стало глядъть па эту молодую жизнь, которой также не выбиться изъ тисковъ, какъ и мы не выбились.
 - Выбъемся: мы на томъ давно поръшили.
- Нътъ, какъ морскіе октоподы будуть цъпляться за васъ и за нихъ неблагопріятныя историческія условія, въ которыхъ мы пеленались и выросли, и будуть они биться какъ рыба объ ледъ, и скоро состарятся не отъ лътъ, а отъ заботъ и нужды, отъ этихъ же самыхъ историческихъ условій, и когда, къ старости, стапутъ подводить итоги жизни, то увидятъ, что и въ гробъ они должны лечь съ недоимкой.

Въ это время мальчики закричали: «Вонъ Варвара Григорьевна!» и опрометью бросились туда, гдѣ они увидѣли эту Варвару Григорьевну.

Стожаровъ и Серпороевъ поглядъли по тому направленю, куда побъжали мальчики, и увидъли дъвушку, которая проходила черезъ улицу. Она была одъта въ что-то темное, а въ рукахъ держала папку по видимому съ нотами.

Мальчики съ восторгомъ окружили ее, безпрестанно и въ перегонку болтая:

- Варвара Григорьевна! кто былъ отецъ у Ганнибала?
- Варвара Григорьевиа! казенные не знаютъ, какая у насъ почва,
 на сколько уъздовъ раздълена наша губернія.
- Варвара Григорьевна! казенные говорять, что они дышать носомъ, а не воздухомъ.
- А въ васъ, кажется, хвастовство развивается, замътила дъвушка, улыбаясь.

- Нътъ. Варвара Григорьевна, болгалъ Кузя, они на насъ нападаютъ, а сами не знаютъ ничего — только и хвалятся Ганцибаломъ да колънами іудейскими.
 - Что-жъ вы нейдете домой? говорила дъвушка.
- Мы, Варвара Григорьевна, пойдемъ въ луга собирать вамъ бабочекъ, жучковъ, цвъты и всикую травку, а вы памъ скажете, какъ все это зовутъ и для чего оно, говорили мальчики, прыгая около учительницы

И мальчики и девушка скрылись за угломъ.

- Кто эта Варвара Григорьевна? спросилъ Стожаровъ гласнаго.
- Да это-жъ и есть ихняя учительница, души въ ней не чаютъ ребятенки, отвъчалъ старикъ.
 - Что-жъ она, здёшняя или пріёзжая?
 - Прівзжая.
 - И давно она здёсь?
 - Года два будетъ какъ прівхала.
 - А любятъ ее здѣсь?
- Спачала-то крутенько ей было—косо па нее смотрѣлъ народъ, и на смѣхъ ее поднимали, и языки ребята на улицѣ показывали, и стрижкой обзывали—урекали все, что, знать, не за доброе дѣло ей косу урѣзали. У пасъ, у мужиковъ, знамо дѣло, коли у дѣвки косу обрѣзали, значитъ вела себя не чисто, житъе ей было у насъ желтое, пе приведи Богъ. А тамъ вҙъѣлись на нее наши дьячки, за то больше, что хлѣбъ у нихъ отнимала, мальчонковъ учитъ къ себѣ брала. И стали дьячки ей пакоститъ, мальчишекъ на нее напущали, ворота дегтемъ мазали, на заборѣ, у ея воротъ, мѣломъ всякую скверну писали, такъ что срамъ было мимо пройти. Натерпѣлась таки голубушка, а на своемъ поставила, и подъ конецъ все обощлось къ благополучію, только извелась ни на что, бѣдная.
- Хорошо благополучіе! говориль Стожаровь какъ бы самъ съ собой, поставить-то она поставила на своемъ, а здоровья-то не воротитъ, коли извелась, какъ вы говорите. Э! и не мало у насъ такихъ, надломленныхъ, а иныя и совсемъ погибли. А кто виноватъ? Наше историческое лаксйствованіе и тупоголовіе. Развъ не тъ же варгунинскіе дьячки накинулись на русскую дъвущку, когда она хотъла промънять постель наложницы и домъ терпимости на учи-

лище? Развѣ не эти же самые варгунинскіе дьячки, въ Москвѣ и въ Петербургѣ, да и по всей Россіи, поднимали на смѣхъ женщину, когда она требовала себѣ работы, чтобъ не быть поставленной въ необходимость тѣломъ своимъ заработывать себѣ кусокъ хлѣба. Развѣ литературные ребята не показывали ей языка на улицѣ и не упрекали стрижкой, какъ будто желаніе найти честную работу доказывало, что она ведетъ себя «не чисто»? Наши литературные дьячки марали у этихъ бѣдныхъ женщинъ не ворота, а честь. и не дегтемъ, а типографскими чернилами, и вмѣсто того, чтобы писать на заборахъ «всякую скверну», писали ее на страницахъ журналовъ, на столбцахъ газетъ...

- А я на это смотрю болѣе извинительно, замѣтилъ Серпороевъ. Явленія эти общій историческій законъ, и дьячки, пишущіе на заборахъ, такая же историческая необходимость, или вѣрнѣе такой же естественный законъ, какъ и то, что у ребенка съ болью рѣжутся зубы.
- Оно правда, коли хотите, вставилъ свое слово гласный. безъ враговъ ни человъкъ не проживетъ, ни дъло не сдълается.
- Оттого что жизнь безъ борьбы не мыслима, добавилъ Серпороевъ.
- Да безъ подлецовъ-то она должна быть мыслима, голубчикъ Надя. говорилъ Стожаровъ по прежнему задумчиво, по твоему и карманикъ, и всякій мелкій воришка историческая необходимость.
 - А что-жъ! оно и то правда.
 - Э! Надя! полно говорить не умно.
 - Какъ?
- Не умно... Я не хочу сказать—глупо. Почему жъ ты думаещь. что подлецы—историческая необходимость!
- А оттого, что они до сихъ поръ были и будутъ значитъ, они историческая необходимость или такой же законъ природы, какъ и то, что бываютъ ясные дни и пасмурные какъ бываютъ умные люди и дураки.
- Все же это, другъ мой, не законъ, а явление, которое можетъ быть и не быть.
- По моему, напротивъ, когда явленіе обще и постоянно, то оно возводится въ законъ.

2

- Нѣтъ, Надя, что можетъ быть и можетъ не быть, то уже не законъ. Если до сихъ поръ женщину варгунинскіе дьячки позорятъ за то, что она ищетъ работы, то скоро придетъ то время, когда ее будутъ позорить за то, что она ничего не сдълала.
- Въ нашемъ-то быту, у мужиковъ, оно такъ и бываетъ, снова вмъщался старикъ гласный, коли дъвка не умъетъ работать, такъ ее и за-мужъ не возъмутъ.
- У васъ-то такъ, да у насъ не такъ, отвъчалъ Стожаровъ: у насъ, коли мужчина бъденъ, такъ продаетъ себя богатой невъстъ, а коли невъста да хорошенькая, такъ продастъ себя богатому и старому мужчинъ. У насъ кто нибудь изъ двухъ становится паразитомъ—или мужъ, или жена.

Въ это время они проходили мимо кабака, около котораго собрался народъ, и въ толиъ раздавались пьяные голоса.

- Къ дъяволу ее окаянную, чтобъ ей пусто было, говорилъ пъя-
- Не давай, паря, руки-дъло не чисто, говорилъ другой.
- А для че и не дать, дурова ты голова, говорилъ третій, чугунка — жельзіна дорога — знатная, брать, штука, сама и возить и носить.
- Ну ее ко псу, чугунку-ту вашу.
- Не давай, паря, руки. закабалятъ господамъ.
 - Ой ли?
 - Право закабалятъ.
 - Слышь ты, робя, двё копейки съ десятины содрать наровять.
 - --- Полтину сдерутъ.

Старикъ Ногинъ и его спутники подсили къ мужикамъ. Поздоровались. Многіе мужики знали близко гласнаго.

- Объ чемъ, братцы, шумите? спросилъ Ногинъ.
- Да все объ чугункъ, дядя Парменъ Прокофычъ.
- А что?
 - Да провалъ бы ее побралъ: не хотимъ руки давать.
- Не давай, братцы, говорили пьяные голоса.
 - Не дадимъ, ъдятъ ее собаки, чугунку ту вашу.
- Да въ чемъ, братцы, дъло? спрашивалъ Ногинъ въ недоумъніи.

- Чать слышаль, дядя, къ намъ чугунку хотять вести.
- Слышалъ дъло хорошее.

Муживи стали чесаться въ затылкъ. Ногину они върили.

- Да съ насъ, дядя, деньги брать будутъ, а намъ дать нечего, говорили мужики.
 - За что пеньги?
- На чугунку эту, а денегъ у насъ нъту и недопмокъ то по горло.
 - Кто-жъ вамъ сказалъ, что деньги надо давать?
- А Иванъ Алекстичъ.
- Онъ и баптъ: не давай, паря, руки. Пиши, что чугунки, говоритъ, намъ не надыть.
 - Въ разоръ, говоритъ, разоритъ васъ чугунка эта.
 - На работу, бантъ, сгонятъ, какъ на барщину.
- Вонъ, слышь, говоритъ: гдъ чугунка, тамъ и голодъ-провелете, баитъ, чугунку, и у васъ будетъ голодъ.
 - Скотъ, баитъ, весь поколъетъ отъ чугунки.
- Работать, банть, никто не станеть—всё уйдуть на чугунку.
- Бабы наши, слышь, срамницами станутъ.
- А я ужъ свою, дядя, билъ за чугунку-ту.
- Кого?
- Молодуху-то.
- Да за что, паря?
- Чтобъ не срамила, не ходила на чугунку.
 - Земля, слышь, отъ чугунки отощаетъ.

Подвыпившіе мужики были, какъ видно, въ азартъ. Какой-то Иванъ Алексъичъ, сосъдній помъщикъ, противникъ предполагаемой къ заволжью желъзной дороги, натолковалъ крестьянамъ, что чугунка будетъ для нихъ гибелью, что на постройку чугунки будутъ братъ съ мужиковъ деньги, что эта чугунка закръпоститъ ихъ спова, а бабы перестанутъ работать, что, накопецъ, послъдствіемъ желъзной дороги будутъ неурожан, бъгство бабъ отъ мужей, успленіе рекрутчины и нашествіе непріятеля.

- Языцы, слышь, придутъ по чугункъ и пасъ въ полонъ возъмутъ.
- Нъмцы все въ руки заберутъ.

- Шалишь, кричаль рыжій мужикь съ всклокоченной бородой, я своей Аксюткъ всъ ребра переломаль, какъ про чугунку прослышаль: пущай не балуетъ баба съ нъмдами.
 - Изведемъ, братцы, нъмцевъ.

Шумъ, на минуту утихшій при приближеніи старика Ногина, опять возобновился.

Старикъ Ногинъ, справедливо полагая, что съ пъяными мужиками было бы безполезно толковать, оставилъ ихъ и пошелъ съ своими спутниками дальше.

- Что это за исторія? спросилъ Стожаровъ, за что мужики бабъ быотъ?
- За чугунку, батюшка. Да и нъмцевъ грозятъ извести. Сами слышали и, чатъ, догадались.
 - Да, догадываюсь изъ какого болота гнилью потянуло.
- Вотъ такъ оно и вездъ: значитъ, и тутъ явились свои дьячки, что по заборамъ пишутъ, прибавилъ Серпороевъ.
 - Такъ по твоему и это законъ исторической необходимости?
- Законъ: дарвиновская борьба за существованіе. Вѣдь ты же вчера подсмѣивался надъ «Дѣломъ», что литературная партія, поддерживающая его, хотя и отощала какъ тощая фараонова корова, однако, подобно этой коровѣ, хотѣла бы пожрать другую партію, тучпую корову, да только ни силы не хватаетъ, ни знаній, ни умишка. А все изъ за чего? изъ за существованія. Такъ и этотъ Иванъ Лексѣичъ мутитъ мужиковъ по закону Дарвина, что дѣлаютъ и варгунинскіе дьячки, занимаясь сочиненіемъ памфлетовъ на заборахъ.
- Да полно, Надя, повторять старыя и общія м'вста. Я все это давно знаю: знаю почему варгунинскіе дьячки мажуть дегтемь ворота въ квартиръ честной дъвушки, знаю почему нищенствующая духомъ партія «Дѣла», пишеть дегтемь свои рецеизіи на талантливъйшія литературныя явленія нашего времени, а сама печатаєть такія вещи, которыхъ никто не читаєть, все знаю, Надя, да отъ этого никому не легче. А какъ сдълать, чтобъ дьячки не пачкали дегтемъ то, что не слъдуетъ пачкать?
 - Этого нельзя сдёлать.
 - -- Нътъ, не говори этого, Надя, задача нашего времени именно

въ томъ и заключается, чтобы доказать, что то, что мы, по своему невѣжеству, считали законами исторической необходимости, не болѣе какъ налипшая на насъ и на нашу мысль вѣковѣчная пыль, что все это — кандалы, въ которые мы сами себя заковали. Я глубоко убѣжденъ, что человѣчество добьется до того, что въ немъ не будетъ подлецовъ, какъ теперь въ Европѣ нѣтъ людоѣдовъ, что дьячки перестанутъ писать на заборахъ, что воровать будетъ не выгодно и не для чего, и въ литературѣ не будетъ неприличной ругани изъза того, что я пишу въ одномъ журналѣ, а не въ другомъ.

- Этого не будетъ.
- Нътъ, Надя, клянусь тебъ всемогуществомъ человъческой мысли, что будетъ.
- Но это такъ не скоро.
- Не спорю, Надя, не скоро, но будеть: придеть пора, когда Супоня перестанеть говорить, что безъ войны жить нельзя, когда за военныя доблести будуть сажать въ острогъ, а дьячки, писавшіе дегтемъ на заборахъ, готовы будуть слизать этотъ деготь, да будетъ уже поздно.
- Но какъ этого добиться?
 - Добъемся.
- Я не върю тебъ, не върю ни въ твои слова, ни въ твою въру: въра нашего времени, какъ и моя, не должна идти дальше того, гдъ наука и опытъ не сказали своего послъдняго слова. Да и тутъ я боюсь върить, потому что и наука ошибается, и опыты насъ обманываютъ. Въдь наука же говорила когда-то, что солице вертится вокругъ земли. Да и мало ли было принятыхъ наукою нелъпостей? Сама же наука сталкиваетъ съ пъедестала то, чему она прежде покланялась какъ истинъ.
- Надя! Надя! ты говоришь какъ гимназистъ пятаго класса, который, при переходѣ въ шестой классъ, теряетъ вѣру во все, даже въ то, что ему слѣдуетъ учиться и даже въ то, что дважды два четыре.
- Пожалуй и такъ: наше поколѣніе пошло дальше васъ и вашихъ нигилистовъ, дальше Базаровыхъ, Кирсановыхъ и Лопуховыхъ. Ваши нигилисты не върили авторитету западной науки, а върпли Зайцеву, Ткачеву, Шелгупову и какому-то Гдб., а мы даже

Ткачеву и Шелгунову не въримъ: это — охриплые жрецы того каменнаго идола, которому они сами, изъ усердія, носъ отшибли. Они теперь запъли другіе кондави и каноны, да ихъ ужъ никто не слушаетъ: ихъ пъсенка спъта, какъ ни была нескладна эта пъсенка. Все это уже стало старымъ и негоднымъ тряпьемъ для молодаго русскаго поколънія, и оно съ лънивой усмъщкой перелистываетъ всю эту ветошь, хотя печатавшуюся въ 68 и 67 голу.

- Ну, Надя, я не ожидалъ, чтобъ молодое поколъне выходило изъ себя.
- Я не выхожу изъ себя: если молодое покольне ставить облософовь отживающаго нигилизма па одну доску съ Лазаремъ Барановичемъ, то это не значитъ, что оно выходитъ изъ себя. Ну, скажи откровенно, кто въ нашей литературъ больше всъхъ ругался, въ буквальномъ смыслъ этого слова, кто всегда выходилъ изъ себя? «Домашняя бесъда» да ваши литературные нигилисты.
- Почему же наши? спросилъ Стожаровъ.
 - Потому что ты самъ участвовалъ въ ихъ журналъ.
- Ну что-жъ, участвовалъ, когда въ журналъ все групировалось около Писарева, а потомъ, когда Писаревъ ушелъ оттуда, и я ихъ покинулъ.
- Вотъ такъ ихъ покинуло и все молодое поколъніе, отвъчалъ Серпороевъ и, встряхнувъ своими длинными, черными волосами, добавилъ какъ бы нехотя: —ваше время нашему времени не указъ.
- Кого же вы слушаете, чему вы въруете, кого и что вы читаете? Что не старье и не ветошь для васъ, для самаго молодаго поколънія? спросилъ Стожаровъ, насмъщливо глядя въ глаза своему спутнику.
 - Мы что читаемъ, и кого слушаемъ, и чему въримъ?
 - Па, желаль бы я знать.
- Изволь. Мы читаемъ положение о земскихъ учрежденияхъ, судебные уставы да европейские учебники, и слушаемъ Ногина гласнаго, когда онъ толкуетъ своимъ избирателямъ о томъ, что пора вносить земские сборы.
 - -- Только-то?
 - Только-то.
 - А во что вы въруете?

- Въ себя да въ свои силы,
- Пу, плоха же ваша въра: она не лучше фетицизма, нигилизма, зайцевизма, шелгунизма, аскоченства и секты скопцовъ и прыгуновъ.
- -- Не думаю, отвъчалъ, иъсколько обиженнымъ тономъ, Сернороевъ, -- это вы и ваши товарищи по неру принадлежали къ литературному скопчеству.
- Полно, Надя! что намъ спорить? Я не о томъ началъ говорить. И безъ того слишкомъ много скорбныхъ явленій въ жизни, чтобъ еще прибавлять число ихъ, такъ—сказать, расколомъ въ лучшихъ върованіяхъ лучшихъ людей Россіи, расколомъ въ ихъ дружной работъ на общую пользу. Пусть ворчитъ брюзгливая старость и умственное безсиліе, а у насъ слишкомъ святы наши цъли и слишкомъ много впереди дъла, чтобъ лъвой рукой ломать то, что создаеть правая.
- Мы ломаемъ только-то, что негодно и вредно. Это ломаемъ мы и правой, и лъвой рукой.
- А что-жъ вы создаете?
- Мы учимся создавать, готовинъ матеріалы, подготовляемъ почву.
 - Э! Нади моя милая! и мы тоже думали.
- --- Что-жъ вы выдумали?
- · А вотъ что: мы тоже учимся, какъ и вы, только у насъ есть уже опредъленная программа. Не знаю, учитесь ли вы тому же.
 - А чему бы, напримъръ?
- Во первыхъ, учитесь ли вы тому, чтобъ сдёлать мужика не голоднымъ?
- Учимся.
- Во вторыхъ, учитесь ли вы тому, чтобъ не было кругомъ насъ вотъ этой нищеты (онъ указалъ на развалившуюся избушку), чтобъ кругомъ насъ не лились слезы несчастныхъ—учитесь?
- Учимся и этому. Вотъ наши цѣли: мы хотимъ, чтобъ Кариъ не билъ Сидора, чтобъ и у Сидора были такія же одонья хлѣба, какъ и у Кариа, Чтобъ Сидора за Кариа це сѣкли на сходкѣ, чтобъ Сидора не отдавали въ рекруты не въ очередь, чтобъ Кариъ не покупалъ коты Авдотъѣ на деньги, заработапныя

Сидоромъ, что собаки Карпа не кусали за ляшки Сидора, чтобъ Карпъ не билъ баклуши, когда Сидоръ заработался до чахотки, чтобъ кормить Карпа, и его жену, и его свояченицу, и его золовку, и его батрака, и его собакъ, которыя Сидору же покусали ляшки.

— Такъ, такъ, Надя, говорилъ Стожаровъ ласково, — еслибъ молодое поколъние не этому училось, я бы его и не любилъ.

Въ это время Стожаровъ и Серпороевъ подошли къ дому гласнаго Ногина, который, въ началъ ихъ послъдняго спора, указавъ имъ издали на свое жилище и попросивъ зайти къ нему, посиъщилъ впередъ, чтобы, какъ онъ выражался, встрътить дорогихъ гостей «не распояской».

VII.

Въ Варгунахъ продолжало слышаться шипънье парохода, который все еще стоялъ у пристани и распускалъ по берегу бъловатые клубы дыму и паровъ. Слышалось гроханье дровъ о палубу, доносились съ берега щебетанье и перебранки торговокъ, которыя показывали такую продовольственную ревность, что, казалось, готовы были закормить и опоить всъхъ нроходившихъ мимо нихъ пасажировъ и что еслибъ этихъ торговокъ посадить предсъдателями тъхъ земскихъ управъ, гдъ въ прошломъ году голодалъ народъ, то голодныхъ бы не было и въ поминъ.

Вправо отъ Варгуновъ, берегъ Волги, болъе высокій, чъмъ влъво отъ этого села, образовалъ большую ложбину, въ которой весною обыкновенно играютъ быстрые ручьи мутной воды, а лътомъ выползаетъ изъ земли высокая трава. Бока ложбины поросли кустарникомъ, а отъ вершины ея тянулся небольшой лъсокъ, изъ котораго по временамъ доносилось карканье воронъ и частое постукиванье дятла о сухую кору старой, загнивающей березы. Всъ окрестныя картины, которыя можно было окинуть глазомъ, не были на столько привлекательны, чтобъ вниманіе могло на нихъ особо остановиться: ни ръзкихъ изломовъ въ береговыхъ очертаніяхъ горъ, ни

далекой живописной перспективы, ни темной зелени лѣса—только и видна была несовсѣмъ голубая и несовсѣмъ сѣраи поверхность Волги да за плоскою горою голубое небо.

Такія картины способны скоръе нагнать тоску или грустное раздумье, чъмъ другое чувство, которое толкаетъ человъка къ лихорадочной дъятельности при видъ иныхъ картинъ природы, иныхъ изломовъ горъ и береговъ.

По ложбинъ и по лъсу съ карканьемъ вороны и однообразнымъ постукиваниемъ дятла перемежаются другие звуки, какъ отголоски жизни, которая одинаково заявляетъ свои требования какъ при этой однообразной обстановкъ, такъ и при другихъ, роскошныхъ картинахъ природы. По ложбинъ и по лъсу раздаются веселые дътские голоса, и въ дътскихъ возгласахъ не трудно различить фразы:

- Варвара Григорьевна! мы вамъ поймали живую медвъдку.
 - Варвара Григорьевна! не велите Крапову мучить бабочку.
- Варвара Григорьевна! казенные ученики поймали ежа и выдергиваютъ у него колючки.
 - Нътъ, они съкутъ его розгами.

Молодая учительница, къ которой обращались эти возгласы, сидъла подъ развъсистымъ дубомъ на разостланномъ пледъ. Рядомъ съ ней лежала на травъ, опершись локтями на пледъ учительницы и обхвативъ дадонями подбородокъ, другая дъвушка, которая отъ времени до времени заглядывала въ развернутую передъ ней книгу или продолжала задумчиво глядъть внизъ, на лежащую передъ ен глазами ложбину и на дымчато голубую поверхность Волги. На лицъ первой, бользненно блыномы и истомленномы, лежало какое-то тихое спокойствіе, даже по видимому апатія, еслибъ большіе стрые глаза не обнаруживали, что въ этомъ болъзненномъ существъ много внутренней силы, и если жизнь, которая, какъ видно, не ласково задъла ее своею тажелою рукою и надломила нѣсколько ея упругую волю, то запасъ внутренней силы еще не тронутъ и эти глаза упрямо могутъ глядъть въ лице самой суровой жизненной правдъ. Другая дъвушка, какъ видно, только еще начинала жить, хотя все ея смелое личико выражало, что существо это жадно ищетъ жизни, но только еще само не знаеть, на что потратится и живая мысль, и избытокъ воспріимчивости и до бользненности отзывчивое сердце.

- Варя, говорила задумчиво эта последияя девушка, ты слышишь, какъ природа старется?
 - Нътъ, не слышу, отвъчала первая.
- Вслушайся, милая, вдумайся—и ты услышишь. Я слышу и сердцемъ, и ушами, какъ она старъется—вотъ каждая травка, каждый листъ на деревъ все слышу, и мое сердце сжимается при этихъ звукахъ.
- Чтожъ, душа моя, значитъ ты слышишь, какъ старушка природа кашляетъ? спросила учительница, улыбаясь.
- Не смъйся, Варя. Кашля природы я не слышу, а старческіе звуки, звуки отходящей жизни слышу, ясно слышу. Развъ это тъ звуки, которые мы съ тобой слышали здъсь весной? Развъ тотъ шелестъ пистьевъ, развъ такъ старчески, лихорадочно лепетали тогда листья осины, какъ теперь слышишь? А этотъ сухой шорохъ травы? А это карканье скучающей вороны?
- Правда твоя, Мариночка, осень близка.
- То-то же, Варя! я слышу шопотъ какого то разбитаго, надтреснувшаго голоса въ природъ, точно у моей бабушки. Мнъ плакать хочется.
- Объ чемъ, дурочка?
- Сама не знаю.... Этотъ старческій шопотъ листьевъ, это усталое стуканье дятла.... что онъ не улетълъ съ другими птицами туда, гдъ такъ хорошо, такъ полно жизни?

Молодая учительница, какъ бы не слушая своей подруги, тихо продекламировала:

И говоръ древесныхъ листовъ понималъ, И чувствовалъ травъ прозябанье.

- А ты слышишь, Марина?
- Слышу, какъ пароходъ шипитъ.... И онъ тоже улетаетъ туда, гдъ лучше, гдъ больше жизни.

И Марина, припавъ къ колънямъ учительницы, заплакала.

— Объ чемъ ты, бъдненькая?

Та молчала и продолжала всхлипывать.

 Бѣдное, бѣдное дитя! сказала учительница съ участіемъ: ждутъ тебя въ жизни и великія радости, и великое горе.

А дътскіе голоса продолжали раздаваться по лъсу. Звуки въ при-

родъ, и безъ того однообразной, дъйствительно отдавались чъмъ-то мертвеннымъ, отживающимъ, точно и въ самомъ дълъ наступала ея старость, хотя спокойная, тихая, безболъзненная. Небо точно отошло дальше отъ земли и увело съ собою солице, которое хотя и продолжало гръть изъ далекой синевы, однако уже не оживляло земли, а только сушило и поблекшую траву, и желтъющіе листья, и съроватыя осыпи ложбины. Высоко въ воздухъ тянулась вереница гусей, которые тоже кажется улетали туда гдъ лучше, гдъ не было старческой сухоты въ природъ. Гдъ-то въ сторонъ полевой сверчокъ тянуль свою однообразную пъсню, отъ которой тоже въяло отживающимъ лътомъ.

- Хоть бы убѣжать куда-нибудь отъ этой тоски, отъ этой пѣсни, отъ этихъ мѣстъ — можетъ быть легче-бъ стало, говорила Марина, не поднимая головы.
 - Куда же бъжать и зачъмъ?
 - Я не знаю. Только такъ я не могу жить.
- II я когда то говорила тоже и тоже чувствовала.... II—бъжала.... сюда.... въ Варгуны....

Марина подняла голову и быстро взглянула въ лице подругъ.

- И что-жъ, Варя? спросила она, затаивъ дыханье.
- Ничего, какъ видишь-счастлива....

Не въ голосъ, не въ словахъ, а гдъ то тамъ глубоко, въ груди говорившей эти слова слышалось что то другое, не то что говорилось, и точно тамъ въ груди надо было искать другаго смысла сказанныхъ словъ. Марина угадала это.

- Такъ и тебъ. Варя, тяжело тебъ, свободной, дъйствующей? спросила она робко.
- Да, мић, свободной, дъйствующей—не... совсѣмъ хорошо....
 И та и другая замолчали, какъ будто къ чему прислушиваясь со вниманіемъ, не то къ монотонной, наводящей тоску пѣснѣ полеваго сверчка, не то къ мѣрному постукиванью дятла, не то къ другимъ болѣе тонкимъ звукамъ отживающаго лѣта.
- Я не могу читать атихъ книгъ. Они съ ума меня сведутъ, говорила Марана, отталкивая лежащую около нея книгу.
 - Почему же?
 - Это проклятыя книги! злыя, подлыя....

- Которыя именно?... Что съ тобой? Какія именно княги злыя и подлыя?
- Вотъ всѣ эти.... Онѣ только рисують передъ вами счастье, заманиваютъ васъ, заставляютъ желать счастья, а не даютъ его: ни одна изъ этихъ подлыхъ книгъ не дастъ счастья.... Я брошу ихъ читать.... Я лучше хочу быть дикаркой, нашей Офроськой, которая мечтаетъ какъ о счастьѣ, когда я подарю ей мое лиловое старенькое платье.
 - А ты, дурочка, думала, что вниги дадутъ счастье?
 - Думала, и имъю полное право думать, горячилась Марина.
- Напрасно: счастье даютъ намъ не вниги, а жизнь, да мы сами его должны выискать.
- Жизнь! жизнь!... Отчегожъ ни тебъ, ни мнъ не дала его эта глупая жизнь?
 - Не умъли искать.
 - Э! Варя! Варя!... я и писателей всёхъ ненавижу.
 - За что же такая немилость?
 - Они всв подлецы или идіоты.
- Марина! что ты! помилуй—ты ужъ, кажется, начала превращаться въ Офроську.
- Милая Варя! прости меня.... А все же писатели подвецы—виновата.... не честные, не добросовъстные люди. Они сами хорошо убъждены, что мы, женщины, не выбыемся изъ неволи, не будемъ никогда дъйствовать, а увъряютъ, что можемъ. Они этимъ завлекаютъ только насъ, мучатъ насъ, а сами ничего не могутъ сдълать для насъ. Согласись, Варенька, что это подло. Зачъмъ ужъ и увърять насъ? Ужъ говорили бы прямо, что ничего для насъ нельзя сдълать, а то только дразнятъ объщаньями. Миъ при этомъ даже гадкая мысль приходитъ въ голову.
 - Какая?
- Опи пишутъ такъ затъмъ, чтобъ завлечь насъ читать свои подлыя, пустыя книжонки, чтобъ товаръ ихъ скоръе покупался... Ахъ, Варя! въдь это все равно что въ гостинномъ дворъ зазываютъ покупателей, или вонъ тамъ на пристани торговки кричатъ: «пироги горячи! купи, баринъ»! А пироги вовсе не горячи.
 - Нътъ, Мариночка, я съ тобой не согласна, говорила учитель-

ница, взявъ съ земли книгу и закрывая се: въ тебъ говоритъ возбужденная, но неудовлетворениая жажда жизни. Въ этомъ возбужденіи ты говоришь противъ себя, противъ твоего сердца. Тяжко было бы человъчеству, еслибъ у него не было этихъ подлыхъ—какъ ты называешь книжекъ. Человъчество осуждено было бы на въчное рабство и на въчное невъжество, когда-бъ у него въ распоряжении не было печатнаго или писанлаго слова, хотя бы слово это было и не совсъмъ свободно, хотя бы насиліе и налагало на него свою тяжелую руку. Печатное слово—это такая сила, которая побъдитъ міръ. Печатное слово—единственный защитникъ правыхъ, обижаемыхъ, слабыхъ и бъдныхъ. Печатное слово—это новая стихія, при помощи которой только и можеть устроиться міръ и рай сойдетъ на землю.

- Варя моя милая! говорила Марина, снова закрывая лице руками;—но это же слово приносить на землю и адъ со всёми его ужасами.
 - Какимъ образомъ?
- Да вѣдь я же говорила, что слово и книга только даютъ понять счастье, а самаго счастья не даютъ. Эти писатели только обманываютъ и насъ и себя. Всѣ лучшіе изъ нихъ—жалкіе, бѣдные, хотя и честные мечтатели. Они даютъ то, чего сами не имъютъ, что сами желали бы имътъ. Повърь мнъ, Варя, ни одинъ изъ нихъ не можетъ быть счастливъ.
 - Отчего же ты такъ думаешь, милая?
- Оттого, что иначе не умѣю думать. Они, эти писатели. сами желали бы получить то, что сулять міру—и свободу, и счастье, и абсолютную правду, и равенство, и дренажированье слезныхъ желевовъ...
 - Что? что? Какъ ты говоришь?
- Дренажированье слезныхъ железокъ.... ну, какъ бы тебѣ сказать проще? ну, просто, какъ говорятъ поэты: они хотятъ осушить слезы всего человъчества, а такъ какъ этихъ слезъ столько же льется, сколько воды находится въ бѣлорусскихъ болотахъ, то эту воду и хотѣли бы писатели дренажировать.
- Понимаю. Ты выражаешься, точно членъ вольнаго экономическаго общества.

Марина засм'ялась самымъ наивнымъ, самымъ дётскимъ см'яхомъ, откинула назадъ волосы и вскочила на ноги.

- --- На чемъ бишь я остановилась, Варя? спросила она весело.
- На дренажъ глазъ человъчества.

Марина опять засмѣялась.

- Каная ты злая, Варюша. Ну, да хорощо. А только я всетаки говорю, что ненавижу п писателей, и ихъ книги.
 - Бъдненькіе! они будутъ плакать...
- Варя! душечка! не смъйся надо мной... Я говорю серьезно. Развъ они не дразнили насъ «женскимъ вопросомъ», «женскимъ трудомъ», даже теперь «женскимъ университетомъ» стали глаза колоть.
- И что-жъ изъ этого?
- Да то, милая, что они только болтають, а ничего не сдълали. Надъ нами же смъются, насъ же корять, когда мы вздумаемъ учиться и искать работы. Я все это въ этихъ же книжкахъ читала.

При посл'яднихъ словахъ Марины по лицу учительницы прошла тънь и темныя брови ея какъ бы придвинулись ближе одна къ другой, а глаза стали и больше и свътлъе.

- Что-жъ, можетъ быть они и правы, что корятъ насъ за трудъ, за желанье дъйствовать самостоятельно, за дерзкую ръшимость не поддчиняться деспотизму семьи, мужа, мужчины. Можетъ быть и я сдълала ошибку, что пошла въ учительницы, а не въ ключницы къ человъку, которато назвала бы мужемъ.
- И ты сожалъешь объ этомъ, бъдненькая? спросила Марина какимъ-то испуганнымъ голосомъ.
 - Не знаю, милая... Я ничего не знаю.
- Ахъ, что же я могу знать, когда ты ничего не знаешь! воскликнума Марина съ отчаяньемъ въ голосъ.
- Я знаю только то, что дожила «до сомивнія». Прежде мив все казалось яснымь, опредвленнымь, а теперь я во всемь сомивваюсь—и тяжело это сомивные.
 - Въ чемъ же, Варя?
- Да хоть бы въ томъ, что можетъ быть и правы тъ, которые и въ литературъ и въ жизни бросаютъ въ женщину грязью

за то, что она ищетъ свободы, равноправности и возможности дъйствовать. Можетъ быть правы даже наши дьячки, которые пачкали дегтемъ ворота, гдъ я живу.

- Почему же? Ахъ, еслибъ ты знала, какъ это мучитъ меня.
- И она начала обнимать и цъловать учительницу.
- Теперь эти противные дьячки не смѣютъ и глазъ на тебя поднять, говорила она, ласкаясь.
 - А можетъ быть, они и правы были.
 - Что ты! что ты, Варя!
- Ты слыхала о «положительной оплосооіи» Огюста Конта? спросила учительница.
 - Слыхала, но не читала.
- Онъ признается однимъ изъ величайшихъ геніевъ въ человъчествъ.
 - Ну, чтожъ изъ этого?
- А то, что и онъ говоритъ о роли женщины въ человъчествъ
 тоже, что говорятъ наши дьячки, пачкающіе заборы.
- Не можетъ быть! Въ отношени къ женщинъ французы вообще самый дикій и грубый народъ, хоть ихъ и называютъ ошибочно образцомъ въжливости и деликатности въ обращении съ женщиной. Я въдь помню, Варя, что и Прудонъ отводитъ женщинъ мъсто только въ кухнъ и у корыта съ бъльемъ... Ахъ, да! такъ что же, Огюстъ Контъ?
- Вотъ что говорить онъ (я помню наизусть его слова): «Роль женщины состоить въ томъ, чтобы дъйствовать на мужчину облагораживающимъ образомъ, употребляя для этого его душевныя страсти, и воспитывать дътей, которыя до четырнадцати лътъ, когда начинается ссоственио-научное образованіе, находятся въ полномъ попеченіи матери».
- Но въдь ты же, Варя, п воспитываешь дътей, даже учишь ихъ, перебила ее Марина.
 - Не своихъ, а чужихъ.
 - Тъмъ лучше, тъмъ больше чести.
- Такъ-то, такъ, только слушай дальше: «Чтобъ женщина могла удобиће исполнять эти обязанности, она ръшительно устранена отъ всякихъ другихъ. Ей иътъ надобности трудиться для своего пропи-

танія: она пользуєтся содержаніемъ отъ своего мужа или отъ родственниковъ мужескаго пола; если же ихъ нътъ отъ государства».

- Ну ужъ! сказала Марина и надула губки; значитъ, намъ всегда надо житъ подачкой и платье проси, и ботинки проси у папаши да у мужа, а книжекъ они намъ вовсе не дадутъ, какъ мнъ спачала не давали.
- Но въдь это говоритъ Огюстъ Контъ, замътила учительница, улыбаясь, а его и Милль и Льюисъ называютъ новъйшимъ свътиломъ человъчества.
- Противный! снова заговорила Марина, топнувъ ножкой. Въдь я же тебъ говорила, Варя, что всъ писатели гадкіе, противные, а книги ихъ подлыя. Оно и правда.
- Но какъ тебѣ это понравится? говорила учительница, любуясь капризами своей младшей подруги.
 - Что такое, Варя? спросила Марина съ сіяющимъ лицомъ.
- Да все слова того же Конта. «Она, т. е. женщина, говорить онъ, не должна имъть никакой управляющей власти даже въ домашнемъ быту, ни собственности. Ел законныя права на наслъдство остаются за ней единственно для того, чтобъ ел чувству долга могъ представиться случай удовлетворить себя добровольной уступкой ихъ. У Приданаго не должно быть, итобъ руки женщины нельзя было искать по корыстнымъ побужденіямъ».
 - Ахъ, это хорошо, говорила Марина весело; такъ онъ всетаки милый, этотъ Огюстъ Контъ. Но, можетъ быть, у него жена была глупенькая.
 - Не думаю. Его возлюбленную Клотильду, въ которую онъ влюбился—первый разъ въ жизни—на 46 году, называютъ «замѣчательною женщиной». Ну, какъ же, послѣ этого, душа моя, винить наши литературные огарки, что они чадятъ на женщину, когда такое свѣтило человѣчества, какъ Контъ, даетъ въ ея распоряженіе только дѣтскую и дѣтскія пеленки, но отнюдь не школу, въ которую я сунулась наперекоръ нашимъ варгунинскимъ Контамъ.
 - Всѣ онп, эти мужчины, противные! Я всѣхъ ихъ непавижу!
 болтала Марина скороговоркой; они всѣ варвары, людоѣды, деспоты.
 - И твой отецъ? шутииво замътила учительница.
 - Нътъ, папаша славный. Только онъ не мужчина.

- Почему же?
- Мужчина у насъ мамаша, а онъ только и распоряжается въ дътской, и то тихонько отъ мамаши. Она у насъ такой Прудонъ, что даже папашѣ дастъ читать книги по своему выбору.

Сказавъ это, Марина вспыхнула, и прибавила съ досадой: «Какая я злая! какая гадкая силетница!»

Между тъмъ пароходъ, стоявшій на пристани, отсвиставъ ноложенное число сигналовъ и отзвонивъ въ колокольчикъ столько, сколько слѣдовало, пересталъ шипѣть, и скоро пробъжалъ мимо ложбины, на которой сидѣла учительница съ Мариной. Скоро исчезъ и дымный хвостъ, какъ бы пехотя оторвавшійся отъ пароходной трубы, и только на поверхности Волги видна была зыбь, постоянно улегавшаяся.

- Улетълъ, сказала Марина задумчиво, —и хоть бы меня взялъ съ собою.
- -- Да, улетблъ, п даже дыму своего на долго намъ не оставилъ: все разлетълось--- и дымъ и паръ... Да, это похоже...
 - Что похоже, Варя? спросила Марина.
- Сила, которая толкнула пароходъ и повела его куда-то, сказалась только дымомъ и паромъ... Но и дымъ и паръ исчезли, сдѣлавъ свое дѣло, и слѣда не оставили... А куда они толкнули пароходъ, что съ нимъ будетъ тамъ, куда они его толкнули, не станетъ ли онъ па мель, не разобъется ли, имъ, дыму и пару, этой силъ, которая толкнула его, и горя мало... Они исчезли безъ слѣда... Такъ и онъ... такъ и та сила, которая меня толкнула гдѣ она?.. тоже исчезла безъ слѣда, и ей горя мало что со мной. Какъ этотъ самолетскій пароходъ, я быстро мчалась впередъ, и много было на этомъ пароходъ пасажировъ, и лоцманъ, казалось, былъ на немъ, и капитанъ, тоже думалось мнѣ, хорошій морякъ. И впереди казалось такъ много жизни, честнаго труда и такъ много счастья. И везъ втотъ пароходъ цѣлый грузъ вѣрованій, надеждъ... Ты знаешь, Марина, кто я? вдругъ, какъ бы очнувшись, спросила учительница свою подругу.

Этотъ вопросъ, такъ неожиданно и прямо поставленный, озадачилъ молодую дъвушку, и она съ недоумъніемъ посмотрѣла на учительницу. Послѣдняя повторила вопросъ.

- Говори же, кто я, настаивала она.
- Я... не знаю, Варя... ты ... я не знаю какъ сказать. . ты— новая женщина, отвъчала та запинаясь.
- А! понимаю: старая исторія, хотя повая ивсия— «новые люди»— «повыя женщины».
 - Чтожъ, Варя?
- Ничего... Das ist eine alte Geschichte, говорилъ одинъ капризный нѣмецъ, который тоже всю жизнь искалъ «новыхъ нѣмцевъ» и «повыхъ нѣмокъ», и, не найдя, самъ ихъ сдѣлалъ... Теперь эти сдѣланные имъ «новые нѣмцы» хотятъ весь міръ покорить, да чуть ли ужъ и не покорили... Нѣтъ, душа моя, я не «нован женщина», а старая: «новыя» еще не родились.
 - Когда же онъ народятся?
- Не знаю... Думаю, что не скоро. «Новые люди», и въ томъ числѣ «новыя женщины» народятся только тогда, когда «живые возстанутъ противъ умершихъ», чего такъ боится одинъ оранцузъ, геніальный сумасшедшій.
- Варя! съ какимъ-то дътскимъ испугомъ спрашивала ее молодая дъвушка, — что съ тобой? что ты говоришь? Ты какая-то странная. Я не пойму тебя: какіе живые возстанутъ противъ умершихъ»?
- -- Такъ и понимай буквально: когда «живые возстанутъ противъ умершихъ», то есть, когда я возстану противъ тѣни моей матери и моего отца, когда всѣ живые возстанутъ противъ всѣхъ мертвецовъ, когда начнется общій бунтъ не противъ государей, не противъ правительствъ (все это вздоръ), а противъ мертвецовъ, когда мы возстанемъ на нихъ, на ихъ память, на ихъ гробы и тѣни, на все то что они оставили намъ по себѣ, на то что они говорили, па то что они сдѣлали, на все что осталось послѣ нихъ и на землѣ, и въ памяти нашей, и въ книгахъ написанныхъ ими, и въ ихъ завѣщаніяхъ духовныхъ.

Когда она говорила эти слова, лице ея, и безъ того блёдное, покрылось еще большею, болезненною, мертвою блёдностью. Больше свётлые глаза какъ бы полинали и точно отодвинулись одинъ отъ другаго, и она говорила каждое слово, какъ бы прибивая его къ чему-то илотно, крепко, чтобъ слово, какъ гвоздь, не проскользнуло мимо пёли, а впилось бы въ предметъ, въёлось въ него. Са-

мые звуки голоса ея, пошиженняго на цёлую ноту, какъ бы обрывались и падали: что-то горькое слышалось въ этомъ голосъ.

Марина, слушая ее, тоже побледивла и какъ-то растерянно глядвла ей въ глаза.

- Варя! Варя! мит страшно... Я не узнаю тебя, говорила она испуганно.
- Да; думаю, и онъ не узналъ бы меня, отвъчала учительница какимъ-то страинымъ шопотомъ.
 - Кто онъ, Варя?
- Тоть, который всему этому научиль меня, кто разомъ и создалъ меня и разрушилъ. Онъ говорилъ, что намъ, чтобы быть счастливыми, надо возстать противъ мертвыхъ, что мертвецы отняли наше счастье, мертвецы забдають нашу жизнь, и мы должны пойдти противъ нашего прошедшаго, противъ всего того, чему учили насъ съ дътства, что мы вычитали въ книгахъ. Онъ говорилъ, что надо вытравить изъ насъ молоко нашихъ матерей, которое вошло въ наши соки, въ нашу кровь, въ наши кости. Онъ говорилъ, что мы должны забыть наше рътство и на колыбельныя пъсни матери смотръть какъ на ея проклятіе, которое испортило всю нашу жизнь. Онъ говорилъ, что отъ родителей мы наследовали наши ошибки, и ошибки эти держать насъ въ неволь, въ невъжествь, въ бъдности, держать уже ийсколько тысячь лать и будуть держать до тахъ поръ, пока мы не возстанемъ противъ мертвыхъ, противъ исторіи, противъ нашихъ понятій, чтобы создать и новую жизнь, и новыхъ людей, и новыя понятія. - Тогда только, увъряль онъ, перестануть литься человъческія слезы.
- Кто же онъ такой, Варя? Учитель твой? спросила Марина съ дътскимъ любопытствомъ.
 - Учитель... Да, учитель... мой убійца.
 - Гдъ же онъ?
- Не знаю... Какъ дымъ и пары того парохода, что сейчасъ ушелъ, онъ исчезъ, а мий сказалъ; «пди, иди, иди!» Я и пошла. Я помчалась на всйхъ парахъ, какъ пароходъ, и...

Она остановилась.

— Что же и? спрашивала ее Марина.

— Ничего, я такъ... Я говорю глупости, сказала учительница, какъ бы спохватившись и оглядываясь кругомъ.

Марина, однако, была блёдна и съ боязнью глядёла на нее.

- Ты пездорова, Варенька? говорила она, ласкаясь.
- Нътъ, ничего, отвъчала та, однако ты не сказала мит кто я?
 - --- Ну, будеть объ этомъ? Ты опять... •
 - --- Нътъ, я покойна... Кто же я?
 - Бунтовщица, сказала Марина улыбаясь, бунтуешь противъ мертвыхъ.
- И противъ живыхъ варгунинскихъ дьячковъ, прибавь къ этому.
 Нѣтъ, душа моя, я не бунтовщица, а то, что ты сейчасъ видѣла.
- Гав?
- На Волгъ.
- Кто же ты, Варя?
- Я—самолетскій пароходъ: пары толкнули меня впередъ, и я долго неслась съ полнымъ грузомъ надеждъ и стремленій, пока въ Варгунахъ не съла на мель. А гдъ пары, которые дали мит ходъ, не знаю: можетъ быть въ Англіи, а можетъ быть и въ могилъ.

Она говорила это не то шутя, не то скорбно. Между тъмъ изъ лѣсу выбъжали дѣти и прервали ихъ разговоръ. Каждый изъ мальчиковъ несъ что нибудь на показъ своей любимой учительницъ. Всъ образцы мъстной флоры были въ рукахъ этихъ юныхъ деревенскихъ натуралистовъ и каждый изъ нихъ старался показать наставницъ какую нибудь найденную имъ диковинку. У другихъ мальчугановъ, въ рукахъ и въ шапкахъ, была разнообразная колекція насъкомыхъ. Куза Ногинъ отыскалъ гдъ-то на ветлъ старое гнъздо ремеза и былъ счастливъ своей находкой, такъ какъ гибэдо ремезиное, по народному преданію, служить какимъ-то чарующимъ талисманомъ отъ всёхъ болъзней. Вася Латаевъ притащилъ огромнаго двурогаго жука и говорилъ, что онъ такъ золъ, какъ «казенный ученикъ», потому что жукъ ущиннулъ его за палецъ. Мальчики разсказали, что они имѣли въ лёсу баталію съ казенными учениками и обратили ихъ въ бёгство за то, что «казенные» разложили тамъ костеръ и медленнымъ огнемъ жгли на немъ живыхъ лягушекъ.

При этомъ наставница объяснила своимъ питомцамъ, названія и свойства каждой принесенной ими травки и каждаго найденнаго на-

съкомаго. Любознательний Кузя Ногипъ пе упустилъ случая, при этой импровизпрованной лекціи изъ естественной исторіи, обратиться къ учительницъ съ вопросомъ, который, по видимому, не давалъ ему покол, особенно же при постоянныхъ ученыхъ диспутахъ съ казенными учениками.

- А что, Варвара Григорьевна, нужийе знать, спросиль онъ колбна іудейскія, ганнибалова отца или «попову собаку» (такъ онъ называлъ одну мохнатую, черпооранжевую личинку почной бабочки).
- Колъна іудейскія и отецъ Ганнибала сами по себъ, а «попова собака» сама по себъ, отвъчала она улыбаясь; не мъщаетъ знать ц то, и другое.
- А что важитье—десятичныя дроби или персидскія войны? спросилъ онъ снова.
- Что? что? десятичныя дроби или персидскія войны? Какія ты глупости спрашиваешь.

И наставница и Марина разсивались. Любознательный Кузя самъ устыдился своего вопроса.

- Вотъ онъ говоритъ (и Кузя указалъ на другаго мальчика, выше его ростомъ), что дроби важите персидскихъ войнъ, потому что безъ персидскихъ войнъ можно прожить, а безъ дробей нельзя.
 - Пусть будеть по вашему, сказала учительница.
- И пшеница важнъе греческаго языка, какъ бы про себя замътилъ Кузя, — изъ пшеницы дълаютъ муку и булки и пшеницей торгуютъ, а изъ греческаго и датинскаго языка ничего не выйдетъ.
- Да ты что-то сегодня въ философскомъ настроенія, зам'єтила шутя учительница, — в'єрно, подрадся съ казенными.
 - Подрался... Они все смёются надъ нами.

Вообще паставинцѣ не легко было удовлетворять любознательность всѣхъ своихъ воспитанинковъ, которые иногда обращались къ ней съ такими вопросами, что отвѣчать на нихъ обстоятельно не было никакой возможности. Любознательность мальчиковъ поддерживалась тѣмъ соревнованіемъ, которое возбуждалось въ нихъ отъ постоянныхъ диспутовъ съ «казенными», и эти диспуты были такого рода, что земскимъ школьникамъ приходилось во что бы то ни стало отстапвать преимущества реальныхъ знаній передъ прочими. Иногда диспуты доходили до того, что казенные кричали, «ваша земская

школа—свинья»! Тогда раздраженные земскіе называли, въ свою очередь, ихъ «ганнибилова отца свиньей», и начиналась драка. Вотъ почему мальчики забрасывали вопросами свою наставницу, которая называла свои экскурсіи съ воспитанниками по лѣсу ученіемъ въ «дѣтскомъ саду», и не могля не сознать, что ея роль труднѣе роли г-жи Люгебиль, устроившей въ Петербургѣ «дѣтскій садъ». Тамъ дѣти гораздо развитѣе и подготовленнѣе, чѣмъ въ Варгунахъ, гдѣ деревенскимъ мальчикамъ приходилось объяснять самыя обыкновенныя вещи, и объясненія эти были весьма трудны: надо было выбивать изъ голобы ученика ошибочныя понятія и предразсудки и въладывать новыя, что требовало и времени и не малыхъ усилій.

VIII.

Старикъ Ногинъ встрътилъ своихъ гостей, Стожарова и Серпороева, у воротъ своего дома. Онъ радушно просилъ ихъ войти въ свътлицу, гдъ онъ бывало поучался грамотъ отъ своего маленькаго внучка Кузи. И дворъ и домъ Ногина изобличали и зажиточность и умълую домовитость хозяина. Вездъ довольство, простое, крестьянское довольство, и порядокъ. Чистый, просторный дворъ, хорошіе и прочные анбары и клъти, высокіе заборы и навъсы для хозяйственныхъ принадлежностей. Все кругомъ смотръло исправностью, потому что за всъмъ дозорилъ глазъ хозяина: и новыя прочныя телеги, и колеса на нихъ прочныя, съ шинами и толстыми ободьями, и оси прочныя, такія что, кажется, и излому не знаютъ, и дуги росписныя, и тоже прочныя, въковыя.

И домъ у Ногина знатный, теплый, просторный, не то что избенка сосёда-горемыки, у котораго и воробы зимой не ночуютъ подъ крышей, потому что холодно, а крыша жидкая, дырявая, и дождями насквозь пробитая и вётрами изсушенная, у котораго и голуби не сидятъ на наличникахъ, потому что паличники эти пообломаны, а летятъ эти голуби и воробы къ старику Ногину, у котораго и на дворё есть что поклевать голодной птицё, и подъ теплой крышей можно укрыться въ непогодь, и за прочными, широкими наличниками можно дѣтеньшей вывести. Въ свѣтлицѣ и чистый полъ усыпайъ песочкомъ, и широкій столъ накрытъ цвѣтною скатертью, и видны въ свѣтлицѣ слѣды грамотности—и снияя чернильница съ намоченными въ ней перьями, и пѣсколько кийжекъ, должно быть учебники Кузи, и масивный псалтырь съ шелковой закладкой, и нѣсколько номеровъ «Друга Народа», и «красное яичко» Погодина, и недавно купленное положеніе о земскихъ учрежденіяхъ, а на стѣнѣ, въ рамкахъ, ээтографическія карточки «братьевъ-славянъ» Палац-каго и Ригра.

Стожаровъ и Серпороевъ были удивлены, увидъвъ эти карточки у мужика въ избъ, даже у такого зажиточнаго мужика, какъ Ногинъ.

- Вы знаете этихъ господъ? спросилъ Стожаровъ, показывая на карточки.
- Знать не знаю, батюшка, а слышаль объ нихъ много. Какъ не слыхать о братьяхъ-славянахъ! Тоже, чать, съ родни намъ, русскимъ, маленько, да только, слышь, въ загонъ у иъмцевъ, по пословицъ: бъдные родичи въ наймахъ у поповича, сказалъ старикъ шутливо.
 - Гдъ же вы ихъ достали? спросилъ Серпороевъ.
 - Сынъ изъ Москвы привезъ- самъ ихъ видълъ.

Скоро на столѣ появился шипящій самоваръ, и молодуха-сиоха проворно, но безъ суеты, стала угощать гостей чаемъ, тогда какъ другая сноха готовила для нихъ и печеное, и вареное, и жареное. Старику хотѣлось угодить пріѣзжимъ, въ одномъ изъ которыхъ онъ видѣлъ серьезнаго наблюдателя и крестьянскаго житья-бытья и новыхъ порядковъ земства. Какъ представителю и крестьянства и земства, ему предстояла роль явиться выразителемъ и того и другаго передъ людьми, которые, какъ видно, успѣли уже присмотрѣться и къ крестьянскимъ, и къ земскимъ порядкамъ въ другихъ губерніяхъ, знаютъ у кого и на какомъ пальцѣ мозоль и кто на какое ухо тугонекъ. Не даромъ гладко стриженый изъ нихъ, у котораго голова была словно точеная, частенько вынималъ изъ кармана записную книжку и записывалъ въ ней—и сколько мужикъ соли дастъ за зиму своей скотинкѣ, и сколько сохъ идетъ въ общественную запашку, и восколько лѣтъ передѣлъ земли бываетъ, и что съ души приходится

въ земскій сборъ и въ казенный. А коли къ слову придется, такъ тотчасъ, словно пописанному скажетъ, сколько мужику остается къ лёту отъ зимпяго извоза и сколько онъ лаптей изобьетъ, отправляясь на заработки, что проъстъ и что семьъ принесетъ.

«А точеная-то голова, какъ видно, не клиномъ уродилась», думалъ про себя старикъ: «изъ молодыхъ да ранній».

Старикъ не могъ не замѣтить, что «точеная голова», какъ онъ въ умѣ своемъ называлъ Стожарова, особенно напирала на вопросы объ общественныхъ запашкахъ: нѣтъ—нѣтъ, да и свернетъ на мірскую запашку или на мірскіе капиталы. Когда старикъ поинтересовался узнать, почему его гость все гнетъ па мірскую сторону, Стожаровъ сказалъ, указывая на избенку сосѣда-горемыки:

- Это по вашему изба?
- Какая изба! отвъчалъ Ногинъ, только слава, что изба, а въ ней и мыши не живутъ.
 - А у васъ живутъ? спросила точеная голова.
 - Живутъ аспидовы.. полны закрома.
- Значитъ, есть что жрать... А черные тараканы водятся?
 - Водятся, батюшка.
- То-то же, а у сосъда, върно, и таракановъ нътъ всъ къ вамъ перебрались. А отчего? Оттого, что тамъ ъсть нечего, а у васъ есть что.
- Знамо, говорият старикт въ раздумын,—не даромъ примъта есть насчетъ таракановъ.
- Такъ коли вы жили бы мірэмъ, и пахали міромъ, и деньгу дълили по міру, такъ и у вашего сосъда были бы тараканы, замътила точеная голова.
- Какъ же это, батюшка, чтобъ и моя деньга была мірская, и изба моя мірская?
- Мірская, какъ церковь... Міръ—сильный человѣкъ и могъ бы быть богатымъ человѣкомъ, коли бы захотѣлъ.

Старикъ задумался при этихъ словахъ, и гости свели разговоръ на другое.

Когда Ногинъ жаловался, что у нихъ пынѣшнимъ лѣтомъ жнецы брали за десятину цѣлковыхъ до двадцати, такъ что, по выраженію старика, «мужики стали дороже господъ», гости значительно переглянулись и улыбнулись.

- Да мужики и всегда были бы дороже господъ, коли бы захотъли, замътила точеная голова какъ бы не-хотя.
 - А кто цёну на насъ набивать то будеть? спросиль Ногипъ.
- Цъну спросъ набиваетъ, да пустой рынокъ: вышелъ мужикъ на базаръ наниматься — дешевъ сталъ, а не вышелъ — дорогъ.
- А коли мужикъ ѣсть хочетъ, да на шеѣ недоимка какъ не выйдень на базаръ?
 - А стачка на что? спросилъ Сериороевъ.
 - Стачка, батюшка, на землъ лежитъ, да «не буду» кричитъ.
 - А нъмая стачка?
 - Нѣмаго кто-жъ и услышитъ?
- Да нынѣшнимъ лѣтомъ, вы же сами говорите, безъ стачки стачка вышла. Такъ и всегда: упрись рабочій, постой на своемъ хоть одинъ базарный день, еслибъ ему даже пришлось и голодать, тогда не устоитъ наемщикъ, дастъ цѣну, какую ни заломи жнецъ— вѣдь хлѣбъ-то въ полѣ ждать не станетъ, высыплется изъ колосьевъ на землю, или поляжетъ, и въ зобъ къ птицѣ пойдетъ зерно, а не въ амбары, говорилъ настойчиво Стожаровъ;— вотъ вамъ и нѣмая стачка, безъ стачки стачка. А я вамъ все-таки говорю, что только міромъ будетъ силенъ мужикъ и міромъ осилитъ всякую силу.

«Къ чему это гнетъ точеная голова (думалъ про себя старикъ), и понять не могу.»

А точеная голова, какъ бы лавируя разговоромъ и уклоняясь отъ прямаго слова, свела ръчь на земство и на его распорядки

- А что, Парменъ Прокофычъ, закинулъ онъ снова удочку, разжевалъ ли мужикъ что такое земство?
- Какъ, батюшка, не разжевать разжевалъ. На этогъ счетъ мужикъ дока.
 - Что-жъ онъ говоритъ?
- Да говоритъ, къ примъру, что старые порядки на асигнаців ходили, а земскіе порядки на серебро пошли.—Вотъ что говоритъ мужикъ.
 - Какъ же это?
 - Мужикъ по глупости говоритъ, что съ новыми порядками в

начальниковъ прибыло, и повинностей прибыло: все, говоритъ, нашему брату на кости.

- За то помъщики съ костей долой, замътилъ Серпороевъ.
- Помъщиви-то съ костей, а посредниви да гласные, слышь, на кости—оно и выходитъ вдвое: козла изъ огорода выгнали, а капуства все-тави не наша, слышь.
 - А какъ онъ смотритъ на гласныхъ? спросилъ Стожаровъ.
 - Косо смотритъ.
 - Отчего-жъ? Въдь престыяне сами ихъ избираютъ:
- Выбирать-то выбирають, да насчеть этого самаго выбора воть что крикуны говорять:

Кума! а, кума!
Выбирай сама:
На какой веревкъ тея повъсить?
На мочальной аль пецьковой?

- Однако у васъ не безъ сатириковъ, замѣтилъ Стожаровъ, и зашагалъ быстрыми шагами по свѣтлицѣ: такъ такъ и говорятъ? спросилъ онъ, останавливаясь.
 - Такъ и говорятъ.

Стожаровъ вынулъ было изъ кармана записную книжку, но, какъ бы спохватившись, опять спряталъ ее въ карманъ и машинально остановился передъ портретами Ригра и Палацкаго.

- Да, любопытно, очень любопытно, говорилъ онъ, такъ земскіе порядки «на серебро ходятъ»? Одинъ помъщикъ съ костей, а «новые помъщики» на кости?
- Значить есть и «новые пом'ящики» у мужиковъ, какъ у насъ есть «новые люди», зам'ятиль см'ясь Серпороевъ.
- Должно быть что такъ, говорилъ Стожаровъ задумчиво, продолжая стоять передъ Ригромъ и Палацкимъ: козла выгнали изъ огорода, а капустка все-таки не наша. .
 - За то выборное начало.
 - Да, кума, кума-выбирай сама.

Старикъ Ногинъ въ это время выкладывалъ что-то на счетахъ.

- Выходить, что мужики говорять правду: повинностей-то при: бавилось не мало, сказаль онь, отодвигая счеты.
- _ Однако, возразилъ Стожаровъ, крестьянинъ не можетъ же не

сознавать, что, при новых в порядках в, по крайней мврв личность его болбе обезпечена да и имущество тоже, как в ни тяжелы поборы.

- Это что и говорить: мужикъ самъ видитъ, что спина его отъ тычковъ отвыкаетъ маленько, а коли и берутъ съ него много, такъ берутъ, по крайности, по закону. Да у насъ что! У насъ сторона богатая - хлъба и мужику довольно, и птицъ вдоволь поклевать: есть что продать, есть на что купить, есть чамъ и земству угодить. А вотъ я бывалъ за Волгой, гдъ земля-то хуже родитъ, такъ тамъ тяжеленько. Зналъ я тамъ одного недоимочнаго мужика, такъ говоритъ: «колибъ у меня была корова, повелъ бы на базаръ продать да недоимку заплатилъ, а жену и дътей не поведешь на базаръпотому, продавать нонъ людей не вельно». Вотъ посль этого и кори земство, будто у него мосты дурны да по дорогамъ провзду нътъ: не по мостамъ мы вздимъ да не по дорогамъ, а по мужичьимъ спинамъ да ребрамъ. Спина у мужика худа и ребра счетомъ считайоттого и тряско по нимъ вздить. А затянись-ко у мужика спина сальцемъ да нарости жирокъ на ребрахъ, такъ и взда будетъ куды какъ ровная да гладкая, словно по чугункъ. Вотъ и чугунка, пожалуй, мужичьи спины маленько задёнеть:

Въ это время къ окну свътлицы, у котораго сидълъ Серпороевъ, подошелъ молодой крестьянскій парень, еще, какъ видно, не вышедшій изъ отроческихъ лътъ. За плечами у него была небольшая котомка изъ холщевой сумки, перевязанной веревкой. Въ рукахъ толстая палка. На ногахъ лапти, сильно потертые и загрязненные, а черезъ плечо перекинутъ сърый запунъ. Лице пария было не по лътамъ серьезно и худо, а небольшіе каріе глаза глядъли зорко и смъло.

- Дома Парменъ Прокофычъ? спросилъ парень, не снимая шанки.
- А ты къ нему по какому дълу, молодецъ? спросилъ Ногинъ, подходя къ окну.
- Ему самому и дѣло мое скажу, отвѣчалъ парень не трогаясь съ мѣста.
- Я и есть Парменъ Прокофьевъ.

Парень снялъ шапку, встряхнулъ волосами и опять ее надёль.

— Я къ вамъ, батюшка Парменъ Прокофъичъ: поговорить мнъ съ вами надоть, сказалъ онъ, и поглядълъ на Серпороева.

— Подь въ свътлицу, тутъ и поговоримъ.

Парень вошель и поклонился сначала Ногину, а потомъ его гостямъ.

- За какимъ-такимъ дѣломъ я тебѣ понадобился, молодецъ? спросилъ Ногинъ.
- Дѣло мое небольшое, Парменъ Прокообичъ... Купецъ Гридневъ мнѣ сказывалъ, что ваши ребята въ Москву поѣдутъ. Такъ онъ послалъ меня къ вашей милости.
 - А который Гридневъ, старый аль мелодой?
 - Молодой, Василій Парменычъ.
 - А!.. Мои ребята точно въ Москву ѣдутъ.
- Такъ Василій Парменычъ велёлъ мит съ ними до Москвы събхать.
- А по какому дёлу тебё онъ въ Москву велёль ёхать.
- Не онъ велълъ-я самъ ъду.
- По рукомеслу какому, аль въ наймы?

Парень замился было, но, посмотръвъ на Стожарова и Серпороева, смъдо сказалъ:

- Я иду въ Москву учиться разнымъ наукамъ.
 - А какимъ такимъ наукамъ?
- Разнымъ... Наукъ-то много.
 - Грамотъ, значитъ.
- Нътъ, грамоту я знаю.
 - Что-жъ? Арихметикъ, что-ль?
 - И ее я знаю.
- Чему-жъ еще? спросилъ старикъ, все болъе и болъе удивляясь:
 Стожаровъ и Серпороевъ также смотръли на парня съ удивленіемъ.
- Али Ломоносовымъ захотълъ быть? спросилъ старикъ, припоминая, что онъ слышалъ о крестьянскомъ мальчикъ, о которомъ толкуютъ въ Россіи около полутораста лътъ, какъ о необычайномъ явленіи
- Нѣтъ, Парменъ Прокофычъ, теперь у насъ въ Россіи Ломоносовымъ никого не удивишь, хоть бы ты и въ обозѣ съ рыбою пріъхаль въ Москву учиться... Теперь такихъ много: крестьянскій сынъ ужъ и въ гимназіи сидитъ, и университетскія лекціи слушаетъ. Не я первый, не я и послѣдній.

Стожаровъ и Серпороевъ съ любопытствомъ подошли къ парию. Въ голосъ, которымъ говорилъ этотъ деревенскій малый, и въ словахъ его слышалась увъренность, а смѣлость, съ которою онъ держалъ себя, давала понять, что этотъ дѣтина выработалъ себъ и то, и другое упорною волею и не легкою борьбою съ обстоятельствами. Такая смѣлость въ париъ могла явиться только или вслъдствіе того, что ему было слишкомъ худо жить и, какъ онъ себя не веди, хуже не будетъ, а слъдовательно ему уже терять нечего, или вслъдствіе увъренности, что всякую бъду руками развести можно.

- У кого вы учились? спросилъ его Стожаровъ.
- Сперва у бабушки-начетницы, да Макриды странницы, а потомъ моимъ учителемъ было матернее да бабушкино проклятье.
 - Такъ вы изъ раскольничьяго семейства?
- Да, родился я въ старой въръ и меня маленькаго лъстовкой съкли, когда я не трегубилъ алилуйи.
 - Что-жъ вы наиврены теперь съ собой дълать?
- Въ скитъ я не хочу идти и Макридонымъ архиреемъ не буду,
 а хочу искать правды не тамъ, гдѣ ее наши отцы искали.

Ногинъ попросилъ своего страннаго гостя присъсть отдохнуть, такъ какъ онъ, въроятно, усталъ съ дороги. Парень поставилъ свою палку у порога, отвязалъ котомку и, поглядывая на свои лапти, сказалъ, горько улыбаясь:

- Вотъ въ этихъ-то даптяхъ я и буду правду искать.
- Что-жъ, замътилъ Стожаровъ, въ сапогахъ-то ее давно ищутъ, да что-то не находятъ, а быть можетъ, правда сама въ дантяхъ ходитъ.
- Нътъ, господа, сказалъ со своей стороны старикъ Ногинъ, правда, поди, босикомъ и нагишомъ бъгаетъ. Самъ Христосъ босикомъ ходилъ.
- Тепло было ходить по святой землъ, а у насъ, на грѣшной сторонъ, пну пору и въ валенкахъ холодно, говорилъ парень, укладывая свою котомку въ уголъ.

Затъмъ онъ сълъ на близъ-стоявшій стулъ и рукавомъ рубихи обтерь свое блёдное лице, по которому катились капли пота.

- Что, паренекъ, усталъ чать? говорилъ старикъ ласково.
 - Усталь, дядюшка: сегодня много прошель.

- А издалека ты самъ?
- Съ Тарлыка.
- Путина не малая. А какъ зовутъ тебя?
- Матвъемъ Таволгинымъ.

Ни Стожаровъ, ни Серпороевъ никакъ не могли сразу понять къ какой категоріи людей современной Россіи принадлежить эта загалочная личность. Они видели только, что характеръ юноши вырабатывался хотя и подъ тяжелыми условіями жизни, однако условія эти были далеко не тъ, среди которыхъ они сами проходили жизнь и научались думать. Вотъ уже вторую загадочную личность встречають они, и не могутъ дать себъ отчета, что это за люди, - исключенія ли это изъ общаго правила, возможныя во всякомъ обществъ, разновидности ли того закала людей, къ которымъ принадлежали они сами, или просто аномальныя явленія. Молодой Гридневъ и этотъ парень окончательно сбивали ихъ съ толку. Оба выросшіе въ самой, по видимому, сердцевинъ Россіи и въ такомъ обществъ, которое менъе всего податливо въ дълъ анализа, они въ своихъ отношеніяхъ къ общепринятымъ, ходячимъ понятіямъ доходили чуть ли не до ригоризма. Обоихъ, какъ видно, въ детстве секли лестовкой за сугубую адилуію, надъ обоими, вмъсто колыбельной пъсни матери, раздавалось гнусавое распъванье псалмовъ Макриды странницы, оба долго дышали затхлымъ воздухомъ раскольничьихъ молеленъ-и вотъ у обоихъ нетерпъливое и раздражительное отношенье къ тому, надъ чёмъ отцы ихъ и особенно матери дрожали какъ надъ своими желъзными сундуками. Таволгинъ представлялся еще болъе загадочнымъ субъектомъ. Крестьянскій мальчикъ, выросшій гдё-то въ глуши и порывающійся съ своими оборванными даптями дойти до правды, по видимому считаетъ тотъ путь въ знанію, которымъ шелъ Ломоносовъ, не подходящимъ къ нему и какъ бы чутьемъ угадываетъ, что для Ломоносовыхъ время прошло. Съ проклятіемъ матери и бабушки онъ идетъ куда-то, и по видимому онъ идетъ не наобумъ, не куда глаза глядять, какъ прежде ходили неуживчивыя натуры — въ разбой, такъ въ разбой, на Волгу, въ лъсъ, въ скитъ, - такъ въ самую трущобу скитную, чтобъ потомъ выйти или атаманомъ разбойниковъ, или коноводомъ раскола и вожакомъ пародныхъ массъ во время внутреннихъ смутъ государства.

Этотъ парень идти въ скитъ не хочетъ и раскольничьимъ архіереемъ быть не желаетъ. Что же такое засъло ему въ голову, что
ведетъ его изъ трущобы на свътъ божій, на просторъ? Жажда знаній, жажда дъятельности, какъ во всякой богатой порывчатой патуръ, или просто желанье вырваться изъ омута, изъ тарлыцкаго заволжекаго захолустья, изъ скитскихъ трущобъ? Нътъ, что-то другое
засъло въ голову этому выродку старины и, какъ видно, не мало
онъ думалъ надъ тъмъ, на что ръшился, и не мало выстрадалъ,
чтобъ ръшиться. Онъ знаетъ, онъ слыхалъ отъ кого то, что крестьянскій сынъ и въ гимназіи сидитъ, какъ свой человъкъ, и въ университетъ пронесли лапти крестьянскаго сына, и это ему кажется дъломъ обыкновеннымъ. «Не я первый, не я послъдній», говоритъ онъ.

А какія отношенія этого загадочнаго парня къ Гридневу, который еще такъ недавно поразплъ Стожарова и Серпороева чѣмъ то такимъ, чего они до него не видъли? Гридневъ, саркастически отзывающійся о самыхъ, по видимому, лучшихъ пріобрѣтеніяхъ ума человѣческаго, недовѣрчиво относящійся къ добытымъ наукою истинамъ — этотъ Гридневъ толкаетъ пария по дорогѣ, съ которой, по видимому, самъ своротилъ въ сторону.

Всѣ эти мысли и вопросы невольно вставали въ умѣ Стожарова по мѣрѣ того, какъ онъ слушалъ и вглядывался въ Таволгина.

- Что же вы знаете? спросилъ онъ сидъвшаго передъ нимъ парня.
- Я знаю, что я ничего не знаю, сказалъ тотъ, ме глядя на собестаника.
- Нътъ, этотъ отвътъ доказываетъ, напротивъ, что вы что-то знаете, замътилъ Серпороевъ, подходя къ нему ближе и глядя на него съ нетерпъливымъ любопытствомъ.
- Я знаю все, что знаетъ Макрида странница: сонъ богородицы, стихи о пустынъ, хожденіе богородицы но мукамъ и лондонскій сборникъ Кельсіева, который я вслухъ читалъ и бабушкъ, и Макридъ.
- А гдѣ вы достали этотъ сборникъ? спросили его.
 - А гдъ вы доставали «Коловолъ»? спросилъ онъ въ свою очередь.

И Стожаровъ, и Серпороевъ невольно отступили отъ страннаго лапотника. Имъ пришло въ голову, что ихъ дурачитъ какой нибудь студентъ, надъвшій на себя лапти, сърый зипунъ и пестрядиную рубаху, или—что подъ этимъ костюмомъ скрывается ихъ же братъ мертвоборецъ, то-есть одинъ изъ живыхъ, который, по теоріи Огюста Конта, «возсталъ противъ умершихъ», какъ и они возстали.

- Кто же вы? спросилъ Стожаровъ съ недовъріемъ.
- -- Крестьянинт Матвъй Таволгинъ, отвъчалъ тотъ спокойно.
- А знаетъ ли Макрида странница то что вы знаете, какъ знаете вы то что она знаетъ? спросилъ Стожаровъ, тоже играя словами и поддълываясь подъ тонъ собесъдника.
- Да, она знаетъ имо я знаю, и за то-то меня и прокляли мать и бабка, отвъчалъ онъ.

Старикъ Ногинъ, молча слушавшій этотъ странный и не вполнъ понятный для него разговоръ, громко вздыхалъ и какъ бы про себя шепталъ: «Ну времена настали! И не думалъ, что доживу до этого... Знать пришла пора намъ старикамъ ложиться въ могилу, а то, мотри, заживо отпоютъ.»

Со своей стороны Стожаровъ, глядя на молодаго крестьянина и съ лихорадочнымъ любонытствомъ слушая его ръзкіе отвъты, думаль съ какимъ-то тяжелымъ, подавляющимъ чувствомъ: «Не ужели же и это жертва времени, какъ тотъ странный больной, котораго я видълъ въ домъ умалишенныхъ? Чъмъ же это кончится? Ужъ и безъ того слишкомъ много жертвъ, а что выйдетъ изъ этого—никто не знаетъ. Не легко же, върно, живетея людямъ, когда жизнь съъдаетъ такія, по видимому, кряжевыя натуры. Въдь и въ самомъ дълъ сойдешь съ ума, когда условія жизни, хуже чъмъ въ старину кнутья, бьютъ человъка все по нервамъ, да по нервамъ, когда проклятыя нравственныя встряски не хуже помогаютъ сотрясенію мозга, какъ и битье обухомъ по головъ. И неужели же даже изъ этого ничего не выйдетъ?»

Одинъ студентъ Серпороевъ думалъ увѣренно, глядя на молодаго крестьянина: «Въ воздухѣ пахнетъ... Въ воздухѣ пахнетъ... И въ Кинешмѣ, я чую, вѣетъ нашо духъ, и въ Варгунахъ вѣетъ, и на Тарлыкѣ вѣетъ... Посмотримъ, какія опи мѣры примутъ противъ того, что въ воздухѣ носится... Посмотримъ!»

Въ тоже время и молодой крестьянинъ, глядя на свои общиыганные лаптишки, думалъ: «Сторонитесь, сапоги! Лапти идутъ... Лаптей много идетъ, сапогамъ мъста не будетъ...» Въ это время въ свътлицу влетълъ маленькій Кузя и еще за порогомъ кричалъ: «Дъдушка! дъдушка! а какихъ ты мнъ книжекъ привезъ изъ губерніи?»

— Фу ты пропасть: ребятенки ужъ и пряниковъ не просятъ, а все имъ книжки подай... Ну, времена! сказалъ старикъ, глядя, какъ его внучекъ, испуганный гостями, убъгалъ изъ свътлицы.

IX.

Почти за восемнадцать лётъ до того дня, когда мы встречаемся въ Варгунахъ съ Стожаровымъ, Серпороевымъ и Таволгинымъ, на речке Тарлыке стояла деревенька, почти вся заросшая лесомъ. Въ бедной избенке, въ которой жила благочестивая старица Гликерія съ дочерью Маврушею, народился маленькій раскольникъ отъ матери Мавры и отца Кирика, раздавленнаго на Волге беляною за несколько месяцевъ до рожденія сына. Молитвовалъ маленькаго раскольника и крестилъ въ новой кадочке странникъ Варсанофій, проходившій на Уралъ изъ Австріи, изъ Белой Криницы. Маленькому раскольнику дали имя Матвея.

Отъ самаго ранняго дѣтства у маленькаго Матюши оставалось воспоминаніе, какъ мать и бабушка часто вспоминали отца Варсанофія, который говорилъ, что гдѣ-то въ чужихъ земляхъ уже народился антихристъ и кладетъ свою печать съ «числомъ звѣринымъ» на людскія правыя рученьки, пониже плечь широкіихъ, а повыше локтей, и что для прикрытія печати антихристовой люди. особенно женщины, которыя охотнѣе мужчинъ предаются антихристу; выдумали особое одѣяніе: ходятъ съ голыми плечами и голыми локтями, а только «число звѣрино» прикрываютъ широкимъ лентіемъ, въ видѣ коротенькихъ рукавовъ. Еще помнилъ маленькій Матюша, что надъ его колыбелью, которую замѣняло старое лукошко изъ подъ курицынасѣдки, раздавалась не колыбельная пѣсия, а пѣсия объ «алилуевой женѣ», и что наводила па него страшную тоску эта пѣсия даже впослѣдствіи, когда маленькій раскольникъ начиналъ уже бѣгать. Въ

долгіе зимніе вечера, когда избенку заносило сифгомъ, старая, слъпая бабушка, сидя за веретеномъ и вздыхая о томъ, что пришли послъднія времена, пъла бывало дребезжащимъ, разбитымъ голосомъ:

Какъ родился Христосъ въ Виолеемъ,
Какъ крестился нашъ спасъ въ Горданъ,
Антихристы-жиды его замѣчали,
Замѣчали его, устигали;
Злой смерти его предать хотѣли.
И кидался Христосъ во келью,
Къ алилуевой женъ милосердой.
Алилуева жена печку топитъ,
На рукахъ своего младенца держитъ.
Какъ возговоритъ къ ней Христосъ владыка:
Охъ ты гой еси, алилуева жена милосерда,
Кидай ты свое дѣтище въ печь, во пламя,
Примай меня, царя пебеснаго, на бѣлыя руки.

И страшно становится маленькому Моть отъ словъ и отъ голоса этой пъсни, и боится онъ даже прижаться къ своей матери, которая представляется ему «алилуевой женой», и думаетъ Мотя, что вотъ-вотъ его бросятъ «въ печь, во пламя» и готовъ онъ бъжать изъ избенки въ лъсъ, въ поле... А веретено все жужжитъ, а страшныя слова все дребезжатъ вт старомъ, пересыхающемъ горлъ съдой бабушки, которой слъпые глаза безсмысленно смотрятъ куда-то въ невидимую даль, въроятно въ далекое прошлое, можетъ быть, такое же безотрадное, какъ и настоящее.

- Мавра! кто тамъ воетъ подъ окошкомъ? вдругъ спрашиваетъ старуха, прерывая свою страшную пъсню.
- Вътеръ воетъ, матушка, а може и нечистый духъ, прости Господи: страшно ему окаянному войти въ святую горенку— онъ и воетъ, отвъчаетъ Мавра, крестясь.

И еще страшиве становится въ святой бъдной горенкъ, когда умолкаетъ разбитый голосъ старухи. Слышно, какъ нечистый духъ стучитъ костлявою, промерзшею ругою въ дверь съней или шелеститъ камышевою ставнею у окошка, и воетъ, воетъ... Вотъ треснуло что-то въ самой горенкъ, и ужасъ охватываетъ маленькаго раскольника, и готовъ онъ закричать, и кричать боится.... Опять трескъ... Это трещитъ лучина... А вътеръ все воетъ, все воетъ.

Старуха вздыхаетъ безсильнымъ вздохомъ, качаетъ задумчиво стробо головой, и снова изъ ея старческаго, много говорившаго на своемъ въку и много кашлявшаго горла выходятъ протяжные, тоскливые звуки и безнадежныя слова «стиха пустынножительскаго»:

О прекрасная пустыня,
Любимая моя другиня!
Пришли тебя зажигати,
Со мною тебя, мати, разлучати.
Огню ты, мати, предавшися,
Ты со мною нынѣ растаешися,
Душевное мое спасеніе,
Плотское мое оскорбленіе.

И кажется маленькому Моть, напряженно слушающему эту пьсню и сплящемуся понять ея страшныя слова, что «мати пустыня» такая же старая, высокая, страшная, старуха, какъ старица Гликерія, только еще старше ея, еще страшнье. И рисуется въ пылкомъ, бользненно настроенномъ соображеніи мальчика, какъ жгутъ эту страшную, косматую старуху «пустыню», и жаль ему этой пустыни, потому что бабушка называетъ ее «прекрасною пустынею», «любимою другинею», и хотълось бы, чтобъ скоръй «приходили» эти невъдомые люди, о коихъ говоритъ старуха въ пъснъ, и взяли бы страшную пустыню.

А тамъ опять слышится хриплый вопросъ старухи:

- Мавра! который годъ, какъ Карпушеньку посудиной раздавило?
- Пятый годокъ, матушка, пошелъ, отвѣчаетъ Мавра; вотъ и Мотѣ ужъ пять годковъ минуло.
- А я все забываю... Памить слаба стала—о-о-хо-хо! вздыхаеть старуха и крестится: а ему все нътъ угомону—все воетъ, все плачетъ, словно душа гръшная въ рай просится.

Мавра тоже крестится и плачеть, и Мотя плачеть, потому что ему кажется будто какая-то «душа» плачеть подъ окномъ и въ теплую горенку просится. А Мавръ кажется, что это стонеть подъ окномъ душенька ея мужа Карпа, задавленнаго на Волгъ бъляною безъ покаянія.

Помнилъ Мотя и другіе долгіе вечера, когда въ ихъ избенку приходила Макрида-странница и приносила съ собой бережно запрятацныя подъ понявой, точно зловредный и всеубивающій ядъ какія-то старинныя, засаленныя книжки. Садилась Макрида въ переднемъ углу подъ образами, и жалобно, протяжно читала въ книжкъ что-то глубоко поражавшее воображеніе Моти и по видимому болъзненно дъйствовавшее даже на его бабушку и на мать. Долго читался «какойто стихъ преболъзненнаго воспоминанія», слово за словомъ выходило изъ устъ Макриды, и изъ словъ выростали какія-то страшныя картины, и точно мракомъ наполналась избушка, и лучина будто притухала, и точно издали откуда въ избушку неслись таинственные образы:

По грѣхамъ нашимъ, на нашу страну Попусти Богъ такову бъду: Облакъ темный всюду осъни, Небо и воздухъ мракомъ потемни, Солнце съ небеси скры своя лучи И луна въ нощи свътлость помрачи, Но и звъзды вся потемниша зракъ И дневный свътъ приложися въ мракъ. Тогда твари вся ужаснушася, Но и бездны вся содрогнушася, Егда адскій звёрь ея разрёши, Отъ закленъ твердыхъ нагло изскочи, О коль яростно испусти свой ядъ Въ канолический красный вертоградъ! Зъло злобно врагъ тогда возревъ, Коноликовъ родъ мучити повелъ, Святыхъ пастырей вскоръ истреби, Увы жалости! огнемъ попали. Четы икановъ уловляхуся, Злымъ наказаніемъ умерщвляхуся, Всюду върніи закалаеми, Аки класове пожинаеми. Тогда върніи горцъ плакаху, Зѣло жалостно Богу взываху.

Заунывное чтеніе тянется мучительно долго. И молятся одинокіе молельщики въ избушкъ, и слышны только вздохи трехъ женщинъ,

да гнусавый речитативъ Макриды-странницы, которая покачиваясь изъ стороны въ сторону, молитъ кого-то невъдомаго о томъ, чтобъ онъ сократилъ «время лютости», чтобъ защитилъ кого-то «отъ мучительства злаго», отъ «адскаго змія»— и этотъ змій, кажется, уже близко, близко. И читаетъ Макрида странница, какъ «лютый звърь вся древесія попалилъ» и весь садъ вертоградъ погубилъ, и охаетъ она, покачиваясь въ переднемъ углу, и охаютъ всять за нею слушательницы:

«Охъ, увы, увы! благочестіе!
Увы древнее правовъріе!
Кто лучи твоя вскоръ потемни!
Кто блистанія тако измъни?
Десяторожный звърь сіе погуби,
Седмиглавый змій тако учини».

Оханья становятся тёмъ страшнёе, что мальчику видится «десяторожный звёрь», и рисуетъ его воображеніе «седмиглаваго змія» и всё тё ужасы, о которыхъ читаетъ Макрида. И видитъ онъ, какъ «церкви божія разрушаются», какъ настыри «поплёнилися», «жаломъ змія умертвилися». И слышитъ онъ горестный плачь людской, и сокрушеніе и въ «еретичествъ потопленіе». И видитъ онъ, какъ какіе-то люди по дубравамъ и полямъ скитаются, «отъ звёрей лютыхъ уловляются», изъ «отечества изгоняются».

И стонутъ, и плачутъ молельщики, и все страшите становится мальчику. А Макрида все читаетъ, все покачивается и точно звърь завываетъ—причитываетъ:

Окрылись, душе, крилы твердости, Растерзай, душе, мрежи прелести, Ты пари, душе, въ части темныя, Отъ мірскихъ суетъ удаленныя.

Не выноситъ больше напуганное дётское воображеніе, когда Макрида, припавъ головой къ столу, восклицаетъ:

Изливай, душе, ръки слезныя!...

Мальчикъ вскрикиваетъ и бросается къ матери, а бабушка стучитъ костылемъ и хрипло говоритъ:

Мотька! нишкни! а то десяторожный звърь тебя събстъ.
 Въ такой суровой и невеселой обстановкъ росъ и развивался ма-

ленькій Мотя Таволгинъ. Въ избенкъ своей онъ випълъ только пасмурныя лица матери и слёпой бабушки. Весь дётскій поэтическій міръ его наполненъ былъ страшными видініями въ роді блуждающей гръшной души, или «алилуевой жены», которая бросила въ огонь своего младенца, или какой-то невъдомой ему «пустыни», о которой вздыхала слѣпая бабушка и которую приходили какіе-то злые люди жечь, или, наконецъ, въ видъ «десятирожнаго звъря» и «седмиглаваго змія». Міровозрѣніе его сначала не шло дальше міровозрѣнія «стиха о голубиной книгъ», по которому Ерусалимъ градъ всъмъ городамъ отецъ, Окіянъ море всёмъ морямъ отецъ, Іорданъ-рёка всёмъ рёкамъ мати, китъ рыба всемъ рыбамъ отецъ, когда китъ-рыба восколыбнется, весь бёлый свёть восколышется. Онъ зналь только, что звёрь индрикъ всёмъ звёрямъ отецъ, что живетъ онъ во святой горъ и дътей плодитъ во святой горъ, и когда индрикъ-звърь возиграется, всв святыя горы восколыхаются. Еще онъ зналь, что какая-то стратимъ-птица всемъ птицамъ мать, и что живеть она на Синемъ моръ, и дътей плодитъ на Синемъ моръ, и когда стратимъптица вострепенется, все Сине моря восколышется.

Когда сильно развитое воображеніе мальчика заставляло его обращаться съ вопросами къ матери или къ бабушкѣ о томъ, что такое, напримѣръ, солнышко ясное или отчего мѣсяцъ такой скучный и блѣдный, и что такое вѣтеръ, ему отвѣчали, что солнце красное отъ лица божія, зори ясныя отъ ризъ божіихъ, младъ свѣтелъ мѣсяцъ отъ грудей божіихъ, ночи темныя отъ думъ божіихъ, буенъ вѣтеръ отъ воздыханьица, дробенъ дождикъ отъ слевъ его, народъ божій отъ Адамія.

Не зналъ Мотя дѣтскихъ игръ и дѣтскихъ радостей, да для игръ не было у него и сверстниковъ, потому что избенка ихъ стояла на отшибъ, гдѣ-то на юру подъ лѣсомъ, и Мотя одинъ лѣтомъ бѣгалъ около избушки, и когда сталъ болѣе понимать слышанное имъ отъ матери и бабушки, то ближайшій лѣсокъ представлялся ему «прекрасною пустынею», которую онъ прежде считалъ страшною старухою, и эту пустыню населяло его свободное отъ всякихъ практическихъ знаній жизни воображеніе то старпами пустыниками, то «алилуевыми женами», то «десяторожными звѣрями», то «зміями седмиглавыми». Дѣтскія игры его состояли въ пустынножительскомъ под-

вижничествъ, и маленькій Мотя рыль себъ на полянкъ норку и заползаль въ нее, считая эту норку кельей пустынинка, а полянку скитомъ суровымъ, и ждаль онъ, сидя въ своей поркъ, гдт онъ «спасался», что придетъ къ нему «алилуева жена» и онъ не велитъ ей бросать въ огонь своего ребенка.

- Мотя! спроситъ бывало его мать, когда мальчикъ возвращался въ избенку: ты гдъ пропадалъ?
- Въ старца Варсанофія игралъ, мама, отвъчаетъ бывало мальчикъ.
- А хочешь быть старцемъ-пустынножителемъ? спросить бабушка Гликерія, гладя внука по головъ.
 - Хочу быть старцемъ, отвъчаетъ ребенокъ.
- Будетъ подвижникомъ малецъ, сподоби только его, Господи, скажетъ старуха, а мать жалостно посмотритъ на свое единое дътище.

Гордые виды на подвижничество Моти заставили бабушку позаботиться е томъ, чтобы научить внучка четью-пътью церковному и уставному писанію, чтобы могь онъ и святыя книги списывать и киноварью заставби разрисовывать. Для этого отдали Мотю въ науку въ сестръ Аполинаріи, которая была великая начетница и святыхъ кпигъ писательница. И быстро пошло ученіе Моти: грамота ему въ науку пошла, и скоро Мотя сталъ книгочіемъ и писателемъ изряднымъ.

Старикъ Гридневъ, ради церковнаго строенія навзжавшій иногда къ сестрѣ Аполинаріи, замѣтилъ тамъ Мотю, видѣлъ его работу, обратилъ вниманіе на бойкость и смышленость мальчика и взялъ его къ себѣ, обѣщая матери и бабушкѣ, что изъ Матвѣя выйдетъ свѣточь вѣры правыя.

Домъ старика и богача Гриднева столько же отличался благочестіемъ и богатствомъ духовнымъ, сколько его сундуки славились богатствомъ матеріальнымъ. Матвъй Таволгинъ въ этомъ домъ былъ общимъ любимцемъ, но особенно полюбился онъ молодому Гридневу за живость ума и способность передразинвать Макриду-странницу. Матвъй Таволгинъ самъ не замътилъ, когда проявилась въ немъ эта способность, однако это обстоятельство помогло сближенію съ молодымъ Гредневымъ, и между ними заключенъ былъ тайный союзъ. Мотя жилъ въ комнатъ молодаго Гриднева въ качествъ казачка, прислуживалъ ему во всемъ, ъздилъ съ нимъ, когда Василій куда-либо отправлялся по дъламъ отца и вообще былъ съ нимъ неразлученъ.

Старуха Гриднева любила слушать, когда Мотя, сида около ея постели и подгорюнившись, пѣлъ ей ужасоподобный стихъ о «плачѣ души», и пѣлъ такъ, что Гридниха надрываясь плакала и повторяла за Мотей:

> Вечоръ и со другомъ сидъла, Поутру мое тъло водой моютъ, Водой моютъ, во гробъ кладутъ, Мою душу на судъ ведутъ...

Любила она слушать и другой стихъ о томъ, какъ по морю по синему по хвалынскому, тамъ шли, пробъгали черезъ корабли, и во тъхъ во корабликахъ святые ангелы сидятъ, а на встръчу имъ самъ Исусъ Христосъ; сталъ онъ у ангеловъ высиращивать и выпытывать: святые ангелы, архангелы, гдъ вы хаживали, гдъ гуливали, что слышивали, что виживали?

- И гдъ это, Мотюшка, ты евтинъ святынъ стихамъ научился?
 спрашиваетъ бывало Гридниха.
- Отъ Бога мнъ сіе, матушка, говорить Мотя, а самому, между тъмъ, хочется урваться въ комнату молодаго Гриднева, чтобы тамъ у него наслушаться другихъ, любимыхъ имъ стиховъ, которые ему читалъ тихонько молодой Гридневъ, и потомъ въ умъ своемъ декламировать:

Волга! Волга! весной многоводною, Ты не такъ затопляещь поля, Какъ великою скорбью народною Переполнена наша земля...

Безпокойное, до болѣзненности раздражениее раскольничьимъ мистицизмомъ воображение мальчика создавало для него цѣлый новый міръ и новую дѣятельность, но уже не на основаніи раскольничьей мистической литературы, а на основаніи литературы иного сорта, съ которою его тайно знакомилъ молодой Гридпевъ, и Мотя, какъ прежде въ тарлыцкомъ лѣсу искалъ сподвижничества, вырывалъ себъ скитокъ маленькій и ждалъ «алилуевой жены», такъ теперь мечталъ объ иномъ подвижничествѣ, думалъ о томъ, какъ онъ сдѣлается мученикомъ слова, и, вмѣсто «алилуевой жены», ждалъ, что придетъ къ нему другая жена, и онъ скажетъ ей: «зачѣмъ ты бросаешь въ тюрьмы дѣтей своихъ, зачѣмъ надѣваешь на нихъ цѣпи, изнуряешь ихъ непосильною работой, убиваешь ссылкою»?

А туть, между тымь, его воветь нь себь старинь Гридневь, который сидить съ попомь, оба подвыпивши, и Гридневь велить Моть пъть стихь «въ угоду батюшев». И Мотя поетъ раскольничій стихь, любимый стариномь:

Кто Бога боится, тотъ въ церковь не ходитъ, Съ попами, дьяками хлёбъ-соли не водитъ, Къ Богу съ покаяніемъ часто прибёгаетъ: Стой-ка съ покояніемъ передъ святымъ Спасомъ, Обрадованъ будешь архангельскимъ гласомъ, Лягъ-ка съ рабой Божіей, съ Христовой любовью, Причаститъ тя ангелъ Христовою кровью.

- Это бъсъ во образъ отрока, говоритъ попъ, вслушиваясь въ пъніе Моти; — о такомъ кощунствъ я донесу владыкъ.
- А наплевать инт и на твой доносъ, и на тебя, отвъчаетъ старикъ Гридневъ.

И вырвется оттуда Мотя въ Молодому Гридневу, и долго сидять они по ночамъ, и тихонько отъ всёхъ читаютъ тайно закупаемыя Василіемъ въ Москвъ и въ Петербургъ книги, о которыхъ ничего не знаетъ старикъ, и долго послъ такого чтенія не спится Мотъ, а на утро онъ пристаетъ къ Гридневу:

- учить меня, Василій Парменовичь, я хочу учиться, я хочу учиться, я хочу все знать.
- Учись, читай—въ книгахъ все есть... А какъ послужишь у насъ въ прикащикахъ, заработаешь денегъ, тогда ступай хоть въ университетъ.
 - А что развъ въ университетъ мужичатъ принимаютъ?
- Принимають, лишь бы экзамень выдержаль.
- Когда-жъ я буду прикащикомъ? Когда у меня будутъ деньги?
- Скоро. Только учись. А въ университетъ и сорокалътние учатся.

И Матвъй, такъ-сказать, глотаетъ книги, и жадно всему учится. Время между тъмъ идетъ. Старикъ Гридневъ уже думаетъ давать Матвъю порученія по торговымъ дъламъ, но старуха Гридниха не можетъ съ нимъ разстаться.

— Я тебя никуда не пущу, Матвъй, говоритъ старуха; — кто-жъ миъ безъ тебя будетъ читать святыя книги; кто миъ будетъ иъть стихъ о «гръшной душъ», или «какъ шелъ старецъ по дорожкъ»?

Не вытерпълъ Матвъй. У него отнимали его счастье, его жизнь, его завътныя мечты.

- Да эту ерунду вамъ и мать Макрида прочитаетъ, проговорилъ онъ, трясясь всёмъ тёломъ, блёдный и едва держась на ногахъ.
- Что! что! ты что сказалъ, окаянный? Богохульствуешь?... Парменъ! а, Парменъ! кричала старуха, задыхаясь! поди сюда! по-гляди на бъса полуденнаго, на аспида и василиска...

Понялъ Матвъй, что сказалъ лишнее, да было уже поздно: назадъ слова не возъмешь — такъ тому и быть!

Вошель старивъ. Матвъй стояль блъдный, безмолвный.

 Отогрѣли мы съ тобой, Парменъ, змѣю за пазухой... Вотъ онъ змѣй десяторожный — глумится надъ святыми книгами, говоритъ, что все это ерунда.

Изумился старивъ Гридневъ. Посмотрълъ на Матвъя и спрашиваетъ:

- Ты что сказалъ? Повтори.

Отпираться отъ своихъ словъ казалось молодому упрямцу и ношло и глупо. Онъ подумалъ немного, и сказалъ:

- Я сказалъ, что лучше хочу дёло дёлать, чёмъ пёть ерунду объ «алилуевой женё».
- Ерунду?.. Такъ это по твоему ерунда? сказалъ онъ, указывая на одну старую раскольничью рукопись, лежавшую у постели старухи.
 - Ерунда.
 - Такъ всв наши старыя книги ерунда?
- Да, вредная ерунда.
- Такъ я тебя убью, гадюка, коли онъ не убиваетъ! вскричала старуха, бросаясь на него съ палкой, и упала на полъ.

Таволгинъ бъжалъ безъ оглядки, и бъжалъ не только изъ спальни Гриднихи, но и изъ самаго дому Гриднева. Онъ сразу понялъ, что тамъ ему уже оставаться нельзя было — все прорвалось разомъ, все разоблачилось. А старикъ Гридневъ не могъ забывать обидъ: онъ готовъ былъ бы за обиду убить своего любимаго сына. Въ экставъ своего безумнаго упрямства онъ самъ иногда говорилъ себъ: «Еслибъ, упаси Богъ, меня самъ Парменъ Гридневъ обидълъ, я-бъ и его убилъ какъ собаку».

Таволгинъ зналъ эту деспотическую волю—и бѣжалъ на Тарлыкъ, продавъ въ городѣ свое приказчичье одѣяніе и куцивъ крестьянское.

Тяжело было ему возвращаться въ убогую кануру, въ которой онъ родился, а еще тяжеле было думать, что всё его мечты объ ученьё, объ университеть, о сподвижничествь во имя идеи свободы, добра и правды разомъ рухнули... «У собаки есть надежда, у кошки есть надежда, у этой грязи есть надежда, что она высохнеть, у Волги есть надежда, что она до моря добъжить, море увидить— а у меня нътъ никакой надежды, ни на что, ни на кого, ни даже на себя», думалъ онъ, пробираясь вдоль берега Волги, чтобы идти на родину.

Въ первое время имъ овладъло такое глубокое отчаянье, что онъ хотълъ было съ крутаго берега броситься въ Волгу, но случайно наступилъ ногою на кость, поднялъ эту кость и задумался:

«Вотъ и я такимъ же буду, и всякій будетъ наступать на мою кость, какъ я наступилъ на эту... Будь это человъкъ или собака, да будь они живы, они не дали бы наступить на себя, и собака бы укусила того, кто на нее наступилъ бы. А теперь я наступилъ на нее, и она не кусаетъ меня... А если это человъкъ, онъ оттолкнулъ бы мою ногу, а теперь нътъ, не толкнетъ, не сможетъ... Я не хочу, чтобъ на меня наступала всякая нога, хоть бы то была нога Гриднева! Я не хочу, чтобъ и рука его до меня дотрогивалась... Я не хочу валяться вотъ такой костью, я хочу жить—и буду жить».

Тяжелая встръча ожидала его дома, а еще болъе тяжелы были его проводы изъ дому, потому что онъ долго не могъ тамъ оставаться. Молодой Гридневъ, узнавъ о несчасти своего любимца, поспъшилъ выслать ему денегъ и написалъ утъщительное письмо, объщая пристроить его или въ Москвъ, или въ Петербургъ.

Но Таволгинъ хотълъ одного—учиться. Жажда ученья стала его неотходнымъ мучителемъ и не давала ему покоя ни днемъ ни ночью.

- Матвъй! ты что пересталъ' молиться? говорила слъпая старуха бабушка, ощупывая сухою рукою его лице, ощущая подъ пальцами впадины на его щекахъ, осязая ввалившіеся глаза; —ты не молишься, и дьяволъ сушитъ твое тъло, высасываетъ кровь изъ сердца, съъдаетъ твои молодыя щеки... Молись вслухъ, голосно...
- Молюсь тихо, не голосно, отвъчалъ Матвъй, не зная что сказать.
 Но Матвъй не могъ долго держать въ тайнъ свою исторію съ старикомъ Гридневымъ. Въсти объ отступничествъ молодаго раскольника

дошли до Тарлыка, и онъ, зная, что его ждетъ домашній адъ, ръшился и изъ дому бѣжать.

- Проклятъ! проклятъ! проклятъ! хрипѣла старуха, стараясь схватить его, но не видя гдѣ онъ стоитъ, махала въ воздухѣ своими сухими руками, какъ бы загребая этотъ воздухъ или стараясь уловить что-то невидимое, какъ какую либо нечистую силу.
- Не проклинай его, матушка, говорила со стономъ Мавра, не онъ виноватъ, а виновата моя утроба—она его породила... Прокляни мою утробу, матушка, а его не проклинай.
- Проклята буди и утроба твоя, и чадо твое, металась старуха, цёпляясь за столъ, за стёны, и потомъ опустилась въ изнеможении на полъ.
- Мать моя, не кляни его кляни злыхъ людей, что его испортили, стонала Мавра.
- Кляну, кляну и ихъ, кляну и очи ихъ, и уста ихъ, и руки ихъ, и ноги ихъ, и души ихъ проклитыя кляну, и дётей ихъ, и матерей ихъ, и могилы отцовъ ихъ кляну! Чтобъ могилы ихъ звёри лютые разрыли! Чтобъ ихъ кости птицы разнесли по всёмъ четыремъ вётрамъ!..

Такъ бъсновалась старуха, силясь подняться съ полу, и опять шадала, и вновь силилась встать. Мавра старалась ее поднять, но старуха и ее отталкивала.

 Подай мнъ сюда твое отродье! Я вырву у него его проклятый языкъ и отдамъ псу смердящему, хрипъла старуха.

И Мавра, и Матвъй молчали.

— Гдѣ онъ окаянный? продолжала говорить слѣпая почти шопотомъ, — нагни ко мнѣ его проклятую голову.

Та молчала. Матвъй стоялъ блъдный какъ полотно.

- Гдъ онъ? Гдъ аспидъ?
- Я тутъ, глухо сказалъ Матвъй.

Услышавъ его голосъ, старуха рванулась на полу, быстро на четверенькахъ подползла къ внуку и цъплялась ему за ноги. Матвъй оттолкиулъ ее ногой. Мать кипулась къ нему и обхватила его ру-ками—онъ и ее оттолкиулъ.

— Прочь, бъсноватыя! Вы погубили меня, сказаль онъ съ силою, и рванулся было къ двери.

- Такъ будь же и отъ матери проклятъ, еретикъ окаянный! вскричала Мавра.
- Не выпускай его, Мавра! Запирай двери, да запали избу всѣ сгоримъ тутъ... Можетъ, Богъ проститъ наши души окаянныя.

И старуха поднялась съ полу и ощупью пошла къ двери, которая была отворена.

А на дворъ въ это время такъ жарко свътило солнце и такая спокойная жизнь отражалась и на зеленой рощицъ, гдъ маленькій Мотя устраивалъ себъ скитокъ и ждалъ въ немъ «алилуевой жены», и на яблонъ, посаженной Мотею подъ окномъ избенки.

Когда старуха шла къ двери, въ нее влетѣлъ бѣлый голубь и, усѣвшись на плечѣ у слѣпой, носикомъ своимъ тянулся ко рту старухи, которая кормила его зернами изъ своего рта.

— А! и ты лѣзешь ко мнѣ, чтобъ я тебя кормила, окаянный! Я и его выкормила, змѣю подколодную... Такъ и ты такой же будешь?...

Въ бъщеномъ порывъ слъпая схватила сидъвшаго у нея на плечъ и тянувшагося къ ея рту голубя и разорвала его на двое. Разорванная птица билась на полу въ смертной агоніи.

Матвъй выбъжалъ изъ этого ужаснаго дома и остановился потомъ въ недоумъніи: куда идти?... что дълать? Весь міръ казался ему такою страшною пустыней, населенною такими страшными чудовищами, что даже при одномъ воспоминаніи объ нихъ волосы становились стоймя на головъ, и звъри дубравные казались кроткими голубями, которыхъ разрывали чудовища-люди.

Вслъдъ за нимъ изъ избенки выбъжала Мавра и бросилась сыну въ ноги.

— Прости меня, дитятко мое горькое, не я тебя кляла-проклинала, а горышко мое лютое помутило головушку бъдную, и сердечушко мое не въдало, что говорили уста мои окаянныя, тебя проклинаючи. Прости меня, соколикъ ясный! не губи ты душеньку свою, а я беру назадъ свое проклятье, и замолю мои слова гръшныя.

Матвъй молча поднялъ мать и собирался идти.

- Куда ты, цвътикъ мой лазоревый? Погоди, я погляжу на тебя, говорила Мавра.
- Прощай, матушка, говорилъ въ свою очередь Матвъй, —не поминай меня лихойъ.

Мать обхватывала его руками и причитала:

- На кого-жъ ты меня горькую покидаешь, для чего ты меня въ могилу темную безъ поры безъ времени посылаешь? Кто безъ тебя закроетъ глаза мои мертвые, кто по душъ моей гръшной по-молится! Дитятко мое горемычное, ягодка моя садовая!..
- Прощай, матушка, повторилъ Матвъй, паправляясь къ степи. Мать опрометью бросилась въ избу и вскоръ воротилась оттуда съ зипуномъ, котомкой и шапкой. Затъмъ, догнавъ сына, она упала ничкомъ на земь, какъ бы на молитву, и горько плакала. Взявъ щепоть земли, она завернула ее въ тряпочку, навязала къ себъ на крестъ и потомъ, снявъ съ себя этотъ крестъ, надъла его на сына.
- Возьми съ собою... Это крестъ святой и редная землица... Маленькими ногами ты бъгалъ по ней... Возьми ее, Мотя, съ нею тосковать не будешь.

Она надъла на него крестъ и перекрестила.

Оглянулся Матвъй на родимую избушку и увидълъ: у дверей стояла слъпая старуха и грозила кому-то клюкой въ воздухъ. Что-то было страшное и фантастическое въ этой далекой фигуръ: поднятыя кверху руки, изъ которыхъ одна грозила клюкой чему-то невидимому, съдые растрепавшеся волосы и страшное, страшное, искаженное гнъвомъ и старостью лице...

Матвъй отвернулся, взялъ котомку и пошелъ по направленію къ западу. Мать стояла какъ вкопаная, пока не очнулась.

Д. Мордовцевъ.

(Продолжение будеть)

X.

Стономъ стопетъ земское училище въ Варгунахъ. Всё мальчики собрались въ классы, но классы еще не начинались. Надо было чъмъ нибудь запять незанятое время, потому что молодость больше всего боится бездъйствія и неподвижности, и о ней, какъ и о природъ, можно сказать: horror vacui.

Школьники затълли игры. Весьма справедливо замъчаютъ, что въ дътскихъ играхъ отчасти выражаются потребности и направленіе общества въ данное время. Въ Римъ дъти играли въ патриціевъ, рабовъ и гладіаторовъ. Въ средніе въка, во времена инквизиціи и во времена рыцарства, дъти или жгли на кострахъ еретиковъ-куколъ, или ломали на турнирахъ палочки, воображая, что ломаютъ копья. Въ Россіи дъти очень долго любили играть въ разбойниковъ, а одно время игра въ солдатики вытъснила всякія другія игры. Этою игрою развлекались даже большіе.

Въ варгунинскомъ земскомъ училищѣ школьники играли «въ земство», «въ мировыхъ судей» и «въ сочинителей». Игравшіе бъ земство составили нѣчто въ родѣ сходки и одинъ изъ мальчиковъ ораторствовалъ, призывая другихъ строить въ классѣ желѣзиую дорогу. Игравшіе въ мировыхъ судей разбирали одну претензію гласнымъ порядкомъ, причемъ мироваго судью обвиняли въ томъ, что онъ потворствуетъ обвиняемому Андрюшкѣ Ряполову за то, что этотъ послѣдній далъ мировому судьѣ взятку—подарилъ чижика. «Сочинитель», неизвѣстно почему, сидя за учительскимъ столикомъ и марая тетрадку, по временамъ закатывалъ глаза подъ лобъ и что-то, по видимому, декламировалъ.

- Отдуемте мироваго судью, говорили и которые мальчики.
- Пускай онъ отдастъ Ряполову чижика, а потомъ судитъ, кричали другіе.
- Судья! судья! отдай чижика!

Когда «сочинитель» всталь, чтобы пройдти по классу, одинъ «земскій» подставиль ему ногу и сочинитель упаль на полъ. «Сочинитель» бросился на «земскаго» и также повалиль его на полъ.

Кузя Ногинъ, между тёмъ, громогласно объявилъ всемъ, что къ нимъ пріёхали «настоящіе сочинители, которые книжки печатаютъ».

Одинъ изъ мальчиковъ старался изобразить изъ себя учительницу, Варвару Григорьевну. Собравъ со столовъ цѣлую кучу книгъ и положивъ ихъ передъ собою, онъ сѣлъ около двери и поглядывалъ на всѣхъ задумчиво, грустно, иногда встряхивая головою, какъ-бы длинныя пряди волосъ падали ему на лицо и мѣшали читать.

— Дѣти! дѣти! полно вамъ шалить, говорилъ онъ; — теперь не то время настало — крестьянскія дѣти должны показать, что въ нихъ сила и надежда Россіи, а все остальное гність, и на него нѣтъ надежды...

Ръчь оратора-учительницы была прервана тъмъ, что у него на головъ очутился бумажный колпакъ, а книги его посыпались на полъ.

Наконецъ одинъ изъ мальчиковъ, вбѣжавъ въ классъ, закричалъ: «идетъ! идетъ!» — и вся ватага шалуновъ бросилась по мѣстамъ, и скорѣе всѣхъ уткнулся носомъ въ книгу «мировой судья», которому хотълось въ одно и тоже время быть и «мировымъ судьей», и незаконнымъ владѣльцемъ чужаго чижика.

Вошла учительница. Она была все такая же блёдная и такая же задумчивая, какою мы ее видёли накануий, въ ложбинй на берегу Волги. Видно даже было по глазамъ, что она сейчасъ только плакала, потому что, входя въ классъ, не успёла даже спритать платка, которымъ утирала слезы. Мальчики замѣтили это и еще больше присмирѣли. Они привыкли видѣть свою учительницу грустною и, по видямому, тоскующею о чемъ-то, и въ это время она была еще добрѣе съ ними, казалась еще болѣе внимательною.

— Варвара Григорьевна, о чемъ вы плачете? спрашивалъ ее Кузя Ногинъ, подходя къ ней и самъ едва удерживая слезы;—вамъ кого жаль?

Этого вопроса не могла вынести дѣвушка и, закрывъ лице ру-ками, заплакала.

«Кого мнѣ жаль? Боже мой! (думала она). Да мнѣ жаль моего прошлаго, моей потраченной жизни, моихъ разбитыхъ падеждъ. Кого жаль? о чемъ я плачу! Я плачу о самой себъ, плачу о бъдной женшивъ...».

Она положила голову на столъ и, ничего не помня, что около

нея, плакала, горько плакала. И вкоторые изъ мальчиковъ также утирали слезы, а другіе бросились къ ней и силились подиять ея голову.

— Не плачьте, Варвара Григорьевиа! мы васъ любимъ, мы не будемъ шалить, стараясь заглянуть ей въ глаза, упрашивалъ маленькій Ногинъ.

Даже «мпровой судья» въ душъ своей ръшился возвратить чижика Ряполову, лишь бы Варвара Григорьевна не плакала.

Но она скоро овладѣла собой, подняла голову, откипула отъ лица волосы и ласково, съ улыбкой посмотрѣла на всѣхъ. Дѣти также повеселѣли.

 Теперь давайте учиться... У меня голова болжла, а теперь инчего, сказала учительница и принялась за свое педагогическое дёло.

Ученье шло живо, весело. Учительница умёла заставить своихъ слушателей быть внимательными, благодаря хорошему методу преподаванія, умёла возбудить въ нихъ соревнованье—и классъ казался такимъ же оживленнымъ, какъ и тогда, когда мальчики играли «въ земство», «въ мировыхъ судей» и «въ сочинителей», только теперь учительница совмёщала въ себъ одной и «земство», и «мировой институтъ», и литературу, и все вниманіе мальчиковъ было приковано къ ней одной.

Она писала что-то на доскѣ, окруженная толпою своихъ маленькихъ питомцевъ, которые цъплялись ей за платье, хватали за руки и вообще показывали живъйшее любопытство къ тому, что она писала и объясняла, когда въ классную комнату вошелъ старикъ Ногинъ.

— Позвольте намъ, матушка-барышня Варвара Григорьевна, послушать вашего ученья и полюбоваться, какъ вы тутъ съ ними управляетесь, сказалъ онъ, кланяясь учительницѣ.

Кузя, увидавъ дъдушку, бросился было къ нему, чтобъ уцепиться за кушакъ, но счелъ болъе благоразумнымъ остановиться и потупиться.

- Съ къмъ вы, Парменъ Прокофынчъ? спросила учительница.
- Два прівзжіе барина хотять полюбоваться вашей школой много наслышаны... Такъ не откажите, матушка-барышня.

- Очень рада, Парменъ Прокофычъ... Только у меня такой базаръ тутъ...
- Ничего, пичего, Варвара Григорьевна: оставайтесь такъ съ дътишками—это-то намъ и любо, и глядъть на васъ съ шими весело, такъ что самъ бы, кажись, на старости въ школу пошелъ.

Кузя не вытерпёль и уцёпился за кушакъ дёдушки. Потомъ бросился къ учительницё.

- Варвара Григорьевна! это къ намъ сочинители идутъ, лепеталъ онъ, увиваясь около нея.
 - .- Какіе сочинители?

Старикъ Ногинъ вышелъ и тотчасъ же появился на порогѣ съ Стожаровымъ и Серпороевымъ.

— Позвольте надъяться, сударыня, что вы извините насъ за наше, можетъ быть безтактное посъщение вашей школы. Мы не изъ пустаго любопытства врываемся къ вамъ непрошениыми гостями, хотя для васъ наше посъщение и можетъ показаться безцъльнымъ. Я вамъ долженъ объяснить, сударыня...

Стожаровъ видимо путался и не зналъ что сказать. Лице его то вспыхивало, то блёднёло. Лице учительницы также покрыто было мертвою блёдностью, и чтобы не упасть, она ухватилась рукою за столъ.

- Я изучаю экономическое состояние народа.... его бытъ... Голосъ Стожарова дрожалъ, языкъ не слушался.
- Земское дъло... надежда Россіи... ваша школа считается счастливымъ исключеніемъ... Я... Стожаровъ...

Дъвушка, по видимому, овладъла собой раньше, чъмъ Стожаровъ, и сказала не бегъ волненья.

- Очень пріятно... Мы, кажется, были съ вами знакомы когдато, но вы меня не узнали, господинъ Стожаровъ... Я Бармитинова, бывшая ваша ученица.
- Варвара Григорьевна! сказалъ съ усиліемъ Стожаровъ, какъ вы... измѣнились...
 - Да время много прошло...

Ни Серпороевъ, ни старикъ Ногинъ ничего не понимали что происходило между Стожаровымъ и учительницей, да и они говорили такъ безсвязно, такъ были взволнованы, что видно было только ихъ смущеніе и то, что они когда-то были знакомы и что учительница была ученицей Стожарова.

Дъйствительно, это была та Варенька Бармитипова, въ семействъ которой, въ Петербургъ, Стожаровъ бывалъ еще студентомъ. Это была та самая Варенька, которой, на ея признаніе въ любви къ Стожарову, этотъ послъдиій, хоти тоже любилъ ее горячо, отвъчалъ, что она можетъ жить безъ него, что только безъ пищи и воздуха она не можетъ существовать, а безъ него, безъ Стожарова, можетъ, что есть люди, которымъ не достаетъ пищи и воздуха, и что когда есть такіе несчастные, то они, Стожаровъ и Варенька, пе имъютъ права любить другъ друга, особенно когда другимъ ъсть нечего, что наконецъ они, Стожаровъ и Варенька, не имъютъ даже права ъсть, когда голодаютъ другіе и когда ни Стожаровъ, на Варенька ничего не сдълали для того, чтобы накормить этихъ голодинъхъ, и въ заключеніе просилъ ее поработать и на себя и на другихъ, а потомъ уже подумать и о любви.

Десять лёть влюбленные не видёлись. Всё эти десять лёть Стожаровъ мыкался по бёлу свёту, слушалъ лекція въ разныхъ университетахъ Европы, работалъ въ заграничныхъ журналахъ русскихъ эмигрантовъ; помогая имъ, какъ ему казалось, «съ другаго берега» очищать въ Россіи гниль и плёсень, которая мёшала русскому развитію, писаль въ «Колоколь» жгучіе памфлеты противъ внутреннихъ враговъ своего отечества, противъ обскурантизма и татарщины въ общественномъ быту и строъ своей родины, потомъ сознавая, что работать для Россіи можно только въ Россіи, онъ сказалъ Герцену, Бакунину и Огареву, что они уже «отзвонили», а потому имъ пора и «съ колокольни долой», - и воротился въ Россію, съ горькимъ сознаніемъ, что хотя Лондонъ и Парижъ лучше Кинешмы, однако и въ Парижъ, и въ Лондонъ, какъ и въ Кинешмъ, одинаково плачутъ обиженные, одинаково голодаютъ голодные и едва ли не въ равной степени сила матеріальная и подлость душать силу интелектуальную и честность съ свободой совъсти. Въ Россіи опъ тоже работалъ чёмъ могъ, (не топоромъ, не нголкой, не рубанкомъ, не сохой даже и не плугомъ, а все тъмъ же, даннымъ ему природою орудіемъ мысли и труда, свободнымъ человъческимъ словомъ) и пока могъ, а когда оказалось это невозможнымъ, опять

сталъ мыкаться по свъту, но уже по Россіи, сознавая, что это мыканье будеть не безъ пользы для Россіи и для него самаго. Потомъ опять работалъ перомъ, когда стало можно, а тамъ опять мыкаться.

И воть онь, въ одно изъ своихъ мыканій, сталкивается съ дѣвушкою, которую любилъ и, казалось ему, продолжалъ любить, и которую опъ оттолкпулъ отъ себя во имя созданнаго имъ афоризма, что «двумъ подло пользоваться счастьемъ, когда другіе двадцать несчастливы».

Варенька, хотя не мыкалась подобно Стожарову, однако прошла слишкомъ много тяжкихъ испытаній, такъ много, что со стороны природы и людей казалось бы подлостью взваливать на слабую спину женщины такую пепосильную ношу, какую выносила эта дѣвушка, опять таки въ силу принятаго ею на вѣру отъ дорогаго ей человѣка афоризма, что «подло ѣсть, когда другіе голодаютъ», и что «подло быть счастливымъ, когда въ массѣ сомнительно счастливыхъ, насчитывается до тысячи процентювъ несомнѣнно несчастливыхъ». Желая выполнить завѣтъ любимаго ею человѣка, она тоже махнула рукой на свое личное счастье и пошла на тяжкій трудъ, чтобъ этотъ тысячный процентъ несчастныхъ уменьшить хотя до девяти сотъ девяноста девяти—все же однимъ меньше, все же она можетъ сказать любимому человѣку, что и она «не безполезный поденщикъ во имя счастья человѣчества».

Такимъ образомъ, черезъ десять лѣтъ послѣ разлуки съ Стожаровымъ, мы встрѣчаемъ эту дѣвушку учительницей земской школы въ Варгунахъ.

Стожаровъ, объщавшій, при разлукъ, «слъдить за нею», какъ опъ выразился, скоро потеряль ее изъ виду, потому что ни изъ Лондона, ни изъ Гейдельберга, ни изъ Парижа, ни изъ Женевы даже, гдъ бродилъ Стожаровъ цълые годы, несовсъмъ удобно было слъдить за тъмъ что дълалось не только въ Варгунахъ, но и въ Петербургъ. Воротившись же въ Россію и не найдя своей Вареньки въ Петербургъ, онъ постарался выкинуть ее изъ головы, хотя не могъ выкинуть «изъ подъ лъваго подреберья», какъ онъ выражался.

Встръча ихъ въ Варгунахъ была тъмъ болъе поразительна, что была больше чъмъ неожиданна. Вотъ почему Стожаровъ на первое

время лишился употребленья языка, потому что чувствоваль, что у него, при видѣ Бармитиновой, стало что-то не ладно не только подълѣвымъ подреберьемъ, но и подъ черепомъ, гдѣ, по видимому, сидѣвшій на троиѣ самодерженъ, какъ ему казалось, до сихъ поръ охулки на руку не клалъ, управляя своимъ царствомъ даже деснотически строго. Не менѣе его была смущена и Бармитинова. Въ присутствіи Ногина и Серпороева, подъ взглядами любопытиыхъ дѣтскихъ глазъ имъ приходилось говорить о предметахъ лично до нихъ не относящихся, толковать объ общественныхъ, земскихъ и педагогическихъ вопросахъ, которые, въ данный моментъ, хотѣлось бы имъ отодвинуть на самый дальній планъ перспективы ихъ личной мысли. Приходилось притворяться.

- II вы много измѣнились, Григорій Борисовичь, говорила Бармитинова: какой вѣтеръ занесъ васъ изъ Европы въ наши киргизсвіе Варгуны?
- Вътры земскіе, общественные, народиме, какъ хотите назовите, отвъчаль онъ: о вашей школъ такъ много говорять, что я хотълъ лично убъдиться въ предположении, что «рука женщины спасетъ отечество».
- A развъ рука мужчины губитъ его? спросила Бармитинова улыбаясь.
- · Нътъ, и не губитъ совстмъ и не спасаетъ совстмъ... Какъ вы ръшились на это благородное дъло, Варвара Григорьевна?
- Такъ, продолжала съ улыбкой Бармитинова, —мой внутренній голосъ говорилъ мнѣ: «Встань, возьми одръ твой и работай. Если другой голоденъ, ты не должна ѣсть; если другой несчастливъ, то и ты не имѣешь права быть счастливою»... И вотъ я работаю, и по возможности, на выработанныя деньги кормлю голодиыхъ.
- Такъ вамъ говорилъ это вашъ внутренній голосъ? спросилъ Стежаровъ, пристально глядя ей въ глаза.
 - Да, мой внутренній голосъ.
- II онъ продолжаетъ вамъ говорить это?
- Н-да, отвъчала Бармитинова медленио и неръщительно, —продолжаетъ, но опъ становится менъе громкимъ и повелительнымъ.
 - Отчего же?
- Мой учитель говорилъ мив когда-то...

- Какъ учитель? спросилъ Стожаровъ съ недоумъніемъ.
- Одинъ суровый молодой человъкъ, котораго любимою фразою было: создайте инъ умную женщину—и я пересоздамъ человъчество.

Стожаровъ покраснълъ, потому что это была когда-то *его люби*мая фраза.

- Такъ что вамъ говорилт вашъ учитель? спросилъ онъ съ видимымъ волненіемъ.
- Мой юный оплосооть, по теоріи Декарта и Фурье, говорилъ: «пускай отнынъ человъкомъ управляетъ абсолютное сомпьние и абсолютное удаленіе—le doute absolu et l'écart absolu. Чтобы человъчество было счастливо, свободно, богато, чтобы оно, наконецъ, поумнъло и пересоздалось, пусть оно отвергнетъ все, что выработалъ до сихъ поръ міръ, исторія, человъчество, наука, оплособія, вст ученые и вст публицисты—это первое. Второе—пусть человъчь начиетъ идти не тою дорогою, которою вст шли до сихъ поръ, пусть все отбреситъ—и тогда онъ самъ себт выработаетъ и свое счастье, и свои общественные порядки, не похожіе на старые, при которыхъ человъчество было такъ несчастливо, что до сихъ поръ не выбилось изъ объщности».

Стожаровъ слушалъ ее внимательно, и мрачная тънь легла на лице его. И Серпороевъ и Ногинъ также слушали ее. Мальчики сидъли смирно, стараясь вникнуть въ смыслъ словъ своей любимицы.

- Будьте такъ добры продолжайте, мы васъ слушаемъ, сказалъ Стожаровъ спокойно.
- Вотъ я и пошла не той дорогой, по которой до сихъ поръ шла женщина.
 - И что же?
- Какъ видите, иду... Я этинъ исполнила только первую заповъдь моего учителя: пошла проселкомъ, или скоръе — безъ дороги.
 - А вторая заповъдь?
- Вторую только теперь думаю исполнять, и также, кажется, должна буду усомниться въ словахъ самаго учителя, какъ онъ заповъдалъ мнъ абсолютно усомниться въ истинъ и въ пользъ всего, что до сихъ поръ и сказало и сдълало человъчество, въ томъ числъ и мой уважаемый учитель.

Стожаровъ молчалъ, потупя голову, и ничего не возражалъ. Сер-

пороева также поразили слова д'ввушки, но онъ не могъ спокойно выслушать ея посл'яднихъ словъ и заговорилъ въ сильномъ волненіи и скороговоркой:

- Я вполит раздъляю ваши убъжденія.... Вы паъ нашихг.... взвините, я не то хотълъ сказать.... По моему митнію и по митнію всего нашего покольнія, «живые должны возстать противъ умерникъ»...
- Надя! не говори чужнахъ оразъ, сказалъ Стожаровъ какъ-то желчно, раздражительно.

Бармитинова быстро на него взглянула, и въ ея взглядѣ выразился вопросъ и недоумѣніе. Стожаровъ понялъ ее.

- Я называю моего друга Надей, Надеждой—это шутка, пояснилъ онъ ей, — молодое поколъніе я называю «надеждой» Россіи оттого и моего молодаго друга называю Надей.
- Я не чужія фразы повторяю, говорилъ Серпороевъ съ горячностью.
 - По крайней мъръ послъдняя фраза чужая.
- Положимъ, такъ. Но окончаніе фразы (я ее не кончилъ)— мое, наше.... Вотъ эта фраза: «живые должны возстать не только противъ мертвыхъ, но и противъ живыхъ»...
 - Какъ это?
- Вотъ какъ Варвара Григорьевна возстаетъ противъ твоихъ заповъдей, потому что, въроятно, выработала свои. Это-то и есть абсолютное сомичне.

Не отвѣчая своему другу, Стожаровъ только смотрѣлъ вопросительно на дѣвушку.

— Посять, сказала та тихо: не теперь.... не здъсь....

Между тъмъ, во время этого разговора, Кузя Ногинъ подобрался къ своему дъдушить, который сидълъ поодаль, и уцъпившись за его поясъ, тихонько нашентывалъ:

- Онъ ее не возьметъ у насъ, дъдушка?
- XTO?
- Сочинитель вонъ энтотъ.
- Кого возьметъ, дурачекъ?
- Варвару Григорьевну возьметъ.
- Зачъмъ ее брать?

- Онъ ее возьметъ.... Онъ учитель.... Вонъ онъ какой....
 И мальчикъ сердито смотрълъ на Стожарова.
- Не балуй, Кузька подь учись....
- Экзаменуйте же моихъ учениковъ, господинъ литераторъ-ревизоръ, говорила Бармитинова, обращаясь къ Стожарову съ улыбкой.
- Нѣтъ, если позволите, я надѣюсь въ другое время познакомиться съ вашей школой и съ ея успѣхами, а теперь, въ качествѣ вашего бывшаго учителя, хотя не офиціально, я хотѣлъ бы ближе познакомиться съ вами и съ успѣхами, которыхъ вы, кажется, сдѣлали не мало.
 - Напротивъ, я ушла назадъ, по вашей теоріи.
 - Въ чемъ же?
 - Послъ, послъ...
- И вы не скучаете вашимъ дѣломъ? спросилъ онъ, желая перемънить разговоръ.
- Спросите вотъ этотъ маятникъ, скучалъ ли бы онъ, еслибъ былъ живымъ человъкомъ? спросила она въ свою очередь.

Что-то острое шевельнулось въ сердцъ Стожарова, и онъ нагнулъ голову.

- Я одно скажу вамъ, процъдилъ онъ скъозь зубы, не поднимая головы, я начинаю върить въ будущее русской женщины.
 - А я, папротивъ, начинаю терять эту въру, сказада она.
 - Почему же?
 - Сами увидите, если соблаговолите познакомиться со мной.
- Однако, я мъщаю вамъ заниматься съ дътьми, сказалъ онъ, какъ бы очнувшись и оглядывая кругомъ власную комнату.

Нъсколько мальчиковъ обступило старика Ногина, и пъкоторые изъ нихъ показывали ему свои книги и тетрадки.

- Вотъ это, дъдушка, качество предмета; а это признакъ предмета, говорилъ Кузя, во что то тыча пальцемъ; такъ говоритъ Варвара Григорьевна....
- А казенные ученики этого не знаютъ, говорилъ другой мальчикъ. Серпороевъ подсълъ къ тому мальчику, котораго называли «мировымъ судьей», и оба о чемъ-то толковали.
- Русскіе должны прежде всего знать Россію какіе въ ней города, ръки, какая земля, почва, что растетъ на ней, и какіе ворода.

дятся звъри и птицы, говорилъ «мировой судья», какъ по писаному, причемъ онъ косо поглядывалъ на Ряполова, у котораго выманилъ «чижика», ставшаго теперь его мученіемъ.

- Если вамъ не скучно будетъ присутствовать при нашихъ запятіяхъ, я начну урокъ, сказала дъвушка, обращаясь къ своимъ гостямъ; — угодно послушать?
 - Мы васъ не смъли просить объ этомъ, отвъчалъ Серпороевъ.
- Въ такомъ случат мы начнемъ... Что у насъ сегодня? обратилась она къ ученикамъ.
- Диктовка, а потомъ географія, отвічали мальчики.
- Изъ чего вы хотите, чтобы я диктовала вамъ, снова спросила она.
 - «Исторію кусочка хлѣба», говорили одни.
- «О великихъ людяхъ», предлагали другіе.

При словахъ «великіе люди», въ памяти Стожарова встала картина далекаго дѣтства, когда онъ на людское величіе глядѣлъ дѣтски-наивными глазами Плутарха, и такъ много казалось ему въ мірѣ великихъ людей. Со временемъ многое, что казалось ему великимъ, умалилось до крайней малости, а дѣйствительное величіе находилось въ другихъ соерахъ и въ другихъ формахъ. и далеко не въ тѣхъ, въ какихъ его старались представить.

Началась диктовка «Исторіи кусочка хлѣба». Мальчики писали весело, охотно, переспрашивая иногда учительницу о томъ, чего недослышали или не понимали. Написанное въ большей части оказалось правильнымъ. Тогда начался граматическій и логическій разборънаписаннаго, и урокъ казался весьма оживленнымъ.

Старикъ Ногинъ съ умиленіемъ смотрѣлъ и на учительницу, и на учениковъ.

- Вамъ не скучно у насъ? спросила его Бармитинова.
- Помилуйте, сударыня, Варвара Григорьевна: да у васъ сидишь, словно въ божьемъ храмъ стоишь—все бы слушалъ. Богъ далъ счастье нашимъ внукамъ, что нонъ родились: имъ н умирать не надыть. А мы-то, гръшные, въ каку годину смутную росли вспомнишь какъ—и върить не хочется. Наши господа говорили, бывало, да и въ книжкахъ писали, что мужику грамота—пагуба, что грамотный мужикъ только-де фальшивые пачпорты пишетъ... Эхъ!

молодость наша сърая—не тъмъ будь помянута!.. А вотъ нашимъ внукамъ, спасибо, легко будетъ жить.

- A ихъ внукамъ еще будетъ легче, только мы этого не увидимъ, замътилъ Серпороевъ.
 - Дай-то Богъ: можетъ, и насъ правнуки-то добромъ вспомянутъ.
- Нътъ, Парменъ Прокофынчъ, едвали это будетъ, опять возразилъ Серпороевъ, мы своихъ дъдовъ не добромъ вспоминаемъ, и насъ не добромъ вспомнятъ.
- Ну, инъ будь божья воля... А ужъ я теперь на земскомъ собраньи весь свой старый голосъ надорву—какъ за храмы божін, такъ за школы буду стоять: пущай на чемъ иномъ прочемъ уръзываютъ, скопидомничаютъ, а на школы клади тысячи, десятки тысячь—все мало! Пущай себъ оспу прививаютъ насильно, а я скажу: привей грамоту, хоша насильно, да привей свътъ увидишь. Отъ оспы лице будетъ шадровито, а безъ грамоты—душа шадровита,—вотъ что!

Старикъ видимо былъ тронутъ. Заговоривъ, онъ не могъ остановить своей старческой говорливости.

- На-кось! на объды да на всякую болъсть тысячи бросають. А ты дай на школу христово дъло сдълаешь: слъпому глаза откроешь, говорилъ старикъ и, обращаясь къ учительницъ, прибавилъ, а вамъ, барышня-матушка, земной поклопъ, а вы на нашихъ глупыхъ дьячковъ не смотрите за васъ ангелы на томъ свътъ молятся.
 - Благодарю васъ, Парменъ Прокофычъ.
- Не на чемъ, барышия: не я говорю, а моими глупыми устами добро глаголетъ, что вы нашимъ дътишкамъ дълаете.

Стояніи. Нежданная встрача, нежданныя рачи Бармитиновой, которую онъ вспоминаль какъ болье или менье избалованную барышию, хотя умненькую, — безвъстность о томъ, какъ провела эта дъвушка десять лътъ, въ которыя они не видълись — все это перепутало его мысли, поднимало въ головъ его цълый рядъ предположеній и догадокъ, и ни на чемъ онъ не могъ остановиться. Одно онъ сознавалъ, что много въ его глазахъ выросла эта дъвушка, по, черезъ какія мъдныя трубы она прошла, чтобъ изъ барышни выработаться въ чело-

въка—онъ не могъ знать и не умълъ отгадать... Чего-то жаль и больно ему стало, и онъ готовъ былъ даже думать, что ему жаль прошлаго, того прошлаго, когда онъ не видълъ, что въ любимой имъ дъвушкъ скрыты такія богатыя силы, и бросилъ ее на самоличную борьбу съ жизнью, когда рука объ руку съ ней, съ этой дъвушкой, онъ самъ могъ быть вдесятеро сильнъе. Онъ даже боялся, что молодыя его фантазіи о назначеніи женщины, можетъ быть, ошибочны, и онъ напрасно заставляетъ страдать честное существо, толкая его на черпую работу, выводя на такую дорогу, кочковатую, ухабистую, на которой и у самаго сильнаго мужчины подкашивались перъдко ноги и кружилась голова.

- Надъюсь, вы навъстите меня и вив школы, сказала Бармитинова Стожарову, провожая своихъ гостей.
 - Когда позволите быть у васъ? спросилъ онъ.
- Я всегда рада васъ видъть, отвъчала она; вы создали меня такою, какою видите, вините себя, если я неудалась, прибавила она, грустно улыбаясь.
- Вы... ръдкая дъвушка, сказалъ Стожаровъ, стараясь подыскать выражение, котораго, по видимому, не подыскалъ.
- Благодарю... Вы ушли дальше Гамлета, говорила она, глядя ему въ глаза.
 - -- Почему же?
- Онъ выражалъ свое мнѣніе объ Офеліп вопросительно; «Офелія? ты честная дѣвушка?» А вы прямо утверждаете, не зная меня.
 - Натъ, я васъ знаю, потому что понимаю.
- Позволяю себ'в сомн*ваться въ этомъ: вы отвыкли понимать меня, какъ я отъ васъ отвыкла... Я не знаю кто вы.
 - Узнавайте, спрашивайте.
- Хорошо, сказала она шутя, когда вы придете ко миъ, я васъ встръчу современнымъ вопросомъ.
 - Какой же это севременный вонросъ?
- Гамлетъ! ты честный мужчина?—вотъ «современный женскій вопросъ».
- Почему же такой долженъ быть современный женскій вопросъ?
- А потому, что прошло уже то время, когда только мужчины имъли право спрашивать дъвушку: — «Офелія, честная ли ты дъ-

вушка?» Теперь настали другія времена, и женщина имфеть болбе правъ спрашивать мужчину: - «Гамлетъ, честный ли ты мужчина?»

- Да, это хорошо, вставилъ свое слово Серпороевъ, который.
- Но что вы разумъете подъ словомъ «честный мужчина»? спро-
- Тоже, что и подъ словомъ «честная дъвушка»: что безчестно
- Но что вы разумѣете подъ словомъ «честный мужчь силъ Стожаровъ.

 Тоже, что и подъ словомъ «честная дѣвушка»: что для дѣвушки, то должно быть безчестио и для мужчины.

 Да, вы правы, сказалъ Стожаровъ задумчиво

 Такъ до свиданья, боролата. — Такъ до свиданья, бородатая Офелія, сказала Бармитинова уже совствить весело, -- я васть буду ждать... И васть рада буду видеть у себя, прибавила она, обращаясь къ Серпороеву.

Тотъ поклонился.

Когда гости вышли, Кузя Ногинъ подбъжалъ къ учительницъ и, заглядывая ей въ глаза, спрашивалъ:

- Это былъ вашъ учитель?
- Да, учитель.
- Такъ онъ больше вашего знаетъ?
- Да, больше.

Мальчикъ запумался.

— Нътъ, сказалъ онъ неръшительно, - это неправда.

Бармитинова улыбнулась, но ничего не отвъчала. Въ ея воображенін разомъ почему-то промелькнула білокурая, немножко золотушная Гретхенъ.... «Любитъ? не любитъ?... Любитъ? не любитъ?»... Но тутъ же сейчасъ губы ея стали шептать: «ахъ, пестро! Ахъ, не пестро! Ахъ, пестро»!

XI.

Вечеромъ этого самаго дня, Бармитинова и ея молоденькій другь Марина сидвли въ маленькомъ палисадникъ, который находился при квартиръ Бармитиновой. На скамейкъ и на травъ валялось нъсколько книгъ и газетъ. Вечеръ былъ августовскій, жаркій, тихій. На небъ ни облачка.

- Какая ты сегодия хорошенькая, Варя, говорила Марина, глядя на нее и играя концомъ ея пояса: и глаза такіе свътлые. Я давио тебя не видъла такою веселою.
- Что-жъ, очень можетъ быть я рада, отвъчала Бармитинова весело.
- А почему ты рада? Что мит не скажешь?
- Я рада, что у меня.... книга пропала....
 - Книга пропала? какая книга?
- Книга... по которой я.... училась, отвъчала Бармитинова какъ-то загадачно.
- Чему-жъ тутъ радоваться, Варя, что пропала книга? И какая книга? Какъ она называется?

Бармитинова, вмъсто отвъта, продекламировала:

Пропала кпига! Ужъ была
Совсѣмъ готова—вдругъ пропала!
Богъ съ ней, когда идеѣ зла
Она потворствовать желала!
Читать маранье праздныхъ дуръ
И дураковъ мы недосужны.
Не нужно намъ плохихъ брошюръ,
Намъ нуженъ хлѣбъ, намъ деньги нужны!
Но можетъ быть она была
Честна.... а такъ рѣзка, смѣла....
Двѣ три страницы роковыя....
О, если такъ, ее миѣ жаль!
И можетъ быть мою печаль
Со мной раздѣлитъ вся Россія.

Она остановилась и задумалась.

- Что съ тобой, Вара? Ты говоришь какими-то загадками.... Сказала, что у нея пропала книга, по которой она училась, а потомъ читаетъ стихи изъ «Отечественныхъ Записокъ», гдъ тоже говорится, что «пропала книга».... Ты зачъмъ меня мистифируешь, Вара? приставала къ ней Марина.
- Я тебя не мистифирую.... я сегодия же видела эту книгу, и нашла, что она пропала.... И сегодия же, можетъ быть, увижу ес

опять.... Я цълыхъ десять лътъ думала, что она цъла, а сегодня увидъла, что она пропала.

- Да не дразни же меня, Варя! Вѣдь я ужъ не маленькая, говорила Марина недовольнымъ тономъ; —ты вѣдь всегда любишь, какъ Гейне, выражаться «языкомъ пророковъ».
- Хорошо, Мариночка, я тебѣ скажу просто: я сегодня видѣла книгу, по которой я десять лѣтъ училась и которой десять лѣтъ не видѣла. Книга эта называетоя «Григорій Борисовичъ Стожаровъ».
- Что-жъ это такое? Я эту фамилію слышала отъ тебя... Такъ это въ самомъ дёлё книга или человёкъ?
 - Была книга, а теперь человъкъ, отвъчала Бармитинова.
 Марина совсъмъ надулась.
- Ну, пу! не сердись, моя маленькая. Я тебъ все скажу.... Сюда прівхаль одинь господинь, съ которымь я была дружна десять лётъ назадъ и который имёлъ роковое вліяніе на всю мою жизнь. Подъ его вліяніемъ я отказалась отъ общества, отъ замужества, отъ семейныхъ радостей. Подъ его неотразимой логикой (тогда она казалась мий неотразимою) я стала женщиной-диятелемь, то-есть современнымъ монахомъ или если хочешь - «рыцаремъ ордена женскаго труда и женской независимости и равноправности съ мужчиной». Такіе монахи-рыцари, какъ тебѣ извѣстно, существовали везпъ, какъ крайнее выражение увлечения извъстной идеей. Были монахи и рыцари идеи христіанства, которые отказывались отъ міра, отъ жизни, отъ семейныхъ радостей, чтобы или служить идев словомъ, или ратовать за нее мечомъ. Отсюда отшельники опвандскіе, печерскіе, афонскіе, а посл'ь--- крестоносцы, меченосцы, тампліеры и проч. Время подобнаго рыцарства прошло. Теперь настало время соціальныхъ движеній-и вотъ опять явились монахи и въ рыцари пошли или такія женщины, какъ я, которыя, отрицая семью, проповъдывали свободу женщины и женскій трудъ, и пошли въ артели переплетчицъ, наборщицъ, переподчицъ, телеграфистокъ, въ акушерки, въ доктора, какъ Суслова и Кашеварова, въ учительницы, какъ я, нашедшая свой монастырь и свою Оиваиду въ земской школт въ Варгунахъ. Современные рыцари-это тоже отрицатели старыхъ порядковъ, тъ, которые «возстали противъ мертвыхъ» и къ которымъ принадлежалъ мой учитель, мои книга-Стожаровъ. Поняла теперь?

 Начинаю понимать, отвъчала Марина, и глаза ея блестъли усиленнымъ, лихорадочнымъ блескомъ.

Она порывисто бросилась на шею къ Бармитиновой: «Говори! говори, Варя! я хочу тебя слушать», шептала она въ волненіи.

- Я почти все сказала.
- Нътъ, не все-только начала, и говори же!
- Такъ вотъ, подъ вліяніемъ Стожарова, я поставила вверхъ дномъ всю мою жизнь, я отреклась отъ всёхъ моихъ прежнихъ верованій: изъ Іерусалима я пошла въ Оиванду—въ Варгуны.
- И онъ теперь здёсь, этотъ Стожаровъ?
- Здёсь, сегодня быль у меня въ школё.
- Онъ къ тебъ пріъхалъ сюда?
- Не думаю.... А можетъ быть.

И лице Бармитиновой покрылось слабымъ румянцемъ.

- Почему же ты говоришь, Варя, что книга пропада, когда, напротивъ, книга нашлась?
 - Нътъ, книга пропала, а кажется... нашелся человъкъ.
- И ты рада?
- Рада.... Рада и потому, что, кажется, помучу его такъ же, какъ онъ меня мучилъ.
 - Чѣмъ, Варя?
- А вотъ чѣмъ: я его заставлю молиться на себя, то-есть на меня.
- -- Какъ это Варя? Я тебя не понимаю.... Ты все шутишь со мной.
- Нѣтъ, Мариночка, я вовсе не шучу. Онъ всегда проповѣдывалъ, что надо быть послѣдовательнымъ, что человѣкъ измѣняющій своимъ убѣжденіямъ, своему знамени, своему слову—подленъ.
- Что-жъ, Варя, развѣ ты не того же миѣнія?
- Того же, и вотъ на этомъ самомъ основании я его заставлю молиться на себя по три раза въ день.
- Да какъ же это, говори, Варя, не мучь меня.... Развъ онъ такъ тебя любитъ?
- Да... по крайней мъръ онъ говорилъ, что я лучшая дъвушка, какую онъ когда-либо зналъ, и въроятно, лучшаго друга онъ не найдетъ никогда. Но онъ же сказалъ, что прежде чъмъ намъ же-

ниться, мы должны поработать на другихь, и что мы не имъемъ права быть счастливыми до тъхъ поръ, пока не накормимъ много голодныхъ, пока не дадимъ свободу многимъ заключеннымъ. А иначе, онъ говорилъ, мы будемъ жалкіе и подлые люди... Я исполнила его волю

- И что-жъ? Теперь женитесь?
- Нътъ, не женимся.... Я ему только напомню, что непослъдовательность и отступничество отъ своихъ убъжденій—подлость.
 - А развъ онъ отступился отъ своихъ убъжденій.
- Не знаю. Можеть быть и иёть, такь тёмь лучше. Когда опъ меня обращаль въ свою религію, то есть зваль меня или въ современный скить или въ орденъ рыцарей женскаго самостоятельнаго труда, его религіей быль «позитивизмъ» Огюста Конта и философія Стюарта Милля.
 - Что-жъ изъ этого, Варя?
- А то, что я велю ему быть върнымъ своему учителю. Огюстъ Контъ говоритъ, что молитва современнаго человъка должна относиться къ людямъ же, то есть люди должны поклоняться человъчеству «въ лицъ его достойныхъ индивидуальныхъ представителей». Эти люди, которымъ современный человъкъ долженъ молиться, могутъ быть «живые или умершіе, но во всякомъ случать женщины», потому что женщины, по митнію Конта, «какъ sexe aimant, воплощаютъ въ себъ самый лучшій атрибутъ человъческой природы, атрибутъ, который долженъ регулировать всю нашу жизнь», и что даже все человъчество символически представляется въ лицъ женщины.
- Что-жъ, Варя, это очень любезно со стороны такого великаго генія, какимъ его называютъ Милль и Льюнсъ, замѣтила шутя Марина;—хоть этотъ же Контъ говоритъ, что женщина не должна даже имѣть собственности, а можетъ жить только подачкой отъ мужчины.
 - Правда, правда.
- Но въдь это дико, Варя... Въ такомъ случав, послв этого мы, женщины, должны молиться на мужчинъ, а они всв такіе противные, злые, деспоты, не даютъ женщинъ свободы, а сочинители такъ просто лгунишки: объщаютъ намъ и счастье и свободу, а сами не имъютъ ин того, ни другаго. Въдь это, Варя, все равно что

объщать шкуру не убитаго медвъдя. А ты согласна съ противнымъ Контомъ, Варл?

- Постой. Дай досказать, —не забъгай впередъ.
- Виновата, Варюшечка, я всегда такая, За это меня и мамаша бранитъ: говоритъ, всю жизнь буду торопиться и рвать платья. А вчера я пришла отъ тебя такая разстроенная, что разбила у мамаши любимую чашку, а напашѣ нечаянно бороду подожгла, когда давала ему огия закуритъ папиросу. Потомъ весь вечеръ ревъла... Ахъ, виновата, милая, сказала она, спохватившись; я все перебиваю тебя... Теперь молчу... Говори же...

II она рукой зажала свой ротъ, а между тъмъ, глаза ясно говорили, что ей смерть хочется болтать.

- Контъ говоритъ, продолжала Бармитинова, поглядывая на калитку, ведущую на дворъ, что если у мужчины итъ на лице обожаемой женщины, то онъ долженъ обожать хоть умершую, хоть даже просто историческую женщину.
- А я, Варя, знаешь кого такъ обожала.... Рахметова изъ «Что дёлать».
 - А теперь кого же?
- Никого... Всѣ противные... Только болтають, а никто дела не дѣлаетъ, а женщина страдаетъ...

Она опять спохватилась, что заболталась, и зажала ротъ рукою.

— Такъ Контъ говоритъ, снова продолжала Бармитинова, видимо занятая другою мыслью, что мужчины должны молиться каждый своей женщинъ, и каждый можетъ сочинять свою молитву. «Молитва можетъ быть перемъщена отрывками изъ лучшихъ поэтовъ»...

Марина опять не утерпъла...

- Я бы изъ Некрасова, вклеила она, и опять зажала ротъ, стараясь удержаться отъ смъху.
- Такіе обряды Контъ совершалъ въ память своей Клотильды, говоритъ Милль, продолжала Бармитинова; эти молитвенные обряды должны занимать ежедневно два часа «при вставанын, въ середнив рабочихъ часовъ и передъ сномъ. Первая молитва, совершаемая наколъияхъ самая продолжительная, вторая самая краткая, и вечерняя должна быть доводима до того самаго момента, когда сонъ

сомкнетъ наши глаза, такъ чтобъ ея вліяніе могло отразиться на нашихъ грезахъ».

- Ну, вотъ и я всегда такъ, вставила свое слово Марина; когда миѣ мамаша велитъ прочесть всѣ молитвы, я непремѣнно засыпаю. И этому Конту твой Стожаровъ поклонялся? Такъ онъ просто дурачекъ... А я, напротивъ, ненавижу этого Конта, какъ всѣхъ французовъ... Что-жъ ты, Варя, скажешь своему Стожарову?
- Я ему скажу, что Контъ требуетъ впинаго постоянства въ чувствъ: разъ полюбилъ и баста. Умеръ предметъ страсти тогда должно быть «въчное вдовство» le veuvage éternel, потому что тотъ, кто пережилъ любимое существо, «долженъ непрерывно воздавать почитаніе тому, который, хотя объективно и умеръ, но живетъ еще субъективно».
 - Что-жъ, это хорошо, Варя...

Въ это время на дворъ послышался голосъ Стожарова, который кого-то спрашивалъ. Бармитинова вспыхнула. За нею вспыхнула и Марина...

- Противный сочинитель, пробормотала она, и, въ одно мгновенье поцёловавъ Бармитинову, взбёжала на крылечко, ведущее въ квартиру учительницы.
 - Куда ты? кричала ей вслёдъ Бармитинова.
- Домой поджигать папашъ другую половину бороды... Мамаша велъла, прибавила она, исчезая за дверью.

Бармитинова осталась одна. Сердце ея какъ бы остановилось на минуту, но потомъ опять заколотилось съ утроенною силой, а на языкъ вертълась неотвязчивая фраза:

Пропала книга! Ужъ была Совсъмъ готова — вдругъ пропала!

Въ тоже мгновенье отворилась калитка палисадника и на порогъ показалась фигура Стожарова. Бармитинова встала и пошла къ нему на встръчу.

- Здравствуйте, Гамлетъ, сказала она улыбаясь и подавая ему руку.
 - Здравствуйте, Офелія, отвъчаль опъ, видимо смущенный.

Она провела его въ скамейвъ и просила садиться. Онъ повиновался кавъ будто машинально, но молчалъ. Хозяйка чувствовала на

себъ всю тягость обязанности—начать разговоръ, по это-то начало и затрудняло ее. Мысль ея перепеслась за десять лѣтъ назадъ, когда слово Стожарова было для нея закономъ, когда суровый студентъ читалъ ей строгія наставленія за всякое неудачно сказанное слово, в все что носило на себъ печать «рутины», какъ онъ выражался, и это убійственное слово отнимало у нея всякую смѣлость, и она не знала какъ начать. Онъ нонялъ, кажется, ея затруднительное положеніе и сказалъ съ улыбкой:

- Начиемте съ того, на чемъ кончили десять лътъ назадъ.

Бармитинова всиомиила одну изъ его последнихъ фразъ: «кто не работалъ для другихъ, кто не сдёлалъ десять другихъ счастливыми— тотъ подлецъ», и опа спросила его, желая держаться пока на томъ неопредёленномъ, шутливомъ тонъ, какимъ привътствовала его при встръчъ:

- Гамлетъ, честная ли дъвушка Офелія?...
- Нѣтъ, пусть Офелія спроситъ, честенъ ли Гамлетъ, отвѣчалъ опъ, но потомъ вдругъ заговорилъ искреннимъ, сердечнымъ тономъ: Варвара Григорьевна! скажите мнѣ откровенно, имѣю ли я право принимать участіе въ вашей судьбѣ я имѣю ли право спрашивать что было съ вами въ продолженіи этихъ десяти лѣтъ?
- Имѣете, если сами не скажете, что потеряли это право... Вы создали меня такою, какою видите... Этого ли вы желали отъ русской дѣвушки и оправдала ли я ваши ожиданія? И желаете ли вы прочесть исторію послѣднихъ десяти лѣтъ моей жизни, мой скорбный листъ?

Острой болью отозвались въ сердцѣ Стожарова послѣднія слова дѣвушки и ему стало стыдно зя себя, за то, что его юношескія доктрины, въ которыя онъ самъ вѣровалъ, принесли столько страданій существу, которое, можетъ быть, прошло бы по землѣ счастливо, безъ базаботно, безъ тяжелаго раздумья, еслибъ не встрѣтплось съ нимъ. Но вѣдь и онъ страдалъ во имя этихъ же доктринъ, вѣдь и въ его жизни лучшіе годы съѣдены этимъ же раздумьемъ, исканіемъ современнаго философскаго камия — прочнаго человѣческаго счастья и человѣческой свободы. А онъ не жалѣетъ о томъ, что не жилъ беззаботно, что не хотѣлъ брать у жизни только то, что она давала, какъ это дѣлаютъ маленькія натуры, а хотѣлъ взять что

ему нужно, и искалъ. упорно искалъ заколдованнаго камия, и если не нашелъ самаго камия, то, отыскивая его, нашелъ не мало полезныхъ металловъ. Такъ долженъ ли онъ винить себя за то, что онъ, отнявъ у дъвушки счастье лягушки или паразита, далъ ей одинъ процентъ человъческаго счастья и, пожалуй, девяносто девять процентовъ человъческихъ страданій?

- Это мимолетное раздумье слѣдовало тотчасъ за острой болью въ сердцѣ, и Стожаровъ рѣшилъ, что онъ правъ, потому что дѣй-ствовалъ честно, потому что, казалось ему, сдѣлалъ паразита способнымъ понимать и человъческое горе, и человъческое счастье.
- Скорбный листъ... Зачъмъ же скорбный листъ? говорилъ онъ медленио, какъ бы вслушиваясь и вникая въ значенье произносимыхъ имъ словъ: скорбный листъ ведется только у постели больнаго... А вы... вы были больны десять лътъ назапъ.

Она молчала. Совъсть Стожарова между тъмъ не молчала и задала ему новый вопросъ: «Да имълъ ли я въ самомъ дълъ право отнимать у нея то, что называютъ блаженнымъ невъденіемъ!.. Но развъ невъденіе блаженио? Оно глупо и пошло... Мало того, певъденіе—подлость». И на эти вопросы совъсти его разсудокъ отвъчалъ: «Да, имълъ право, даже больше—это была моя обязанность какъ честнаго человъка».

- Такъ вы много страдали? спросилъ онъ, обращаясь къ дъвушкъ.
- Да... много.
- И вы жалѣете о томъ, что ношли той дорогой, которой идете, а не остались на той, на которой стояли неподвижно, полныя блаженнаго невъденія?
- Нътъ, я не жалъю о блаженномъ невъдении, отвъчала она, не поднимая головы; — да и блаженно ли оно, полно?

Въ глазахъ Стожарова блеснуло что то сильное и гордое.

- Вы отвъчаете на мою мысль, сказалъ онъ.
- Какъ? Какими словами?
- Я того митнія, что нев'тденіе—не блаженно: нев'тденіе—это большое зло въ челов'тчеств'ть.
- Да, вы правы, сказала дъвушка: и я не желала бы возврата къ невъдению... Оно глупо и жалко, я это поняла только тогда, когда мы разстались съ вами, сказала дъвушка.

- Да?.. Въ такомъ случат вы должны были быть счастливы тъмъ, что мы разстались.
- Нътъ, тогда я не чувствовала счастья. Но я помнила ваши слова, и они спасли меня.
- Такъ вы не вините меня за прошлое?
- За что же? Напротивъ, я жалѣю, что вы не руководили меня съ самаго дътства: почва была бы воспріимчивѣе и брошенное вами доброе сѣмя все бы взошло, а то иныя сѣмена упали на засохшую уже ночву, да на камии и выклеваны птицами. Но что вы дѣлали эти десять лѣтъ? спросила она, глядя ему въ глаза.
- Тесалъ камни для зданія будущности, въ которомъ, впрочемъ жить не буду.
 - Отчего же?
- Не доживу. Медленно строится это зданіе. Притомъ, до сихъ поръ не ръшенъ вопросъ, откуда начать его строить, сверху или сиизу. Люди традиціи утверждають, что надо начинать его строить сверху, съ крыши, и оставить совсжиъ безъ основанія.
- -- Какъ же оно будетъ держаться?
- На воздухъ.
- Такъ отчего-жъ вамъ самимъ не построить этого зданія, безъ помощи людей традиціи?
- Да мы такъ и поръщили: мы построимъ свое зданіе, начавъ его съ фундамента, куда положилъ цъльный, грубый гранитъ—народъ. А они тамъ какъ хотятъ съ своимъ зданіемъ: рано ли, поздно ли, къ намъ же придутъ погръться и укрыться отъ дождя, когда ихъ гиплое зданіе рухнетъ. Только долго это вотъ что скучно.
- А знаете что? спросила вдругъ Бармитинова.
- Не знаю, Варвара Григорьевна, пока не скажете.
- Я въдь видъла какъ вы камии тесали.
- A! понимаю, сказалъ онъ: вы читали, върно, то что я печаталъ.
- Да, читала.
- Ну это вы видёли, значить, только пыль отъ тесанья камней да негодиые осколки: годиые-то камии не всёмъ показываются.

Дъвушка задумалась. Ее видимо занимала какая-то мысль, по она не высказывала ее. Взглядъ ея сърыхъ лучистыхъ глазъ скользилъ иногда какъ бы украдкой то по лицу собесъдника, то по точеной его головъ, которую онъ обнажилъ, говоря съ дъвушкой. Взглядъ этотъ видимо изучалъ давно знакомое, но почти забытое лице, и старался разгадать значение каждой складки и морщинки на этомъ лицъ, значеніе нъсколько кривой улыбки и значеніе всъхъ тъней и полутъней, пробъгавшихъ по этому лицу. Стожаровъ же, большею частью, если не задумывался, смотрълъ прямо въ лице дъвушки и какъ будто спрашивалъ свою память: «то ли это лице, которое было тогда, и были ли тогда на этомъ лицъ эти тъни и полутъни, въ которыхъ теперь такъ много глубокаго, таинственнаго смысла«? - А знали ли вы, что это я писалъ то, что вы читали? спро-

- силъ онъ.
- Знала. Другого васъ нътъ. Вообще я слъдила за вами. Наконецъ она ръшилась на что-то: это сказалъ блескъ ея глазъ, сразу потемнъвшихъ.
 - А вы слъдили за мной, какъ объщали? спросила она.

Да, следиль, пока это было можно.... Мне писали, что вы бросили свътъ и его пустыя, вредныя приличія, отказались отъ вывздовъ, которыми наполнена вся жизнь пошлыхъ и безполезныхъ женщинъ, и стали учиться. Зналъ я, что вы вынесли черезъ это много тяжелыхъ сценъ отъ матери, много гадкихъ сплетень отъ прежнихъ знакомыхъ, но вы поставили на своемъ, и я былъ за васъ покоенъ. Потомъ я оставилъ Россію. Что было дальше, я не знаю.

— Дальше начались еще худшія муки, но вийстй съ тимь я уже начинала сознавать, что побъда останется на моей сторонъ, говорила дъвушка, какъ бы припоминая далскій, смутный сонъ... Мать моя скоро умерла, и это было большимъ ударомъ въ моей жизни. Я осталась одна. Мои опекуны и родственники хотъли опять втянуть меня въ омутъ пошлой свътской жизни, но я выдержала и эту борьбу. Мнъ говорили, что и должна танцовать, а и отвъчала, что это удовольствіе дикарей, и если бы я была бушменка, я бы танцовала, а для человъка образованнаго я считаю это занятіе неприличнымъ и что допускаю пляску только между пьяными. Мит говорили, что я должна наряжаться, а я отвъчала, что наряды считаю воровствомъ, и притомъ воровствомъ самымъ подлымъ, потому что на наряды воруются деньги, зарабатываемыя бъднымъ человъчествомъ

съ номощью пота и врови. Меня хотѣли выдать замужъ за богатаго кавалергарда, а я сказала жениху, что если онъ своими руками выработаетъ въ мѣсяцъ хоть пятьдесятъ рублей, тогда я позволю ему свататься. Онъ не могъ выработать инчего. Но какъ я ему поправилась, то онъ цѣлый мѣсяцъ сидѣлъ надъ переводами, потому что инчего другаго не умѣлъ дѣлать, а переводъ все-таки оказался безграмотнымъ, за него ему инчего не дали въ артели переводчицъ— и я отказала своему претенденту отъ дому.

- Мит объ этомъ писали въ Гейдельбергъ, перебилъ ее Стожаровъ, и я радовался за васъ.
- Потомъ я стала совершеннольтняя, продолжала Бармитинова: опека надо мной кончилась, и я могла располагать и собой, и своимъ имуществомъ. Я продада всв лешнія платья, всв золотыя и серебряныя украшенья, вещицы, бездблушки, и тъмъ дала нъсколькимъ бъднымъ дъвушкамъ возможность учиться. Но я все еще продолжала жить не своимъ трудомъ, а тёмъ, что мнё досталось отъ матери. Это меня страшно мучило. Я не могла сказать себъ самой, что не только сама себя кормлю, но даю всть и другимъ голоднымъ. Я понимала, что я пока начёмъ не доказала, что я выше того кавалергарда, который не могъ заработать пяти рублей въ мъсяцъ. Я стала мекать себ'в работы... О, сколько нравственныхъ пытокъ я вынесла за это время, сколько униженій! ІІ тутъ только я поняла, какъ тя-🕥 жело бёднымъ людямъ дается каждая корка хлёба, каждый лохмотъ, которымъ они прикрываютъ свое тъло. Я тутъ только пришла къ убъжденью, что тъхъ людей, которые тратятъ на пустяки деньги, не ихъ руками заработанныя, а доставшіяся имъ отъ другихъ, хотя бы отъ родителей, следуеть сажать въ острогъ, ссылать въ Сибирь, клеймить общественнымъ позоромъ. Въ этихъ убъжденіяхъ я дошла до крайности, до фанатической нетерпимости. Я страшно страдала. Но вѣдь я знала, что, не найдя работы, я все же не буду голодна, потому что я искала работы съ полнымъ кошелькомъ денегъ въ карманъ и съ кучей кредитныхъ билетовъ въ моемъ старомъ бюро. Но каково же было тёмъ, которые, не найдя работы, не должны ъсть, которымъ даже не въ чемъ выйти, чтобъ искать работы!... Тутъ только я вполит оцтиния ваши святыя слова, мой добрый учитель.

Она протянула Стожарову руку. Тотъ молча поцъловалъ ее.

- Это первая женская рука, которую я цълую въ жизни, сказалъ онъ;
 это первая честная рука, которую я знаю.
- 0, теперь много такихъ рукъ, отвъчала Бармитинова; наше время начинаетъ смывать грязь съ женской руки.
- Но еще долго не смоеть, замътилъ Стожаровъ, грязь, которая налипала на эту руку въками, въками и смоется... Прежде пусть нечезнутъ всё руки, до сихъ поръ ничего не дълавшія, кромъ какъ плохо игравшія плохіе вальсы да кадрили, да вышивавшія пастушковъ съ собачками, пусть могильный червь събстъ всё мозги въ головахъ, какъ въ женскихъ, такъ и въ мужскихъ, которыя никогда не задумывались надъ горькой участью людей голодимхъ, холодныхъ и обиженныхъ; пусть истлёютъ ихъ сердца, бившіяся только вслёдствіе животныхъ побужденій ихъ животной природы и никогда не болёвшія за другихъ—тогда только вновь народившіяся поколёнія будутъ имъть право сказать, что смывается въковая грязь и съ человъческихъ мозговъ, и съ человъческихъ мозговъ, и съ человъческихъ сердецъ, и тогда только люди найдутъ дорогу къ счастью и своболь.

Когда онъ говорилъ это, лице его было блёдию и поблёднёвшія губы судорожно подергивались. Видно было, что не разъ приходилось ему произносить эти современныя заклинанья, и всякій разъ онъ произносилъ ихъ съ болью, съ раздраженіемъ. Гладко стриженые волосы на точеной голов'в какъ бы шевелились сами собой, а глаза г'лядъи куда-то вдаль, какъ бы посылая заклинанье далекому, невидимому врагу.

— Полно.... Успокойтесь, Григорій Борисовичь, говорила ласково д'ввушка.—Я рада, что могу вась видіть, что вы все такой же, какимь я вась давно уважала.

Стожаровъ силился улыбнуться.

— Простите меня.... Я забыль, что я не въ Женевъ, гдъ я спориль до обмороковъ, когда мнъ доказывали, что Россія никогда не будетъ человъчною страною, что русскій пародъ никогда не будетъ счастяпвъ.... Теперь мнъ нечего падать въ обморокъ: я съ вами, и вы лучшее доказательство того, что русская женщина еще не погибла совсъмъ и что Россія не безнадежно больной человътъ.

Наконецъ, сит совствит овладтит собой и весело прибавиль: «А что еслибъ старинные люди увидтли насъ въ эту минуту и узнали, что это говорятъ почти женихъ и невъста, не видавинеся десятъ лътъ, — въдъ они назвали бы насъ помѣшанными, а полиція приняла бы насъ за заговорщиковъ»...

- Не бойтесь полиціи, прервала его Бармитинова: нашъ стаповой ко миж перавнодушенъ.
- Ну. такъ я въ опасности тъмъ болье, потому что я его соперникъ.... А въдь въ самомъ дълъ, только у насъ въ Россіи можно встрътить, чтобы женихъ съ невъстой, послъ десятилътней разлуки, говорили объ общественныхъ язвахъ, о снасеніи народа.
- Правда... Но в'ядь язвы-то эти слишкомъ больно мучатъ насъ: намъ, русскимъ, не до любви пока.... Однако—снохватилась дъвушка—что-жъ я васъ чаемъ не напою? В'ядь у насъ въ Варгунахъ тоже чай пьютъ, даже престъпне.
- Впжу, вижу, какъ вы шагаете впередъ осминильными шагами. Въ это время въ палисадникъ вбъжалъ, весь запыхавшийся и распрасившийся Кузя Ногинъ и, увидъвъ «сочинителя», остановился какъ вкопацый.
- Ты что, мой милый? тебѣ меня нужно? спросила Бармитинова. Мальчикъ переминался съ ноги на ногу и видимо не рѣшался заговорить при «сочинителѣ».
- Что же, говори... Ужъ не поспорилъ ли о чемъ съ казенпыми?
 - Нттъ, съ дъдушкой, отвъчалъ мальчикъ.
- О чемъ же? спрашивала дъвушка ласково.
- 0 потопъ да о радугъ.
 - Ну, что же? Изъ-за чего споръ?

Мальчикъ взглянулъ косо на «сочинтеля».

- Варвара Григорьевна! заговорилъ опъ, была радуга до потопа?
- Была, отвъчала Бармитинова.
- А дѣдушка говоритъ, что не была... Онъ говоритъ, что Богъ ее создалъ нослѣ потона и сказалъ, что вотъ вамъ радуга—не бойтесь больше потона.
 - А ты что на это отвъчалъ дъдушкъ?
- Я самъ сдёлалъ радугу, маленькую только.... Взялъ въ роть воды, сталъ спиной въ солину, и брызнулъ—радуга и вышла... А

д*душка все не вѣрнтъ... говоритъ, что и ковчегъ теперь видно на Араратъ.

— Нътъ, дъдушка ошибается: я вамъ это объясняла, въ классъ.... Замъчаете, дъти учатъ стариковъ, сказала она Стожарову, улыбаясь.

Мальчикъ, не дожидаясь дальнъйшихъ объяснений, повернулся и убъжалъ. Слышно было, какъ онъ бормоталъ, бъгомъ убъгая по улицъ: «дъдушка ошибается... Варвара Григорьевна говоритъ: дъдушка ошибается... Дъти учатъ стариковъ»...

— Слышите, бормочетъ: «дъти учатъ стариковъ»... Какой славный ребенокъ, а все благодаря вамъ, сказалъ Стожаровъ.

Не успѣлъ онъ кончить, какъ на крыльцо, ведущее въ палисадникъ изъ квартиры Бармитиновой, стремглавъ вылетѣла Марина и запыхавшись кричала, не видя, что у хозяйки гость:

— Варя! Варя! не говорила ли я тебъ, что всъ сочинители противные хвастунишки...

Увидъвъ Стожарова, она точно окаменъла на мъстъ, а потомъ присъла, вся сконфуженная и раскраснъвшаяся.

— Ну, иди сюда... Что случилось?... Иди же, сказаниаго не воротишь, говорила смъясь Бармитинова.

Марина робко сошла съ крыльца.

- А вотъ и сочинитель на лице, продолжали Бармитинова; рекомендую — Григорій Борисовичъ Стожаровъ, а это моя Марина, только не Миншекъ — заклятой врагъ сочинителей.
- Чъмъ же они провинились передъ вами, мадемуазель? спрашивалъ Стожаровъ ласково и обращаясь къ Маринъ какъ къ ребенку. Марина погляжа на Бармитинову и ничего не отвъчала.
- Что же случилось? спрашивала Бармитинова; ты влетвла точно на пожаръ... Или еще чашку разбила?
- Нать, Варя, отвачала она съ какой-то неловкостью, сейчасъ папаша получилъ «Отечественныя Записки» за іюль, и тамъ я прочла стихи какой-то Ольги Лепко... Женщина, Варя! (и лице Марины просіяло, глаза заискрились).
 - Что-жъ изъ того, что «женщина»?
- Да какъ же, Варя? Стихи называются «женскій вопросъ». Я ихъ сейчасъ же почти всё выучила наизусть... И вообрази, Варя,

тамъ говорится, что бѣдный ребенокъ, «женскій вопросъ», былъ брошенъ на улицѣ, плакалъ, плакалъ! Никто не хотѣлъ взять ребенка, всѣ отворачивались отъ него... Его подиялъ какой-то публицистъ и свезъ въ «литературный пріютъ»... Литераторы (и Марина косо посмотрѣла на Стожарова) сначала лелѣяли ребенка на рукахъ, но часто водили въ баню, гдѣ его часто чесали, стригли, мыли, а изъ бани онъ возвращался «въ кровь изцарананный чьей то рукой»... А потомъ ребенокъ умеръ, понимаешь, Варя, умеръ!... Ольга Лепко говоритъ:

Жажда простора его доканала.
— Душно мић! воздуху, воздуху мало! — Мальчикъ кричалъ передъ смертью своей, Тихо кончалсь въ объятьяхъ друзей. Скоро друзья о малюткъ забыли.

Н—не видать никого на могилъ.

Вотъ они какіе, Варя, заключила она едва переводя духъ и ко-сясь на Стожарова.

— Нѣтъ, мадемуазель, вы ошибаетесь: не они а оню, сказалъ Стожаровъ улыбаясь: еслибъ оню были похожи на они, или еслибъ оню были все равно что они (а это по правиламъ граматики невозможно), то бѣдный ребенокъ, можетъ быть, еще и не умеръ бы, какъ не умеръ его старшій братецъ— «мужской вопросъ»... Не такъ ли, Варвара Григорьевна?...

XII.

Прошло нѣсколько дией послѣ посѣщенія Стожаровымъ и Серпороевымъ земской школы. Стожаровъ отлучился изъ Варгуновъ, чтобы посѣтить нѣкоторыя окрестныя деревии для опредѣленія «крестьянскаго бюджета», равно для опредѣленія размѣра крестьянскихъ заработковъ, и сопоставленія ихъ съ размѣрами казенныхъ и земскихъ сборовъ, и въ тоже время хотѣлъ завернуть въ губернскій городъ, чтобы захватить тамъ, для своихъ соображеній, отчеты земскихъ управъ, и оттуда опять воротиться въ Варгуны.

День быль пасмурный, такой, какіе бывають иногда, когда безсильное дъто тшетно мъняется своими растраченными силами съ осенью, которая все болье и болье, какъ брюзгливая, но характерная старуха, забираетъ въ свои руки хозяйство дома и на всъхъ наводить томящую тоску и уныніе. Содице выглянеть изъ облаковъ, пошлетъ свою теплоту и на широкое поле, и на поблеклую зелень лѣса и на смурую Волгу, и опять спрячется, и безсильная теплота его не живить уже ни поля, ни поблеклой зелени лъса, ни смурой новерхности Волги. Зашелестить не смёлый, какой-то порывчатый вътерокъ соломенною, дырявою крышею мужика-горемыки, и стихнеть, и опять зашуркаеть соломой, какъ бы говоря голосомъ человъческимъ: «подожди, бъдная избенка, я нанесу на тебя дождя и холода, я промочу тебя до матицы, заморожу морозомъ цёпкимъ, побълю тебя съдиною снъжною и засыплю вьюгою — мятелями»... Уцъпится черная, крикливая ворона своими цёнкими, чешуйчатыми лапками за конекъ высокаго дома, прокаркаетъ какъ бы на вътеръ и какъ бы клича, чтобъ воротилось убъгающее лъто, и неугомонный вътерокъ подобъетъ ей холоду подъ крылья, и ворона летитъ на крестъ колокольни, и каркаетъ тамъ, глядя куда-то далеко, какъ бы выискивая съ высоты своими зоркими глазами, куда-то прячется тепло и солнце, куда-то дъвалось приволье весны съ свъжею зеленью и каркающимъ въ зелени вороньемъ, съ тепломъ и молодыми воронятами.

Бармитинова сидить одна въ своей квартиръ, и глаза ея падають то на развернутую передъ ней книгу, то на сърое небо, клочокъ котораго видижется въ окиъ и своею смуростью наводитъ пущую тоску на сердце.

«У этихъ людей дёло прежде чувства, другіе ближе себи, не я ближе чёмъ я, чужая рубашка ближе къ ихъ тёлу», говорила про себи дёвушка, отрываясь глазами и мыслью и отъ кинги и отъ клочка смураго неба.

«Чужая рубашка ближе къ тълу — развъ, вирочемъ, не такой долженъ быть девизъ современнаго человъка»? хотълось думать ей это, но почему-то думалось другое, и губы ея шептали: «бъдныя, бъдныя женщины! у насъ никогда не достанетъ этой черствости сердца,

этой великости въ самозабвени, которое дастъ такую великость самому дёлу мужчины»...

А вътерокъ все силится запъть свою осеннюю пъсеику, чтобы навести большую тоску на людей съ слабою волею, не имъющихъ внутри себя своего собственнаго лъта, своего жаркаго солица и зелени въ живой мысли, въ порывистомъ на дъло сердцъ. А солице все украдкой выглядываетъ узъ-за тучъ, и опять прячется, а ворона все каркаетъ на брюзгливую осень, Волга все хмурится и съ ворчаньемъ бъется о сыпучіе берега.

На дворѣ зазвучалъ мелодическій голосъ Марины, и Бармитинова стала ожидать ее. Марина вошла тихо, съ какою-то несвойственною ей солидностью. Глаза ея видимо были заплаканы, улыбка не освъщала ея живаго личика.

- Ты что, Мариночка, такая пасмурная, точно это сёроп*мецкое небо? спросила ее Бармитинова.
- Я вчера и сегодня много плакала, милая, отвъчала та грустно.
- Что, развъ прочитала что нибудь о женскомъ уневерситетъ пли завидуещь Кашеваровой, или можетъ быть, цълый сервизъ разбила?
 - Нътъ, Варя, я о Митъ плакала.
- А что, развъ умеръ, бъдный? спросила Бармитинова съ участіемъ.
 - Да ужъ лучще бы, кажется, умеръ, чёмъ такъ мучиться...
 - Что нибудь получили объ немъ?
- Ивтъ... А вчера папаша разбиралъ его кинги и бумаги, и пашелъ Митины записки, вродъ исповъди передъ самимъ собой... Ахъ Варя, Варя! я чуть сама не помъщалась, когда папаша читалъ его исповъдь
- Какая же это исповъдь, дружочекъ?
- Я сама не знаю что это такое какія-то записки о себѣ самомъ, о томъ что онъ видѣлъ, что думалъ, какъ страдалъ... Такъ вотъ и видятся, такъ и чувствуется, какъ онъ терялъ разсудокъ, какъ онъ самъ бралъ свой мозгъ руками и бросалъ—ему чудилось подъ колеса вагона.
- Такъ это опъ писалъ ужъ во время помъщательства, или до помъщательства?

- Да въ запискахъ, кажется, находится весь процесъ его постепеннаго помъщательства... Тутъ есть и то, какъ опъ леталъ, какъ прилетала къ нему птица.
 - Такъ и это есть?
- Есть, Варя... Во всёхь его словахь, однако, такъ много правды, что я бы, кажется, или убила сама себя, или съ ума бы тоже сошла, еслибъ такъ все чувствовала, какъ онъ чувствовалъ... Точно горячій свинецъ его слова ложатся на сердце... Н'ътъ, Варя, онъ не сумасшедшій, онъ слишкомъ несчастливъ только, онъ слишкомъ болъзненно все чувствовалъ... Знаешь, Варя, онъ говоритъ, что самъ вынималъ изъ себя сердце и топталъ его ногами, а оно билось, а потомъ эта птица его клевала...
- Но въдь ужъ въ самыхъ этихъ словахъ видна его иомѣшанность, ненормальность разсудка и воли, говорила Бармитинова, вставая и привлекая съ себъ Марину; садись около меня, милая, —ты такъ встревожена, ты такъ воспріимчива —вся въ брата.

Марина съла, но по временамъ вздрагивала всъмъ тъломъ.

- Вонъ какая ты, бъдненькая! говорила къ ней ласково Бармитинова, обнимая вздрагивавшую дъвушку, —воспріимчивость-то у тебя съ братомъ, видно, одинаковая.
- Нѣтъ, Варя, я понимаю его, Митю.... Вотъ ты не слышишь отсюда, какъ на кладбищѣ могилу кому-то копаютъ, а я слышу шорохъ лопаты и звукъ отъ паденья земли въ могилу....
 - Что ты, Мариночка, опомнись, ты разстроена.
- Нътъ, я видъла сегодня, какъ тамъ рыли могилу—и теперь все это слышу.... Что-жъ мнъ дълать!... Я понимаю и Митю, какъ онъ бросалъ свою голову на рельсы, подъ колеса вагоновъ.

Бармитинова обняла ее и привлекла къ себъ... «Полно, полно» шептала она, — «ты опасная дъвочка — твоя нервность заразительна». Марина съ жаромъ отвъчала на ласки Бармитиновой и расплакалась какъ ребенокъ.

— Вотъ они, говорила она сквозь слезы, вынимая изъ кармана сшитые въ тетрадку листики почтовой бумаги и показывая ихъ Бармитиновой; — я взяла показать тебъ, Варя... Папаша хочетъ послать ихъ доктору, а я не хочу... жаль... Мы въдь съ Митей были такъ дружны, онъ такъ любилъ меня, переписывался со мной и всегда

называлъ меня товарищемъ по канедръ въ будущемъ женскомъ университетъ.

Бармитинова взяла тетрадку и долге, молча, перелистывала ее»... Какъ тутъ пе сойти съ ума, говорила она, задумчиво покачивая головой, — когда опъ не спалъ по итскойько почей сряду и работалъ до галюцинацій, до обмороковъ? Вотъ онъ тутъ пишетъ, что остановилъ часы, чтобъ ени не напоминали ему о времени и чтобъ ему хоть ошибкой могло казаться, что «время остановилось и что ему не придется его мърять ни днями, ни ночами».

- Нътъ, Варя, это еще не все, съ своей стороны говорила Марина; мнъ онъ самъ признавался, что еще студентомъ онъ пногда отдавалъ всъ свои деньги бъднымъ товарищамъ, а потомъ голодалъ по нъскольку дней, чтобъ самому испытать то, что испытываютъ многіе.
- Это бы еще ничего, замѣчала Бармитинова, перелистывая тетрадку, но у него, какъ видно, до болѣзненности была развита фантазія, и онъ, можетъ быть, дѣйствительно видѣлъ то, чего другіе не видятъ, и чувствовалъ то, чего менѣе впечатлительное сердце не можетъ чувствоватъ... Вотъ и ты отчасти такая—вся въ брата. Я нонимаю великихъ фантастовъ въ исторіи человѣчества: на основаніи своихъ галюцинацій они дѣлали великія дѣла, ставили вверхъ дномъ и разрушали все, что до нихъ созидали тысячи и миліоны людей. Всѣ великіе люди, всѣ геніи, по нашему обыденному аршину галюцинаторы, сумасшедшіе люди: эти сумасшедшіе дѣйствительно видѣли то, чего никто другой не видѣлъ. Развѣ не въ принадкахъ падучей болѣзни и не въ галюцинаціи Магометъ видѣлъ то, на чемъ основалъ цѣлую религію, послѣдователей которой едва ли не больше, чѣмъ послѣдователей Христа?
 - Да, Варя! онъ былъ, дъйствительно, принадочный.
 - А Лютеръ, заработавшійся въ мопастырской кельи надъ переводомъ библіи тоже до обмороковъ, развѣ не въ галюцинаціи бросалъ чернилицей въ черта, и все-таки весь средній міръ и его вѣрованія и его порядки, при своемъ сумасшествіп, перевернулъ на изнанку, хоть и, смѣшно сказать—бросалъ въ черта чернилицей.
 - Чернильное пятно, говорять, и теперь показывають на ствив.
 - Показывають оно цело. А Лойола развё не такой же быль

фантастъ и галюцинаторъ? Развъ своимъ сумасшествіемъ онъ не задержалъ на цълыя столътія паденіе римской церкви. А развъ Колумбъ не такой же былъ сумасшедшій, который видълъ то, что другіе не видъли—за тысячи верстъ разглядълъ землю, о которой никто до него не зналъ, и упрямо шелъ ее отыскивать.

- Бъдный, бъдный Митя! говорила Марица, внимательно слушая свою подругу;—зачъмъ же онъ погибъ?
- А затъмъ, что видълъ и чувствовалъ то, чего мы своими слъпыми глазами и грубымъ сердцемъ ни видъть, ни чувствовать не можемъ. Геніальность всегда граничитъ съ сумасшествіемъ или съ фанатизмомъ. Исторія указываетъ на многихъ великихъ людей, которые или начали свои великія дѣла съ сумасшествія, или кончили сумасшествіемъ.
- Бѣдные! какъ ихъ жаль, почти шопотомъ говорила Марина; вѣдь и Гейне, больной, говорятъ съ ума сошелъ, и Гоголь умеръ почти сумасщедшимъ, даже о Иисаревъ я читала, что и онъ, послъ университета, одно время былъ сумасшедшимъ.
- Правда, и Огюстъ Контъ сходилъ съ ума лътъ въ тридцать... Для великихъ силъ, для великихъ умовъ и великихъ чувствъ узка, какъ видно, человъческая рамка, и великія силы ломаютъ эту рамку, выходятъ за предълы человъческой возможности, и неръдко погибаютъ сами, или все человъчество заставляютъ плясать по своей. дудкъ.
 - Такъ великіе люди всъ сумасшедшіе, Варя?
 - Всъ сумасшедшіе съ нашей мъщанской точки эрънія.
 - Какъ это странно.
 - Да, для мъщанскаго ума странно.
 - А развъ, Варя, есть мъщанскій умъ и купеческій?
 - Мъщанскій есть, а купеческаго и дворянскаго ивтъ.
 - Что-жъ это за мъщанскій умъ?
 - Знаешь мѣшанское счастье?
 - Знаю узенькое, пошленькое, тошненькое....
- Върно.... ну, и умъ мъщанскій—это умишко узенькій, пошленькій, тошпенькій, всегда благонамъренный и всегда осторожный, какъ у нашего судебнаго слъдователя.

Марина разсмѣялась.

- -- Меня, однако, интересуетъ эта тетрадка, сказала Бармитинова, не выпуская ее изъ рукъ; — я бы хотъда ее прочитать. Ты миъ нозволишь оставить ее у себя на время, Мариночка?
- Нътъ, милая, я боюсь, чтобъ ее мамаша не спросила. А если хочешь, прочти ее при миъ вслухъ, и я опять охотно послушаю, хоть, можетъ быть, и разревусь.
- Ну, такъ отлично: и буду читать ее вслухъ, а ты слушай.
 Или ты читай.
 - Нътъ, читай ты, Варя.
- Я не знаю, гдѣ у нея и начало, говорила Бармитинова, развертывая тетрадку.
- Не это ли, показывала Марина.

Бармитинова, съвъ въ глубину дивана, начала читать:

«Спжу ли я съ открытыми глазами, закрою ли ихъ — передо миой все книги, книги, книги. И огромные фоліанты, и маленькіе томики, книги въ старинныхъ съ золотомъ переплетахъ и въ сухой, пожелтвыней кожв встаютъ передо миою и не даютъ мив покоя, не даютъ вабыться ни сномъ, ни думой. И вижу я въ этихъ кпигахъ давно умершихъ людей, мысль которыхъ осталась здёсь, на земля, тогда какъ самихъ мертвецовъ давно положили въ могилы, и давно кости этихъ мертвецовъ гніютъ по кладбищамъ всего міра — и въ монастырскихъ склепахъ, и въ обшарной могиль миліоновъ умершихъ, на кладбищѣ Лашеза, и по уединеннымъ, всѣми забытымъ кладбищамъ давно не существующихъ городовъ, и въ уединенныхъ, пикому невѣдомыхъ могилахъ, и у насъ, на скромномъ волковомъ кладбищѣ, на смоленскомъ.

«Вотъ что осталось послѣ этихъ людей, жившихъ сердцемъ и мыслью, страдавшихъ, бившихся за счастье человъчества.... Ихъ мысль и чувство приковали къ пожелтъвшимъ отъ времени листкамъ бумаги, ихъ сердце заковали въ кожаные переплеты и поставили на полки въ публичной библютекъ, и вотъ я сейчасъ былъ тамъ, и миѣ съ полокъ снимали мертвецовъ, и я дерзко заглядывалъ имъ въ глаза, которые уже не блеспутъ живою мыслью, я тревожилъ ихъ мозгъ, ихъ сердце, я качалъ иногда укоризиенио головой, читая то, что, можетъ быть, они писали своею кровью, я смъялся надъ ихъ устарълыми идеями, и они не могли мнъ инчего отвъ-

чать — они лежать въ гробахъ, а сердцемъ ихъ и мыслью распоряжаются дежурные въ публичной библіотекѣ. Таскають солдаты, какъ дрова, на своихъ плечахъ, ставятъ на полки, номеруютъ, вносятъ въ каталоги.

«Приходитъ писарь изъ комисаріата, и вижу, записываетъ на требовательномъ билетъ: «Сочиненія Добролюбова».

«Вотъ и онъ, думаю, хочетъ своей писарской рукой трепать давно истятьшее сердце покойника, рыться у него подъ черепомъ, давить своею грубою рукою самыя больныя язвы умершаго....

«Что-жъ! пусть читаетъ, поучается.... Пусть слушаетъ, какъ тотъ изъ могилы говоритъ: «воздуху, воздуху, воздуху больше»! А воздуху мало, а легкія все болятъ, а кругомъ поголовная спячка, воздухъ все тяжеле и тяжеле становится—и онъ задохся, не вынесъ, бросилъ на полки публичной библіотеки часть своего сердца, часть своихъ думъ, и ушелъ въ могилу....

«А вотъ юноша набралъ цѣлую гору книгъ, занялъ половину стола, и сидитъ не разгибаясь надъ этими книгами цѣлые дни и вечера, пока не ударитъ звонокъ, и матовый свѣтъ лампы падаетъ на матово-блѣдное наклоненное лице юноши, и блѣдно, сухо это молодое лице, какъ блѣдны эти бѣлые, сухіе листы книгъ, которыя онъ читаетъ неустанно, изъ которыхъ выписываетъ... И кашляетъ этотъ юноша по временамъ.... Дни проходятъ, я все замѣчаю за нимъ—лице его все матовъе становится....

«Скоро, думается мий, и твое сердце поставять на полку, запишуть въ каталогь, и будеть твое сердце съ полки на полку таскать и солдать, и дежурный, и писарь, и студенть, а ты будешь лежать на волковомъ и не будеть освищать тебя матовый свёть дампы, и не будешь ты вздрагивать при звоий этого колокольчика.

«А вотъ и дъвушка пришла сюда, гдъ на полкахъ стоятъ человъческія сердца и головы.... Что тебя загнало сюда, на это кладбище человъческой мысли? нужда, голодъ, боязнь цаденія?

«Работай-вонъ и писарь работаетъ.... Такое время настало.

«А блёдный юноща все кашляеть надь горою книгь, а объемь записаннаго имъ все увеличивается.... Скоро, скоро поставять тебя на полку, за проволочную решетку.... А можеть быть и пе поставять—не успешь оставить на почетномъ кладбище твою голову и

часть твоего сердца, а попадешь на волковское.... Работай же скоръй—не успъешь! Пусть надрывается твоя молодая грудь—въдь и у инхъ у всъхъ надрывалась, и у меня надрывается.

«Тамъ, въ публичной библютекъ, сегодия меня мучили грезы наяву... Тихо, тихо кругомъ, только слышенъ шелестъ листовъ, шарканье ногъ по половикамъ, кашель блъднаго юноши, иногда шонотъ да глухой громъ экипажей на невскомъ, звоики вагоновъ... А тутъ тихо, какъ прилично на почетномъ кладбищъ... Зачъмъ это дежурный такъ звякаетъ мъдными марками по прилавку? Зачъмъ нарушать тишину святаго мъста, великаго кладбища?...

«Заработался и сегодни тамъ, на общечеловъческомъ кладбищъ... Смъшно и жалко! — тоже хочу скоръе попасть въ швапъ, на полку, за проволочную ръшетку, чтобъ и меня таскалъ по столу писарь, чтобы и надо мной кашлялъ блъдный юноша, чтобы и надъ монмъ сердцемъ сидъла паклоненная головка той дъвушки, что прошуршала платьемъ, уходя въ женское отдъленіе...

«Я забылся надъ книгой — и слышу голоса съ полокъ, словно тихій шопотъ мертвецовъ изъ могиль: — «зачёмъ вы выставили на показъ наши сердца и головы? Какое вамъ дело до того, какъ мы думали, что мы чувствовали, какъ мы страдали и какъ страдалось въ наше время? Наше время прошло и не воротится, какъ и мы не воротимся въ вамъ... Вы не можете и не хотите думать нашей думой, страдать нашимъ страданьемъ... Вы смъетесь надъ намивы много новаго узнали, чего не знали мы. Намъ стыдно передъ вами-мы не могли васъ сдълать счастливыми, какъ ин бились, и вы въ правъ презпрать насъ, смъяться надъ нами, проклинать насъ... Мы ваши отцы, дёды, предки-вы въ правё не уважать насъ: мы жили въ иное время, у насъ были иныя птицы, и наши птицы пъли иныя пъсни... Но въдь и мы работали, и мы хотъли и себъ и вамъ счастья, но мы жили въ худшее время: насъ за слово на кострахъ жгли, въ цъцяхъ морили, а мы все-таки работали, все искали счастья, добра, свободы. Не сивитесь же надъ нами: вы живете въ иное время, и васъ не жгутъ за сдово, вамъ даютъ только предостереженія, а насъ безъ предостереженья хватали и сажали...

«Опять дежурный библіотекарь, словно лавочникъ, неосторожно бросаеть на прилавокъ мёдную марку, и я вздрагиваю, и блёдный

юноша вздрагиваетъ, и солдатъ, что заснулъ у двери, просыпается... Его голову не поставятъ на полку, надъ нимъ не будутъ черезъ сотни лътъ смъяться другіе солдаты, не будутъ трогать его сердца ни студентскія, ни писарскія, ни библіотекарскія руки...

«Снова тихо кругомъ, снова я забываюсь надъ книгой, и снова шопотъ на полкахъ: - «Не трогайте меня, снимите меня съ полки, выпустите изъ-за проволочной ръшетки, отпустите меня на мое кладбище, къ моимъ костямъ... Они давно высохли подъ плитой, на кладбищъ въ невской лавръ... Отпустите меня, не заглядывайте въ мое сердце, подъ мой черепъ... Мит стыдно, мит хоттлось бы сжечь мою печатную память обо мив, о моихъ двлахъ... Я писалъ не по убъжденію, я лгаль, доносиль на честныхь людей — изъ-за куска хлъба, а потомъ изъ-за креста, изъ-за ленты... Зачъмъ же вы меня выставили на позоръ, на оскорбленья, на поруганье? Меня простили современники-всѣ, умирая, простили-меня церковь простила, она за меня, за мою память молилась, а вы приковали меня къ позорному столбу, вы плюете на меня, вы будете въчно плевать на меня... Отпустите меня, сожгите мою память, пусть она не будетъ «въчною памятью» позора... Я былъ голоденъ, когда написалъ нервое подлое слово, мои ноги зябли въ моей холодной конуръ, мои пальцы примерзали къ карандашу, которымъ я писалъ мое первое подлое слово... Меня не накормили, меня не отогръли богатые и сильные, они только сказали: - напиши злое, нечестное слово - и будешь сыть, мы истонимъ твою печь, накормимъ твоихъ дътей.... И я написалъ злое, нечестное слово... Ваше время лучше, у васъ больше тепла и свъта...

«Больше!.. Гдё же больше?.. Опять звякаетъ дежурный своею маркою... И на кладбище нётъ покоя, и на кладбище не даютъ прислушаться къ тому что говорятъ мертвецы... Это звяканье помёшало мнё дослушать что говорилъ шопоть съ полки... Я пожалуюсь Бычкову на дежурнаго...»

- Кто этотъ Бычковъ, Варя? спросила вдругъ Марина, прерывая чтеніе Бармитиновой.
 - _ Не знаю, милая: должно быть начальникъ публичной библютеки.
 - Ну, читай дальше.

Бармитинова провела рукой по глазамъ, точно силясь стряхнуть съ себя какія-то грезы, и продолжала чтеніе.

«Марки чаще и чаще звякають о прилавокь, постители одинь за другимь расходятся, а съ невскаго все доносится глухой гуль отъ экипажей...

«Я читаю, и меня опять мучать грезы, опять обступають меня тъпи умершихъ, и я слышу стопы на нолкахъ:-Вы скоро уйдете отсюда, а насъ оставите во мракъ, на всю ночь, въ этомъ великомъ скленъ... Мы устали стоять здъсь - дайте и памъ воздуха, которымъ вы дышите, дайте и намъ свободы, которой вы наслаждаетесь... Мы жили въ другое время, мы не знали свободы, а все же работали для васъ... Мы дали вамъ все что вы питете-и знанія, и свободу слова и нечать. Мы освободили илотовъ отъ греческой неволи, мы освободили негровъ, когда наши враги, люди власти, продавали ихъ какъ убойную скотину. Мы ратовали противъ невъжества среднихъ въковъ, противъ деспотизма новаго времени. Мы провели для васъ желъзныя дороги, дали вамъ телеграфы, научили васъ отстаивать свою свободу словомъ... Все это мы сдълали. все мы вамъ отдали, и въ могилу взяли съ собой только саваны. а вы и могилы наши разрушаете, говорите, что мы инчего не спълали для васъ, что вамъ все такъ же приходится плакать и голоцать, какъ при насъ люди плакали и голодали... Зачёмъ же вы приходите сюда — сивяться надъ нами? Это мы сдвлали для васъ помъ науки, мы наполнили его всёмъ тёмъ, что лучшаго оставило ванъ послъ себя человъчество... Что же лучшаго у васъ есть, какъ не то. что мы вамъ оставили? Уничтожьте все, что мы для васъ сдълали, сожгите всъ кинги, разрушьте всъ наши зданія, наши фабрики, наши дороги, и, народивъ дътей, не учите ихъ тому, чему мы васъ учили, и они будутъ дикими звѣрями, они будутъ питаться другъ другомъ, они, если вы ихъ не научите языку, который вы отъ насъ наслъдовали, будутъ выть по-звъриному... Мы работали для васъ, мы не спали ночей, мы голодали - и вамъ теперь легче живется, и вы умите насъ, а ваши дъти будутъ умите васъ... Что же у васъ есть лучше того, что мы вамъ оставили?.. - Онять звяканье контрмарокъ!...

«Лучше того, *что* вы намъ оставили, у насъ будеть то, *чего* мы сами добьемся... А добьемся ли?

«Добьемся!..

«Вотъ другая дѣвушка уходитъ. Какое прекрасное, невинное, задумчивое лице. Что она читала? Надъ чѣмъ работала? И ее выгнала сюда нужда, боязнь голода, зависимости? А съ кѣмъ она пойдетъ отсюда въ эту темень? Бѣдная, беззащитная красота! Красота, какъ великій капиталъ, требуетъ крѣпкой охраны, прочныхъ замковъ. Красота, какъ золото—великій соблазнъ, и слабовольный человѣкъ, при видѣ брошеннаго золота, и не желая сдѣлать преступленіе, сдѣлаетъ его, какъ и при видѣ красоты онъ близокъ къ преступленію...

«Работайте бідныя, прекрасныя и обиженныя природою женщины! Не спите ночи, не желайте красоты—она-то и держала васъ въ рабстећ, въ невъжествћ, въ цепяхъ... Васъ такъ мало на этихъ полкахъ, тогда какъ дети ваши, братья, мужья—тутъ, на этихъ полкахъ... Работайте, работайте...

«Утромъ я работалъ въ томъ отделеніи, где бюстъ Вольтера и портретъ кота царевича Алексея Михайловича. Зачемъ онъ сюда попалъ? Этотъ котъ мие мешалъ работать. Такъ и чудилось мие, что онъ говоритъ: — Какъ ничтожна человеческая слава!.. Нетъ у васъ для памяти потомства портретовъ лучшихъ вашихъ деятелей, а мой портретъ вы храните, и будете долго хранить, и будете долго унижать монмъ портретомъ память великихъ людей, которыхъ вы забудете, а меня не забудете...

«А отчего нётъ портретовъ мышей, которыхъ съёдаль этотъ котъ? А пертреты наставниковъ Алексъя Михайловича цълы?.. Смъшно!.. Новгородцы долго хранили палицу Перуна и этой палицей сами себя убпвали. Жалкіе, жалкіе люди!»

- Какой это котъ, Варя? спрашивала Марина, прерывая чтеніе подруги.
- Котъ маленькаго царевича Алексъя Михайловича, въроятно, портретъ его хранится въ публичной библіотекъ, отвъчала Бармитинова.
- Смъшно... Чъмъ занимаются ученые люди... Вотъ и я сниму портретъ со своего Дарвина.
 - Съ какого Дарвина?

— Мой котъ... Его папаша назвалъ Дарвиномъ, потому что онъ пожираетъ мышей въ борьбъ за существование.

Бармитинова улыбиулась на это и продолжала читать.

«Я перестану ходить въ публичную библютеку. Тамъ меня начинаютъ мучить грезы и видънія. Но грезы ли это? Не я ли самъ, не моя ли мысль выводитъ изъ гробовъ всѣ эти тъпи? Я начинаю педовърять моему собственному воображенію, потому что оно способно убить мой разсудокъ.

«Когда я зажаль уши, чтобъ не слышать шопота съ полокъ, чтобъ жалобы мертвецовъ не мъшали мнъ работать и думать, ко мнъ на плечо кто-то положиль руку. Я вздрогнулъ, оглянулся, но никого не было. Я опять сталъ думать, и слышу шопотъ у моего уха:

- «Зачёмъ вы меня забыли, когда помните кота Алексёя Михайловича?
 - «А кто ты?
 - «Я слъпой Иринархъ Введенскій.
 - «Но ты давно умеръ.
- «Да, давно умеръ, но не такъ давно, чтобы можно было меня забыть, а вы меня забыли.
 - «Зачъмъ же ты пришелъ сюда?
- «Я хочу знать, что сталось съ моими учениками, гдѣ мои ученики.
 - . «А кто твои ученики?
 - «Онъ сталъ мнѣ ихъ называть по именамъ.
 - «Этотъ въ Сибпри, говорю я.
- «Какой быль даровитый юноша, какъ я много ждаль отъ него... А этотъ?
 - «Умеръ гдъ-то.
 - «А этотъ!
 - «Умеръ здёсь, въ Петербургъ.
 - «Всъ умерли?..
- «Нътъ, живутъ нъкоторые, но замолчали... Тетерь народились новыя силы и новаго слова отъ нихъ ждетъ Россія.
 - «А меня забыли и моихъ учениковъ забываете?
 - «Забываемъ... Мы помнимъ только то, что действуетъ: мерт-

вецовъ мы забываемъ — намъ некогда помиить то, что далеко отъ

- «А что сдълали ваши новыя силы?
- «Спроси у народа, спроси у страны, прислушайся твоимъ мертвымъ ухомъ ко вздоху народа, ко вздоху всей страны—такъ ли онъ глубокъ и тяжелъ, какъ былъ прежде?
- --- «Мое мертвое ухо слышить глубокіе вздохи...

«Опять бряканье мёдной контрмарки — мои грезы отлетёли отъ меня...

«И снова тихо кругомъ, и снова я слышу только шорохъ бумаги, изръдка вздохъ, скрипъ пера.... А тамъ опять шопотъ на полкахъ: «работайте, работайте, неустанно работайте! Не върьте отживающимъ поколъніямъ, которыя говорятъ, что вредна ваша работа,
что безполезно ваше надрыванье груди надъ этою работою, что сидя
надъ бумагою и книгою, не осущите вы слезъ, невидимыхъ вамъ,
которыя льются у людей и во мракъ почи, и при блескъ солнца,
что не заглушить вамъ глубокаго вздоха чужой боли и чужаго горя.... Не въръте — и работайте: осущатся этою работою людскія
слезы, заглушатся глубокіе вздохи чужой боли и чужаго горя... Пускай кругомъ васъ царствуетъ и злоба, и равнодушіе, и глубокій
сонъ людской, пусть ненавидятъ васъ за вашу работу, смъются надъ
вами, преслъдуютъ васъ, —а вы все работайте, не разгибаясь работайте!... Работою вы побъдите міръ»...

«И мы работаемъ подъ этотъ шопотъ, и бледный юноша не разгибаясь работаетъ, и писарь работаетъ, и офицеръ работаетъ, и девушка работаетъ... А чуткое ухо старается прислушаться къ звужамъ другой жизни—и слышится веселый смъхъ людской, доносятся отголоски животной жизни человъка не работающаго, не думающаго, и отголосви эти заглушаются людскими стонами и хочется спросить—чего больше? людскаго смъха или людскихъ стоновъ»?...

Бармитинова прервала чтеніе и сидѣла неподвижно, задумчиво Марина сидѣла съ ней рядомъ, прижавшись головой къ ея плечу и какъ бы продолжая слушать умолкнувшее чтеніе.

 Да, это болъзнь нашего времени, это же его и сила, сказала Бармитинова, точно отвъчал на свою собственную мысль; — и не

signs for generally win as we may also an all a second as

ужели же умственный трудъ не · побёдитъ міръ? Не ужели же слово человѣческое не спасетъ всего человѣчества?

- Какъ страшно, Варя! А если и я съ ума сойду?
- Не бойся. Я не думаю, чтобъ тебя ожидали такія же страданія, какія довели твоего брата до настоящаго его правственнаго состояція.
- Бёдный Мигя!

Бармитинова встала, подошла къ окиу, какъ бы желая отогнать отъ себя давившую ее мысль, по пи смурое пебо, пи грязно-сърая поверхность Волги не могли дать живительныхъ впечатлъній.

- Нътъ, лучше опять читать, сказала она, отворачиваясь отъ окиа: — ни тамъ, ни тутъ не весело.
- ІІ мит, Варя, скучно.

Слезы брызнули изъ глазъ дъвушки, и она, припавъ головой къ груди Бармитиновой, говорила: «Отчего же такъ гадко жить людямъ? И отъ кого это зависитъ, Варя, чтобъ было лучше?

- Отъ людей же, милая... Ну полно, перестань плакать...
- Читай, читай, Варя, тогда я, можеть быть, буду думать о Митъ, когда онъ еще не былъ.... больной.

Бармитинова опять сѣла въ уголъ дивана, и положивъ къ себѣ на колѣни голову Марины и гладя рукою ея волосы, начала снова читать.

«Работать, работать, работать!.. Какое злое, безсмыслонное слово... Развѣ люди мало работали, развѣ не вся жизнь человѣчества—без-конечная, седмидневная барщина! А что оно выработало, чѣмъ себя обезпечило отъ случайностей нужды, голода? Хочетъ заработать оброкъ какому-то невидимому, жестокому помѣщику,—а оброкъ все не заработанъ, а недопика все растетъ, а барщина все прибавляется.

«Развѣ мало поработало человѣчество на своемѣ вѣку съ тѣхъ поръ, какъ оно очутилось въ рукахъ у помѣщика— нужды и насилія? Развѣ египтяне не миліоны рабочихъ головъ положили въ основаніе своихъ пирамидъ, развѣ не вырывали они нъ пустынѣ глубокихъ морей и не наполияли ихъ водою по прихоти своихъ повелителей? Развѣ не гибли тысячами эти вѣчные рабочіе, а чего добились? Добились того, что еще крѣпче желѣзныя цѣпи въѣдались въ ихъ рабочія руки и ноги. Развѣ въ Вавилонѣ мало работали? А что

стало изъ ихъ работы, занесенной пескомъ вмѣстѣ съ сухими костями рабочихъ? А мало ли работали римляне, и что вышло изъ ихъ работы?

«И муравьи работають все лёто неустанно, а добились ли они своею работою хоть того, чтобъ человёкъ и звёрь не давили ихъ своею ногою?

« И Гудова швея работала неустанно, работала надъ безконечною работою до слѣпоты, и теперь продолжаетъ работать ея дочь, и внука, миліоны швей работають, и слѣпнуть, не заработавъ себѣ даже покойной постели на случай смертной болѣзни. И работаетъ мужикъ отъ зари до зари, и печется на солнцѣ его разбитая работою спина, и коченѣютъ руки, когда онъ въ безконечную зимнюю ночь тащится за обозомъ и помогаетъ везти чужой хлѣбъ своей заработавшейся пѣгашкѣ, работаетъ много, не покладая рукъ, и все не выбъется изъ недоимки, умираетъ въ числѣ недоимочныхъ и дѣтей рождаетъ недоимочныхъ. А дѣти, и внуки, и правнуки въ свою очередь будутъ работать, работать, работать...

«Но есть и такіе, которые не работають, но на которых работають эти миліоны... II неужели одни будуть въчно работать на другихь, какъ до сихъ поръ работали?

«И мы вст работаемъ, и этотъ бледный юноша работаетъ, и эта девушка работаетъ—красота работаетъ на безобразіе, геній работаетъ на идіота, миліоны работаютъ на сотни...

«Но когда же благодарною будеть наша безкопечная работа?

«Работа... Подлое слово, поворное слово, и глубоко обиженъ ею этимолотческій, логическій и историческій смыслъ: изъ одного корня сь рабома выросла работа...

«Неужели же и nama работа безполезна, и работа би \pm днаго юноши безполезна»?

Бармитинова остановилась. «Марина спала у нея на колъняхъ.

— Бъдная дъвочка... Наплакалась, заснула...

Д. Мордовцевъ.

XIII.

Бармитинова не желала потревожить сонъ своей любимицы, и потому, переставъ читать, продолжала сидъть неподвижно, иногда ноглядывая на клочокъ страго неба, видитвинагося въ окить.

Чтеніе, само собою разумвется, не могло подвиствовать на нее успокоительно, а, напротивъ, настроивало воображение такъ безотрадно, что ей самой хотълось плакать. Въ ея головъ засълъ гвоздемъ последній вопросъ сумасшедшаго: «неужели же и наша работа безполезна»? и какъ отъ кошмара, она хотела отделаться отъ этого вопроса, по онъ засълъ гдъ-то тамъ, глубоко, въ нервахъ, въ мозгу, и ей хотвлось отвъчать отрицаніемъ на этотъ безотрадный вопросъ, но сомивніе брало верхъ, и вопросъ снова мучилъ ее, мучилъ, какъ горячечная гроза. «Можетъ быть, Стожаровъ разрѣшилъ бы этотъ вопросъ», думалось ей; но Стожарова не было съ ней, и ей хотълось бы убъжать отъ этого вопроса или найти отвъть на него въ ея прежнихъ вфрованіяхъ.

Ей стало страшно. Ей вдругъ представилось, что въ этотъ ужасный, нервный въкъ, когда до такой напряженности дошла человъческая мысль, такъ легко сойти съ ума, и что ее самое можетъ вдругъ покинуть воля и разсудокъ, что Стожаровъ найдетъ ее безумною... Какъ гальваническій токъ пробъжала по ней эта мысль-и она вздрогнула.

Марина проснулась.

- Гдъ я? Что со мной? говорила дъвушка съ испугомъ.
- Ты у меня, у Вари, на колтияхъ... Ты уснула, бъдненькая
- Да, Варя... А мив казалось, я слушаю... Я видела брата...
- -- Bo снъ?
- Нътъ, кажется, на яву... Онъ приходилъ сюда и говорилъ: «работайте, работайте»... А когда ты, Варя, сказала ему, что наша работа безполезна, опъ сказалъ: «падо знать, какал работа»... А потомъ онъ улетель, какъ птица.

- Ты все это, милая, во сит видъла.
- Такъ развъ не все равно что во сиъ, что на яву? Въдь я же видъла.
 - По моему, не все равно.
- А по моему все равно.... Когда я о чемъ нибудь плачу во снѣ, такъ я плачу и послѣ, когда проснусь—непремѣнно доплачу. За это меня мамаша всегда брапитъ. Вчера я видѣла во снѣ, что тебя противный Стожаровъ увезъ съ собой. Я проснулась—и ну плакать. «Ты о чемъ»? спрашиваетъ мамаша, а я не могу удержаться—плачу, плачу. «Вѣрно во снѣ что нибудь видѣла», говоритъ мамаша: «вотъ полоумная»! А у меня слезы такъ и льются. «Уѣхала, говорю, и не пріѣдетъ». А когда выплакалась, легче стало.
- Какой ты, Мариночка, ребенокъ... Видно, что у тебя не было дъйствительнаго горя.
- Какъ не было, Варя? Мало я плачу! Да развъ не все равно, какое-бъ ни было горе—боль въдь одна и слезы тъ же.
- Ты права, впрочемъ... Дъйствительно ли твой братъ говорилъ въ публичной библіотекъ съ умершимъ Принархомъ Введенскимъ или нътъ, дъйствительно ли къ нему летаетъ какая-то пгица или нътъ— для него все равно: онъ убъжденъ, что говорилъ съ Введенскимъ, онъ видитъ птицу, онъ летаетъ, а этого достаточно было, чтобъ страдатъ и сойти съ ума.

Между тѣмъ вѣтеръ на дворѣ крѣпчалъ все болѣе и болѣе, поверхность Волги изъ сѣрой превращалась въ бурую съ бѣловатыми гривами валовъ, и тучи гнало по небу отъ южной поволины горизонта къ сѣверной съ такою быстротою, какъ будто они старались скорѣе и безъ оглядки перебѣжать это смурое небо, такое печальное и непривѣтливое, чтобъ скрыться за такими же смурыми и непривѣтливыми горами. Растерявшіяся галки метались по небу и противъ вѣтра и за вѣтромъ, какъ будто и дяя нихъ была нелюба эта картина и они выискивали голубаго клочка неба и теплой затиши, и теплаго солнца. Но не находилось ни голубаго неба, ни теплой затиши, ни теплаго солнца—все было унесено вѣтромъ за смурыя горы праваго заволжья, и осталась только мутная Волга съ бѣловатыми гривами валовъ, да тучи, гнавшіяся одна за другою.

- Слышишь, Варя, пѣніе? Вѣрно хоронить песутъ покойника, говорила Марина, подходя къ окну.
 - Нътъ, не слышу, милая... Кого же теперь станутъ хоронить.
 - Я слышу... Какое странное пъніе...

Бармитинова тоже нодошла къ окну и прислушивалась. Издали откуда-то дъйствительно слышалось пъніе, которое-то напосилось вътромъ, то относилось вдаль и какъ бы смолкало.

- Чтобы это было такое, я понять не могу... И я слышу пъніе, но это не пъспя.
- Это хоронятъ лъто, Варя... Слышишь, вътеръ плачетъ, -- и ему жаль теплаго лъта.
- Полно, Мариночка! Не давай волю твоей разнузданной фантазін—ты вся въ братца.
 - Что-жъ, Варя развъ ты не слышишь сама?
 - Слышу, да только не то что ты...
 - А что-жъ ты слышишь?

Въ порывахъ вътра человъческие голоса становились все явственнъе и явственнъе. Звуки приближались и становились отчетливъе. Бармитинова открыла окно па улицу и перегнулась черезъ подокопникъ.

- Вонъ кто поетъ... Я вижу ихъ.
- Кто же, Варя?
- Калъки перехожіе.
- Какіе калъки?
- Нищіе... А какое торжественное пініе... Слушай, Мариночка.

По улице дейстнительно шли калеки перехожіе, которых теперь рёдко можно встрётить въ городахъ. Впереди выступаль мальчикъ лётъ десяти, съ открытою головою, съ которой оёлые волосы безпорядочными прядями падали на его дётское, загорёлое, миловидное личико. Въ одной руке онъ держалъ старую, измятую шляпу, а въ другой длинную палку, которая была длипие всего его дётскаго тёла. На изорванной рубашенке кресть—на кресте висъла сумка, а босыя ноги были грязны и черпы какъ та земля, по которой опеступали. За мальчикомъ, положивъ руку на его плечо, шелъ слъпой нищій, по видимому весь сосредоточенный на мысли, которая его занимала и присутствіе которой отражалось на его лбу, высокомъ, за-

горѣломъ и морщинистомъ. Голова его также не была начѣмъ прикрыта и растрепавшіеся волосы свободно повиновались вѣтру, который бросалъ ихъ то на слѣпые и безжизненные глаза калѣки, то на виски, то на затылокъ. Грудь его также была перекрещена бѣлыми суконными тесьмами, на которыхъ висѣли сумки. За этимъ вторымъ калѣкой шелъ третій, положивъ одну руку на его плечо, а другою опираясь на длинную палку. Вся мысль этого послѣдняго, по видимому, сосредоточена была на спинѣ слѣпаго товарища, потому что глаза его никуда не глядѣли, между тѣмъ какъ лице выражало глубокое вниманіе, съ которымъ онъ слѣдилъ за пѣпіемъ товарища и вторилъ ему сильными, грудными нотами.

Ихъ-то пъніе принято было Мариною за похоронные папъвы, потому что въ самой мелодіи и манеръ пъпья слышалось что-то солидное и торжественное.

И вогъ въ растворениое окио несется странная, тоскливая, но имъющая свою прелесть нищенская кантата, и широкая грудь послъдняго калъки явственно выговариваеть:

А есть у богата брата два лютые пса, Подъ стольемъ они, лютые псы, похаживаютъ, Обронныя крошечки собирываютъ, Къ убогому Лазарю принашиваютъ, Убогаго Лазаря тъми крохами пропитываютъ, Во гноищъ его раночки зализываютъ...

Какъ колокольчикъ звучить свѣжій голосокъ маленькаго нищаго и выговариваетъ тѣже печальныя слова...

- Вотъ мы вст такъ утъщаемъ себя, какъ эти нищіе, говоритъ
 Бармитинова, грустио улыбаясь.
- Чемъ мы утешаемъ себя, Варя? спрашиваетъ Марина, не отрывая глазъ отъ группы калекъ перехожихъ.
- За неимъніемъ своего куска, нищіе рисуютъ передъ богатыми картину блаженства, которое ожидаетъ нищаго на томъ свътъ... Тяжела была бы и безотрадна жизнь такихъ какъ они горемыкъ, еслибъ они не услаждали себя созданіями собственной фантазіи: у нихъ нътъ хлъба, за то у нихъ есть будущее, у нихъ нътъ ни кола, ни двора, за то въ ихъ распоряженіи цълый рай, и сидятъ они въ томъ раю рядомъ съ «Обраміемъ», и виъсто тъхъ корокъ и обронныхъ кро-

шекъ, которыми ихъ питали лютые псы, ѣдятъ они иства сахариыя. Только богатые не прельщаются, кажется, картипою рая, которую рисуютъ инщіе, и ни одинъ богатъ не пошелъ охотно въ нищіе... Такъ и мы себя утѣшаемъ пѣснью о Лазарѣ.

- Какою пѣснью, Варя?
- Мало ли у насъ пъсенъ! Утъщаемъ мы себя и пъснью о «женскомъ трудъ», какъ калъки нерехожіе утъщаются пъснью о богатомъ и убогомъ Лазаръ.
- Ахъ, да, Варя, твоя правда.
- Утемаемъ мы себя и песнью о свободе слова, и песнью о поднятии уровия народнаго образования... Нетъ у деятелей слова ни кола, ни двора, за то весь міръ въ ихъ распоряженій, нетъ у нихъ ценза, за то въ ихъ распоряженій богатая фантазія, резкое слово, наука, искуство. Вмёсто власти, вмёсто чиновъ, у нихъ есть перо и чернилица, и этимъ перомъ и чернилицей они надёются завоевать весь міръ, они предписываютъ уже законы міру. Ихъ могучаго слова боятся богатые и сильные, какъ слушающій Лазаря мужикъ боится ада. Да, современный адъ не тотъ уже, что былъ прежде, и онъ страшнёе того ада, о которомъ поютъ калёки перехожіе. Этого ада боится даже Наполеонъ, котораго папа не могъ бы запугать ни чистилищемъ, ни самымъ адомъ. Да, новый адъ страшнёе ада древняго.
- Какой же новый адъ, Варя?
- Печатное слово, которое является представителемъ и науки, п общественнаго миѣнія.

А калъки перехожіе стояли между тъмъ посреди улицы, противъ оконъ Бармитиновой, и пъли:

Охочъ былъ богачъ Лазарь ппры ппровать,
Охочъ былъ богачъ Лазарь торгомъ торговать,
Охочъ былъ богачъ Лазарь проклажатися,
Охочъ былъ богачъ Лазарь похвалятися...

- Варя! позови ихъ сюда послушаемъ что они поютъ, что говорятъ, говорила Марина, заинтересованная калъками перехожими.
- Я сама думала объ этомъ.

Бармитинова знакомъ подозвала малепькаго нищаго, который, оставивъ слепыхъ, подбежалъ къ окну. Слепые остались среди улицы,

какъ растерянные. Рука передняго слъпца, лежавшая на плечъ мальчика, осталась протянутою и какъ бы искали чего-то въ воздухъ. Второй слъпецъ стоялъ рядомъ съ нимъ, держась рукою за суму товарища.

 Послушай, милый, позови ихъ сюда... Вы у насъ отдохнете, говорила Бармитинова маленькому повадырю.

Повадырь бросился къ слѣпцамъ и провель ихъ на дворъ къ Бармитиновой. Со двора ихъ провели въ комнату. Маленькій повадырь поставиль ихъ такъ у порога, что слѣпцы могли помолиться по направленію къ переднему углу. Они видимо прислушивались своимъ чуткимъ слухомъ, который замѣнялъ имъ зрѣніе, и съ помощью одного слуха какъ бы старались оріентироваться въ невѣдомой для нихъ мѣстности.

- Господи Исусе христе сыне божій, помилуй насъ! Миръ дому сему, сказали они скороговоркой, въ одинъ голосъ.
 - Здравствуйте, добрые люди, отвъчала Бармитинова.
- Спаси васъ господь на добромъ словъ, сказали нищіе, видимо ободренные тъмъ, что услышали женскій, ласковый голосъ.
 - Садитесь у меня, отдохните.
- Спасибо вамъ, матушка... Наши ноги ходьбою да стойбою живутъ и насъ слёпыхъ калёкъ кормятъ.
 - Присядьте, вы устали, много ходили.
- До царствія небеснаго, матушка, дорога не близкая: ногамъ не устать—и въ царствіи не бывать... Хоша бы желізные на насъ лапотки были, и тъ бы, ходячи къ царствію небесному, притопталися... А нашимъ гръшнымъ ногамъ, матушка, не до устали...

Тъмъ не менъе, Бармитинова пододвинула къ нимъ стулья, и усадила ихъ. Маленькій повадырь стоялъ около старшаго изъ калькъ и глаза его съ величайшимъ любопытствомъ останавливались на всемъ, что находилось въ комнатъ—и на портретахъ, которые висъли на стънахъ, и на книгахъ, разбросанныхъ по столу, и на раскрытомъ ройялъ и на бездълушкахъ, разставленныхъ на этажеркъ. Марина также съ большимъ любопытствомъ поглядывала на нищихъ и на цыпочкахъ подходила къ нимъ то съ той, то съ другой сторопы, заглядывая въ ихъ слъпые глаза и перенося потомъ свое любопытство на мальчика.

- Какой онъ маленькій и худенькій, говорила Марина жалостно... И ты, мальчикъ, не боишься собакъ? спрашивала она его.
- А у меня палка... Дядя Липатъ мић выстругалъ, отвѣчалъ мальчикъ.
- Собакъ бояться, матушка, и по міру не ходить, сказалъ старшій калька наставительно: а собаки, знамо, нашей братьи, нищимъ, недруги... Собака умна, знаетъ кто съ неп оброкъ беретъ, того и не жалуетъ: ину краюху собака бы, може, съъла, а пришелъ нищій—нищему отдали: потому нашего брата собака и не любитъ хлъбъ уже, значитъ, отбиваемъ...

Больно было Бармитиновой слышать эти слова, потому что она понимала и глубокій, обидный для челов'вчества смыслъ ихъ, и глубокую, хоть можетъ быть невольную, но горькую иронію надъ людскими порядками.

- Меня въ воскресенье собака за лытку укусила и калачъ отняла, заговорилъ мальчикъ, припоминая трагическое происшествіе, какъ у него собака выброшенный подъ окномъ хлъбъ отнимала—а калачъ былъ бълый.
 - И ты плакаль?
- Плакалъ... больно было... А мий за то дали копйечку.

Слѣпые сидѣли молча, опустивъ головы. Они не знали, чего отъ нихъ хотятъ господа, а сидѣть, какъ въ гостяхъ, имъ казалось неловкимъ и стѣснительнымъ. Бармитинова тоже не знала какъ начать съ ними разговоръ и какъ перейти къ тому, что ее интересовало, а потому и рѣшилась заговорить о пѣніи.

- Вы пъли, кажется, про Лазаря? спросила она.
- Про Лазаря, кормилицы.
- А кто васъ училъ этому пѣнію?
- Учили насъ, матушка, наши очи темныя, да думы горькія... У нужды, матушка, кормилица, и голосъ звонокъ, и слово складное: нужда и безъ очей видитъ, и безъ ушей слышитъ.
- А вы отъ роду слѣпые?
- Отъ роду, кормилица: не знаемъ мы отъ рожденія какой-такой лазоревый и алый цвѣтъ, какое оно солнце красное, каковы онъ ночи темныя; не видали мы, матушка, ни лѣсу зеленагоу чи леба голубова... Не знаемъ мы, сударыня, каково оно млеко матернее бъ-

дое, что вскормило насъ на житье тяжкое... А матери-то, сказываютъ, и у насъ были.

- A этотъ мальчикъ родня вамъ?
- Чужой, кормилица... Породнила насъ нужда горькая да доля сиротская: нихто не бралъ мальца на прокормъ, ну и взяли мы его къ себѣ, и сѣрою корочкою вскормили да водою студенною вспоили. И сталъ намъ малецъ замѣсто глазъ нашихъ незрячихъ: водитъ онъ насъ малыми ногами до устали, глядитъ за насъ зрячими глазами на божье небо да на церкви святыя, и коли сказалъ, что-де «церковъ» мы молимся, коли сказалъ «господа», мы кланяемся, коли видитъ тучи грозныя—мы хоронимся. А допрежь сего, какъ былъ онъ еще поменѣ, мы носили его въ сумѣ за плечами, и изъ сумы онъ намъ дорогу показывалъ... Ину пору такъ и уснетъ въ сумѣ.

Жаль стало Маринъ мальчика, для котораго нищенская сума была колыбелью, и она сунула ему въ руку серебрянцую монету, которую отыскала у себя въ карманъ. Она не могла себъ представить, какъ это можно было выростить ребенка въ сумъ; чтобы въ этой сумъ онъ и спалъ, и игралъ свои дътскія игры. Но какія дътскія игры могутъ быть у маленькаго нищаго, для котораго весь міръ — дырявая сума, а вмъсто пгрушекъ и лакомствъ—подаянныя корки?

- А родомъ вы откуда? Издалека? спросила Бармитинова.
- Издалека, родимая. Пить разъ за дорогу приставаль нашъ малецъ да прихварывалъ, ну и несемъ его на рукахъ, пока рѣзвы ноженьки служить ему отказываются. А глазами-то смотри, да дорогу намъ показывай... Ину пору уснетъ—знамо, дитя малое—жаль станетъ, не будимъ его, а сами средь дороги и останемся, ступить боимся: такъ бывало положимъ его къ сторонъ, сядемъ около него и ждемъ, покуль проснется, или силишки наберется... Сухоты-то намъ не мало съ нашими глазами зрячими.

А малецъ сидитъ, какъ будто и не объ немъ ръчь, да босыми ногами болтаетъ, благо ноги не достаютъ до полу.

- А сторона у васъ убогая, должно быть? спрашиваютъ нищихъ.
- Убогая, кормилица, не то что ваша. Земля скудная, да и той мало; такъ мужнику и нечёмъ взяться... Бьется, бьется осень да зиму, а къ веснё и по міру итти такъ въ пору... Хлёбушка нётъ, кору всю на деревё словно зайцы подгрызутъ, а тамъ и начнетъ

пухнуть народь, и мреть старый и малый. Подъ ино окошко подойдешь за христовымъ поданиемъ, такъ тебъ и скажутъ: «може вамъ богъ подастъ, а намъ не даеть—не погнъвайтесь»... Какой тутъ гнъвъ, коли народъ пухнетъ съ голоду? Вотъ и прослышали мы про вашу сторону богатую, и пришли кормиться... Награди васъ господь, народъ у васъ милостивый—собаками не травитъ нищую братію.

- А развъ есть такіе, что и травить?
- Всяко бываетъ... Съ голоду человътъ чего не дълаетъ!... Сытая мать дътище собой кормитъ, а голодиая своимъ дътищемъ кормится—и такіе случаи, матушка, бывали.
- Тетка Арина Акульку събла, вдругъ залепеталъ маленькій инщій, по видимому, вовсе не слушавшій разговора, а болье занятой разсматриваніемъ монеты, которую ему Марина подарила.
- Ты что говоришь, милый? спросила удивленная Бармитинова что тетка Арина събла?
 - Акульку събла, отвъчалъ хладнокровно мальчикъ.
 - Какую Акульку? Что это за Акулька?

Мальчикъ, въ свою очередь, посмотрълъ на нее съ удивлениемъ, а потомъ, болтая босыми ногами, прибавилъ хладнокровно:

— Акульку... Только волосы остались...

И Бармитинова и Марина, догадываясь о значении словъ мальчика, съ ужасомъ вскочили съ своихъ мъстъ:

- Мы съ Акулькой купались... А меня тетка Арина не тла, продолжалъ мальчикъ, болтая ногами.
 - Что онъ говорить? Можно ли это!
- Былъ такой гръхъ, сударыня, отвъчалъ одинъ изъ калъкъ, не поднимая опущенной головы: какъ настали эти у насъ голода, поъли все что богъ послалъ—и скотинку палую, и мякину, и кору толченую, такъ была это у насъ вдова горемышная съ малыми ребятишками: идти-то на сторону кормиться не смогла, а дъти съ голоду пухнутъ—ну, и скормила своими-жъ дътьми, свою дъвочку лишнюю... У бъдныхъ-то, матушка, женское племя лишнее, а мальчики-то пригодятся.
- Это ужасно! Это невозможно! вскричали въ одинъ голосъ Бармитинова и Марина.

Они слышали, что голодъ доводитъ людей до ужасныхъ престу-

пленій. Они читали даже въ газетахъ, что были случаи, подобные сейчасъ ими слышанному. Но они не хотёли вёрить этому. А теперь они слышатъ эти ужасы отъ очевиддевъ, и имъ становится страшно за человъчество... Когда же кончится это!...

Между тъмъ, маленькій нищій, сидя на стуль, болгаеть ногами, какъ будто все то страшное, что случилось на его глазахъ, было самымъ обыкновеннымъ явленіемъ...

— Я Акульку никогда не билъ, говорилъ онъ, запуская руку въ свою суму и вытаскивая оттуда бубликъ: мы съ Акулькой двухъ галчонковъ съёли...

Эти слова мальчика, говорившаго, по видимому, такъ беззаботно, какъ будто рѣчь шла о палкѣ, которую выстругалъ для него дядя Липатъ, наводили еще большій ужасъ на дѣвушекъ. Бармитинова ходила по комнатѣ съ какимъ-то отчаяньемъ, и не знала даже продолжать ли ей говорить съ людьми, лишенными, по видимому, всякихъ человѣческихъ чувствъ... Гдѣ же, думалось ей, эта пресловутая справедливость и разумность законовъ природы, которые всѣмъ заправляютъ съ такой обидной, съ такой злобной неравноправностью? Что же дѣлаетъ эта сила, которая управляетъ паромъ, электричествомъ и съумѣла направить громы Юпитера, по своему усмотрѣнію, то въ водосточныя трубы, то въ помойныя ямы? Куда потрачены результаты, добытые наукою, адепты которой тѣшатся лишь похвальбою, да превозносятъ свои великія открытія, какъ Качъ превозноситъ свои подстаканники?

Намъ надо накормить своихъ гостей и напоить ихъ чаемъ, говорила Варя, приходя въ себя отъ волненія.

Она позвала сною старушку хозяйку и просила ее приготовить для нихъ угощенье.

 Доброе дѣло, барышня, говорила старушка: на томъ свѣтѣ тебѣ за это будетъ райское угощенье.

Хозяйка пригласила нищихъ на свою половину, и они встали, крестясь и благословляя хозяевъ. Мальчикъ, подойдя къ раскрытому роялю, дотропулся рукою до клавишь и отскочилъ съ испугомъ, когда клавиши издали звукъ. Слѣпые также вздрогнули. Мальчикъ бросился къ нимъ и уцѣпился за одного изъ своихъ стариковъ.

the state of the s

 Ой, дидя Липатъ! она живая, говорилъ онъ, оглядываясь на рояль.

Марина раземѣллась, подошла къ роялю и взяла нѣсколько акордовъ.

- Это музыка, говорилъ мальчикъ улыбаясь: а я думалъ она живая.
 - Гусли царя Давида, сказалъ одинъ изъ слѣпцовъ наставительно.
 Нищіе вышли и дѣвушки остались одиѣ.
- Ну что, рада гостямъ? спросила Бармитинова свою подругу, не трусишь?
 - Немпожко, Варя.
 - То-то же... А еще хочешь быть деятелемъ.
 - Хочу, Варя.
- А нищихъ боишься хорошъ дѣятель! Вотъ мы всѣ такія женщины.
 - Чтожъ намъ дълать, Варя, чтобъ ничего не бояться?
 - Отгадай сама...

Марина задумалась.

Въ это время изъ другой половины квартиры Бармитиновой, куда ушли нищіе, раздалось пѣніе:

Середи было теплаго лѣта,
На канунѣ вознесенія христова,
Расплакалась нищая братья:
«Гой еси христосъ царь небесный!
На кого-то ты насъ оставляещь?
На кого-то ты насъ покидаещь?
Кто насъ поить-кормить станетъ?
Одѣвати станетъ, обувати,
Отъ темныя ночи охранятя?»

- Это ужъ, навърное, Кузминишна заставила ихъ пъть до смерти любитъ все божественское, говорила Бармитинова улыбаясь и прислушиваясь къ пънію калъкъ перехожихъ, затъмъ она и позвала ихъ къ себъ угощать.
 - А что они поютъ теперь, все про Лазаря?
- Нътъ, это что-то другое... Слышишь, это они ужъ о себъ поютъ, о «нищей братьи».

Дъвушки пріотворили дверь своей комнаты и стали прислушиваться. Черезъ растворенную дверь доносилось до нихъ пъніе нищихъ. Грудныя ноты молчаливаго слъпца покрывали собой все тріо, но въ этомъ пъніи отчетливо выръзывались слова, произносимыя дътскимъ голосомъ маленькаго нищаго:

«Не плачьте, моя меньшая братья,
Нищіе люди, убоги!
Будете вы сыты и пьяны,
Будете обуты, одёты,
Будете тепломъ да обогрёны:
Ужъ я дамъ вамъ гору золотую,
Ужъ я дамъ вамъ ръку медовую.
Я даю вамъ сады съ виноградомъ,
Я даю вить вамъ манну небесну...»

— Опять самоуслажденіе. Опять богатая фантазія нищаго! говорила Бармитинова грустио; —все тоже что и у нась—мы утінаемь себя женскимь вопросомь, а они тімь, что ихь самь христось обуеть, одінеть и накормить, мало того—дасть имь гору золотую, ріку медовую, сады съ виноградомь и манну небесную.... Мечтая объ этомь, они выносливіте грызуть сухую корку, а иногда древесную кору...

А калъки перехожіе все поють, а дътскій голосокъ отчетливо, голосно выговариваеть:

«Не давай имъ горы золотын,
Не давай имъ рѣки медовыя,
Не давай имъ садовъ съ виноградомъ,
Не давай имъ и манны небесной:
Горы-то имъ будетъ не раздѣлити,
Съ рѣкой-то имъ будетъ не совладати,
Винограду-ту имъ будетъ не ошшипати,
Маины-то имъ будетъ не пожрати...
Надъ горою-ту будетъ убивство,
А надъ рѣкою-ту будетъ кроволитье.
Какъ узнаютъ то другіе, богатые,
Да и сильные люди, могущіе,
Отоймутъ у ихъ гору золотую,

Отоймутъ у ихъ ръку да медовую, Отоймутъ у ихъ сады да съ впноградомъ, Отоймутъ у ихъ да манну небесну...»

— Слышишь? продолжала Бармитинова; везд'в одно и тоже, везд'в два лагеря—или нищая братьи, или богатые.

Въ это время изъ той комнаты, гдѣ пѣли нищіе, вышла въ сѣни хозяйка Кузьминишна, и ея морщинистое, сжавшееся лице разливалось слезами.

— Матушка барышня, какъ поютъ! ужъ какъ жалостливо поютъ божьи люди!.... Всю душеньку мою надорвали, сердечушко слезами надсадили, говорила она, суетясь безъ толку и не зная что ей дълать.

А калъки перехожіе продолжаютъ пъть:

Дай ты имъ слово христово,
Будутъ они по миру ходити.

- Слышишь Мариночка?
- Слышу, Варя.
- Вмѣсто всего, что имѣютъ другіе люди, имъ дается только слово и словомъ они должны быть и обуты, и одѣты, словомъ должны быть и сильны... У насъ въ распоряженіи тоже только одно свободное слово, и словомъ мы должны дѣйствовать и самоуслаждать себя надеждою, что этимъ словомъ мы побѣдимъ міръ, какъ нищіе самоуслаждаютъ себя вѣрою, что имъ однимъ принадлежитъ рай.
- Такъ зачёмъ же мы учимся, Варюша? Изъ чего мы бьемся? Гдё же прогресъ, о которомъ такъ много кричатъ, когда онъ не можетъ измёнить сквериаго на лучшее, когда въчно одна часть людей должна бъдствовать?

Марина говорила это съ одушевленіемъ. Большіе глаза ел вагорълись опаснымъ огнемъ, а на щекахъ вспыхнулъ румянецъ досады. Это уже былъ не ребенокъ, а женщина, человъкъ, въ которомъ проснулись затаенныя силы. Бармитинова съ улыбкой любовалась ею.

— Варя! Варя! не мучь меня, не смѣйся надо мною! говорила она съ страстнымъ увлеченьемъ; — неужели же ты серьезно говоришь, что наука также безсильна измѣнить обидный для насъ порядокъ вещей, какъ и эти калѣки перехожіе? Такъ скажи ради бога, зачѣмъ же тогда паука, чего добиваются ученые, зачѣмъ литература

преследуеть свои честныя цели, когда все безполезно? Зачемь же все это, зачемь!

- Зачёмъ наука?..- Для самоуслажденія, отвёчала Бармитинова, продолжая лукаво улыбаться.
- Какъ для самоуслажденія? горячилась Марина, готовая заилакать.
- Для самоуслажденія, снова отвічала Бармитинова съ обиднымъ хладиокровіємъ, разві наука и литература не тысячи літь повторяють одно и тоже, что рабство унижаеть человічество? А рабство существуєть, хотя и въ боліє мягкихъ формахъ, чімъ прежде, но за то въ боліє обидныхъ. Разві не тысячи літь человіческое слово гремить противъ насилія? А насиліе растеть гигантскими шагами: насиліе труда, насиліе мелкихъ капиталовъ крупными, и т. п. Разві наука и служеніе слову не въ презрініи у тіхъ, о которыхъ поють каліки перехожіе? Разві наука, искуство, литература не продолжають оставаться достояніемъ преимущественно бідныхъ, то-есть не самыхъ бідныхъ, не мужиковъ, которымъ даже и учиться-то и некогда и не на что, а достояніемъ средняго класса, который живеть наукою и искуствами, какъ ремесломъ, какъ нищій живеть своимъ Лазаремъ?

Марина не могла дольше выносить этого спора. Она схватила Бармитинову за объ руки и, глядя ей прямо въ глаза, говорила чуть не плача:

- А развъ не наука дала людямъ образованіе? Развъ не наука создала для нихъ всъ удобства желъзныя дороги, телеграфы... А, да мало ли что дала имъ наука!
- Чтожъ, это не мѣшаетъ имъ презирать науку... Наука—это плебей, мужикъ, Аксютка, украшающая барынѣ голову.. Наука—рабъ: какъ въ Римѣ патриціи учились у рабовъ, такъ и теперь—наука и литература достояніе рабовъ и калѣкъ перехожихъ. Наука—это портной, сапожникъ, кузнецъ, поэтъ, драматургъ, поваръ, конюхъ, историкъ, садовникъ, патуралистъ, астрономъ, прачка—однимъ словомъ, все работающее, трудящееся для услажденья барина, который долженъ только пользоваться услугами сапожника, астронома, повара, поэта, а самъ ничего не дѣлаетъ, а только управ-

ляетъ поваромъ, прачкой, историкомъ, конюхомъ, поэтомъ.... Его назначение—управлять.

Марина изъ женщины опять превратилась въ ребенка: она зарыдала и бросилась на шею къ Бармитиновой.

- Перестань! перестань, моя маленькая! Я шучу, говорила Бармитинова, поднимая голову Марины и держа ее за подбородокъ. Но та продолжала рыдать безутъшно.
- Я не хочу быть конюхомъ.... Я не хочу быть кузпецомъ, выплакивала она эти горькія для нея обиды; я не хочу быть сапожникомъ, а хочу все-таки учиться....

April 1970 Commence of Table 1970 Commence of

XIV.

Въ тотъ самый моментъ, когда Марина, поддерживаемая за подбородокъ Бармитиновой, голосно выплакивала, что она не хочетъ быть ни сапожникомъ, ни кузнецомъ, ни конюхомъ, въ сѣняхъ показался молодой Гридневъ. Представившаяяся ему картина, особенно же горькія слезы незнакомой ему дѣвушки и произносимыя ею странныя слова, что она не желаетъ быть конюхомъ, изумили его до такой степени, что онъ совершенно растерялся. Изумленіе его увеличивалось еще и тѣмъ, что въ тоже время онъ слышалъ какое-то странное пѣніе, которое могло раздаваться только развѣ на торжкахъ, на ярмаркахъ, да на церковныхъ папертяхъ по глухимъ селамъ... «Убогій Лазарь», «манна небеспая», а тутъ же рядомъ, въ отворенную дверь неслись какія то плаксивыя причитанья старческаго голоса: «Соколики мои.... люди божьи.... грѣхи наши тяжкіе.... охъ, матушка заступница!...

«Барышня не желаетъ быть конюхочь.... Что съ ней? Кто ее принуждаетъ идти въ конюхи? И зачёмъ туть кузнецы да конюхи, когда эта земская школа? Зачёмъ туть нищіе? Зачёмъ туть Лазарь?»

Эти вопросы какт бы врасплохъ захватили Гриднева, и онъ, въ первые моменты не могъ опомниться. Опъ остановился въ дверяхъ какъ вкопанный, не смъя прервать непоиятной для него сцены, на которую онъ паткнулся, ни возвратиться назадъ.

Наконецъ, Бармитинова замѣтила его, и когда онъ съ какой-то нерѣшительностью поклопился ей, не зная, двигаться ли ему дальше или оставаться на мѣстѣ, поворотила къ нему заплаканное лице Марины, которую продолжала держать за подбородокъ. Марина вспыхнула, увидѣвъ Гриднева, котораго она не знала и, высвободившись изъ рукъ Бармитиновой, вся переконфуженная и красная до коньчиковъ ушей, убѣжала въ другую комнату.

— Прошу пожаловать, говорила Бармитинова смущенному Гридневу, хотя и сама чувствовала смущенье послѣ сцены, невольнымъ свидѣтелемъ которой сдѣлался посторонній человѣкъ.

Гридневъ вошелъ въ компату. Бармитинова знала его, потому что онъ, навъжая иногда въ Варгуны для покупки хлъба, былъ представленъ ей на одномъ изъ концертовъ, который Бармитинова, съ немалыми усиліями, устраивала въ Варгунахъ въ пользу бъднъйшихъ изъ своихъ учениковъ и ученицъ.

- Извините меня, Варвара Григорьевна, говорилъ все еще смущенный Гридневъ, —я можетъ быть не во время.... Но обо мит некому было доложить вамъ и я осмѣлился войти безъ докладу.
- Помилуйте.... Какіе доклады здісь, въ Варгунахъ,... я очень рада, говорила она, тоже не совсімъ еще оправившись отъ смущенья.
- Если позволите, я приду въ другой разъ... Я помѣшалъ вамъ.
- Нътъ, нисколько, говорила Бармитинова и не могла удержаться отъ улыбки; —вы ничему не помъшали, развъ только капризу моей юной пріятельницы....
- и Бармитинова совстви разсмиялась.
- Вы, въроятно, слышали, что мой юный другъ не желаетъ быть ни конюхомъ, ни кузнецомъ, и васъ гто удивило, сказала опа весело.
- Да, я слышаль что-то подобное.
- Такъ не удивляйтесь, пожалуйста. Дѣло въ томъ, что мой юный другъ.... но позвольте васъ познакомить съ нею.... Марина! Мариночка! говорила она, подходя къ двери, въ которую исчезла Марина, иди же сюда.

Марина не выходила.

- Дѣло въ томъ, продолжала Бармитинова, что я сказала ей давно избитую истину, и это привело ее въ отчаянье.
- Какая истина, замѣтилъ какъ-то условно Гридневъ, отъ иной дѣйствительно можно прійти въ отчаянье.
- Истина, которую я сказала, очень старая и избитая истина. Я говорила, что наука всегда была демокрятична, что наука плебей, крипостной крестьянинь, который находится въ услужении у невъжества-помищика, ничего не дилающиго.
- Да, это истина старая, избитая, но не многіе ей върятъ, говорилъ Гридневъ съ какою-то едва замътною улыбкою.
- Такъ вотъ и мой другъ не хочетъ ей върить, и оскорбляется тъмъ, что я сказала: наука-чернорабочій, поденьщикъ, конюхъ, поваръ, кузнецъ, астрономъ, историкъ и проч., а невъжество баринъ, который пользуется оброкомъ, приносимымъ ему наукою.

Гридневъ продолжалъ смотръть на нее съ тою же улыбкою.

— Рѣзко, но справедливо, сказалъ онъ... Впрочемъ, вы говорите почти тоже, что я третьяго для только прочелъ въ Казани, въ «Independance belge». Недавно, одинъ професоръ въ Женевѣ, говоря рѣчь, при одномъ офиціальномъ торжествѣ, выразился: «on accuse notre académie d'être aristocratique; je nie ce fait: la science est toujours démocratique; ce n'est que l'ignorance qui est aristocratique».

Въ это самое время въ дверяхъ показалась Марина. На глазахъ ея еще замѣтны были слѣды недавней заплаканности, но глаза эти смотрѣли смѣло и весело. Растрепавшіеся волосы, которыхъ у нея на головѣ былъ цѣлый лѣсъ, приведены были въ возможный порядокъ, хотя коса, вѣсившая, по видимому, нѣсколько фунтовъ и приврышенная къ затылку разными шпильками, грозила падепіемъ. Марина выступила нѣсколько робко и присѣла нѣсколько по институтски, хотя она въ институтѣ никогда не воспитывалась, а пріобрѣла институтскіе реверансы отъ матери, старой институтки.

Гридневъ всталъ и церемонно отрекомендовалъ самъ себя.

- Купецъ Гридневъ, сказалъ онъ, дѣлая нѣсколько замѣтное удареніе на словѣ «купецъ».
- Рекомендую.... Марина Константиновна Канадъева, въ свою очередь сказала Бармитинова, такъ вотъ, Марина Константиновна

большая поклонница науки и знаній вообще, но не хочеть быть ни конюхомъ, ни кузнецомъ, прибавила она, обращаясь къ Маринъ, которая усаживалась нъсколько въ сторонъ, поближе къ роялю.

Усъвшись у рояля, Марина съ недовърчивостью и украдкою взглядывала иногда на Гриднева, какъ бы говоря сама съ собою: «Купецъ... Какой онъ купецъ?... Купцы толстые, въ длинныхъ сюртукахъ... А этотъ худенькій, блъдный, и говоритъ по французски.
Варя опять меня мистифируетъ»... И она недовърчиво взглядывала
на Бармитинову, потомъ опять на страннаго купца, и глаза ея капризно сверкнули: «Ужъ не сочинитель ли и этотъ»? — выразилось
въ ея огромныхъ глазахъ.

А Гридневъ, поглядывая на нее, думалъ: «Вотъ гдъ волоокая Гера.... Ишь буркалы-то какіе.... До безобразія велики... И какъ это захолустные Варгуны могли выростить такіе замъчательные глаза»?

— Впрочемъ, я едва-ли не раздъляю мнъніе Марины Константиновны насчетъ значенія науки, сказалъ онъ, обращаясь въ одно время и къ Бармитиновой, и къ Маринъ.

Глаза послѣдней снова сверкнули, только уже не капризно. Однако она ничего не сказала, а лишь повернулась на стулѣ. Ей все еще подозрѣвалось, что передъ нею сидитъ «противный сочинитель», хотя она очень часто слышала фамилію богатаго купца раскольника Гриднева, равно какъ и то, что у него образованный и «ученый» сынъ.

- Какое же ваше мивніе? спросила Бармитинова, предполагая видіть въ отвітт Гриднева простую любезность.
- Я думаю, что если до сихъ поръ науна была, какъ вы выражаетесь, плебеемъ, рабомъ, чернорабочимъ у барина, то въ будущемъ только она и будетъ господиномъ, а все остальное будетъ ей служить.
- Какимъ же образомъ она пріобрътеть эту силу, которой не могла добиться въ продолженіи тысячельтій, и продолжаеть оставаться въ зависимости отъ того, чему она служитъ и что она же возвышаеть?
- Эту силу она пріобрътеть въ соединеніи съ другой силой, которая начинаеть уже покорять себъ царства, но можеть совсъмъ по-

корить только съ помощью пауки, отвъчалъ Гридпевъ серьезно, но и задумчиво.

При этомъ отвътъ Марина снова поверпулась на стулъ, но уже прямо лицомъ къ Гридневу. Вниманіе, съ которымъ она собиралась слушать его, сдълало ея глаза еще большими, и еще болъе свътлыми. «Да, я теперь только понимаю что значитъ волоокая Гера»; подумалъ Гридневъ, увидъвъ эти несоразмърно большіе и красивые глаза.

- Какая же это другая спла, которая пачинаетъ покорять царства? спросила Бармитинова съ недоумъніемъ, — свобода?
- Что свобода! сказалъ Гридневъ съ какимъ то презрѣпіемъ, не по лѣтамъ брюзгливо: свобода тоже устарѣлое, истрепанное слово... Ее всегда задушить можно, да п всякій толкуетъ ее по своему: и Наполеонъ говоритъ, что онъ воюетъ съ арабами и разстрѣливаетъ цѣлые отряды ихъ съ помощью ружей Шаспо тоже во имя свободы. Свобода такой чулокъ, который можно надѣть на всякую ногу, и на погу мпрмидона, и на ногу циклона Полифима.
- Какая же это сила, наконецъ? спросила Бармитинова, заинтересованная словами молодаго купца, — цивилизація?
- Цивилизація, говорилъ Гридневъ задумчиво, это тоже палка о двухъ концахъ.... Нѣмцы потому и быотъ славянъ однимъ концомъ этой палки, что другой конецъ ея они раньше славянъ захватили въ руки, а славяне тянутся за ней—да не достанутъ... Во всякомъ государствъ высшіе классы цивилизованнъе массы народа, оттого народъ и пляшетъ по ихъ дудкъ.

Марина даже встала со стула отъ нетерпѣнія и подошла въ Грид. неву. «Нѣтъ, это и не купецъ, и не сочинитель», думала она-

- Я ужъ теперь совсёмъ недоумёваю, о какой силё говорите вы, сказала Бармитинова.
 - Деньги, отвъчалъ онъ, капиталъ вотъ это сила.
 - «Купецъ»... подумала Марина... «Сочинители не такіе»...
- Это слово тоже старое, историческое, сказала Бармитинова, невольно пародируя своего собесъдника, это также палка о двухъ концахъ, и до сихъ поръ палка эта большею частью объими концами попадала въ руки невъжества.
 - Я согласенъ съ вами до нѣкоторой степени... Но таково зна-

ченіе капитала, когда мы будемъ относиться къ нему заднимъ числомъ... Теперь не то: семь тысячъ лътъ капиталъ былъ «матеріей», а только съ XIX-го въка онъ сталъ «силой».

— «Stoff und Kraft»? спросила Бармитинова, пграя словами и намекая на извъстное сочинение.

Гридневъ понялъ игру словъ и отвъчалъ: Нътъ, не совсъмъ такъ. Не «матерія» и «сила» въ сущности, а коли хотите «матерія» и «духъ», «идея». Теперь капиталъ—идея, и притомъ идея глубокая.

- Отчего же могъ онъ такъ измъниться именно въ XIX въкъ? Почему грубая матерія превратилась въ идею, какъ вы говорите? спросила Бармитинова.
- Благодаря конюхамъ да кузнецамъ, отвъчалъ Гридневъ, и взглянулъ съ улыбкой на Марину.
 - То есть наукъ? спросила Бармитинова.
- Да, наукъ... политической экономіи, если хотите, а въ сущности благодаря всей массъ пріобрътенныхъ человъчествомъ знаній. Вы знаете, что въ Европъ основались новыя могущественныя монархіи?
 - Какія? Пруссія? Италія?
- Нътъ, это старыя, отживающія монархін—ихъ время прошло, хотя онъ еще стоятъ... А есть новыя монархін.

«Ну, все теперь новое, подумала Марина: есть «новые люди», «новыя женщины», Варенька говорила, что Гейне создалъ «новыхъ нъмцевъ» и «новыхъ нъмокъ», которыя будто бы покорятъ весь міръ. А этотъ купецъ говоритъ теперь, что есть «новыя монархіи»... Странно».

- Какія же это новыя монархіп? спрашивала Бармитинова, гдѣ онѣ? въ Европѣ?
 - Есть и въ Европъ, и въ Америкъ... На всемъ земномъ шаръ, Бармитинова начинала думать, что Гридиевъ шутитъ.
 - Такъ назовите мив хоть одну изъ нихъ, сказала она.
- Извольте. Вы помните изъ исторіи, какъ основывались первыя государства въ міръ
 - Кажется, помню... Ассирія, Вавилонія...
- Именно такъ: Ассирія, Вавилонія, и т. д. Вы изволите, конечно, помнить, что до основанія этихъ государствъ первобытные

народы жили патріархально, родами, колѣпами, племенами. Старшій въ родѣ быль глава и властитель рода. Всѣ были большею частью пастухи и звѣроловы.

- II Нимвродъ былъ звёроловъ, первый изъ царей, вмёшалась Марина.
- Именио, звъролововъ намъ и нужно, обратился въ ней Гридневъ. - Нимвродъ былъ одиниъ изъ самыхъ искусныхъ звёродововъ, и ему удалось покорить себъ другихъ менъе искусныхъ звъродововъ расширить владенія своего рода и сделаться царемь. Государство, такимъ образомъ, было основано. Другой звёроловъ, съ помощью такихъ же точно пріемовъ, основалъ другое государство... Съ техъ поръ и началось существование Ассиріи и Вавилоніи, какъ государствъ политическихъ. Много было потомъ подобныхъ же политическихъ государствъ-греческія государства, Египетъ, Римъ, Кароагенъ. Всъ они получали начало оттого, что ивсколько мелкихъ гражданскихъ единицъ соединялись, насиліемъ или охотой, въ одно крупное политическое тёло, которое и называлось государствомъ, монархіей, царствомъ, республикой, какъ угодно назовите. Государства возникали, развивались, кръпли, достигали апогея могущества и славы, воевали з съ другими государствами и народами, наконецъ, падали или будучи покоряемы другими свъжими народами, или просто падая вслъдствіе зачатковъ внутренняго гражданскаго и политическаго разложенія... Такія же государства были и въ средніе въка, и въ новые. Такія же государства существують и теперь. Все это такъ?
- Такъ, отвъчала Бармитинова, которую начинало удивлять это изложение системы образования и падения государствъ, что ей давно, извъстно, было изъ учебниковъ.... гдъ же ваши государства—новыа?
- Къ нимъ-то я и подошелъ теперь.
- А мы ихъ все-таки не видимъ.
- Виноватъ, Варвара Григорьевиа, но меж необходимо было сджлать это отступленіе, которое могло вамъ показаться просто педантическимъ разглагольствованіемъ...
- Нътъ, это целый ученый трактать, сказала она шутя.
- Что-жъ дёлать, мнё хотёлось, защитить честь кузнецовъ и конюховъ, которые такъ возмутили Марину Копстантиновну.
- Нътъ, меня кузнецы не возмущаютъ, а назвать Гумбольта или

Дарвина конюхомъ — обидно, сказала Марина, рѣшившись въ первый разъ сказать такую длинную фразу при постороннемъ мужчинъ.

- Я объ этомъ и говорю, отвъчалъ онъ.
- А вы все-таки не сказали намъ о новыхъ государствахъ.
- Виновать, виновать, простите.... Я говориль вамь о томь, какъ образовались политическія государства.... Нынъ также образуются государства, только не политическія.
 - Какія же эти новыя государства! Не мучьте насъ.
- Нынѣ возникаютъ также государства финансовыя, государства капиталовъ, артели, союзы, товарищества на акціяхъ, на паяхъ. Только основаніе ихъ кладутъ уже не звѣроловы, а кузнецы, портные, сапожники, однимъ словомъ наука въ союзѣ съ капиталомъ, съ акціонерными компаніями, товариществами и проч. Какъ и политическія государства, эти новыя государства основываются на одинаковыхъ началахъ: какой нибудь финансовый звѣроловъ Нимвродъ, въ родѣ Ротшильда, Перейры или Беринга, къ своей крупной финансовой единицѣ присоединяетъ, на правахъ товарищества, менѣе крупныя финансовыя единицы въ видѣ акціонеровъ, пайщиковъ; къ этому союзу примыкаютъ тысячи другихъ мелкихъ капиталовъ; область союза расширяется и, такимъ образомъ, финансовое государство основано. Начало такихъ государствъ уже положено.
- Значитъ, это государства Ротшильдовъ, Перейръ и Беринговъ?
- Да, пока такъ почти... Но люди нашего времени ушли много дальше звъролововъ. Рядомъ съ этими крупными государствами основываются мелкія именно компаніи на акціяхъ, артели, товарищества, союзы просто рабочихъ силъ и дѣлаются противовѣсомъ крупнымъ государствамъ.... Нѣкогда, властители государствъ были деспоты, которые казнили своихъ подданныхъ по личному произволу. Такіе же деспоты и финансовые государи, которые устанавливаютъ курсъ, цѣнность денегъ, товаровъ, и по произволу могутъ сдѣлать нищими или заставить умереть съ голоду цѣлыя тысячи народа.
- Да, вы правы... Я понимаю вашу идею.... Я понимаю ваши новыя государства, сказала Бармитинова:—но въдь деньги—это еще болъе безчеловъчный деспотъ, чъмъ восточные цари.
 - Совершенно согласенъ съ вами... Но тутъ-то и является спа-

сителемъ наука: она говоритъ, что весь шаръ земной долженъ силотиться въ акціонерныя компаніи, въ товарищества, хотя бы члены товарищества и не вносили въ общую кассу денегъ, а только бы слагались въ союзъ, какъ рабочія руки, какъ думающія головы и. т. п. Всякій трудъ, всякое предпріятіе должно совершиться артелью, товариществомъ, союзовъ, компанісю, все, положительно все должно сдълаться частями союзовъ, артелей, товариществъ... Этому поможетъ наука: тогда деспоты-капиталисты невозможны, тогда будетъ немыслимо ни насиліе, ни лишеніе свободы... Тогда даже невозможна будетъ бъдность на землъ.

Бармитинова вздохнула.

- Вы что вздыхаете, Варвара Григорьевна, спросилъ Гридиевъ, котораго разговоръ такъ оживилъ, что онъ казался совершенно не тъмъ человъкомъ, какимъ онъ явился къ Бармитиновой.
- Я вздыхаю потому, что вы рисуете передо мной тотъ прекрасный островъ, на который плавалъ нѣкогда, въ воображеніи конечно, Томасъ Муръ.
 - Такъ по вашему мнѣнію, я рисую островъ Утопію?
 - Да, къ сожальнію, вы гуляете по берегамъ острова Утопів.
- Такъ Утопія островъ, Варя? спросила вдругъ Марина.
- Да, островъ, милая.
- А я не знала... Я не читала этого: я думала, это просто извъстное понятіе о чемъ-нибудь несбыточномъ, какъ напримъръ «женскій вопросъ».
- II вы увърены, что ваши фантазіи сбудутся? спросила Бармитинова, обращаясь къ Гридневу.
- Сбудутся, я въ этомъ убъжденъ. Въ этомъ меня убъждаетъ наука: а что добыто наукой, то прочно, прочнъе всякаго капитала. Это уже не фантазіи, а научныя истины.
- Если даже и такъ, замътпла Бармитинова, то все же искусные звъроловы, какъ и всегда, будутъ притъснять и покорять подъсвою власть менъе искусныхъ звъролововъ.
 - Такъ было, но такъ не будетъ.
 - Когда же?
 - Когда будетъ больше такихъ женщинъ, какъ вы.

Бармитинова улыбнулась грустно.

- Вы говорите комплименты.
- Нътъ Варвара Григорьевна, я гражданинъ новаго государства, а у насъ комплименты считаются или лакействомъ, или нравственнымъ воровствомъ.
 - Какъ?
- Комплиментомъ воруется расположение того, кому говорится комплиментъ... А за воровство у насъ изгоняютъ изъ государства.

Марина слушала этотъ споръ съ большимъ вииманіемъ. Хотя она молчала, но видно, что въ ней боролись разнородиыя чувства, и вся эта борьба отражалась на ея оживленномъ лицѣ, которое ничего еще не умѣло скрыть, чтобы ни происходило въ сердцѣ, въ мозгу, въ каждомъ нервѣ этого ртутнаго темперамента, и выдавало ея чувства то внезапнымъ вспыхиваньемъ щекъ, то такой же вспышкой въ глазахъ, то движеніемъ бровей, губъ; а больше всего говорили объ этой внутренней борьбѣ ея глаза. Вся подвижная и стремительная, она иногда видимо принуждала себя сидѣть неподвижно нѣсколько секундъ, но это ей было тяжело, и она выдавала себя то рѣзкимъ подергиваніемъ плеча, то нервнымъ сжиманьемъ рукъ, то неожиданными поворотами головы. Она постоянно вставала и то подходила къ Гридневу, какъ бы намѣреваясь остановить его, то порывалась къ Бармитиновой, то брала съ рояля ноты и нетериѣливо шуршала ими.

Она боролась между выборомъ двухь рѣшеній — молчать ли ей на все что не скажетъ Гридневъ, или вмѣшаться въ споръ, потому что афоризмы Гриднева вызывали въ ея умѣ сотни возраженій, но она боялась вступить въ борьбу.

Наконецъ, она не осилила себя и, какъ выражалась объ ней Бармитинова, «разсыпала жемчугъ па серебряное блюдо» — заговорила и задвигалась съ свойственною ей ртутностью.

Когда Гридневъ сказалъ, что въ ихъ новомъ государствъ, за комплименты, какъ за воровство, изгоняютъ, она, вскочивъ со стула, вспыхнула и возразила запальчиво:

— A за грубость и грабежъ не изгоняютъ изъ вашего новаго государства?

Озадаченный этимъ неожиданнымъ вопросомъ, и притомъ съ той стороны, откуда онъ всего менте ожидалъ нападенія, Гридневъ съ

разу не нашелся что отвъчать и смотръль на Марину съ удивленіемъ. Бармитинова тоже глядъла на нее съ улыбкой. «Ну, теперь посыплется жемчугъ на серебряное блюдо», подумала она.

- За какой грабежъ? спросилъ Гридневъ послѣ минутнаго молчанья.
- А. развѣ капиталъ не грабежъ? въ свою очередь спросила Марина и ухватилась рукою за спинку стула, какъ бы намѣреваясь защищаться отъ нападенія.
- Нътъ, Марина Константиновна, капиталъ не грабежъ.... Капиталъ пріобрътается умомъ и трудомъ, а не грабежомъ.
- Умомъ и трудомъ! возражала Марина съ горячностью, —а развъ бояре и помъщники не трудомъ и не умомъ наживали свои богатства и пріобрътали власть?
- Не всегда, Марина Константиновна, отвъчалъ Гридневъ, и при этомъ улыбался, глядя на нее; ихъ богатства большею частью или жалованныя, или полученныя по наслёдству.
- А вы развѣ не по наслѣдству отъ своего батюшки получите ваши богатства? Развѣ не всѣ купцы, какъ и помѣщики, наслѣдуютъ сундуки своихъ отцовъ!... Ужъ пожалуйста не защищайте ни капиталистовъ, ни купцовъ—они все тѣже бояре, которыхъ вы топчите въ грязь, когда у самихъ ноги въ грязи по колѣни... И вы, купцы, и бояре— все тѣже помѣщики! горячилась Марина.
- Нътъ, не тъже, Марина Константиновна; бояре высосали соки изъ народа, и въ этихъ-то сокахъ блаженствовали.
- Ахъ, боже мой! вскричала Марина, и даже руками всплеснула такъ трагически, что Бармитинова захохотала; а вы въ чьихъ сокахъ блаженствуете? Развъвы не изъ народа тоже вытянули эти соки? Изъ народа! изъ народа! Вы сосете еще злобиъе, чъмъ вампиры и чъмъ это дѣлали прежде помъщики... Вы пользуетесь всякимъ случаемъ, чтобъ сосать народъ: у людей голодъ, народъ стонетъ отъ бъдности, народъ пухнетъ отъ голоду и мретъ, голодныя матери ѣдятъ своихъ дѣтей, такъ что остаются отъ дѣтей только волосы а вы скупаете хлѣбъ у этого народа, когда ему нужны до зарѣзу деньги и перепродаете этотъ хлѣбъ вдесятеро дороже или отправляете его за границу, когда дома намъ ѣсть нечего... Господи! воскликнула она съ какимъ-то дѣтскимъ отчаяньемъ въ голосъ: кто же больше сосетъ

страну, какъ не вы? Гдъ же настоящія тучи—сосатели народа, какъ не въ капиталистахъ, въ этихъ сундучнакахъ?

Марина окончательно выходила изъ себя. Изумленный Гридневъ всталъ со стула и смотрълъ на Марину, не сводя съ нея глазъ. А Бармитинова только любовалась своею любомищей и губы ея невольно шептали: «ну, посыпался жемчугъ»...

- Въ сундучникахъ? спрашивалъ Гридневъ съ изумленіемъ, это что за слово?
- Сундучники!.. Всё купцы, всё капиталисты сундучники, сосатели! говорила Марина съ сверкающими глазами, а потомъ, бросившись къ Бармитиновой, наивно сказала, —Ахъ, Варя! Варя! сколько я имъ дерзостей наговорила!... Миё даже стыдно»...
- Что-жъ, милая, это ничего, отвъчала Бармитинова съ улыбкой! въ ихъ новомъ государствъ дерзости предпочитаются любевностямъ, потому что за любезность тебя выгнали бы изъ ихъ новаго государства, а за дерзость тебя примутъ въ гражданки новаго государства, сказала она, обращаясь къ Гридневу.

Марина не успокоилась сразу. Видя, что Гридневъ, озадаченный потокомъ ея словъ, ничего не отвъчаетъ, а только смотритъ на нее съ улыбкой, и принимая эту улыбку за насмъшку, она еще болъе взволновалась, такъ что, по своему обыкновенію, могла кончить взрывомъ слезъ, къ чему такъ привыкла Бармитинова, видя въ ней капризнаго ребенка.

- Варя! говорила она, держась за Бармитинову, какъ за прикрытіє, слушай, что я еще наговорю имъ... Мы недавно съ папашей говорили о купцахъ и капиталистахъ... Ахъ, Варя, это такіе деспоты, такіе Тамерланы!
- Тамерланы? спрашивалъ Гридневъ, раскрывая глаза отъ удивленія.
- Да! Тамерланы, Тохтамыши, Мамаи, Аттилы!—вотъ кто такіе купцы.
 - Помилуйте, Марина Константиновна!
- Нътъ, не помилую... Не хвалитесь вашими новыми государствами—они хуже старыхъ! Ваши новые государи...
- Въ нашихъ государствахъ нътъ государей, прервалъ онъ ее, есть директоры и президенты компаній.

- Тъмъ хуже! Ваши новые звъроловы—Нимвроды, ваши директоры—Ротшильды, Перейры и Беринги болъе жестокіе деспоты, чъмъ гунискіе цари: они одними курсами, то повышеніемъ, то пониженіемъ ихъ, могутъ довести до нищеты весь міръ... Въдь они дълаютъ это, признайтесь?
- Согласенъ, дълаютъ, но...
- Такъ чего же вамъ еще?.. Вы бросаете камиями въ помъщаковъ за то, что они имъли крестьянъ, что это была пхъ «живая собственность», какъ говорилъ Герценъ... Правда, это скверно; но этого ужъ нътъ... Притомъ, то было въ обычат, по закону. А купцы всъхъ забираютъ въ кртностное право неволей, морятъ голодомъ—втра это хуже и болте жестоко... Постойте! постойте! сказала она вдругъ, какъ бы спохватившись.
- Что вамъ угодно?
- Вотъ что...

Она остановилась и съ нерѣшительностью посмотрѣла на Баринтинову.

- Ахъ, Варя! я не знаю...
 - Чего не знаю?
- Какъ выразиться, Варя... Ну, все равно, какъ нибудь... Скажите, господинъ Гридневъ, обратилась она къ нему, какъ бы атакуя его—какое мученье больше—когда человъка унижаютъ силою, или когда онъ поставленъ въ такое безвыходное состояніе, что долженъ самъ унизиться?
 - Я не совствъ понимаю васъ, сказалъ Гридневъ.
- Ахъ, Варя! я въдь говорила, что не съумъю выразяться—
 и въ голосъ ел уже дрожали слезы. Она готова была расплакаться.
- Ну, ну, не приходи въ отчаянье; подумай—и скажешь, говорила Бармитинова ласково.
- Нътъ не скажу... Я ужъ знаю, что не скажу... Я такая противная!
- Напротивъ, я увъренъ, что вы съумъете, сказалъ Гридиевъ, вы такъ хорошо били купцовъ и звъролововъ.

Марина обдумывала фразу.

— Вотъ что, сказала она: кому стыдиве и горче—бывшему ли врвиостному, который приходилъ къ свлему барину и просилъ у него

the second second second

шубы, или свободному человъку, хоть бы бъдному чиновнику, котораго нужда заставила бы прійти къ вамъ и просить у васъ шубы христа-ради?

- Да, послъднему хуже.
- То-то же!.. а капиталъ всёхъ бёдныхъ ставитъ въ такое унизительное положение... Ахъ, Варя, Варя! какъ много сквернаго на свётъ, говорила Марина съ какимъ то дътскимъ простодушиемъ.
- Такъ вы за монополію бояръ и за крѣпостничество, Марина Константиновна? спросилъ Гридневъ.
- Нѣтъ, не за монополію бояръ и не за крѣпостничество, а противъ новамиціи купцовъ, противъ новыхъ Тамерлановъ и Аттилъ; противъ новыхъ Нимвродовъ, которые изъ звѣролововъ дѣлаются царями.... Въ купцахъ возникаетъ новое зло нашего вѣка: въ нихъ воскресаетъ покойное крѣпостное право, только въ болѣе ужасной формѣ. Помѣщики жили потомъ своихъ крестьянъ.... Фи Варя! какъ я гадко сказала, вдругъ обратилась она къ Бармитиновой, ну, все равно, лишь бы выразить мысль той фразой, какая попалась подъруку...

Она замялась.

- Что я говорила, Варя? спросила она наивно.
- Вы изволили сказать, что помъщики жили потомъ своихъ крестьянъ, отвъчалъ ей Гридневъ.
- Ахъ, да! я выразилась грязно, не красиво, но вѣрно, спохватилась Марина; — такъ помѣщики пили потъ своихъ крестьянъ... ахъ это еще грязнѣе!... ну все равно... а купцы пьютъ и потъ, и кровь. Не порицайте же другг друга, сы всть одного поля ягодки!
- Браво, Мариночка! Иди, я тебя поцълую за это, сказала Бармитинова, и Марина бросилась въ ней цъловаться.
- Вотъ какъ мы васъ отдёлали, говорила шутя Бармитинова Гридневу.

А Марина, цълуя ее, шептала: «А что, Варя, онъ разсердится на меня за это»? Но потомъ, вспомнивъ, что ей давно пора домой, заторопилась и спъшила уходить.

— Куда ты? спрашивала Бармитинова.

— Меня мамаша побранитъ... бъда, просто бъда!... Я заставила ее ждать меня объдать.

И, поцѣловавъ Бармитинову, она церемонно присѣла передъ Гридневымъ, и исчезла.

- Какая милая дъвушка, сказалъ Гридневъ, когда Марина скрылась за дверью.
- Да, я ее очень люблю, такая богатая головка... Только чтото ждеть ее въ жизни?
- Она не сестра того Канадъева, который съ ума сошелъ? спросилъ Гридневъ.
- Да, сестра... Такъ жаль это бъдное семейство.
- А я къ вамъ по дѣлу, Варвара Григорьевна, заговорился, а о дѣлѣ не сказалъ.
 - Что вамъ угодно?
- Могу ли я васъ просить принять въ вашу школу одного мальчика спротку? Онъ изъ крестьянъ, но такой даровитый мальчикъ. Мнъ не хотълось бы, чтобъ дарование заглохло отъ недостатка образования. Я самъ буду платить за него, а васъ бы попросилъ особенно иногда заняться съ нимъ, подготовить къ гимнази...
- Очень рада...

Въ это время въ комнату вбъжала хозяйка Кузьминишна, вся сіяющая радостью, хотя сухое, какъ сушеная груша, лице ея все было заплакано.

- Божьи люди, матушка барышня, хотятъ поблагодарить васъ
 за хлъбъ за соль, шепелявила она старческой скороговоркой.
- Что-жъ, Кузьминишна, пусть войдутъ.

Калъки перехожіе уже стояли въ дверяхъ и, не дожидаясь приглашенія, затянули божественную кантату:

Человѣцы божіп,
Придите послушайте,
Мы про чудную - чуду сказуемъ,
Про Агликова сына, про Василія,
Про святителю Николу Чудотворцу.

Пъніе тянулось очень долго, а Кузьминишна стояла у дверей пригорюнившись и, слушая калъкъ перехожихъ, горько плакала ...

XV.

where any other property and the court of th

Весь этотъ день, по уходъ Гриднева и калъкъ перехожихъ, Бармитинова провела въ тяжеломъ, какомъ-то безотрадномъ раздумъъ. Въ послъднее время, ея тихая жизнь въ Варгунахъ, гдъ она считала себя заживо погребенною на пользу другихъ и во имя идеи добра, была возмущена и новыми встръчами, и приливомъ новыхъ, давно неиспытываемыхъ ею ощущеній. «Погребеніе себя заживо на пользу другихъ—неужели это разумный актъ воли челевъческой»? думалось ей. И неужели погребенный можетъ приносить пользу?... Странно... Непонятно... Только одна безсмысленная сила можетъ толкнуть живаго человъка въ могилу и сказать ему: ты будешь служить пищею другимъ существамъ, червямъ, которые столь же необходимы въ разумной экономіи природы, какъ и ты, существо думающее и чувствующее... Странно, непонятно»...

Память ея воспроизводила передъ нею мельчайшія подробности послъднихъ дней, все что она видъла, слышала, чувствовала. Пережитыя ею ощущенія переживались вновь съ поразительною живостью, а все что говорилось ею и другими вставало передъ нею въ живыхъ образахъ, а навъяпныя на нее мысли и вопросы жизни настойчиво требовали раззръшенія, отвъта, отказа или согласія. То вставаль передь ней человъкъ, мыслью о которомъ она жила цълыя десять лътъ, и казалось ей, что подъ его логикой, какъ стекло подъ тяжелымъ обухомъ, разбивалась ея собственная логика, а логика эта по видимому была не хрупкая, далеко неломкая, логика выстраданная; добытыя какъ результать целой жизни, проверенная какъ строгія математическія истины. То проходили передъ нею сцены, созданныя ея воображеніемъ на основаніи разсказа калъкъ перехожихъ о томъ, какъ люди голодають, какъ мать въ бъщенствъ голода събдаетъ свое собственное дътище, - сцены, возможность которыхъ отвергаетъ и разсудокъ, и сердце, но которыя были, есть и, можетъ быть, будутъ еще, которыя, наконецъ. встаютъ въ воображении живыми, исполненными страшнаго драматизма и мучатъ какъ кошмаръ. То выступали передъ ней въ какихъ-то пеопредёленныхъ образахъ картипы и лица изъ того, что говорилъ Гридневъ: то дикіе звёроловы, въ видё Нимвродовъ, Тамерлановъ, Аттилъ, то акціонерные цари, въ видё Ротшильдовъ, Берипговъ, въ мантіяхъ изъ кредитныхъ билетовъ и акцій, то купцы и перекупщики, думающіе только о своемъ собственномъ счастьё, о томъ какъ набить свои сундуки золотомъ, кредитными билетами и акціями и которымъ до другихъ дёла пётъ»...

Вообще впечатитнія посл'єднихъ дней давили Бармитинову и не давали ей ни отвлечься чёмъ либо постороннимъ, ни заняться какою либо работою, какъ это она дёлала до сего времени. Пасмурность полуосенняго дня, сёрыя тучи, видимо одерживавщія побъду надъ обезсиленнымъ солицемъ, вѣтеръ, напѣвавщій скучныя пѣсни и мутной рябью съ бѣлесоватыми валами безобразившій Волгу, по берегу которой такъ любила гулять Бармитинова—все это удерживало ее дома, тогда какъ въ другое время она уходила далеко отъ Варгунъ и непосредственнымъ соприкосновеніемъ съ природой бозстаповляла свои силы и давала трезвое, нетревожное направленіе своимъ мыслямъ. Классовъ въ этотъ день также не было, потому что это былъ праздничный день, и мотому никакое внѣшнее отвлеченіе не могло вывести ее изъ мечтательной, по тяжелой созерцательности, и ей казалось, что въ это самое время ей всего тяжелѣе было оставаться самой съ собой.

Она сёла играть, но клавиши ройяля какъ бы за одно съ ея думами и съ ея нервами вызывали передъ ней только тё образы, которые были съ нею неотходно десять лёть, съ которыми она сжилась, но которые не могли подъйствовать успокоительно, и смурые образы ея невеселаго прошлаго не могли превратить въ образы свътлые, радостные. Въ звукахъ ройяля выражалось только то, что пережито, передумано и перечувствовано въ эти десять лёть, а она устала уже и отъ этихъ думъ и отъ этихъ ощущеній. Ей казалось, что она стояла уже на рубежё другой жизни, что думы ея должны принять другое направленіе, что и звуки ройяля должны говорить не то, что говорили до сихъ поръ, и потому ей не хотёлось оглядываться назадъ, поворачивать голову къ процілому, когда въ будущемъ видиѣлось что-то другое, не похожее на прошлое, но что именно—она не могла

разглядёть и не могла создать сама образа этого будущаго, за неимъніемъ руководящихъ данныхъ.

Она брала книгу, чтобы отдаться чтенію, которое до сихъ поръ во многомъ замѣняло ей отсутствіе жизни; но мысль ея невольно повторяла:

> Пропала книга! Ужъ была Совсъмъ готова — вдругъ пропала!

То вдругъ представлялся ей Стожаровъ въ видъ этой пропавшей книги, и видъла она двухъ Стожаровыхъ: одинъ, котораго она ближе знала и который казался ей своимъ, съ образомъ котораго она сжилась въ продолжении десяти лътъ, былъ студентъ, такой серьезный, съ такимъ бледнымъ, строгимъ лицомъ, на которомъ, кажется, могла ноявляться только скорбная улыбка, и который говориль: «иди, заработай себъ право на счастье суровымъ трудомъ, долгимъ, безропотнымъ служеніемъ на пользу другихъ; иди-и пусть сердце твое не знаетъ радостей, пусть голосъ твой никогда не звучитъ веселымъ беззаботнымъ смѣхомъ, пока я не приду и не скажу тебъ, что ты исполнила свою задачу жизни, не развъяла на вътеръ твои богатыя силы, чтобы приготовить себѣ скучную, томительную, брюзгливую старость, полную сожальній о безполезно потраченных силахь, полную ужаса оть сознанія, что и эта безполезная, пустая жизнь должна скоро прекратиться безслёднымъ уничтожениемъ и тебя и памяти о твоемъ безсполезномъ существованій». Другой Стожаровъ былъ не тотъ, кстораго она знала прежде-и образъ не тотъ, и ръчь не та, хотя и этотъ образъ и эта ръчь воспроизводили что то далекое, давно любимое, что-то похожее на того суроваго студента, памятью о которомъ жида Бармитинова въ теченіе десяти літь. Этотъ второй Стожаровъ быль какъ будто чужимъ ей, хотя въ немъ просвъчивало давно знакомое ей лице и въ голосъ его звучали тъ же ноты, отъ которыхъ и прежде сердце ея усиленно билось и которыя звучали ей только въ воображеніи въ продолженіи десяти літь. Тоже суровое, но только болье мужественное лице, та же кривая улыбка, тоть же строгій, редко ласкающій взглядь, но только на лице этомь болье густыя тыни налегли, болье рызкости и опредыленности въ очертаніяхъ этого лица, хотя менже ръзкости и суровости въ словъ, въ приговоръ ...

То вдругъ на мгновенье ее охватывала безотчетная радость, и, вдумываясь въ источникъ этой радости, она невольно мечтала: «Все прошло и не воротится больше, и темпыя тѣни моей жизни отошли далеко, далеко, а съ этими тѣнями миновала и томительная неизвѣстность... Я видѣла мое солнышко, и тѣни ночи не закроютъ его больше отъ моихъ глазъ»...

Но туть же ей слышался знакомый голосъ, которому она такъ привыкла повиноваться: «Въ наши дни, когда вокругъ такъ много страданій, когда скорбныхъ явленій въ жизни не въ мѣру много, любовь — преступленье, и отдавать любви хотя малѣйшую частицу силъ, нужныхъ для борьбы съ драконами, грифонами, минотаврами и другими чудовищами нашего вѣка — подло, недостойно человѣческаго призванія».

Она сидѣла задумчиво, забившись въ уголъ дивана, и очнулась только тогда, когда на порогѣ показался Кузя Ногинъ Мальчикъ былъ чѣмъ то огорченъ, глядѣлъ изъ подлобья, и надутыя губы изобличали крайнее недовольство существующимъ порядкомъ вещей.

— Ты что, милый? спросила Бармитинова, -- иди ко мнв.

Мальчикъ переминался и сосредоточенно глядълъ въ свой картузъ, козырекъ котораго онъ мялъ немилосердно.

— Говори же-ты чего боишься?

Мальчикъ молчалъ, пыхтълъ и окончательно сломалъ козырекъ. Дъвушка подошла къ нему.

- Тебя обидълъ кто нибудь? спрашивала она, върно опять казенные ученики?
 - Нътъ, они пошли рыбу удить, отвъчалъ наконецъ мальчикъ.
 - Кто же обидълъ тебя?
- Дъдушка.
 - A! За что же онъ обидълъ тебя, милый?
- За ухо обидѣлъ.

Дѣвушка улыбиулась.

- Такъ върно ты провинился чъмъ нибудь передъ дъдушной: онъ даромъ не накажетъ... Чъмъ же ты провинился—говори.
 - Звъздами провинился, отвъчалъ онъ, еще болъе надувая губы.
 - Какъ звъздами? Какими звъздами?
 - Звъздами, Варвара Григорьевна, —планетами провинился.

- Я не понимаю тебя... Говори яснъе.
- Дедушка говорить, что звёзды попадають, а и говорю нать.
- Какъ попадають? Куда попадають звёзды?
- На землю... Дѣдушка говоритъ, что при концѣ свѣта всѣ звѣзды упадутъ на землю, какъ листья съ дерева. А я говорю, что звѣзды не упадутъ—они больше земли.
- Такъ за это тебя дъдушка и наказалъ, бъдный мальчикъ?
- За это и Кузя началъ опять плакать, и сквозь слезы проговаривалъ: вы намъ не говорили, что звъзды попадаютъ на землю... Въдь вы намъ не говорили этого, Варвара Григорьевна? спросилъ онъ вдругъ, заглядывая ей въ лице.
 - Не говорила.
 - Ну, такъ дѣдушка вретъ.
- Ахъ, какой ты! не говори такъ дерзко.
- Что-жъ, Варвара Григорьевна! дедушка вреть: звезды никогда не попадаютъ на землю—они больше земли, а онъ говоритъ, что они какъ листья съ дерева упадутъ.
- Не гоьори, что дёдушка вреть: это не хорошо, это очень дурно такъ говорить... Дёдушка говоритъ правду.
 - А я! спросилъ мальчикъ съ удивленіемъ.
 - И ты говоришь правду.

Мальчикъ посмотрълъ на нее съ недоумъніемъ.

- Такъ звъзды упадутъ на землю? спросилъ онъ.
- Упадутъ... Но это надо понимать иносказательно.
 - А что такое иносказательно? снова спросилъ онъ.

Положеніе учительницы было довольно не ловкое: надо было объяснить мальчику что такое значить иносказаніе и въ то же время лавировать между двумя увъреніями, что звъзды и упадуть на землю и не упадуть, что паденіе ихъ надо понимать алегорически и что паденіе это невозможно по законамъ тяготънія. Какъ бы то ни было, Кузя остался доволень объясненіями учительницы, и убъгая отъ нея, толковаль самъ съ собой, надъвая картувъ: «Я это растолкую дъдушкъ... Звъзды упадуть иносказательно, а козырекъ сломался»...

Оставшись одна, Бармитинова опять было забилась въ уголъ ди-

вана, но увидевъ на столике тетрадку, оставленную Мариною, взяла ее и стала перелистывать.

Глаза дъвушки остановились на одной страницъ, которая приковала ея винманіе. Пробъгая ее, она грустию качала головой и говорила вслухъ сама съ собой: «бъдный, бъдный!... Вотъ начало его помъщательства, и какое странное помъщательство»!

На страницѣ этой Канадѣевъ писалъ, видимо дрожащею рукою и съ порывистою скоростью, какъ бы боясь забыть то, о чемъ опъ хотѣлъ писать.

«Я пачинаю върить видъніямъ, а л отвергалъ вхъ какъ созданія больнаго мозга и разнузданной до бользненности фантазіп. Иътъ, если это и дъйствительно созданіе больной воли и разстроенныхъ нервовъ, но ужъ воясе не безпричинным 'созданія: ихъ не можетъ отвергать разсудокъ, потому что они не отвергаются чувствами... Мои видънія я вижу глазами, голосъ ихъ, ръчь ихъ я слышу моимъ напряженнымъ слухомъ, форма видъній и ихъ плотность даже я осязаю... Это не видънія, не призраки а такія же существа какъ я, живой, думающій, говорящій и чувствующій, такіе же предметы, какъ этотъ столъ, на которомъ я пишу, на которомъ сейчасъ лежала моя усталая, горячая голова.

«Видѣнія есть—и они такія же явленія природы и ея таинственных силь и законовь, какъ воть эта тускло горящая передо мною свѣча, какъ этотъ однообразно тикающій маятникъ часовь, какъ вотъ этотъ ноющій въ трубѣ полуночный вѣтеръ. Но видѣнія эти бываютъ только тогда, когда человѣкъ способенъ принять ихъ своими онзическими чувствами, когда человѣкъ ниѣетъ волю видѣть ихъ. Глухой не слышитъ звуковъ,— для него звуки не явленія природы, для слѣпыхъ глазъ непонятны оттѣнки цеѣтовъ, голосъ человѣчсскій не можетъ звучать въ безвоздушномъ пространствѣ ... Не всякому дана и способность воспринимать видѣнія. Миѣ она дана — другимъ не дана.

«Я жду моихъ видъній— и видънія придутъ во миъ, какъ приходили вчерашнюю лочь.

«Вчера ко мий прилетала моя птица... Она прилетала и прежде, но я гогда не былъ способенъ видъть ее, слышать ее. Она прилетала ко мий еще тогда, въ публичной библіотеть, но я не умълъ

видёть ее: я только слышаль вѣяніе ея крыльевь, а мнѣ казалось, что то быль шопоть книгь на полкахь, тихій говорь мертвыхь, когда-то думавшихь надъ этими книгами, страдавшихь надъ этими книгами, страдавшихь надъ этими.

«Вчера я думалъ, много думалъ о судьбь Россіи, о мъстъ, занимаемомъ ею въ роду государствъ земнаго шара, о значеніи ея въ славянскомъ міръ, о ея будущности— и ко мнъ прилетала моя птица, шумя крыльями. Отъ въянья этихъ крыльевъ, какъ отъ въянья тихаго весенняго вътерка, шевелились мои волосы и сами собой тихо колебались легкія бумаги на моемъ письменномъ столъ.

- «Ты о чемъ думаешь? говорила птица, шумя крыльями за моею спиною.
- «Я думаю о Россіи, и о многомъ думаю я, и нътъ конца моимъ думамъ, отвъчалъ я.
- «Зачъмъ же тебъ думать объ ней, когда не твоимъ слабымъ силамъ номочь ей? спрашиваетъ она.
- «Правда, силы мои слабы и не этимъ слабымъ единичнымъ силамъ дать полное счастье Россіи, но тогда вынь изъ-подъ этого черепа мозгъ, чтобъ не думать мнѣ объ ней, вынь изъ-подъ этихъ реберъ сердце, чтобъ нечему было болѣть за Россію, нечѣмъ было мнѣ любить ее и ея народъ.

«И слышаль я только шумъ крыльевъ птицы, и видълъ, какъ отъ въяпья крыльевъ сама собой перелистывалась книга, лежавшая у меня на столъ. Шумъ постоянно увеличивался, тихое въянье превращалось въ вътеръ, и вътромъ этимъ задуло свъчу, горъвшую у меня на столъ. Мнъ стало страшно во мракъ, и холодно, но тъло мое, казалось, становилось легче и легче, и я, чувствовалось мнъ, летълъ куда-то, не видя ни моего стола, ни моей комнаты, не слыша тиканья маятника моихъ часовъ, ни шороха бумаги на моемъ столъ... «Я дъйствительно летълъ... Внизу, далеко подъ моими ногами брезжились огоньки, и взглядываясь въ нихъ, я узналъ, что то были огни фонарей, какъ святящіяся точки, расходившіяся по разнымъ линіямъ, начимая отъ свътлаго центра и исчезая у конца радіусовъ неправильной окружности... Я пролеталъ надъ Пстербургомъ, я оставъчялъ его за собою, и онъ скоро исчезъ во мракъ съ его свътлыми точками, а подъ моими ногами уже невидно было ничего, и только

надо мною искрились звёзды, не имёя силы своимъ слабымъ свётомъ освётить темную землю.... Я инчего не слышалъ кромё шума крыльевъ птицы.... Миё стало страшно, миё стало жаль чего-то, миё стало жаль и земли, и Россіи, и Петербурга....

- «Куда мы летимъ? спросилъ и.
- «Я покажу тебь то, о чемъ ты думаешь, отвъчала она.
- «О чемъ я думаю, того показать нельзя: думы мои не могутъ получить ни опредѣленныхъ формъ, пи опредѣленныхъ образовъ.
- «Никакія думы не могутъ быть вить формы и вить образовъ: безъ формъ и образовъ немыслимы созданія ни рукъ, ни мысли человъческой.

«И подъ нами, и надъ нами, и за нами была ночь безпросвътная, тьма непроглядная, только вдали передъ нами оттънялась отъ земли свътлая полоса: мы летъли на встръчу утру и утро шло на встръчу намъ. И глубоко подъ нами начали выдъляться очертанія земли, и предметы становились явственнъе, и видны были очертанія деревень, такихъ жалкихъ, такихъ бъдныхъ, и надъ сърыми избушками вился уже дымокъ, и изъ этихъ сърыхъ избущекъ выползали такія же сърыя существа, и нъкоторыя изъ нихъ, глядя на востокъ, крестились.

- «Вотъ что люблю я все, что виднѣется подо мною, дорого мнъ, говорилъ я, всему этому, дорогому мнъ, я хотълъ бы счастья, но нътъ у меня силы дать это счастье всему, что я люблю.
- «Данное счастье—не полное счастье, только взятое счастье полное и прочное счастье, говорила птица.

«Мы летъли дальше и выше, и видълъ я, какъ выкатывалось солице изъ-за горизонта, и когда выкатилось оно, передо мною явственно открылась цълая половина земнаго шара, освъщенная утренцимъ солицемъ.

- «Видишь ты всю эту картину разомъ? спросила птица.
- «Вижу, отвъчалъ я, и сердце мое колотилось какимъ-то великимъ, никогда неиспытаннымъ мною чувствомъ.
- «Явственно ли очерчивается передъ твоими глазами вся Россів; отъ пролива Беринга до Кракова п отъ Вайгача до Арарата?
 - «Явственно... Я вижу и города ея, и ръки ея, и озера, лъса

и горы... Я вижу миліоны живыхъ существъ, двигающихся на этомъ необъятномъ пространствъ.

— «Воть что ты любишь, говорила она... А видишь ли ты— Въ убранствъ и блескъ весь западный край, Мораву, и Лабу, и дальнюю Саву, Гремящій и синій Дунай?

Видишь ли ты Прагу?

- «Я все вижу, отвъчалъ я, не удивляясь даже, что птица говоритъ стихами Хомякова.
- «Ты все это любишь, все это дорого тебъ, обо всемъ этомъ болитъ твое сердце.
- «Все люблю, обо всемъ болитъ мое сердце... но это, близкое, дороже мив чвмъ то, далекое.

«И сталъ я плакать, глядя на все это дорогое мнѣ и близкое, и капали съ моего лица слезы въ необъятное пространство, надъ которымъ носились мы, и видѣлъ я мои собственныя слезы, какъ блестѣли они подобно брильянтамъ, подъ лучами солнца.... Но долетали ли мои слезы до земли—я этого не видѣлъ... Я все плакалъ, и плакалъ горько давно накипъвшими слезами: за слезами я уже не видѣлъ потомъ ни Россіи съ ея городами, стенями широкими и лѣсами темными, исчезла изъ вида и Прага и синія рѣки славянскія... А я все плакалъ, все плакалъ, припавъ головою къ ладонямъ.

— «Не слезы нужны твои тому, что тебѣ дорого—слезъ и безъ того много пролито на всемъ этомъ необъятномъ пространствѣ, которое ты видѣлъ: пужны руки работающія, головы мыслящія, сердце любящее... Любовь безъ дѣлъ—мертва, говорила птица.

«Я пересталъ плакать. Я смотрълъ на вемлю, но то, что я видълъ на ней, и о чемъ я плакалъ, я уже не видълъ.

«Мы спускались, казалось, ниже къ землѣ, но земли я не видълъ.

- «Гдъ же земля? спрашиваль я: гдъ Россія моя милая?
 - «Смотри и увидишь.

«Я смотрълъ и видълъ то, что я люблю, нашу дорогую Россію.... Вдали стоялъ «колоссъ на глиняныхъ ногахъ», а у ногъ его илубились волны моря.

- «Вотъ то, что ты любишь, говорила птица.

- «Да, это съверный колоссъ на глиняныхъ ногахъ.

«И видѣлъ я громадное тѣло гиганта, заслонившее собою цѣлую половину вемнаго полушарія. Но гигантъ стоялъ твердо, устойчиво на своихъ глиняныхъ ногахъ: эти ноги омывались волнами бурнаго моря; волны яростно хлестали въ подножіе гиганта, поднимались выше и выше, по безсильныя—опять возвращались въ море, и опять поднимались, опять набъгали на громадныя ступени гиганта, и не могли размочить глины, не могли поколебать устоя гиганта.

«И сталъ я ближе вглядываться въ лице громаднаго колосса, и видълъ, что глаза его закрыты.... Колоссъ спалъ... А безсильныя волны продолжали набъгать на него и разбивались въ брызги какъ о гранитный утесъ. На плечахъ и на шев у гиганта копошились люди, и казались эти люди пигмеями въ сравненіи съ гигантомъ, и взбирались эти люди на лице гиганта, старались поднять его громадныя въки и ръсницы, чтобъ разбудить его, заглянуть ему въ глаза.. А гигантъ все спалъ... Другіе пигмен, мирмидоны и дилипуты старались связать руки спящаго гиганта, старались отнять у него изъ рукъ огромную нубину, на которую онъ, сонный, опирался, но сонные пальцы кръпко держали налицу, и мирмидоны продолжали лазить по необъятному тълу гиганта, забивались къ нему въ уши, путались въ волосахъ, старались проникнуть въ самое сердце.... Но и громадное сердце гиганта спало и билось медленно, медленно...

— «Что же значитъ, что у гиганта глиняныя ноги? спрашивалъ я.

— «Гигантъ, отвъчала птица, — это пеобъятное всеславянское тъло... Голова, сердце, туловище и руки — это Россія, отъ пролива Беринга до Кракова и отъ Вайгача до Арарата, а ноги — остальной славянскій міръ — болгары, сербы, хорутане, чехи... Ноги гиганта только кажутся глиняными, потому что враги славянства слишкомъ много славянской крови пролили на эти ноги, и засохла эта кровь отъ времени, и потеряли онъ свой цвътъ, и оттого глиной кажутся гигантскія ноги, запятнанныя кровью...

«И выглядывался я ближе въ гиганта, и казалось мит, что на ногахъ у него ржавыя оковы.

- «А что на ногахъ у гиганта? спрашиваю я.

- «Оковы, валитыя славянскою кровью, отвъчала она.
- «А кто надълъ оковы на эти огромныя ноги?
- «Турки, нёмцы и всё враги славянства они надели оковы на ноги великана.
- «Отчего же, спрашивалъ я, гигантъ не освободитъ своихъ
- ногъ отъ оковъ турецкихъ и отъ путь нѣмецкихъ?

 «Гигантъ спитъ, и не чувствуетъ, что его ноги проснись онъ, и оковът

 проснись онъ, и оковът

 кака — «Гигантъ спитъ, и не чувствуетъ, что его ноги въ цъпяхъ, не слышить, что ноги эти обливаются славянскою кровью.... А проснись онъ, и оковы порвутся на его ногахъ какъ гнилыя нитки. какъ та паутина, которую разрываетъ желтый шершень.
 - «Отчегожъ никто не разбудитъ гиганта? спрашивалъ я.
 - «Будили, но гигантъ не просыпался, или съ просоновъ сбрасываль въ море тъхъ, которые будили его.
 - «А кто будилъ его? спрашиваю.
 - «Тѣ, надъ которыми смѣются въ Россіи, которыхъ называютъ мечтателями.... Но ихъ такъ немного.
 - «Отчего же не будятъ его?
 - «Будятъ.... Но онъ, просыпаясь на мгновенья, равнодушно смотритъ на свои ноги, не признавая ихъ своими: это, говоритъ, не мои ноги-мои въ лаптяхъ....

«И стало смъшно мнъ, и уже не хотълось мнъ плакать.... Мнъ припомнился тотъ хохолъ, ксторый купилъ себъ на ярмаркъ новые чоботы, и уснулъ, раскинувъ ноги на дорогу, а съ него, съ соннаго, кто-то снялъ чоботы, и когда пробажали чумаки и разбудили хохла, предостерегая его, что пробдутъ по ето ногамъ, онъ, не узнавая съ просонокъ своихъ босыхъ ногъ, говорилъ: «проважайте по ногамъ-это не мои: мои въ новыхъ чоботахъ».

«И картина моего видѣнія измѣнилась....

«Не видълъ я колосса на глиняныхъ погахъ, а пролетали мы подъ жаркимъ солицемъ юга, и глядълъ я съ высоты на Лабу, Мораву и дальнюю Саву, на синій, гремящій Дунай, и вдали видивлся мив въ убранствъ и блескъ весь западный край.... И растилались подъ моими ногами прекрасныя страны, но нивы ихъ были не вспаханы и не убраны, жалкія стада бродили безъ призора, и такъ мало было этихъ стадъ. И слышалось мнъ звяканье цъпей, и доносились до иеня людскіе тяжелые вздохи....

- «На комъ это звякаютъ цъпи? спрашивалъ я, —или это жадкін стада ходятъ въ желъзныхъ путахъ?
- «Нѣтъ, отвѣчала мнѣ птица, —не стада-то ходятъ въ желѣзныхъ путахъ, а то цѣпи звякаютъ на людскихъ погахъ, то турецкое и нѣмецкое желѣзо перетираетъ бѣлую кость человѣческую.

«И стало мит страшно летать надъ этими прекрасными странами, освъщенными жаркимъ солнцемъ юга. И спрашивалъ и:

- «Чья же бълая кость перетирается турецкимъ и итмецкимъ желъзомъ?
- «Бѣлая кость славянская перетпрается желѣзомъ, отвѣчала она; глухое звяканье ржавыхъ цѣпей то на ногахъ болгарскихъ, а звонкія цѣпи то новое желѣзо нѣмецкое на сербскихъ, хорутанскихъ и чешскихъ ногахъ.

«И снова плакалъ я горько, слушая музыку ржавыхъ и новыхъ цъпей, и опускался ниже къ этимъ несчастнымъ странамъ, чтобы видъть ихъ, чтобы поплакать надъ ними, и жгучія слезы катились по моему лицу, и падали эти слезы и въ Лабу, въ Мораву, и въ дальнюю Саву, въ гремящій и сивій Дунай.

«И долго носились мы надъ несчастными славянскими землями, и много слышалъ я стоновъ, и долго слушалъ я какъ звякали цъпи.

«Потомъ услышалъ я голосъ незнакомой мив пъсни, и столько было мелодіи и силы въ этомъ пъніи, столько чарующей прелести, но словъ пъсни я не слышалъ.

- «Отчего же словъ я не слышу? спрашивалъ я.
- «Вслушайся, и услышишь.

«Я вслушивался. Пёсня пёлась на знакомомъ мнё языке, но не на русскомъ,

«Охъ, бъдствія несчастнаго народа! (пълъ незнакомый голось). Каждый его пенавидить, каждый презпраеть, каждый оть себя его гонить, а онъ стонеть въ несчастіяхь. Милый Боже! ужели правда, что ты за гръхи стараго дъда караешь сына? Много же твоего гнъва навлекли отцы на наши головы, когда насъ такъ устроили!... Воть надъ одними бъщенствуеть блудный турокъ, крадеть имънье и цълуеть дъвушекъ, а потомъ, чтобы извести весь народъ, дълаетъ изъ дътей нашихъ янычаръ. Вотъ другихъ гонитъ модьяръ, степной кочевникъ, оскорбляетъ нашу честь, бъетъ народъ. Вотъ третьихъ

ученый нѣмець, отъ рожденія старый обманщикь, хочеть всюду насъ придавить, и чтобы его орель-птица болье развернула свои черныя крылья, сгоняеть нашихъ граничаръ. Только для себя не имъемъ мы силы, только для себя не имъемъ славы: знамена наши раводраны, разорены вст твердыни... И ты палъ, славный Дубровникъ, алмазъ камень на морскомъ берегу, теперь рабство написано на твоемъ знамени, пъвцы твои замолчали. Но какъ у змъя, разсъченнаго натрое, всякая часть бъется, ползетъ, извивается, пока не умретъ, чтобы соединиться съ головою — такъ и народъ нашъ бъжитъ за слогою: увидълъ онъ денницу, засіяла ему уже заря, пробилъ роковой часъ—впередъ, впередъ безъ отдыху!...

«Ударяй, ударяй, о страшное море, въ берега славянскіе, пока на этихъ берегахъ живетъ притъснитель! Далмація, соколиное гнъздо! вотъ я вижу все твое приморье, задаръ, чудный шебеникъ до Склиша, все до славнаго Дубровника, моей отчизны. Отовсюду повисъ надъ нимъ мракъ, а сквозь него горная вила такъ вопитъ, что гора трясется, и говорить, бъдная: «Здъсь сошлись два брата, лица у обоихъ одинаковыя, черныя очи, усы до плечъ, могучія груди, сильная рука, та же душа, тотъ же прекрасный языкъ, а когда бы подружились - чудо! Одинъ хорватъ, а другой сербъ, другъ друга не хотять они знать. Познайте другь друга, познайте, несчастные, пока вамъ удобное время... Вы-братья, дъти матери одной, одно васъ кормило молоко. Что васъ нынъ раздъляетъ? въра? Но Божья въра не должна производить раздора. Законъ? -- но вы всё подъ чужеземцемъ... Соединитесь же, обнимитесь братья... Въ готъ часъ побледнъетъ притъснитель... Когда бы славяне были согласны, то это былъ бы наисильнъйшій народъ (1)»...

«И слушалъ я эту пъсню, и надеждою билось мое сердце, что вотъ-вотъ проснется гигантъ и распадутся цъпи на его окровавленныхъ ногахъ, и стоны не будутъ больше раздаваться ни на Лабъ, ни на Моравъ, ни на дальней Савъ.

— «Кто это поетъ? спрашивалъ я.

⁽¹⁾ Стихотвореніе одного изъ южныхъ славянъ, графа Медо-Пучича. Сербія, В. Ламанскаго, стр. 19—20.

- «Это поетъ одинъ изъ тѣхъ, что плачутъ и своими и чужими слезани, что болятъ и своимъ и народнымъ сердцемъ, отвѣчала птица.
 - «A uma ero?
- «Славянинъ графъ Медо-Пучичъ, отвъчала она, шумя врыльями и унося меня на дальній занадъ.

«И летъли мы низко, низко надъ землею, и слышалъ я другой голосъ, какъ стонъ изъ могилы... «Сто разъ я говорилъ, а теперь ужъ кричу къ вамъ, о разъединенные славяне! Будемте цълымъ, а не частицами, будемте встъмъ, или ничтъмъ»!... стоналъ кто-то.

- «Кто это стонетъ? спрашивалъ я, прислушиваясь къ словамъ.
- «Мертвецъ стонетъ, отвъчала она.
- «Гдъ же онъ?
- «Въ могилъ... Это стонетъ славянскій пророкъ, это Колларъ.
- «А слышить ли его спящій гиганть?
- «Слышитъ... Но глубокъ его сонъ»....

На этомъ мъстъ чтеніе Бармитиновой было прервано приходомъ Кузьминишны, которая объявила, что барышнъ давно пора кушать. Бармитинова очнулась какъ отъ глубокаго сна.

Д. Мордовцевъ.

(Продолжение будеть)

B come yes and as y was B

изъ гейне.

where he are not contained and the contained and

parties awayees done you to the a region of against

Во тьм'в ночной, съ подругой милой, Мы мчались волей ярыхъ волнъ, И буря выла съ страшной силой, Кидая бъшено нашъ чолнъ.

И острововъ мы повстрѣчали, Проглянулъ мѣсяцъ золотой; Тамъ будто съ берега насъ звали И голосъ слышался родной.

Душа рвалась туда... Но вскор'в Исчезъ изъ виду острововъ, И буря насъ кружила въ мор'в, И быль ужъ онъ далекъ, далекъ....

Александръ Пушистый.

YY'L

Наступившій затімъ вечеръ засталъ Бармитинову все въ томъ же нравственномъ состояніи, въ какомъ она находилась весь этотъ день. Къ разнообразнымъ внечатлічніямъ, которыя какъ бы давили ее своею тяжестью весь день, прибавилось еще какое-то ощущеніе боли въ сердці, точно она чувствовала, что вмісті съ сумасшедшимъ Канадівнымъ и она летаетъ надъ землею и боится упасть въ пропасть; точно она въ самомъ ділі слышитъ, какъ люди стонутъ въ неволі и какъ на ихъ закованныхъ и потертыхъ до кости ногахъ трется жельзо объ желізо. Она чувствовала, что нервы ея сильно возбуждены чтепіемъ, но она все-таку хотіла продолжать это чтеніе.

Кузьминишна, видя ея задумчивость, увивалась около нея, какъ около калъкъ перехожихъ, и съ старческой болтливостью, охая и вздыхая, пересказывала ей всв мудреныя истины и аскетическіе афоризмы, которые она узнала отъ нищихъ и на которые смотръла, какъ на вдохновение свыше. Но Бармитпнова пе слушала ее. Болъзненныя бредни сумасшедшаго возбуждали въ ея умъ цълый рязъ вопросовъ такого безотраднаго свойства, что весь міръ казался ей поставленнымъ въ безвыходное положение, изъ котораго не могъ вывести его ни умъ человъческій, ни наука, ни вся колективная тъятельность человъчества. Ен личное страданіе исчезло, какъ капли въ моръ, въ страданіяхъ миліоновъ такихъ же какъ она существъ, и думающихъ честио и чувствующихъ глубоко, но при всемъ томъ, хотя эта капля ея личныхъ страданій тонула въ морѣ страданій массъ, ей не было легче отъ того и она болъла сердцемъ и за себя, и за эти массы. Ей казалось, что все человъчество въ различной степени страдаетъ органическимъ недостаткомъ, который мъщаетъ ему быть счастливымъ, мало того - мъщаетъ ему быть сытымъ и одътымъ, огражденнымъ отъ обидъ и оскорбленій. Или мало пищи даетъ земля, что не всъ люди на ней могутъ быть сыты? думалось ей. Гдъ же тъ завоеванія ума человъческого, которыми такъ гордится человъкъ девятнадцатаго въка, когда въ этомъ девятнадцатомъ въкъ такъ же трудно достается человъку кусокъ хлъба, какъ онъ доставался и въ десятомъ? Что же дълала наука, гордая своими побъдами, когда она не могла завоевать человъку право ъсть, когда онъ хочетъ?

Эти вопросы вызвали передъ ней образъ Стожарова, который, казалось, говорилъ: «Подлое, подлое человъчество! Какое оно имъетъ право ъсть, когда одна половина его бъетси изъ-за куска хлъба и не можетъ добыть его? Какое оно имъетъ право быть счастливымъ, когда въ средъ его есть несчастные? Какое имъетъ право Европа ходить безъ цъпей, когда она не могла или не хотъла снять цъпи съ ногъ болгарина или серба, когда въ ен глазахъ продолжаетъ свиръпствовать блудный турокъ и на Дунаъ, и на Кандіи, и продолжаетъ ковать цъпи и на серба, и на грека»?

И жаль ей стало этого Стожарова, какъ и всёхъ тёхъ, которме, жертвуя своимъ личнымъ счастьемъ, покоемъ и довольствомъ для счастья, покоя и довольства другехъ, бъются во имя идеи добра и правды, а добро и правда все въ загонѣ, и счастье человѣческое по прежнему продолжаетъ быть философскимъ камнемъ, только одпому представляется оно въ видѣ куска хлѣба, другому— въ видѣ безнедоимочной уплаты податей, третьему—въ видѣ отсутствія турецъкаго пасилія. И жаль ей было и себя, и всѣхъ «людей безсонныхъ», какъ ихъ называетъ Хомяковъ, которые всю жизнь свою и всѣ свои радости убиваютъ на отысканіе философскаго камня, а философскій камень все не отыскань, и для многихъ все продолжаетъ оставаться педосягаемымъ то кусокъ хлѣба, то безнедовмочная уплата податей, то отсутствіе турецкаго насилія, хоть эти же «безсонные люди» дали человѣчеству и желѣзныя дороги, и телеграфы, и нарѣзныя пушки, да только не дали—ни достаточно хлѣба, ни достаточно свободы.

Между тёмъ, какъ ни старалась она засленить свое личное горе размашистою, грубо набросанною ся воображеніемъ картиною общечеловъческаго горя, личное брало верхъ надъ общимъ, субъективное побъждало объективное, свои собственныя слезы оказались горче слезъ славянскихъ и греческихъ, и эти слезы заканали сквозь бълые, длинные пальцы, которыми дъвушка, наклонившись падъ столомъ, закрыла свое печальное лице. Бармитинова плакала... Ей вспомнилось вя дътство, годы ученья, первыя наслажденія развивающейся и окръцающей мысли, нервое ознакомленіе съ произведеніями ума человъ-

ческаго и, наконець, знакомство съ Стожаровымъ. Вспоминлась ей его суровая, жесткая фраза о женщинь: «я презпраю женщину, потому что она не помогаетъ мужчинъ бороться противъ золъ, которыми заполонено человъчество... Женщина — это въчный торгашъ на рынкъ невольниковъ: или набиваетъ на себя цъну и продаетъ себя пока молода, пли продаетъ на этомъ же рынкъ болъе молодыхъ женщинъ, когда сама состаръется...» И горько плакалось ей при восноминании объ этой жестокой фразъ молодаго-ригориста. Ей казалось, что онъ и теперь презираетъ женщину за ся отсталость, за ея пошлость, за пепродуктивность им ея мысли, ин ея безполезныхъ рукъ. Ей страшно было, что онъ и ее презираетъ вмъстъ съ прочими, оттого и уъхалъ отъ нея для какихъ-то земскихъ дълъ.

И горячія слезы пробивались скнозь ен бълые, длинные пальцы и падали на столь, за которымь въ доследніе два года такъ много и думалось и плакалось. Все тело ен вздрагивало отъ этого плача безотраднаго, а губы шентали: «гдъ же выходъ? гдъ же счастье? гдъ спасенье для женщины, когда ее и изъ спальной выгоняють, какъ наложницу, въ которой не нуждаются?..»

Въ это время въ сѣняхъ послышались шаги, и голосъ, который дѣвушка узнала бы въ сотив другихъ голосовъ, спросилъ:

- Можно взойдти?
- Можно, можно, быстро отвъчала она, подпиман голову и стараясь, конечно тщетно, уничтожить на вспыхнувшемъ лицъ слъды слезъ.

То быль голось Стожарова. Въ одно мгновенье на порогѣ покавалась его точеная голова.

- Я являюсь, чтобы дать вамъ отчетъ въ моихъ наблюденіяхъ надъ земскими школами, говориять онъ, вы одит умфли повести дъло хорошо, а въ другихъ мъстахъ земскія школы адугь хуже, чтмъ худо.
- Я очень рада, сказала Бармитинова весело, но старалсь такъ стать къ свъту, чтобы Стожаровъ не видълъ ел заплаканнаго лица и покрасиъвшихъ глазъ.

Но Стожаровъ увидълъ...

- Что это? сказалъ онъ ласково, держа дъвушку ва руку, -- ве-

ликій Песталоцци плачеть? Что съ вами? Объ чемъ плачетъ великій Песталоцци?

- Нътъ, отвъчала дъвушка, пряча глаза, это плачетъ не Песталоцци, а повая женщина.
- Нован женщина... прекрасно сказано; вы, двйствительно, нован женщина, какихъ у пасъ еще мало... Я къ неновымъ женщинамъ присмотрълся... брръ!.. Но объ чемъ вы плачете! Такія женщины, какъ вы, не плачутъ по пустому, и не розовое платье съ бантиками выдавило эти слезы изъ вашихъ глазъ, а что нибудь очень ъдкое, отчего въроятно и мужчина заплачетъ... Что же такое?

Бармитинова не находила отвъта. Ей было и стыдно и радостно. Добрый голосъ Стожарова звучалъ точно голосъ старой няни, которая когда-то такъ любила маленькую Варю и которая своей лаской вызывала у Вари такія обильныя слезы, но только не жгучія, не горькія слезы, а такія, послії которыхъ такъ сладко спалось и такъ весело было потомъ проснуться. И турецкія цізни на погахъ у грековъ, и німецкій ошейникъ на славянахъ, и человіческое безхлібье, и тоскующая пізсия Медо-Пучича, которую слышалъ безумный Канадъевъ, и замогильный стонъ Коллара—все это прозвучало въ добромъ голосъ Стожарова, но уже не вызывало въ сердції дівнушки такъ болей, а только вызвало новыя обильныя слезы, какъ вызывала ихъ когда-то ласка няни.... Дівнушка опять заплакала и опять закрыла глаза длинными, бізлыми пальцами. У Стожарова и сердце и голосъ какъ будто упали...

— Варвара Григорьевна! Варенька! что съ вами, говорилъ онъ упавшимъ голосомъ, — объ чемъ эти слезы?

Аввушка продолжала плакать.

- Или я долженъ уйдти? спрашивалъ Стожаровъ въ недоумъніи.
- Нътъ, нътъ, говорила дъвушка, это... ничего... это... нервы... женщина плачетъ... Въдь и новыя женщины умъютъ плакать такъ же, какъ неновыя...

Она силилась улыбнуться. Она отняла руки отъ лица, взглянула въ лице Стожарова, который стояль блёдный и безмолвный, и оцять заплакала.

 Но смѣю ли я спрашивать о причинѣ этихъ слезъ? говорилъ Стожаровъ какъ-то растеранно.

- Смъсте... Я вамъ сама скажу... Дайте только выплакаться...
- Но я не хочу, чтобъ вы плакали... Я не могу видёть вашихъ слезъ-онё падаютъ мий на совёсть... на мозгъ...
- Вы въ нихъ не виноваты... Виновата мать, которал родила меня, виновата голова моя, научившаяся думать, виновато все, но не вы.

Говоря это, она подошла къ нему и взяла его за объ руки...

- Тогда я не умѣла $ma\kappa z$ плакать, какъ теперь плачу, когда еще не знала васъ, говорила она, но тогда я не умѣла и думать $ma\kappa z$, какъ теперь, и $ma\kappa z$ чувствовать.
 - Объ чемъ же вы плакали, говорите миъ.
- Я плакала... обо всема.... Иначе я не ум'яю выразиться.
- Я понимаю васъ, сказалъ Стожаровъ, —и я когда то плакалъ обо всемь, когда былъ моложе.... Я плакалъ, когда думалъ, что есть голодные на свътъ, плакалъ и тогда, когда слышалъ какъ цъпи звенятъ у кого либо на ногахъ, однимъ словомъ плакалъ оттого, что, какъ говорятъ поэты, весь міръ хотълъ обиять, накормить, напоять, одъть и осчастливить.
- A теперь? спросила Бармитинова съ лукавой улыбкой, махая платкомъ на свое заплаканное лице.
- Теперь?.. Теперь у меня нервы стали разумиве и живутъ въ ладу съ мозгомъ.... Теперь я не плачу, сказалъ Стожаровъ задумиво.
 - И міръ не хотите обнимать?
- Нътъ, въ немъ слишкомъ мпого дураковъ и негодяевъ, и потому я съ цълымъ міромъ ужъ не обнимаюсь, боясь обнять и негодяя, и того, кому не нужны мои объятья.
- Такъ вы зачерствъли?
- Зачерствѣлъ... Теперь, когда я вижу голоднаго, я просто даю ему кусокъ хлѣба, а на цѣни я поливаю кислоты, чтобъ желѣзо скорѣй ржавѣло и распадалось.
 - А когда видите слезы, вотъ какъ мои, напримъръ?
- Я узнаю причину слезъ, и, смотря по обстоятельствамъ, дъйствую, но не плачу... А вы часто плачете? вдругъ спросилъ онъ, глядя прямо въ глаза дъвушкъ.
 - Иногда плачу.

- И обо миж плакали?
- Плакала.
- Когда? Въ началѣ нашей разлуки, или послѣ?
- И въ началъ плакала, и послъ плакала.
- И вамъ не стыдно это говорить миъ?
- Не стыпно.
- Вы меня любите?
- Люблю.
- И больше никого не любили?
- Никого.
- Почему же?
- Потому что считаю подлостью мѣнять чувства, какъ и убѣжленія.
 - Отлично. Экзаменъ конченъ. Я вамъ ставлю пять съ плюсомъ.
- Очень вамъ благодарна, господинъ профессоръ, сказала дѣвушка, ласково глядя на Стожарова; — но позвольте и васъ проэкзаменовать. Я не признаю превосходства мужчины передъ женщиной. и должна узнать, стоите ли вы того, чтобы экзаменовать меня.
- Узнавайте, сказалъ Стожаровъ и наклонилъ голову въ знакъ покорности.
 - Вы обо миж плакали? спросила Бармитинова.
 - Плакалъ.

Дъвушка вспыхнула.

- И не хотъли придти ко мнъ? спросила она, между тъмъ какъ голосъ ея начиналъ обрываться.
 - Хотълъ, но не позволялъ себъ.
 - И вамъ не стыдно говорить, что вы плакали обо мнъ?
- Теперь не стыдно, потому что теперь я не плачу, а тогда не было стыдно потому, что плакалъ.
 - И вы любите меня?
 - Люблю.
 - И никого больше меня не любили?
 - Нътъ, любилъ и люблю.

Румянецъ мгновенно сбъжалъ съ лица дъвушки.

- Кого же? спросила она чуть слышно.

- Дъло, которому я отдалъ всю мою жизнь, я которому хочу отдать все, что есть у меня самаго дорогато.
- Что же это такое, что для васъ дороже всего, кромъ дъла?
 спросида она
- Вы... Въ васъ я нашелъ доказательство того, что я не ошибался въ женщинъ: она еще можетъ встать и выйдти изъ униженія.
- Такъ вы меня хотите бросить въ воду, какъ тотъ сумасшедшій царь, который бросилъ перстепь въ море, или какъ Стенька Разинъ, который бросилъ въ Волгу свою возлюбленную? спросила Бармитинова весело.
- Нътъ, я брошу васъ въ пасть чудовища, какъ иткогда бросили въ мере пророка Гону, и, какъ онъ, вы выйдете изъ пасти чудовища невредимою, и какъ онъ, станете провозвъстникомъ начала новой жизни для женщины.
- Какое же это чудовище? спросила дѣвушка съ любопытствомъ, ужъ конечно не китъ?
- Не витъ, но стращите вита... Вы его видъли, но испугались, потому что меня не было съ вами .. А виъстъ со мной вы пе испугаетесь этого чудовища.
- Я начинаю догадываться, сказала она, и яркая краска опять разлилась по ея лицу.

Стожаровъ, который въ началѣ этого разговора сѣлъ на диванъ рядемъ съ дѣвушкой, снова всталъ и началъ ходить большими шагами по комнатѣ и по видимому не обращалъ пикакого вниманія ни на картины, которыя висѣли по стѣпамъ, ни на письменный столъ, на которомъ лежали книги и разныя бездѣлушки, украшающія письменный столъ женщины (женскихъ письменныхъ столовъ такъ же мало на свѣтѣ, какъ мужскихъ корсетовъ), ни на ройяль, на которомъ лежали развернутыя ноты, ни на самую обитательницу этой комнаты. Между тѣмъ Бармитинова слѣдила за нимъ глазами, но не прерывала его молчанья.

 Хотите ли вы быть моей женой? вдругъ спросилъ онъ, останавливаясь передъ дъвушкой.

Опа ничего не отвъчала, только грудь ея сильно подпималась; опа сама слышала какъ билось ея сердце такъ сильно, что, казалось ей, и онъ могъ слышать это біенье.

- Хотите ли вы раздълить со мною жизнь? снова спросиль онъ.
- Не знаю... Можетъ быть, я не имъю на это правъ, отвъчала она медленно, не поднимая головы.
 - Отчего же? спросиль онъ тревожно.
- Я сомнъваюсь, имъю ли я право быть счастливой, когда другіе несчастливы... Не будеть ли это нодло, говорила она съ разстановкой.

Стожаровъ подошелъ въ ней и взялъ ее за руку.

- Тотъ, кто носилъ въ сердцё и въ мысли десять лётъ эти слова, кто по словамъ этимъ расположилъ всю свою жизнь имъетъ право быть счастливымъ, сказалъ онъ серьезно, но ласково, такъ вы пойдете со мной куда я васъ поведу?
- Пойду, хоть въ пасть чудовища... Если я шла за вами десять лётъ не видя васъ, то съ вами виёстё я пойду безстрашно, и уже не буду плакать, сказала она стыдливо.
 - И будете номогать мић, будете работать со мной?
- Буду... Я уже забыла свое барство, и умѣю быть усерднымъ работникомъ.
 - Наше дёло будеть новое... не легкое, сказаль Стожаровъ.
 - Я готова на все... Какое же это новое дъло? спросила она.
 - Я васъ познакомлю съ нимъ, но только не теперь.
- -- Отчего же? я хочу теперь знать, говорила она настойчиво, -- говорите мив, какое это дёло?
- Вы знакомы съ главными стремленіями современнаго общества? Знасте соціальныя доктрины?
- Кажется знаю, отвъчала она задумчиво, знаю и то, что эти порыванья современнаго общества все еще не дали ему ни счастья, ни покоя, ни обезпеченнаго куска хлъба, ни свободы.
- Къ сожалънью, правда, сказалъ онъ грустно, но люди искали счастья не тамъ, гдъ его нужно искать.
 - И вы его искали? спросила она.
- Искалъ... И въ Европъ искалъ, и въ Россіи искалъ... Шатался я вездъ, все испытывалъ, ко всему присматривался, былъ я и членомъ рабочихъ асоціацій въ западной Европъ, былъ и въ средъ людей, которые считаютъ кровавыя революціи единственнымъ путемъ къ обновленію застоявшагося и вреднаго порядка вещей....

Жилъ и въ русскихъ комунахъ. Но все это не то, что нужно человъчеству: все это — напрасныя порыванья къ несознанному идеалу. Комуна, какова она у насъ въ Россіи, годится только для бъднякастудента, для гимназиста, для бъдной, желающей работать, а не продавать свое тъло, дъвушки-гимназистки, учительницы, сигналистки, телеграфистки. Она годна, пожалуй, и для горемыки чиновника, но это — не народная форма общины и народъ ее не пойметь. Вы хорошо помните романъ Чернышевскаго «Что дълать»? спросилъ вдругъ Стожаровъ, какъ бы вспоминая что-то.

- Да, помию... Этотъ романъ многихъ дѣвушекъ спасъ отъ паденія и, мив кажется, неправы тѣ, которые считаютъ его безправственнымъ, отвѣчала она, — весь выводъ его — похвала труду, и если другіе вывели дурное заключеніе изъ чтенія этого романа и погибли, какъ стараются это доказать противники Чернышевскаго, такъ это потому, что эти другіе — глупы, и погибли бы, еслибъ даже и не читэли Чернышевскаго.
 - Это ваше миѣніе?
- Да, мое... Я сама училась жить и думать по «Что дъдать», и, какъ видите, не пошла «дорогой обычною».
- Я согласенъ съ вами, сказалъ Стожаровъ, но, признаюсь вамъ, я заглянулъ дальше той черты, гдъ кончается ученіе Чернышевскаго, и нахожу, что пдеалы его узки и односторонии... Онъ очертилъ для своихъ идеаловъ очень ограниченный кружокъ и доктрины его, въ примъненіи къ жизни, не пошли дальше устройства магазиновъ и швейныхъ. Такіе магазины я видълъ, и всъ они очень неудачно вели свои дъла и—лопнули.
- Отчего же?
- Оттого, что устройство этихъ магазиновъ сочинено въ кабинетъ, а не взято изъ жизии... Надо было дъйствительно потсреться по швейнымъ, да видъть всю изпанку этого дъла, чтобъ создавать рабочія асоціаціи для женщинъ... Да притомъ—не модные магазины нужны русскому народу... Я знаю что ему нужно, и мы съ вами начнемъ это дъло.
- А если и вы также увлекаетесь, какъ увлекался Чернышевскай? Что если и ваши идеалы, какъ идеалы Чернышевскаго, черезъ иять лътъ окажутся и устарълыми, и узкими, и однобокими? Да и

можете ли вы безопасно проводить въ народъ ваши новыя доктрины, которыхъ и, признаюсь, не понимаю еще? Что если васъ, какъ подстрекателя парода и подозрительнаго господина, схватитъ нашъ варгунинскій становой, претендентъ на мою руку и сердце? спращивала Бармитинова.

- Э! не говорите мий этого! Не относитесь такъ легко къ тому, что выстрадаль и годами тажелых сомийній, годами мучительной борьбы и съ людскою глупостью, и съ людскою злобою, говорилъ онъ, по видимому, глубоко огорченный ен недовіріємь; не заговоры и составляю и не революцій ищу я, потому что и то, и другое считаю непростительными ошибками людей .. А! какое подлое, звітриное ученіе, которому такъ долго вітрили люди девятнадцатаго віка!
 - Какое ученіе? спросила она, —какое звъриное ученіе?
- Развѣ вы не знаете? сказалъ онъ, и глаза его засверкали, говорятъ, что только то зданіе прочно, цементъ котораго замѣшанъ кровью человѣческой. Развѣ это не звѣриная доктрина? Звѣриная! положительно звѣриная! Моя доктрина инаго рода: все, что забрызгано человѣческой кровью—погибнетъ безслѣдно. Все, что сдѣлано тайно, заговоромъ подло. Заговоръ—даже противъ моихъ злѣйшихъ враговъ, даже противъ враговъ человѣчества подлость, воровство. Вѣдь вы не рѣшитесь украсть у человѣча ничего, даже той вещи, которую онъ укралъ у васъ? несогласитесь?
- Да, не соглашусь... Я скоръе обличу вора, а не перекраду украденнаго.
- Такъ говоритъ и моя доктрина; и я готовъ проиовъдывать ее и на площадяхъ, и въ церкви, и меня не сочтутъ ни подстрекателемъ народа, ни заговорщикомъ, говорилъ Стожаровъ съ болъе и болъе возрастающею силою.
- Ахъ, Григорій Борисовичъ! возражала дівушка, я не сомиївваюсь въ честности вашихъ доктринъ; но ..
- Что же по? Доканчивайте, не мучьте меня! говориль Стожаровъ съ какою-то неудержимею страстностью въ голосъ Для меня это вопросъ жизни и смерти... Неужели отъ васъ я встръчу то же возмутительное возраженіе, которое бросали мить въ глаза брюссельскіе коноводы рабочихъ асоціацій: «вы идете дальше отца Анфан—

тена, но упадете ближе его». . Проклятое возражение! Говорите же вы. досказывайте, что кроется подъ кашимъ по?

- Усновойтесь, ножалуйста, Григорій Борисовичь! говорила дѣвушка ласково, взявъ его за руку. — не волнуйтесь, не падайте духомъ... Я не скажу вамъ того, что вы слышали отъ брюссельсвихъ воноводовъ... Я рѣшаюсь только спросить васъ: увѣрены ли вы, что ваши честныя доктрины, ложно понятыя массою, не сдѣлаются чѣмъ-то въ родѣ палицы Перуна, которою глупые новгородцы сами себа убяваля?
- Но помилуйте вы меня! отвёчалъ Стожаровъ съ тёмъ же увлеченіемъ, мои доктрины слишкомъ просты, чтобъ ихъ можно было перетолковать... Я хочу только, чтобъ у всёхъ былъ кусокъ хлёба... Что-жъ тутъ непонятлаго?
 - Да, это понятио. Но какъ это савлать?
- Я хочу доказать и докажу, продолжаль онь, не слушая возраженія. что прим'яненіе людьми дарвиновской теоріи о пожираніи мелкихь особей крупными такъ же возмутительно, какъ пропов'ядыванье людойдства въ Европ'я... Понятно вамъ это?
 - Понятно, однако...
- Я хочу, продолжаль онъ. чтобы результаты, добытые наукою и кровью миліоновъ людей, не обращались на головы этихъ же бъдныхъ людей...
- Я слушаю васъ, я не возражаю вамъ, говорила дъвушка покорно.
 - Ивтъ, вы говорите мив о палицв Неруна...
- Я сказала, можетъ быть, пеосторожно, потому что не знаювашего ученія; но вы можете быть увѣрены, что я съумѣю быть вашимъ прозелитомъ, какъ была имъ десять лѣтъ.
- Десять лѣтъ! сказалъ онъ въ накомъ-то раздумьѣ; въ ати десять лѣтъ тяжелой, внутренней борьбы и тяжелыми муками сердца и выстрадалъ мои настоящія вѣрованія.. Цесять лѣтъ я, буквально бродилъ но міру, вынскивалъ, не найду ли уголка, гдѣ бы человѣку жилось хорошо, гдѣ бы рядомъ съ развратомъ избытка не томился голодомъ и неизвѣстностью о завтрашнемъ днѣ горемыка-пролетарій, гдѣ бы спла не давила все слабое и беззащитное, гдѣ бы не лились слезы забитаго и загнаннаго. Въ десять лѣтъ я иско-

леснять всю Россію и всю Европу, выискивая этого счастливаго уголка, и не нашелъ его. Десять лътъ я изучалъ всъ соціальныя теоріи, вей трактаты честныхъ тружениковъ человічества о возможности лучшаго устройства человъческихъ обществъ, изучалъ я всевозможныя системы экономистовъ, перебывалъ во всёхъ общинахъ западной Европы, во всёхъ асоціаціяхъ, приглядывался въ устройству артелей, жилъ и голодаль въ нашихъ петербургскихъ комунахъ.и отовсюду выносиль тяжелое убъждение въ томъ, что-или наука безполезно трудится надъ выработной истинной теоріи добыванія человъческого счастья, потому что счастье это - логическій абсурдъ, или земля слишкомъ тъсна и слишкомъ бъдна, чтобы накормить досыта живущихъ на ней людей и одъть дрожащее отъ холода тъло этихъ несчастныхъ. Но при такомъ страшномъ, унивительномъ для человъчества убъждении я не могъ долго оставаться: это было не убъжденіе, а ужась возможности такого убъжденія, и я отвергаль его всецвло и сердцемъ моимъ, и мыслыо моею... И я опять бродилъ но свъту, опять искалъ выхода, не для себя, а для тъхъ, для кого дъйствительно не было выхода изъ этого ада, который люди сами устроили себъ на землъ, которою они же распоряжаются.

Онъ замолчалъ и какъ бы забылъ, что говоритъ не самъ съ собой.

— И что жъ, нашли этотъ выходъ? спросила дъвушка тихо и робко.

Стожаровъ какъ бы очнулся отъ тяжелаго забытья и выпрямился.

- Какъ странно все это, сказалъ онъ, не отвъчая на вопросъ Бармитиновой.
- Что странно? спросила она, боясь даже этимъ вопросомъ встревожить своего собесъдника, потому что не могла не видъть той бользненной возбужденности, въ которой онъ находился.
- Странно, что нашему въку выпало на долю выносить на своихъ плечахъ ошибки нашихъ отцовъ и вытаскивать изъ пропасти всёхъ, кого эти ошибки толкнули въ эту пропасть, сказалъ опъ съ большимъ противъ прежняго спокойствіемъ. — Впрочемъ, что-жъ тутъ страннаго? Это такъ естественно, что человъкъ всегда хватается за больное мъсто. Въдь ужъ положительно невозможно, чтобы дъла продолжали идти дальше также скверно. какъ шли до сихъ поръ.

Всему есть мара. Мы должны во что бы то ин стало добиться, чтобы дела шли лучше.

Опъ снова остановился и задумался. Бармитинова не прерывала этого молчанія.

- Что это однако, сказаль онь вдругь спохватившись, —я пришель къ вамъ свататься, а между тъмъ говорю ръчь, которую приличите было бы сказать къ брюссельскимъ рабочимъ, моимъ старымъ пріятелямъ. Простите меня, добран Варвара Григорьевна: вы видите, что человъкъ, долго носившій въ себъ завѣтныя убъжденія, становится какимъ-то мономаномъ. Я думаю, я кажусь вамъ страннымъ?..
- Нътъ, отвъчала дъвушка съ полной откровенностью, такимъ я знала васъ давно и такимъ опять нашла, когда уже думала, что совсъмъ потеряла. Напротивъ, я рада, что вы все тоть же.
- Тотъ же! сказалъ Стожаровъ съ грустною улыбкою; вглядитесь въ мою голову, на ней слишкомъ много серебра... Эти десять лѣтъ прошли не даромъ. Скоро совсѣмъ побѣлѣетъ эта безнокойная, удалая головушка.
- Что-жъ, отвъчала дъвушка, вы будете еще красивъе... Впрочемъ, и меня время сильно задъло своимъ размашистымъ крыломъ. Развъ я прежиня? спрашивала она, стыдливо опуская глаза, въ которыхъ было свъта больше, чъмъ въ прежиее время.
- Прежняя... Только лучше прежней... Что-то глубокое, бездонное въ глазахъ, чего я теперь понить не умѣю... А прежде понималъ.
- Я вижу, старый студентъ льститъ... Развъ вы не видите, что я стала старою дъвой? сказала дъвушка весело.
 - А вамъ сколько теперь лёть? спросиль Стожаровъ.
- Дварцать пять.
- 0! такъ и передъ вами Манусанлъ.
- Да и я не моложе Сары.
- Однако мы женимся? спросиять вдругъ Стожаровъ, взявъ дъвушку за руку.
- Женимся, отвъчала дъвушка, довърчиво глядя ему въ глаза.
 - Когда же?

- Ахъ, да! вдругъ спохватилась она, а что же будетъ съ моей школой, что будетъ съ моими Телемаками?
- О Телемакахъ мы поговоримъ посяъ... Теперь весь вопросъ въ Пенелопъ и въ Одиссеъ: Одиссей воротился къ своей Пенелопъ и она можетъ на время отложить окончание своей ткани.
- Но мит такъ жаль будетъ разстаться со школой, гдт и думалось такъ много, и плакалось много.
- Я вамъ дамъ другую школу, вийсто свадебной корзинки, сказалъ Стожаровъ, — можете тамъ думать сколько угодно, но только не плакать.
 - Гдъ же эта школа?
 - Въ новомъ государствъ, которое мы съ вами должны основать.
- Какъ! новое государство? И мы будемъ въ немъ Ромуломъ и Ремомъ?
- Нътъ, мы скоръе будемъ волчицей, которая воспитаетъ наше новое государство.
 - А варвары не разрушатъ наше государство?
- Нѣтъ, мы просвѣтимъ всѣхъ варваровъ, и они станутъ наними союзниками.

Бармитиновой и радостно и грустно было слушать эти ръчи человъка, памяти о которомъ она не измъняла въ течение десяти лътъ, которому посвящены были лучшія движенія ея сердца, самыя высокія и благородныя побужденія ен ума, котораго она любила, наконецъ, тъмъ сосредоточените, чъмъ болъе сосредоточивалась въ себъ самой, чёмъ поливе было ея самозаключение и отчуждение отъ всёхъ радостей жизни, хотя неръдко пошлыхъ и недостойныхъ человъка, но все же пополняющихъ и пустоту времени, и пустоту сердца. А ея сердце и ея мысль были полны только имъ, памятью о немъ и завъщаннымъ имъ дъломъ. И вотъ, послъ десяти-лътней разлуки, онъ остается все тъмъ же холоднымъ и сдержаннымъ и, какъ тогда, у него на первомъ планъ его фантазіи, а не она, не ея привязанность. Хоть бы одно ласковое слово, хоть бы одно сердечное движеніе - для нея собственно, а не для какого-то призрака, которымъ онъ жилъ целыя десять летъ... Какой-то червякъ возился въ ея сердцъ...

- Вы какъ понали сюда, въ эту глушь? спросила она, взгля-

нувъ ему въ глаза, какъ бы разсъянно переноси свой взглядъ отъ одного угла компаты до другаго и на дорогъ печалино встръчая два глаза Стожарова. — Вы кого собственно искали — меня, или хорошую земскую школу?

- Хорошую земскую школу, а не васъ, отвъчаль опъ серьезно, желая ноймать на дорогъ взглядъ дъвушки, скользиувшій по его лицу какимъ-то будто холоднымъ свътомъ и вновь убъжавшій вдаль.
- И случайно паткнулись на меня? спросила она, продолжая прятать глаза, боясь, чтобы Стожаровъ въ глубинъ ихъ не прочиталъ что-либо недозволенное для него.
- Нѣтъ, не случайно, отвѣчалъ онъ, меня привела къ вамъ водшебница Медея.
- Но въдь я не овца, господинъ Язонъ, возразила она и вскинула на него свои большіе глаза, —на мит нътъ золотой шерсти.
 - А все же меня привела къ вамъ волшебница Медея.
- Гдѣ вы ее встрѣтили?
- Въ разныхъ русскихъ газетахъ... Она теперь вооружена перомъ и сторожитъ сокровища русскаго народа, а безобразныя чудовища прокалываетъ этимъ орудіемъ насквозь. Она и на васъ миѣ указала перомъ.
 - Какъ на чудовище?
- Нътъ, какъ на золотое рупо, отвъчалъ Стожаровъ, вскидывая головой, какъ бы на ней были больше волосы.
- -- Я не понимаю васъ, сказала дѣвушка, опять задумывансь; -- вы говорите загадками, точно сивилла.
- -- Что-жъ дѣлать! Привыкъ къ этому языку по независиция в отъ редакціи обстоятельствамъ, замѣтилъ онъ съ улыбкою.
- Кто же эта Медея—я все-таки не понимаю, сказала дѣвушка почти съ раздраженіемъ.
- Современное ен имя— «благодѣтельная гласность», отвѣчалъ Стожаровъ; эта госпожа повъдала, что въ Варгунахъ есть золотое руно это ваша земская школа и вы, я и пріѣхалъ взглянуть на школу и на васъ. А не будь въ Варгунахъ образцовой земской школы. Язонъ и не пріѣхалъ бы въ эту Колхиду.
- -- И ко мит не прітхали бы? спросила дтвушва, стараясь сдержать дыханіе.

- И къ вамъ не прівхаль бы, потому что не будь вы тімь, что вы теперь, вы были бы обыкновенною «барышнею», какими хоть прудъ пруди, какими у насъ, какъ гатью, запружено всякое движеніе мысли и общественнаго развитія, а къ такой барыший а бы не пойхаль.
- То было бы ужъ, конечно, не золотое руно? спросила дѣвушка, и глаза ел перенеслись изъ угла на серьезное лице Стожарова и какъ бы принесли изъ этого угла теплые лучи свѣта и бросили ихъ на темный обликъ Стожарова и на его точеную голову.
- Нѣтъ, то была бы просто... паршивая овца, сказалъ онъ съ усиліемъ.

Дъвушка засмъялась и блъдное лице ея освътилось, какъ будто на него навели маленькій рефракторъ.

Стожаровъ оглянулся и увидълъ, какъ черезъ порогъ переступала Кузьминишиа съ чайнымъ приборомъ и набожно шептала, но такъ, что шопотъ ея былъ слышенъ: «о-о-хо-хо! кабы-то старыя времена воротились, може-бъ такихъ божьихъ людей поболѣ было, а то ишь ты на! новыя все времена, пусто бы имъ было!..»

Кузьминишна была большая меломанка и калъки перехожіе своимъ иъньемъ растревожили ея старчески дремавшіе нервы на цълый день.

XVII.

Стовтъ тихое, теплое, ясное сентябрьское утро, какія бываютъ только въ началѣ осени, когда, послѣ нѣсколькихъ смурыхъ дней, солнце какъ бы само радуется, что ему удалось еще хоть разъ выглянуть изъ-за сѣрыхъ сплошныхъ тучъ на землю и посмотрѣть еще хоть разъ и на увядающую, чахнущую зелень, которую опо когдато растило, лелѣяло, да только все-таки не уберегло отъ старости, и на людей, которые копошатся на землѣ со своими радостями и печалями, со своими нуждами и заботами, со своими маленькими человѣческими грѣшками и такими же меленькими человѣческими добродѣтельками,—посмотрѣть и на эту Волгу, кому матушку родимую, кому мачиху сварливую, съ ея желтыми берегами и

сыпучими несками, съ ся тальникомъ, ветлинивомъ и осинивкомъ, что дрожитъ какъ сердце пугливое, —-посмотрѣть и на степь шировую, размашистую, надъ которой когда-то плавэлъ лупь сивый, расправлян свои широкія крылья, въ видѣ креста надмогильнаго.

Радостио бываетъ людимъ въ такой полультий, полуосений день, хоти и самое чувство радости выражается въ такіе дни какъ-то неопредъленно, незаконченно, и радость эта какъ бы не въ силахъ подавить другое чувство, съ такими неопредъленными и незаконченными ощущеними, за которыми могутъ брызнуть слезы.

На варгупинской пристани опять стоить пароходь, отправляющійся вверхъ по Волгѣ, и своимъ присутствіемъ оживляетъ и пристань, и весь прилежащій къ ней берегъ. Видно, что приходъ парохода разбудилъ мирно и тихо работавшій человѣческій муравейникъ, и люди спѣшатъ жить, торопятся ускорить біеніе пульса и сердца, чтобы успѣть и нарадоваться, и пастрадаться, и въ волю потомъ паплакаться, когда всѣ эти лихорадочные дии останутся далеко назади, а пульсу и сердцу останется биться такъ недолго, чтобъ потомъ совсѣмъ замолкиуть.

Съ такими чувствами и мыслями стояла у самаго спуска къ пристани Бармитинова, кого-то поджидая, а около нея Марина, стоя на колъняхъ, поднимала съ земли камешки и бросала ихъ въ Волгу, приговаривая: «одна умная женщина броситъ въ воду камень, а десять глупыхъ мужчинъ бросятся за нимъ, чтобъ вытащитъ»...

Съ другой стороны къ пристани подходили Стожаровъ и Серпороевъ. У обоихъ было по пледу, по дорожному мѣшку и по зоитику. Серпороевъ спокойно смотрѣлъ на суетию пристани, тогда какъ на блъдномъ лицъ Стожарова отражалось какое-то не то грустное, не то раздражительное раздумье. Суетия этой пристани и все живое на ней и около нея представлялось исполненнымъ глубокаго, по безотраднаго смысла.

Родиая природа... Теплое, благотворное солице... Зеркальная поверхность Волги, отражающая глубокое, бирюзовое небо... Радостно плещущая на солнышкъ рыбка, наслаждающаяся жизнью (думалъ Стожаровъ, глядя куда-то вдаль, тогда какъ лице его первио подергивалось)... Ахъ, вы, художники! Все бы вамъ искуство для искуства... Все-то у васъ наслаждается жизнью... То-то наслаждается!..

Улыбка разцвътаетъ на всъхъ лицахъ подъ этимъ живительнымъ солнцемъ... Только разцвътаетъ!.. А вглядълись бы вы поближе во все это улыбающееся въ природъ, вдумались бы попристальнъе вашимъ размягченнымъ отъ идеализаціи мозгомъ въ смыслъ этой жизни-не то бы сказали... А они только и пишутъ про природу да любовь, да художественно очерчивають характеры, и эту развалившуюся избушку, и эту изрытую водоройнами и грязную до безобразія пристань изобразять художественно... Вонь и баба улыбается художественно, гармонично съ природой, протягивая руку съ булкой, чтобъ эту булку купилъ неосторожный пасажиръ: это нужда улыбается, битье изъ-за копъйки растягиваетъ мускулы лица въ художественную улыбку... Взявъ булку, насажиръ бросилъ бабъ пятакъ: надула баба пасажира, — надулъ пасажиръ бабу... Булка не стоитъ пятака, — пятакъ не стоитъ булки: бабу надулъ мучникъ-купецъ даль ей муки не за ту цёну, какой она стоила, бабу надуль печникъ, слъпивъ ей печь не за ту цъну, какой печь стоила, бабу надули на дровахъ, а баба надула пасажира своей булкой, а опъ надуль ее своимъ нятакомъ, потому что пятакъ этотъ не дасть бабъ того, чего бы она желала достать на пятакъ... Круговой обманъ, вынужденный этою улыбающеюся жизнью, подлость, узакопенная и этимъ благотворнымъ солнцемъ, и историческою необходимостью... Вонъ и носильщикъ спъшитъ жить, торопится ускорить біеніе пульса и сердца, и вотъ на свою потертую спину взвалилъ ящикъ, который способенъ раздавить его, еслибъ носильщика не поддерживала упругая энергія нужды, что вотъ-де, во что бы то пи стало надо на цёлую полтину въ день наломать себф бока, натрудыть спину, намозолить закорявъвшія руки... Вонъ и нищенка наслаждается жизнью, художественно испытываеть на себѣ благотворное вліяніе природы, пережевывая кусокъ черстваго калача, который ей дали христа-ради послѣ того, какъ кусокъ этотъ художественно испестрили мухи, наслаждаясь жизнью подъ лучами благотворнаго солнца... Вонъ и группа жиецовъ и косарей такъ живописно расположилась подъ обрывомъ, гдъ, пережевывая здоровыми челюстями ломти грубаго хлъба и запивая его водой изъ Волги, косари и жнецы боятся вполить утолять свой здоровый голодъ, чтобы не профсть заработанныхъ денегъ, которыми они должны утолить не менте здоровый голодъ оставшагося дома семейства... И благотворное солице нечетъ ихъ открытыя, запыленныя маковки, грубить и безъ того грубыя, коричнево-сърыя лица и грубыя, потертыя, какъ ихъ измочаленные лапти, здоровыя руки, желтить и безъ того желтыя, всклоченныя, художественно нечесанныя и шикогда не глаженныя бороды, которыя чешутся только буйными вътрами, да гладится иногда старостиными, такими же буйными, несутеричивыми руками. Вонъ и та молодуха, что воетъ словно собака выжлятникъ, принавъ безталанной головой къ полѣнинцѣ дровъ — тоже воетъ художественно и наслаждается жизнью, потому что жиецы сказали ей, что мужъ ся, ушедшій на заработки, косиль двинадцать день чужую нивушку, а на тринадцатый денекъ ему на той пивушкъ смертушка приключилася... Вопъ и рыбка радостно плещется на солнышкѣ, наслаждается жизнью, художественно выныряя на зеркальную поверхность Волги, тогда какъ эта рыбка, можетъ, три дия голодала, а теперь изо всъхъ рыбыку силокъ и со всею рыбьею смышленостью и хитростью хочеть поймать летающую надъ водой козявку, которая тоже другой денекъ голодаетъ, тогда какъ всего житія козявкина десять-нятнадцать денечковъ, а можетъ и менъе... Вонъ и бълоглазая галка наслаждается жизнью, отгоняя такую же какъ и она сама, только робкую и слабенькую, бълоглазую же галушку отъ кучки лошадинаго помета, освъщеннаго теплымъ солнышкомъ благодатнаго неба, и эта послъдняя, безталаниая галушка, оттертая отъ роскошнаго пира жизни, попрыгиваетъ на своихъ сухихъ костяныхъ пожкахъ вокругъ да около пирующаго богача-галки и такъ завистливо сметритъ на нее, точно хочеть выговорить своими маленькими костяными губками: «бываютъ же на свъть такія счастливицы, у которыхъ впереди цълый комъ лошадинаго помета, а у меня ни помета, ни сердечнаго покоя -- пичего, ничего кромъ нужды безотходной да горя нерасхлебнаго... Эхъ, какое обидное перавенство правъ и богатствъ, какал невыносимая тоска у меня на сердцѣ!...» Все-то бъется изъ-за куска хлъба, или изъ-за кома лошадинаго помета, и вездъ-то пужда какъ у человъка, такъ и у птицы, и вездъ-то трудъ непосильный, неблагодарный...

Такъ думадъ и чувствовалъ Стожаровъ, подходя съ своимъ товарищемъ къ пристани и видя въ сустив всего живаго свой собственный смыслъ и своеобразное, нерадостное значеніе... «Художники все! исихологи! ворчалъ про себя Стожаровъ: имъ бы только описать прелесть природы, изобразить микроскопическую тонину чувствъ и ощущеній, а нѣтъ чтобы посмотрѣть, что ѣстъ вонъ та рыжая борода и во что обошелся ему ломоть этого хлѣба, испеченнаго еще въ каменный періодъ и добытаго изъ земли съ такимъ же трудомъ, съ какимъ добываются только кемья золота въ Сибири... Эхъ, много же ты двинула человѣчество впередъ, паршивая наука»!.. Онъ самъ сознавалъ, что безобразно богохульствуетъ, браня науку, когда не она тутъ виновата, по не могъ удержаться, потому что умъ его былъ не въ мѣру возбужденъ излишнимъ анализомъ скорбныхъ явленій и упрямая голова готова была даже корить природу, зачѣмъ она не дастъ законовъ поумиће да помягче для человѣка.

— Вотъ идетъ противный сочинитель, сказала вдругъ Марина, замътивъ Стожарова и переставъ бросать въ Волгу камешки.

При этомъ имени Бармитинова встрепенулась и вытянулась, какъ будто по спинъ у нея провели копцомъ холоднаго желъза.

- Гдъ? спросила она.
- Вонъ на яру пыль поднимаетъ своими сапожищами, точно моя корова Запава Путятишна.
- Ты за что его не любишь, Марипочка? спросила Бармитинова, вглядываясь въ небрежную, нѣсколько сутуловатую фигуру Стожарова.
- За то, что онъ сочинитель, а всѣ сочинители хвастаются тѣмъ, что стоятъ за женщинъ, только женщинамъ отъ этого не легче.

me so no cole com

Какъ мячикъ, пущенный искусной рукой, скатился съ крутаго берега Кузя Ногинъ и очутился передъ Бармитиновой.

- Я, Варвара Григорьевна, равновъсіе и центростроительную силу училъ на заборъ, говорилъ онъ запыхавшись.
- Какъ на заборъ? спросила Бармитинова, не понимая что болтаетъ мальчикъ.
- На заборъ, Варвара Григорьевна... Я ходилъ по забору и нагибался, и центръ тяжести у меня измънялся.... Я только разъ уналъ.
 - Что-жъ, все понялъ?

- Все... Теперь я знаю отчего моя бабушка съ налкой ходитъ, говориять онъ весело.
- А .отчего, замѣтила шути Марина, чтобъ грозить тебѣ налкой когда ты шалишь.
- Нътъ, она гнется впередъ, и палкой подпираетъ центръ тяжести, а и пърдушка ходинъ безъ палки.

Къ пимъ приблизились Стожаровъ и Серпороевъ, изъ которыхъ первый вовсе не пылилъ погами подобно принадлежащей Мариит коровъ подъ именемъ Запавы Путятишны, а напротивъ, пылилъ Серпороевъ, который имѣлъ привычку ходить, какъ бы скользя ногами по паркету. Бармитинова, глядя на серьезное, хотя спокойное по паружности лице Стожарова, сдѣлалась еще грустиве, хотя силилась побъдить себя. Марина, видя ее грустиою, не скрывала уже своей непріязненности къ «противному сочинителю» и часто, безъ всякаго повода, отворачивалась отъ него, а иногда нетерпъливо и капризно подергивала плечомъ, какъ это дълаютъ избалованныя дѣти. Кузя Ногинъ подбѣжалъ къ нимъ, какъ къ давно знакомымъ, и заболталъ о томъ, что онъ «училъ равновъсіе на заборъ», что у его бабушки центръ тяжести не тамъ гдѣ у дѣдушки. Серпороева онъ схватилъ за пледъ и увѣрялъ, что это шаль, что такую шаль онъ видѣлъ на женѣ судебнаго слѣдователя.

- А сочинять меня научите, когда я прітду къ вамъ въ Петербургъ? приставалъ онъ къ Серпороеву.
 - Научу, отвъчалъ тотъ, забавлаясь живостью мальчика.
 - И книжки печатать научите?
 - Научу.
 - А какъ ихъ печатаютъ? А какъ сочиняютъ? и т. д.

Серпороевъ съ трудомъ могъ удовлетворить его неугомонное любопытство.

- А что выше—сочинитель или губернаторъ? спросилъ опъ наконецъ, такъ что Бармитинова принуждена быда сказать ему, чтобъ опъ пересталъ говорить глупости.
- А вамъ выпалъ хорошій день для дороги, зам'єтила она, обращаясь къ Стожарову.
- Да, Варвара Григорьевиа, отвъчалъ онъ! по какой то день выпадетъ на мой возвратъ сюда?

Она грустно улыбнулась. Марина капризно отвернулась и тихонько пробормотала: «у, противный»!..

- А вы въ Петербургъ? спросила Бармитинова Серпороева.
- Въ Петербургъ... Левціи ужъ. въроятно, пачались, а я тутъ заболтался въ поволжьъ, отвъчалъ онъ.

Стожаровъ, замѣтивъ, что Марипа поглядываетъ на него непріязненно, вздумалъ подразнить ее.

— А въ какомъ положеніи теперь женскій вопросъ? спросилъ онъ ее.

Марина вспыхнула. Глаза ея сверкнули и расширились, и она поглядъла на него какъ кошка, готовая броситься на воробья.

- А вашъ мужской вопросъ въ какомъ положеніи? отвъчала она вопросомъ, и при этомъ голосъ ел дрожалъ и губы дрожали.
- Такого вопроса нѣтъ, сказалъ Стожаровъ, есть только женскій.
- Такъ вамъ лучше знать въ какомъ онъ положении, возразила Марина, —вы его сами убивали.
 - Чемъ мы его убивали? спросиль Стожаровъ.
 - Вашими насмъшками... Это подло.

Серпороевъ съ удивленіемъ смотрёлъ на эту дёвушку, которую видёлъ въ первый разъ.

- Что-жъ, сказалъ онъ, обращаясь какъ бы къ Стожарову, когда нътъ мужскаго вопроса, такъ не должно быть и женскаго, въ противномъ случаъ это будетъ дико.
- По моему не дико, замѣтила Бармитинова, —есть вопросы разные —восточный, славянскій, которые слѣдуетъ рѣшить... Для мужчинъ ужъ все рѣшено, оттого и нѣтъ мужскаго вопроса, а въ вопросѣ о женщинахъ еще ничто не рѣшено: слѣдуетъ ли ихъ держать въ заперти и на цѣняхъ, какъ дикихъ звѣрей, или выпустить на свободу, дозволить ли имъ учиться, какъ дозволено крестьянскимъ мальчикамъ, или женщины не должны ничего знатъ, кромѣ спеціальности мытъ дѣтскія пеленки и штопать мужскіе чулки —все это вопросы... Имѣютъ ли право женщины стричь волосы и ходить безъ желѣзныхъ обручей, имѣютъ ли онѣ право не прокалывать ушей для серегъ и кто имъ дозволилъ не прокалывать носы свои, чтобъ вдѣ-

вать туда кольца, какія вдіваются медвідями и дикими женщинами, — все відь это вопросы, все это части великаго женскаго вопроса.

 Ахъ, Варя, какая ты умная! умнъе всъхъ мужчинъ, болтала радостно Марина и бросилась цъловать ее.

Кузя также сіять отъ радости, что его учительница такая умная. Съ нарохода кто-то кланялся Стожарову, но въ толив нельзя было различить кто это. Кузя. который видълъ лучше всёхъ, рёшилъ, что это тотъ богатый купецъ, у котораго красная куртка и «змёючіе глаза», какъ онъ выражался. Оказалось, что это былъ молодой Гридневъ.

- Чей товаръ! кричалъ суетливый бешметъ къ рыжей бородѣ, которая шла по берегу, впереди нагруженныхъ телѣгъ.
 - Гридневскій, отвічала рыжая борода.

Въ это время пароходный звонокъ быстро зазвенѣлъ, какъ бы захлебываясь отъ скорости. Бармитинова вся вздрогнула при этомъ звукъ и вопросительно посмотрѣла на Стожарова.

- Пойдемте на пароходъ, сказалъ Стожаровъ, а пначе мы можемъ опоздатъ... Пароходъ, какъ и исторія, не ждетъ тѣхъ. которые не поспѣваютъ.
- Не бойтесь, замътилъ шутя Серпороевъ, у насъ въ Россіи и пароходъ и исторія медленно посившаютъ... Тише вдешь....
 - Да! чертъ знаетъ когда добдешь, прервалъ его Стожаровъ.

На пароходѣ ихъ встрѣтилъ молодой Гридневъ, который отдавалъ разныя приказанія своимъ прикащикамъ и въ тоже время торговался съ капитаномъ другаго парохода, буксирнаго, относительно транспортираванія партіи пиненицы и сала къ петербургскому порту по послѣднему рейсу. Приказанія прикащикамъ опъ отдавалъ быстро, хотя тихимъ, ласковымъ голосомъ и какъ бы заикаясь, а письменные приказы давалъ па клочкахъ бумаги, которые тутъ же вырывалъ изъ своей записной книжки. Слышались—рубли, пуды, сало, пшеница, дорого. Балаково, Самара, Марсель, Лондопъ, переводъ, курсъ, варранты, коносаменты, лажъ, ажіотажъ, рубль на рубль...

- А вы все хлопочете о рубляхъ, сказалъ ему Стожаровъ, здороваясь какъ со старымъ знакомымъ.
- Да, о рубляхъ. о чемъ же больше? отвъчалъ Гридневъ. пересыпая изъ горсти въ горсть зерна пшеницы, которую ему показы-

валъ прикащивъ. — Кто о дълахъ земства, о народномъ образованіи, о свободъ, о счастьи человъчества, о Боклъ и Спенсеръ, — а мы о рубляхъ... Въ рубляхъ теперь все — и счастье человъчества, и Бокль, и Спенсеръ, и свобода, и народное образованіе, и земскія дъла... А пшеница не дурна, заключилъ онъ, обращаясь къ прикащику и высыпая ему горсть пшеницы на черствую ладонь. — А пансіонера-то моего вы ужъ пожалуйста не оставьте, Варвара Григорьевна, говорилъ онъ Бармитиновой, вторично съ ней раскланиваясь.

- Куда вы теперь? спросиль чего Серпороевь, которому Гридневь, какъ казалось, очень понравился трезвостью своей головы и разно образной кипучей дъятельностью.
- Въ Москву—Петербургъ, отвъчалъ тотъ, записывая что то въ своей внижвъ,—а оттуда заверну по дорогъ въ Гамбургъ, въ Амстердамъ, въ Лондонъ...
- По дорогѣ! воскликнулъ напыю Кузя Ногинъ, который тутъ же вертѣлся и вслушивался съ любопытствомъ во всякое слово. Развѣ Лондонъ по дорогѣ въ Москву? Лондонъ— столица Англіи, а Гамбургъ—вольный городъ...
 - Браво! сказалъ Серпороевъ, вотъ такъ земскій ученикъ.

Всё съ удивленіемъ и съ улыбкой посмотрёли на живаго мальчика, а Стожаровъ и Гридневъ молча поклонились Бармитиновой, которая вепыхнула и погрозила Кузё пальцемъ, но любовно и ласково. Марина вспыхнула еще больше Бармитиновой и проворчала себъ подъносъ: «ну ужъ, противные!..»

- У меня все по дорогѣ, мой милый, сказалъ Гридневъ Кузѣ, а потомъ, обращаясь къ Стожарову, добавилъ: мой старикъ ребячится не хочетъ имѣтъ прямыхъ спошеній съ лондонскими банкирами и заграничными торговыми домами, такъ я ѣду самъ устроить это дѣло.
 - Но въдь вы хотъли въ Нижній? замътилъ Серпороевъ.
 - Въ Нижнемъ я ужъ былъ нёсколько дией назадъ.

Пароходъ между тъмъ продолжалъ пополняться пасажирами все больше и больше. Разводимые пары шумъли все неистовъе, какъ будто шинъньемъ хотъли показать, что тъсно имъ подъ ярмомъ, ко-корое надълала на нихъ рука человъческая, что хочется имъ вырваться на свободу, которую отняли у нихъ люди для своихъ пуждъ,

а себъ все таки не добились свободы. -- Кузи приглидывался къ нарамъ и къ отверстію, изъ котораго они выходили, и казалось ему, что тамъ, внутри нарохода, тяжело дышетъ что-то живое, сильное, таниственное, что задыхается оно въ жаркихъ котлахъ и въ разгориченныхъ трубахъ, и жаль ему стало этой невидимой силы.

- —. Задыхается онъ тамъ, Варвара Григорьевна? спросилъ мальчикъ, подходя къ Бармитиновой и показывая на пароходиую трубу.
- Кто запыхается?
- Паръ задыхается... Ему нечёмъ дышать.

Бармитинова улыбнулась, но не внолий нонила мальчика. За то ноняла его Марина, которой тоже казалось и слышалось, что внутри нарохода сидить живое существо, и стонеть оно, и не стало у него въ груди воздуха для дыханья, и стало ей жаль этого скованнаго Прометея, и радовалась она, когда тонкая струя наровъ, съ шипомъ и свистомъ вырываясь на свободу, исчезала въ воздухѣ... «Вырвался, вырвался», думала Марина, и вздрагивала при мысли, что онъ «весь вырвется», и пароходъ взлетить на воздухъ. и она сама погибиетъ безслѣдно, и будетъ о ней плакать панаша... «Нѣтъ, не вырвется», думала она снова: «человъкъ хитръе его»...

- Тебѣ жаль его, Кузя? спрашивала она мальчика, показывая на трубу.
 - Жаль, барышия... Выпустить бы его, отвъчалъ мальчикъ. Они понимали другъ друга съ полелова.

Бармитинова, между тъмъ, думала свою думу. Не о парѣ думала она, не о томъ, что эту великую силу люди лишили свободы для своей свободы, запрягли въ желѣзный хомутъ, сковали желѣзными обручами, вдавили въ желѣзные котлы и гоняютъ изъ котла въ котелъ, изъ трубы въ трубу, — а думала она о томъ, что эта таинственная сила опять уноситъ съ собой то, что ей дорого, что она ждала десять лѣтъ, что выстрадала она, казалось ей, цѣлыми годами тоски и одиночества.

— Боюсь я покидать тебя, Варя, шепнулъ ей Стожаровъ: — дрогнуло мое сердце...

А ся сердце дрогнуло еще больше, — по она ничего не сказала.... «Прежде дъло, а тамъ... сердце», подумала она, «прочнъе будетъ счастье»...

XVIII.

Въ это время раздался послѣдній вароходный сигналъ. Всѣ бросились — кто на пароходъ, кто на берегъ. Между тѣмъ, маленькій Кузя, воспользовавшись общей суматохой, перелѣзъ на самый бортъ парохода, около колесъ, которыя уже начали вертѣться, пробирался по кариизу борта и перебранивался со своими врагами, казенными учениками, стоявшими на берегу.

- Кузька! упадешь, кричали мальчики.
- Не упаду... А вы бы упали... Вы знаете что я дълаю?, болталъ онъ, пробираясь по карпизу.
 - А что?
- Законы равновѣсія дѣлаю .. Законы тяготѣнія .. А вы обънихъ не слыхали .. У! у! ..

Въ одно мгновеніе послышался крикъ испуга на берегу и на пароходѣ, и раздался всилескъ воды, какъ бы кто бросилъ въ нее тажелый камень. Надъ водой всилылъ намокшій картузъ, показались барахтающілся дѣтскія руки, волосы съ какой то головы, хотя самой головы не было видно, и тотчасъ же и руки и волосы скрылись подъ водою...

«Упалъ, упалъ въ воду!» слышались голоса... «Утонулъ»... «Кто утонулъ? Кто упалъ?» – «Мальчикъ упалъ!...»

Въ это же мгновенье отъ толпы отдѣлилась высокал фигура пария, который вскочилъ на скамейку, стоявшую у борта, нагнулся какъ бы разсматривая, гдѣ ему лучше и вѣриѣе утонуть, и со всего размаху кинулся въ Волгу, подъ самыя колеса парохода.

На берегу и на пароходъ снова раздался прикъ ужаса: «Упалъ! другой упалъ!..»

На пароходъ послышалась команда: «задній ходъ!.. Стой!»

Стожаровъ видълъ кто упалъ въ воду. Это былъ Кузя Ногинъ. Стожаровъ успълъ узнать и того, кто бросился потомъ въ воду. Это былъ Матвъй Таволгинъ. Стожаровъ стремительно подбъжалъ къ борту парохода и перегнулся черезъ бортъ. За пимъ стремительно бросилась Бармитинова. Нъсколько мгновеній Стожаровъ стоялъ въ нерѣшимости, глядя на воду, и всѣ глядѣли виизъ, на воду; во поверхность воды была безотвѣтна... «Утонули! утонули!» слышался ронотъ толны. Поверхность воды сравнивалась...

Стожаровъ лихорадочно сбросилъ съ себи нальто и, прежде чѣмъ толна могла опомниться, прежде чѣмъ Бармитинова поняла что опъ дѣлаетъ, опъ судорожно сжалъ ел руку и, сказавъ отрывисто: «двѣ жизни, двѣ большихъ силы погибло... прощай, не забывай меня, Варя...» —бросился въ воду. Спова крикъ ужаса въ толиѣ: «Третій упалъ! утопулъ!..» Бармитинова безъ чувствъ повалилась на палубу парохода.

Пропалъ и третій... Поверхность Волги спова сравнялась и унесла даже икиу, которая образовалась отъ паденія въ воду Стожарова...

На пароходъ и на берегу мертвое, зловъщее молчаніе. Такое молчаніе въ людяхъ бываетъ только тогда, когда люди или ждутъ страшнаго несчастья—что вотъ-вотъ оно грянетъ на нихъ — или когда это несчастье только-что разразилось падъ инми и они еще не успъли опомниться, придти въ себя, чтобъ понять всю силу удара или почувствовать всю глубину своего несчастья.

Въ этомъ зловъщемъ молчаны вст глядъли. боясь дышать и пиелохнуться, на гладкую поверхность воды, подъ которою исчезли три живыхъ существа и которая струилась тихо и спокойно, точно не сдълала никакого ужаснаго преступленія противъ законовъ жизни... Только пароходъ шипълъ какъ-то глухо, перъшительно, какъ бы не зная что ему дълать, да изъ воды выходило дыханье человъческое въ видъ пузырей, да солние свътило своимъ ровнымъ, безучастнымъ свътомъ, какъ бы желая сказать, что въ этотъ самый моментъ опо видитъ на землъ и не такія несчастья противъ законовъ жизни, какія видимъ мы своимъ близорукимъ человъческимъ глазомъ.

Но вотъ, много ниже парохода, изъ воды показалась мокрая, всклоченная голова.

«Вотъ онъ!» раздались голоса на берегу и на нароходъ.

«Это не онъ», говорини другіе голоса.

Это былъ Матвъй Таволгинъ, который, подержавшись нъсколько секундъ на водъ, тяжело дыша и какъ бы вздрагивая, опять скрылся подъ водою.

Съ парохода и съ берега спускались лодки, бросались капаты, доски...

Изъ-подъ воды вынырнула другая голова...

«Вотъ опъ!» снова раздались голоса.

«Нътъ, и это не онъ», отвъчали другіе голоса.

Это быль дъйствительно не онь, не тоть, который утонуль. Это была точеная голова Стожарова.

- Я близорукъ... Подъ водой не вижу, говорилъ Стожаровъ, снова исчезая подъ водой.
- Лодки скоръй! Неводъ бросайте... пиже.... ниже! кричалъ Гридисвъ, вскакивая въ лодку. Ищите баграми, да легче, остороживе!..

Въ воду опускались багры и напрасно искали утоплешника. Спимая шапки и крестясь, въ воду забросили неводъ...

Но изъ подъ воды никто не показывался... И страшною, безжалостною казалась эта вода, страшными и злыми казались люди, которые боролись съ ея беземысленными силами, и такое же страшное, безучастное, безжалостное свътилось надъ всею этою картиною солнце, которое какъ бы говорило: «жалкіе, жалкіе люди!.. Я вижу какъ пропадаютъ миліоны людей, какъ льется ръками кровь человъческая, какъ исчезаютъ цълые міры у меня на глазахъ — и мнъ все равно... А вы бъетесь изъ-за того, что пропалъ атомъ изъ этой вселенной, утонулъ червякъ, прекратилось одно дыханье... Бросьте все это, жалкіе, голодные люди!..»

«Вс ξ трое утонули», слышались голоса:— «ах ξ , какое горе, какое великое горе!..»

Но въ это мгновенье на поверхности воды показалась мокрая, всклоченная голова. Это была голова Таволгина.

 Мотя! ты утопешь, какт то ръзко, испуганно крикнулъ Гридневъ, — хватайся за багоръ...

Таволгинъ ничего не отвъчалъ, только слышно было его тяжелое дыханье да всплески воды. Руки его были подъ водой и онъ какъ будто силился что-то приподнять изъ воды... и приподнялъ. То была маленькая голова утопленника...

«Вытащилъ! вытащилъ!.. Помогите ему, опъ самъ тонетъ!» кричали голоса.

Изъ-нодъ воды показалась и точеная голова Стожарова.

«Нашли!.. Вытащили!..» кричали голоса, заглушая хриплое шипънье парохода.

Изъ лодки подхватили утопавшихъ. За бортъ лодки укрѣпился и Стожаровъ, весь синій, страшный, страшно похудѣвшій. Всѣ трое были уже въ лодкѣ—два живыхъ и одинъ мертвый. Трунъ мальчика тотчасъ же взили на руки матросы и начали трясти его какъ мѣшокъ, изъ котораго высыпаютъ овесъ.

«Не кладите на земь—не оживетъ, умретъ... Кладите на простыню... Давайте простыню... Давай рогожу!..» слышались разнообразные голоса.

На див лодки, которая причалила къ берегу, лежали Стожаровъ и Таволгинъ, оба едва дышащіе, посинълые отъ холода. Маленькій, худенькій, легонькій трупъ Кузи спесли бережно на берегъ и бережно положили на простыню, которую держали четыре здоровыхъ матроса. Затъмъ вывели изъ лодки Стожарова и Таволгина, которые шли шатаясь и дрожа всёмъ тёломъ. Около нихъ и около утопленника, котораго мёрно и ровно качали по простыпё, столпилось все что было на берегу, а баба, которая выла подъ полъницей, стала выть еще больше около маленькаго трупа. Пароходъ зашипълъ какъ-то ръшительно и дълалъ по водъ вольтъ, чтобы подейти къ пристани и взять матросовъ и пасажировъ. У самаго борта парохода стояла Бармитинова, которая было упала въ обморовъ, когда увидъла паденіе въ воду Стожарова, но теперь пришла въ себя п стояла такая блёдная и сосредоточенная на одномъ пунктё: пунктъ этотъ былъ-маленькое качавшееся на простыпъ тъло и безмолвно стоявшій около него Стожаровъ. Около нея стояла Марина, такая же блёдная, испуганная, дрожащая точно осиновъ листъ.

А солице между тѣмъ по прежнему продолжало безучастно смотрѣть и на качавшійся на простыпѣ маленькій трупъ, и на воющую около него бабу, и на Волгу, которая еще такъ недавно сдѣлала преступленіе, но продолжала по прежнему спокойно и по прежнему безсмысленно катить свои холодныя воды.

Въ то время когда пароходъ, сдѣлавъ оборотъ, присталъ къ копторкъ и находившіеся на берегу пасажиры, вмѣстѣ съ матросами, передавшими трупъ маленькаго утопленника другимъ качальщикамъ,

снова перебрались на палубу парохода, на спускѣ, ведущемъ къ Волгѣ, показалась женщина, которая стремительно бѣжала къ пристани, между тѣмъ какъ поги ел по видимому подкашивались подъней, а руки были протянуты впередъ, какъ будто она старалась схватить ими какой-то призракъ, быстро отъ нея убѣгавшій.

Въ толпъ послышались голоса: «мать! мать!» — и всъ головы оборотились къ женщинъ, бъжавшей съ протянутыми впередъ руками.

Увидъвъ на бълой простынъ мърно покачиваемое тъло маленькаго утопленника, женщина еще стремительнъе рипулась впередъ, еще болъе вытянула руки—и какъ снопъ повалилась на землю...

«Упала! упала!» раздались голоса, и и ккоторые изъ стоявшихъ около трупа бросились поднимать упавшую.

На спускъ, ведущемъ къ Волгъ, показалось другое лице, которое такъ же стремительно бъжало, какъ и та женщина, которая упала. Это былъ старикъ, растрепанная голова котораго не была ничъмъ прикрыта, а правая рука какъ-то судорожно творила крестное знаменіе.

Онъ видълъ, какъ на бълой простынъ покачивалось маленькое мертвое тъло, какъ народъ смотрълъ на это покачивање, видълъ, какъ маленькіе товарищи того, котораго качали, молча смотръли въ мертвое лице утопленника, иногда обращавшееся къ нимъ, видълъ, какъ упала бъжавшая передъ нимъ женщина, но... онъ не упалъ, а только еще судорожнъе сталъ креститься и еще стремительнъе двигалъ своими старыми ногами.

Пароходъ между тѣмъ, давъ сигнальный свистокъ, отчалилъ отъ варгунинской пристани, оставивъ тамъ и мѣрно покачиваемое на бѣлой простынѣ мертвое тѣло маленькаго утопленника, и столпившийся около него народъ, и лежавшую на землѣ женщину, которую называли матерью утопленника, и бѣжавшаго поглядѣть на трупъ старика, и Бармитинову съ Мариной, которыя стояли у конторки и съ заплаканными глазами провожали постепенно удалявшийся отъ нихъ нароходъ съ длиннымъ дымнымъ хвостомъ. На палубѣ парохода не видно уже было ни Гриднева со свитою прикащиковъ, ни Стожарова, ни Таволгина; виднѣлась только темная фигура тучной Макриды-странницы, сидѣвшей на лавочкѣ, да безпорядочно сновали по пароходу другіе пасажиры, изъ которыхъ каждый думалъ о малень-

комъ утопленникъ, пока другіе интересы не вытъснили изъ ихъ намяти его блъдное, посмиъвшее лице и его мокрые свътлорусые волосы, тренавшіеся на бълой простынъ.

Въ каютъ парохода Гридневъ и Серпороевъ хлепотали около промокщихъ и продрогшихъ Стожарова и Таволгина. Пароходиые служители патирали ихъ виномъ съ уксусомъ, чтобы предотвратить дурныя послъдствій ихъ невольнаго купанья въ сентябрьской водъ. Таволгинъ казалси очень истомленнымъ и сосредоточению молчалъ, пока его натирали. На груди у него болтался мъдный крестъ и тутъ же было привязано что-то мягкое, завернутое въ тряпицу.

- Что это у тебя, Мотя? спросияъ Гридпевъ, ощупывая эту. подвъску, — должно быть талисманъ?
- Талисманъ, отвъчалъ Таволгинъ, и судорожно схватился за подвъску, желая ее оторвать отъ креста.
 - Ты что дълаешь съ ней? Срываешь?
- Крвико уцвинлась проклатая, говорилъ Таволгинъ, силясь зубами перегрызть таниственную подвъску, не пускаетъ отъ себя, хочетъ душить меня и на чужой сторонъ.
 - Да что это такое? Что не говоришь? спрашивалъ Гридневъ.
- Это земля... тардыцкій черноземъ съ суглинкомъ, отвѣчалъ тотъ, перегрызая подвѣску.
 - Какой суглинокъ? допытывался удивленный Гридневъ.
 - Тарлыцкій... съ Тарлыка... родная землица...
 - Зачъмъ она тебъ, Мотя?
- Мать прив'ясила... чтобъ и въ могилу пойдти съ тарлыцкимъ суглинкомъ... чтобъ не тосковать...
- A! понимаю, сказалъ Гридневъ. Матернее благословеніе, на вѣки не рушимое...
 - Да, не рушимое.. на въки... А я его рушу...
- И онъ, оторвавъ подвъску, развязывалъ ее дрожащими руками.
- Вотъ опа... Земля есн... А опи еще смъются... Черноземъ съ суглинкомъ .. Только ишеницу родитъ, гирку родитъ, саксонку родитъ, переродъ родитъ, самарку родитъ... а людей.. не родитъ... Звърей родитъ, говорилъ онъ какъ будто въ забытъи, разсматривая землю, которая мокрымъ комочкомъ лежала у него на ладони.
 - Земля хорошая, жирная, родитъ такую пшеницу, что въ Лон-

Le any and

дон'й не налюбуются, а въ Америк'й завидують ей... Мука хорошая изъ нея выходить, булки превосходныя и англійскіе лорды йдять эти булки изъ тарлыцкой ишеницы, и Спенсеръ ихъ йсть, и Дарвинъ и Льюисъ кушають продукты этой землицы, говориль Гридневъ, разсматривая землю и какъ-то страино улыбаясь.

- Земля-то хорошая, тучная, замътиять Стожаровъ, молчавшій до того времени. Да вотъ, онъ говоритъ, что хорошую гирку родитъ эта земля, только хорошихъ людей не родитъ... А та земля, что гирки не родитъ, родитъ хорошихъ людей—вотъ вамъ и задача.
 - За то рубли родитъ, отвъчалъ шутя Гридневъ.
- Вамъ бы все рубли только, эхъ вы! отозвался Стожаровъ и, махнувъ рукой, отвернулся.
 - А что рубли? Рубли хорошіе люди, спова замѣтилъ Гридневъ.
- Э! Хорошіе!.. Эти рубли всегда родили знаете что? спросилъ Стожаровъ, быстро поворачиваясь на своей койкъ.
 - А что? благосостояніе и свободу?
- Нътъ, палку да цъпь... Вотъ что родятъ ваши рубли... Это исторические палачи человъчества и его тюремщики... У кого деньги да сила, у того въ рукахъ палка и цъпь, у того и ключи отъ тюрьмы.
- Помилуйте! это старая, избитая истина, но все же истина историческая, что торговля возвышала всѣ государства... Финикія, Кароагенъ, Венеціанская республика, теперь Англія, Америка, говорилъ Гридневъ, садясь между Стожаровымъ и Таволгинымъ.
- Э, все это изъ Кайданихи... лакейскія попятія... Торговля, свобода, благосостояніе... все это фразы, которыми до сихъ поръ морочили людей, потому что люди были глупы... Это палачъ хвалитъ мягкость, шелковистость своего кнута... Это тюремщикъ восхваляетъ свободу тюрьмы и мелодическій, малиновый звонъ цѣпей... Приближается то время, когда вашей пресловутой торговли совсѣмъ не будетъ, и люди будутъ вспоминать о ней, какъ о временахъ рабства, людовъдства...

Стожаровъ говорилъ злобно, желчио, что бывало съ нимъ всегда, когда затрогивались его кровныя, мучительныя для него самого убъжденія.

- Что же будетъ, если торговли не будетъ? спращивалъ изумленный Гридпевъ.
- А будеть то, чего вы не понимаете и понять не можете, отвичаль Стожаровъ А воть онъ пойметт, сказаль онъ, показывая на Таволгина, который продолжаль разсматривать землю, лежавшую у него на ладони.
 - Говорите, можетъ быть и я пойму, настанвалъ Гридневъ.
- Не поймете... Родитесь въ другой разъ, да не на сундукъ съ депьгами, подыните свободой, а не окисью металловъ, тогда, можетъ быть, поймете, отвъчалъ Стожаровъ, но прежнему ръзко.

Гридневъ вскочилъ и сталъ тревожно ходить по каютъ А Таволгинъ все глядълъ на землю, лежавшую у него на ладони.

- Ты родишь гирку... и Макриду родила, и меня родила... а счастья и свободы не умѣешь родить... Посѣять некому, взростить некому, собрать некому... Проклятый суглинокъ!.. Чтобъ не тосковалъ... Чтобъ эта земляная насыпь давила меня вездѣ, чтобъ эта цѣпь терла мои ноги до бѣлой кости и вдали отъ Тарлыка, вдали отъ родины... Родина... жалкое, жалкое слово... И у звѣря есть родина—берлога... И у змѣи есть родина—нора... И у меня есть родина—Тарлыкъ ... Да, задрожитъ сердце злобой, тебя вспоминая, говорилъ Таволгинъ самъ съ собою.
 - Онъ бредитъ?.. У него жаръ? безпокойно спрашивалъ Гридневъ.
- Не жаръ, отвъчалъ Стожаровъ. Правду онъ говоритъ, а вамъ всякая правда кажется бредомъ больнаго...

Таволгинъ приподиялся съ койки и, отворивъ окошко каюты, швырнулъ въ Волгу землю, лежавшую на его дадони.

— Плыви на родимую сторону, родимая землица, говориль онь, заглядывая въ окошко, — да не отравляй пикого... Рыба отравится моею родною землицей... рыба околъетъ... а я.. я не околъю... Я буду жить... я хочу жить...

Гридиевъ продолжалъ тревожно ходить по кають, погладывая то на Стожарова, то на Таволгила, который снова легъ на койку и закрылъ лице руками. Серпороевъ также лежалъ съ закрыгыми глазами. А пароходъ шелъ все дальше, по временамъ вздрагивая и какъ бы наклопяясь па бокъ, а вода шумъла, загребаемая колесами, которыя работали пеустанию, точно тъ «люди безсонные», о которыхъ

говорить Хомяковъ. хотя ни пароходныя колеса, ни «безсонные люди» ни отъ кого не получають и не желають получать ни рублей и никакой другой вещественной платы за свою неустанную работу, за свои безсонныя ночи, за то, наконецъ, что они спящихъ людей везуть на себъ впередъ, везуть въ невъдомую страну счастья, котораго сами не имъетъ.

Сверху между тёмъ доносились въ ваюту неясные, смѣшанные звуки—и нестройное топанье десятковъ ногъ по налубѣ, и визгливое, рѣжущее поскрипыванье рулевой цѣпи, которою управляется пароходъ («и тутъ цѣпь правитъ», думалось Стожарову, при поскрипываньи рулевой цѣпи, «все цѣпь, вездѣ цѣпь»), и тяжелое дыхапье машины, которая своими поршиями, колесами, шестериями да рычагами отбывала человѣческую барщину, и сигнальные свистки молчаливаго, загорѣлаго канитана-нѣмца...

Подъ эти звуки, подъ шумъ пароходныхъ колесъ и плесканье воды подъ колесами, подъ это ръжущее поскрипыванье рулевой цъпи и подъ это тяжелое дыханіс запыхавшейся машины каждый изъ пасажировъ думалъ свою думу и прислушивался къ ощущеньямъ своего сердца.

Стожарову подъ эти звуки представлялась громадная цёпь, заржавъвшая отъ времени, которая обвивала весь шаръ земной, и встряхивалась эта цёнь чьею-то невидимою, но сильною рукою, и звенъла глухо какимъ-то старымъ, ржавымъ, хриплымъ звяканьемъ .. А къ кольцамъ этой ржавой цёпи тянутся другія мелкія, менже ржавыя цёпи, и звякають эти новыя цёпи звоиче и веселёе, чёмъ та старая цёнь... Веселое звяканье цёней!.. Очень веселое... И ходить на этихъ цёпяхъ все что живеть и движется на землё -и онъ, Стожаровъ, ходитъ на этой зьонкой цёни, какъ пароходъ на рулевой, и пароходъ ходитъ на одной изъ этихъ звонкихъ цёней, и Гридневъ на ней ходитъ, и тотъ брюссельскій пріятель Стожарова, бледногубый ткачь Мишель, что зарезаль своего жестокаго фабриканта — все ходитъ на этой цъпи, какъ тотъ «котъ ученый» гдж-то тамъ «у лукоморья», гдъ «цънь златая» на зеленомъ дубъ и гдъ «котъ ученый все ходитъ по цъпи кругомъ»... И Варя ходитъ на этой цъпи, и тотъ живой мальчикъ, Кузя... Нътъ, теперь ужъ онъ

не ходить — сорванен съ цёпи, уб'ёжаль... теперь на б'ёлой простын'й качается...

Серпороеву подъ эти звуки представлялась обширная аудиторія съ скамьями амфитеатромъ... Изъ этихъ скамей глядитъ много, много живыхъ, обращенныхъ на одно лице глазъ, и всъ эти молодыя лица полны жизни, полны думъ и отваги... А тотъ, на котораго глядить они, все читаеть, все читаеть, и слово, читаемое имъ, брызжетъ ключемъ какъ живая вода, и надаетъ эта живая вода на молодыя сердца, на молодую мысль, и оживаетъ мысль и сердце, и рвется мысль и сердце на свободу, въ жизнь, въ пылъ жизненной борьбы... И вырвалась мысль и сердце на волю... И вибсто живой воды, эта жизнь брызжеть на молодую мысль и на молодыя сердца мертвой водой, не такъ какъ въ сказкъ, гдъ прежде брызжуть мертвой, а потомъ живой водой, а въ жизни - наобороть: сначала брызнуть живой водой, а потомъ мертвой... И умираютъ молодыя сердца и молодан мысль... Но Серпороевъ все видитъ эту аудиторію амфитеатромъ, все прислушивается къ всплескамъ живой воды, и не слышить какъ плещутся пароходныя колеса въ Волгъ, какъ задыхается отъ тяжелой работы машина, какъ визжитъ и позвякиваетъ рудевая цёпь... Лекцін давно начались, аудиторія давно нолна... Какъ медленно вертятся пароходныя колеса, какъ лъниво загребають они воду, какъ безконечно длична Волга отъ Астрахани и Саратова до Нижняго... «А Валя ждетъ меня, Валя тоскуетъ по мнъ, и я тоскую по Валъ»... А пароходъ все вздрагиваетъ, а рулевая цёнь все взвизгиваеть да позвякиваеть... «Когда-то экзамены? Когда-то я кончу курсъ, окунусь въ дёятельную, кипучую жизнь, стану дъятелемъ?»...- «Не торопись окунуться въ меня, шепчетъ певидимое чудовище изъ омута жизни, - въ моемъ омутъ мертвая вода... въ моемъ омуть ждегъ тебя тяжкій трудъ, на который снособны только великія, избранныя натуры... А ты способенъ ли? Сознаешь ли въ себъ силу богатыря Вернигоры?...» — «Сознаю», думаетъ Серпороевъ, и проситъ жизни, проситъ чтобъ къ нему ближе пододвинули его могилу...

Таволгину, лежавшему съ закрытыми глазами, представлялись другія картины и сцены, то тяжелыя, давящія и безоградныя, то полимя чарующей, все захватывающей силы и неотразимаго обая

нія... Ислькаетъ передъ нимъ страшный образъ сліной бабушки, съ поднятою въ небу влюкою въ костлявой рукъ... Слышится воющій подъ окномъ вътеръ... Чудовищный образъ «пустыни», съ дубравными звърями и «Алилуева жепа» съ младенцемъ на рукахъ... Все это туманныя, гнетушія воспоминація дітства... Старый Грпдневъ, змънный хринъ старой Гридиихи, бросающейся на Мотю, чтобъ задушить его-Тардыкъ... Горсть родной земли, что умветь родить пшеницу, а не умъетъ родить ни хорошихъ людей, ни людскаго счастья... А впереди нев'єдомыя, но обазтельныя страны, цілый міръ знаній... Наука со всёми ея, неизвёданными имъ, чудесами, сплами и чарами... Голова Таволгина горитъ... Онъ боится, что его опять увезуть на Тарлыкъ, заставять киноварью писать виньетки къ раскольничьимъ книгамъ. Опъ горячечно рвется впередъ, готовъ бросить ся подъ колеса нарохода, чтобъ помогать имъ быстрве загребать волжскую воду: лишь бы уйти отъ Макриды-странницы... А Макрида сидить на палубъ, и знаеть, видъла своими заплывшими жиромъ глазами, какъ «безбожный Мотька» бросался въ Волгу душу человъческую спасать, а свою душеньку на въки погубиль, видъла какъ молодой Гридневъ, по милосердію своему, окаяннаго Мотьку въ господскія каюты увель, за то де, что окаянный Мотька душу христіанскую отъ потопленія спасаль... И дрожить у Мотьки живучее, кипучес, непокойное сердце, и, подобно Сернороеву, онъ ищетъ броситься головой въ омутъ жизни проситъ, чтобъ поближе въ нему придвинули его могилу темную...

И Гридиевъ, ощеломленный словами Стожарова, тоже много и тревожно думалъ подъ визгливое и рѣжущее поскрипыванье рулевой цѣпи, подъ нестройное топанье ногъ на налубѣ и подъ тяжелое дызанье машины, отбывавней человѣческую барщину. Онъ думалъ, что прочно установились его понятія о жизни, что понятны ему дѣла и думы и побужденія человѣческія; что знаетъ онъ къ чему ведетъ человѣчество наука; онъ видѣлъ Европу и ея порядки, много читалъ, много передумалъ... Онъ видѣлъ, казалось ему, какую роль долженъ играгь капиталъ въ будущей исторіи человѣчества, каково значеніе торговли... Опъ считалъ себя человѣкомъ умпымъ, современнымъ, которому тѣсно жить въ Россіи, который жаждетъ другихъ порядковъ... И вдругъ какой-то палетный проходимецъ говоритъ ему, что

онъ глупъ, что онъ даже не можетъ понять того, что ему этотъ проходименъ намъренъ сказать... Какое обидное положеніе!... Что онъ? Откуда такой языкъ? Такихъ людей и такого языка онъ не встръчалъ ин въ литературъ, ин въ жизии. Кто-жъ онъ такой?... И онъ, кажется, не одниъ? Гдъ-жъ народились эти новыя силы и что они внесутъ въ жизнь. что создадутъ, что разрушатъ?

- Почему же вы думаете, что я не пойму васъ? настойчиво спрашивалъ Гридневъ, подходя снова къ Стожарову и садясь къ нему на койку.
- Потому же, почему васъ не понимаетъ вашъ батюшка, отвъчалъ Стожаровъ.
- Но въдь между мной и монить отцомъ большая разпица, возразплъ Гридневъ, который начиналъ уже раздражаться, чувствуя, что онъ остается далеко назади у этого проходимца.
- Такая же. какая между мной и вами, хладнокровио говорилъ Стожаровъ, все еще пришлушиваясь къ визгливому поскрипыванью рулевой цёни.
 - Не можетъ быть! горячился Гридневъ.
 - Очень можетъ быть.
 - Но вёдь и вы и я идемъ за вёкомъ.
- Да... Но только не рядомъ: вы за вѣкомъ, а я передъ вѣкомъ, процѣдилъ Стожаровъ.
- Вы, кажется, рисуетесь, говорилъ Гридневъ недовольнымъ голосомъ, не имъя уже силъ скрыть свое раздраженье.
- Ну, такъ не смотрите на меня, если я, по вашему миѣнію, рисуюсь.
 - Но почему же вы такъ говорите?
- Потому что мы разной съ вами въры: вы —старой (я не говорю раскольникъ, а просто старовъръ, и такими какъ вы старовърами полна не только Россія, но и Германія. Франція, Англія и Америка), я.—новой въры.
 - Какая же ваша въра? горячился Гридиевъ.
 - Православная, отвъчалъ Стожаровъ.

Гридневъ весь вспыхнулъ, но усиблъ пересилить себя, и только закусилт, губу.

- Вы гозорите какъ новъйшій оракуль, сказаль опъ, - но мив ка-

жется, что предсказаніямъ дъвицы Ленорманъ могутъ върить только бабы, а я не думаю, чтобъ вы принимали меня за бабу.

- Нътъ, я прынимаю васъ за мечтательную уъздную барышню, отвъчалъ Стожаровъ съ улыбкой.
- Почему же? спрашивалъ Гридневъ, подозрѣвая, не подсмѣиваются ли надъ нимъ.
- Увздная барышня вёрить въ силу и обаяніе аксельбанть, въ усы и шпоры, а вы вёрите въ силу капитала, въ обаяніе рубля и торговли, говорилъ Стожаровъ, играя своей записной книжной, въ которую онъ вписалъ что-то и держалъ потомъ въ рукахъ. Какая же разница между вами и увздной барышней?

Слова Стожарова не могли не поразить Гриднева. Воть уже насколько разъ въ последнее время онъ слышитъ такіе отзывы о значенія капитала; теперь разрушають его попятія о значеніи торговли въ исторіи человъчества, —и онъ не могъ не задуматься падъ словами Стожарова, отъ которыхъ въяло чемъ-то такимъ, чего онъ прежде не слыхалъ. Что же это такое? Что это за люди, которые говорятъ такъ?

- Но въдь я могу купить васъ и вашу свободу, говорилъ Гридневъ, — вотъ гдъ сила капитала.
- Эхъ! да въдь и собака можетъ укусить меня, и воръ можетъ украсть у меня вотъ эти сапоги или вотъ этотъ илатокъ, —а развъ въ этой силъ надежда человъчества? Нътъ, въ чемъ нибудь другомъ надо искать спасенія, а не въ капиталъ и не въ торговлъ

Гридневъ былъ окончательно сбитъ и озадаченъ.

- Ну, такъ я лучше хочу быть собакой и кусать другихъ, только чтобъ другіе меня не кусали и не лишали свободы, возражалъ онъ весь красный и сверкая глазами.
- Однако, выгодно ли это? А если собаку посадатъ на цвпь? Да притомъ, вы не можете купить не только меня, потому что на это недостанетъ нетолько всёхъ вашихъ капиталовъ, по если вы и себя заложите, и батюшку, и матушку, то и тогда не купите меня, да и не меня, а и свою судомойку не купите, потому что теперь торговля людьми ограничена въ Европъ... Теперь ни покупать, ни продавать людей нельзя, а скоро и ничего нельзя будетъ ни продавать, ни покупать.

- Какъ! это безумпые афоризмы, и я не думаю, чтобъ вы сами върили тому, что говорите, защищался Гридневъ, чувствуя, что подъего ногами исчезаетъ почва.
- Нѣтъ, это не безумные афоризмы, и и глубоко вѣрю тому, что говорю. Я глубоко убъжденъ, что придетъ времи, когда торговли чъмъ бы то ни было будетъ также запрещена, какъ теперь мало по малу начинаютъ запрещать изартныя и всяки, даже комерческия игры, потому что и торговли игра въ принцинъ.
- Въ прициитя?
- Да, въ принципъ... Вдумайтесь, вгладитесь повинмательнъе въ нравственныя и экономическія основанія купли и продажи, и вы, если вы честный человъкъ пли просто человъкъ съ логикой, убъдитесь, что основанія купли и продажи, какъ и основанія азартной игры, какъ и основанія грабежа, один и тъже, что все это наслъдіе, оставшееся человъчеству отъ дикихъ его предковъ.
- Но политическая экономія санктируеть законы торговли, слъдовательно законы эти осв'ящены не обычаемь, такъ какъ обычай можеть быть дикъ, а наукой, возражаль Гридневъ.
- Э! не говорите мий о политической экономін какъ наукі... И собакъ учать плясать это тоже будеть наука... Политическая экономія излагаеть только процесь болізни въ общественной жизни человічества и подмічаеть симитомы этой болізни... На Адама Смита, на Мальтуса, Сея, Рикардо, Бастіа, Рошера, на Кобдена Брайта и на Стюарта Милля я смотрю какъ на геніальныхъ психіатровъ человічества...

Стожаровъ, говоря это, быль блёдень какъ полотно. Споръ задѣвалъ его глубокія, выстраданныя, цёлыми годами наболѣвшія убъжденія, и онъ, не разбирая ничего, онять начиналѣ бросать грязью и булыжниками во все, что подвертывалось ему въ спорѣ, во все, что считается даже неприкосновеннымъ какъ святыня.

Лице Гриднева было тоже необыкновенно блёдно.

- Вы говорите фразы, возражаль онь, —дикія фразы! Гдѣ же въ торговлѣ грабежъ, когда это —простая и добровольная мѣна продуктовъ или товаровъ на знаки или мѣна труда на деньги.
- Мѣна! да еще добровольная!.. То-то вы складно умѣете говорить старыя, жалкія слова, да имъ скоро никто не станетъ вѣрить.

Добровольная купля—это тоже что добровольная война, добровольный аресть, добровольная тюрьма, это тоже что веселая тоска, квадратный кругъ, свътлый мракъ, это тоже, наконецъ, что сапоги въ смятку, носъ на прыщъ, нога на мозоли...

- Довольно нелѣпыхъ сравненій, говорите дѣло, остановиль его Гридневъ.
 - Дъло? Извольте. Вы что обыкновенно покупаете?
 - Хлъбъ, сало, съмя...
 - Нътъ, нътъ! Говорите языкомъ теоріи... Вы что покупаете?
 - Что мит пужно или чего у меня иттъ.
 - Такъ. А что продаете?
 - Что мит не нужно или что у меня лишнее.
- Такъ... Понимаете ли вы теперь всю глубину безнравственности того дъйствія, которое называють продажей, то есть вообще торговлей? спросилъ Стожаровъ, подпимаясь на койкъ. — Вы сами сказали себъ приговоръ.
 - Какой? я не понимаю.
- Такъ понимайте же. Вы покупаете то, что вамъ нужно, а продаете то, что другому нужно, а вамъ не нужно. Отчего же то, что вамъ не нужно, вы не отдаете нуждающемуся даромъ, а хотите взять съ нуждающагося барышъ? Но это впрочемъ другой вопросъправственный, а не экономическій. А вотъ и экономическій: вы, обыкновенно, купивъ товаръ, ищете продать его тому, кто наиболъе въ немъ нуждается. Вы не продадите его тому, кто въ немъ мало нуждается, а тому кому непремъпно нужно имъть этотъ товаръ. Вы, слёдовательно, ищете случая заставить, принудить нуждающагося купить то, что вамъ лично не нужно. Тутъ уже въ принципъ-чистое насиліе, грабежъ, а иногда -- обманъ, когда вы продаете товаръ по цънъ, не соотвътствующей его впутренней стоимости... Скажите же, положа руку на сердце, — честныя ли это дъйствія, не только какъ дъйствія, но и въ самомъ принцинь? Когда я захотълъ бы купить у васъ вотъ эту цъпочку (Стожаровъ показалъ на цъпочку отъ часовъ, висъвшую на груди Гриднева), въдь вы бы непремънно старались продать ее мит но возможности дороже, то есть взять съ меня то, чего бы я не хотвлъ вамъ дать. Согласитесь, въдь это безнравственное дъйствіе- не правда ли? Въдь это не честное же-

ланіе — взять у меня то, чего я не хотбять бы вамь дать и даю только по нужді. Віздь это хуже, чёмь обыграть меня въ карты. Ростовщичество считается теперь подлостью, грабежемъ, вообще безиравственнымъ дібломъ, которое преслідуется закономъ. А торговля — тоже ростовщичество, только въ боліте широкихъ размірахъ, но она ечитается у насъ пока дібломъ честнымъ... Я говорю «пока»: скоро купцовъ не будетъ, и слово это останется въ историческомъ словарѣ академіи наукъ.

XIX.

Бабдный и безмоленый сидьяъ Гридневъ, слушая невессями ръчи Стожарова, такія рѣчи, вакихъ онъ ин отъ бого до сихъ поръ не слыхаль. Всв его задушевныя върованія въ великое значеніе торговли, въ будущую силу акціи, въ союзъ капитала съ наукою, союзъ, который, по его мижнію, должень быль изміннть лице земнаго шара, дать людамъ тщетно искомое ими счастье и измѣнить всѣ человѣческія отношенія, союзъ, который должень быль все человъчество превратить въ одну семью, всѣ члены которой одинаково будутъ до вольны и сыты, одинаково бегаты и счастливы, одинаково свободны и никъмъ не обижаемы — все это разбивалось въ дребезги словами Стожарова, кавъ пересохшій комъ глины тяжелымъ обухомъ .. Зачъмъ же онъ работаетъ, если Стожаровъ правъ? Для чего копить рубли и миліоны рублей, когда самое копленіе ихъ, на счеть благосостоянія другихъ людей, рисують теперь передъ нимъ какъ діло безчестное, безправственное? А онъ еще сегодия называть себя «купцомъ» съ большею гордостью, чёмъ бы могъ назвать себя княземъ и владыкою людей... Купецъ, негоціантъ, комерсанть, банкиръ веж эти слова будутъ стоять въ систематическомъ и историческомъ словаръ будущей общечеловъческой академіи рядомъ съ словами «добрый молодецъ» въ разбойничыхъ пъсняхъ его роднаго поволжыя, рядомъ съ словами: «понизовая вольшица», Стенька Разинъ, атаманъ Замътаевъ, Пугачовъ... Въдь и слова «фискалъ», «мытарь», «ярыж ка», означали нѣкогда почетныя званія и должности: «мытари» собирали «мыто» — казенную подать и пошлины, «фискалы» завѣдывали «фискомъ» — государственною казною, были чѣмъ то въ родѣ лордовъ казначейства, «ярыжки» были чиновники... А теперь всѣ эти слова позорны, имѣютъ предосудительное значене... Тоже будетъ, если вѣрить Стожарову, и съ словами и съ поиятіями купецъ, банкиръ, негоціантъ... Купецъ, копилка, скопидомъ...

«Зачъмъ же копленіе денегъ я поставилъ цълью моей жизни, когда не въ деньгахъ счастье и свобода человъчества, когда наши потомки будутъ презирать насъ за нашу дъятельность и исторія будетъ клеймить насъ позоромъ, какъ клеймитъ Омара, сожегшаго, для высокихъ, по его миънію, цълей, александрійскую библіотеку, какъ клеймитъ римскихъ императоровъ, поъдавшихъ соловьиные языки и верблюжьи пятки?» думалъ Гридневъ, слушая Стожарова.

«Но нътъ, онъ говоритъ бозумные афоризмы, онъ такъ же помъщанъ на всемъ повомъ и будущемъ, какъ Макрида-странница и мон родители помъщаны на прошедшемъ и на всемъ старомъ отживъ шемъ... А если онъ правъ? Если за него станетъ будущее, какъ за насъ стоитъ прошедшее?.. Будущее умиѣе и правъе прошедшаго, все будущее честиѣе всего прошедшаго... Въ будущемъ еще можетъ бытъ счастье человъчества, а въ прошедшемъ его не было... Да, будущее сильнѣе прошедшаго, какъ живое сильнѣе мертваго... Онъ можетъ быть и правъ... и я негодяй, и «добрый молодецъ», и можетъ быть грабитель... Однимъ словомъ—я купецъ!..»

Тяжело было для него сомнъние въ его завътныхъ върованияхъ, а это сомнъние брошено въ его голову и въ его воспримчивое сердце словами Стожарова. Если это върование и не поколебалось, то на него уже была накимута тънь, а въ основание върования подсыланы черви, которые и должны его нодтачивать, пока червоточина не проберется до самой сердцевины, не подъъстъ кории и молодыя поросли...

Онъ оглянулся и увидъть за собой Таволгина. Матвъй, выбросивъ за окно каюты горсть родной земли, долго лежалъ съ закрытыми глазами, отдаваясь своимъ бреднямъ и разъъдающимъ думамъ. Ръзкія слова Стожарова вывели его изъ забытья, и онъ сталъ вслушиваться въ ихъ смыслъ, который такъ же ръзалъ его по сердцу, какъ и проклятія слъпой бабушки... Что это такое? Неужели этотъ

учить Гриднева и Гридневъ молчитъ, когда опъ не молчалъ даже передъ отцомъ? Что жъ, развѣ этотъ ушелъ еще дальше, чъмъ молодой Гридневъ? Ничьи слова такъ глубоко не потрясали молодаго раскольника, какъ слова Стожарова, потому что до сяхъ поръ онъ никого не видалъ кромъ Гриднева, который по своему научилъ его и думать и чувствовать, который одинъ помогалъ его развитію и у котораго онъ въ первый разъ прочелъ книги, возбудившія въ немъ ненависть въ расколу и жажду знаній. Теперь онъ видълъ передъ собой человъка, у котораго, по его мижнію, нятка стояла тамъ, гив лежала голова Гриднева, и онъ слушалъ его почти съ такимъ же ужасомъ, съ какимъ, въ дътствъ, слушалъ страшное чтеніе Макриды о седьмиглавомъ змів и десяторожномъ звврв, хотя тамъ отъ ужаса маленькій Мотя желаль бы біжать, лишь бы не слушать чтеніе Макриды, тогда какъ теперь ужасъ, возбуждаемый словами Стожарова, приковываль все его вниманіе и тяпуль его къ Стожарову, какъ страшные глаза удава тянутъ въ насть этого чудовища врасплохъ застигнутую птичку.

- Ты что, Мотя? спросилъ Гридневъ, увидъвъ, его за собою. Матвъй молчалъ и съ какой-то боязнью глядълъ на Стожарова.
- Мотя! ты, върно, боленъ? Ты такой блъдный... Что съ тобой? продолжалъ Гридневъ.
 - Я боюсь, отвъчаль тоть, продолжая глядъть на Стожарова.
 - Чего боншься?
 - Его проклянутъ, отвъчалъ опъ.
 - Кого? Кто проклянеть?
- Вотъ его проклянутъ, какъ меня прокляла бабушка, сказалъ онъ, и указалъ на Стожарова.
 - За что меня проклянуть? спросиль Стожаровъ съ удивленіемъ.
- Я посмъялся надъ старыми раскольничьими книгами, и меня прокляли за это, отвъчалъ Матвъй. А вы смъетесь надъ всъмъ... Вы все бросаете въ Волгу, какъ я бросилъ родимую землю.
- Нѣтъ, отвѣчалъ Стожаровъ съ улыбкой, я не надъ всюмо смѣюсь... не все бросаю въ Волгу... Я —не Базаровъ... Базаровъ слишкомъ глупъ... пѣтъ, узокъ... ограниченъ... Вы знаете Базарова?

- Знаю, кажется... Это тоть, что все лягушекъ ръзаль п все отрицаль?
 - Да. Вы его читали?
 - Василій Парменычь читаль мнѣ его.
- Такъ я не надъ всъмъ смъюсь, сказалъ Стожаровъ, а напротивъ, падъ миогимъ плачу, хотя слезы мои не похожи на слезы другихъ людей... Я не Базаровъ—я *ничего* не этридаю...
 - Какъ ничего! спросилъ удивленный Гридневъ.
- -- Положительно *ничего...* Я все утверждаю... Только невѣжество и сомнѣніе все отрицають... А знаніе и увѣренность, напротивъ, все утверждаютъ, отвѣчалъ онъ, гляда на Таволгина, котораго лице по прежнему было блѣдно и тревожно.
 - Но вы отрицаете торговлю, возражалъ Гридневъ.
- Нътъ, не отрицаю... Я напротивъ, положительно утверждаю, что торговля—дъло безиравственное, безчестное... Гдъ же тутъ огрицание?
- Но такъ утверждалъ и Базаровъ, снова возражалъ Гридневъ, такъ утверждаютъ всъ нигилисты.
- Нътъ, не такъ... Вчитайтесь, вдумайтесь въ то, что писано-и вы не то скажете, отвъчалъ Стожаровъ какъ то лъниво.
- Я пичего не скажу другаго кром'в того, что говориль до сихъ поръ... Вы, какъ бы вамъ сказать .. вы тотъ же нигилистъ, какъ и Базаровъ, только... пережареный... передержаный... Такъ, такъ, слово найдено: вы передержаный нигилистъ, горячился Гридневъ.
- Ничего, слово хорошее, только не ко мит оно относится, отвъчалъ Стожаровъ по прежнему лъниво.
 - Кто же вы? И въ какомъ отпошении стоите вы къ нигилизму?
 - Мы... перешагнули черезъ него.. ушли дальше нигилизма...
 - Но вы все-таки продуктъ нигилизма?
 - Знаніе не можетъ быть продуктомъ невѣжества...
 - Развѣ нигилизмъ и невѣжество синопимы?
- Нътъ... Я только хочу сказать, что утверждение не можетъ быть продуктомъ отрицания, потому что одно изъ другато не вытекаетъ... А я утверждаю.
 - Но въдь и Макрида утверждаетъ... И моя матушка утвер-

ждаетъ, что градъ Іерусалимъ стоптъ на пунъ земли. Значитъ, и опи ушли дальше пигилистовъ?

- Нѣтъ. Я утверждаю то, чего отрицать нельзя. Мои утвержденія исходятъ изъ математическихъ истипъ.
- На основаній какихъ же математическихъ истинъ вы утверждаете, что торговля—дъло безиравственное? спресилъ Гридиевъ.
 - Просто на основаніи первыхъ правилъ ариометики.
- Странно... Вы, кажется, шутите, и съ вами нельзя говорить.

Гридневъ говорилъ съ раздраженіемъ. Онъ всталъ и направился въ выходу изъ каюты. Таволгинъ, стоявинй молча, схватилъ его за руку.

- Не уходите, говорилъ онъ отрывисто.
- Ты что? Чего тебѣ надо? спросплъ изумленный Гридиевъ.
- Не уходите... Послушайте его.
- Koro?
- Его, Таволгинъ указалъ на Стожарова. Онъ или дьяволъ, или святой человъкъ.
 - Дьяволъ .. Но теперь люди стали умиће дьявола.
- Да, только люди за то и злѣе дьявола... А опъ, Таволгинъ опять указалъ на Стожарова, —добрый, опъ бросился въ Волгу... не даромъ же... дьяволъ ъѣдь не кинется спасать душу.

Таволгинъ говорилъ торопливо, тревожно. Гридневъ остановился. Стожаровъ пойошелъ къ нимъ и, поглядъвъ пристально на Таволгина, обратился къ Гридневу.

— II вамъ не стыдно душить такой добрый пародъ? спросилъ опъ Гриднева,

Гридневъ опять вспыхнулъ.

- Ради того, что вамъ дорого на землѣ, что для васъ свято— не сердитесь на меня, говорилъ Стожаровъ ласково, и взялъ Гриднева за руку, въ васъ много хорошаго... Я знаю все, что вы сдѣлали для этого юноши... Вы благородный человѣкъ... Выслушайте меня...
 - Такъ вы не шутите? спросилъ Гридневъ.
- Э! до шутокъ ли мић!.. Эти шутки събдаютъ мою жизпь, какъ обись желбзо... Я не нахожу пигдъ покоя съ моими шутка-

ми . Я боюсь что вы не поймете моихъ страданій, и осудите меня.

Голосъ Стожарова звучалъ какой-то тоскливой, скорбной нотой. Такая же скорбная тънь легла на лице его. Гридневъ видълъ, что такъ не шутятъ люди.

- Мит жаль васъ, хоть я не вполит понимаю ваши страданія, сказалъ онъ.
 - А народа вамъ не жаль? спросилъ Стожаровъ
 - Какого народа?
- Русскаго... какого хотите, только бъднаго, голоднаго, обижаемаго вами.
 - Но чъмъ я его обижаю?
- Вашими понятіями и вашими дъйствіями... Сколько прошлый годъ принесъ вамъ барышей на хлѣбъ? Скажите мнѣ, припомните. Гридневъ задумался.
- Мы съ отцемъ заработали въ этотъ годъ на хлѣбѣ двѣсти тысячъ, сказалъ онъ, подумавъ.
- Двъсти тысячъ! Это ужасно!.. Это нъсколько сотъ убійствъ?
 воскливнулъ Стожаровъ, всплеснувъ руками.
- Какихъ убійствъ? Вы въ бреду... Вы больны... Вы простудились, бросаясь въ Волгу спасать утопающаго, и вотъ у васъ теперь горячка... Вамъ нуженъ докторъ, говорилъ Гридневъ.
- Бредъ... горячка... докторъ... Да, у меня бредъ, у меня горячка, когда я вижу около себя честнаго человъка, умиаго, развитаго, а этотъ человъкъ безъ всякой жалости убилъ иъсколько сотъ людей и... даже не понимаетъ своего звърства... Не сердитесь на меня, думайте, что мои слова—бредъ больнаго, говорилъ Стожаровъ.
 - Да я такъ и смотрю на васъ.
- Ну, и смотрите, только выслушайте... больные скоръй скажутъ правду, чъмъ здоровые.... А умирающіе почти никогда не лгутъ...
- Но могутъ бредить.... горячечные даже дерутся, замътилъ Гридиевъ съ улыбкой.
- На двёсти тысячъ рублей ограбить бёдный народъ въ одинъ годъ — вёдь это своего рода Пугачовщина! говорилъ Стожаровъ, какъ

бы пе замъчая Гридпева и не слушая его возраженія. — Вы куда отправили свой хлъбъ?

- Въ Англію, отвъчалъ Гридневъ.
- Въ Англію! А въдь въ Россіи въ это время голодный народъ ълъ древесную кору и... «молотыя избы!»
- Какъ «молотыя набы?»
- Да «молотыя избы», вижето хлиба... Разви вы не читали?
- Не читалъ.
- Напрасно... Можетъ быть, вмѣсто Англін, вы бы отправили часть своего хлѣба туда, гдѣ пародъ ѣлъ молотыя избы.
- Мик это было бы невыгодно... Я имкю дкло съ заграничными рынками, возразилъ Гридневъ.
- Да! съ заграничными рынками!.. А на дорогъ къ заграничнымъ рынкамъ давите своими обозами голодный народъ, грызущій кору да избы, потому что вамъ это... выгодно!..
 - Кто-жъ самому себъ врагъ?
- Кто?.. Честный человъкъ! А всякій подлецъ—другъ самому себъ.
 - А вы себъ врагъ?
 - Врагъ, отвъчалъ Стожаровъ.
- Что-жъ вы себя не быете, или въ острогъ не сажаете?
- -- Бью, и очень больно, когда сознаю свои вины... А можетъ быть и въ острогъ себя посажу, когда... Стожаровъ остановился.
- Что когда?.. Когда посадятъ? спросилъ Гридцевъ съ проніей въ голосъ.
- Нътъ, сажаютъ въ острогъ и негодяевъ, и честныхъ людей, противъ ихъ воли—это не то... А я бы самъ себя посадилъ, если бы....

Стожаровъ опять остановился.

- Что если бы? спросилъ Гридневъ. Если бы украли что, или убили кого?
- Да, еслибъ сдълался похожимъ на васъ... сталъ бы со спины народа сдирать по двъсти тысячъ рублей въ годъ... торговать бы сталъ, наживаться...

Гридневъ засмѣялся.

- На васъ нельзя сердиться, сказалъ онъ, - вы мономанъ.

— Да, я мономанъ... Я помъщался на добрѣ, на счастъѣ человъчества, на томъ, чтобъ кормить голодимхъ... А вы... вы холодный, разсудительный, расчетливый убійца... Бросьте ваше проклатое ромесло: не заводите вашихъ конторъ пи въ Лондонѣ, пи въ Амстердамѣ—тамъ и безъ васъ много этихъ разбойничьихъ притоновъ, откуда атаманы шаекъ разсылаютъ своихъ добрыхъ молодневъ по всѣмъ большимъ дорогамъ, по рынкамъ, по биржамъ и пристанямъ. чтобъ грабить народъ... Вѣрьте миѣ, что настанутъ другія времена — и не будетъ вамъ мѣста между людьми... А если ужъ вы такъ въѣлись въ ваше ремесло, если ни на что больше неспособны, то заводите ваши конторы въ нашихъ голодныхъ губерніяхъ—все же меньше убъете народу.

Въ дверяхъ каюты показалась темная, широкая фигура. Это была фигура Макриды-страниицы, которая, крестясь, пыхтя и шепча какія-то таинственныя слова, проползла мимо дверки, ведущей въ женское отдъленіе, и загородила собой дверь, ведущую въ отдъленіе пасажировъ мужчинъ. Ожиръвшее лице ея, казалось, облито было деревяннымъ масломъ. Мышиные глазки зорко и пытливо перебъгали съ предмета на предметъ, какъ бы боясь, что всякій, увидъвъ эти глазки, наплюетъ въ пихъ. Тонкія, злыя губы, которымъ всего приличиъе было бы шептать проклятья, шептали какія-то молитвенныя слова.

Пароходный служитель, выскочивъ изъ служительской каютки, старадся заслонить отъ ея глазъ каюту, какъ бы опасаясь, чтобы такая посътительница злымъ глазомъ своимъ не навела болъсти на его пасажировъ...

- Это, матушка, муская каюта, говорилъ онъ, семеня ногами.
- Для меня, родненькій, все едино—что мужчина, что женщина, отвѣчала Макрида.
 - Да господа не одъмши, продолжалъ служитель.
- Я, мой родненькій, господъ не вижу.... вижу единыя души христіанскія, снова отвъчала Макрида.
- Да вонъ яной, матушка, въ рубашкъ, иной, може, и тово-съ, не въ порядкъ... такъ женскому полу конфузно...
- -- Я, мой родненькій, плоцкими моими очами ничего не вижу-ни тебя не вижу, ни муской плоти не вижу... А вижу я моими ду-

ховными очами единыя души христіянскія, безъ рубашки и безъ плоти, мой родиснькій, продолжала Макрида, запуская въ каюту свои заплывшіл жиромъ духовыя очи.

- —А какъ же вы, матушка, сюда дверь-то нашли, коли инчего не видите? спранивалъ смъло служитель, ободряемый улыбками насажировъ.
 - Духовными очами нашла, отвъчала Макрида.
- А ногами камими сюда затесалась тоже, чай, духовными?
 вдругъ сиросилъ сильно выпившій баринъ, подходя къ ней.
- Духовными, батюшка голубчикъ, духовными, отвъчала она, инсколько не оробъвъ, но только стараясь прятать отъ барина свои духовныя очи, — у меня инчего плоцково иъту, голубчикъ — все духовное.
- А меня видишь плотскими, безстыжими глазами своими? спросилъ снова выпившій баринъ съ запальчивостью.
 - Не вижу, мой родненькій, не вижу... У меня все духовное...
 - И пузо духовное?.. Ишь отростила!..
 - Пузо у меня итть, батюшка... Чрево...
 - Тоже, чай духовное?

Макрида начала пятиться назадъ... «Отпусти ему, Господи, не видить бо», шептала она.

- А ты видишь вотъ это духовными очами?.. Кулакъ видишь? Онъ поднялъ кулакъ. Макрида пятилась. Служитель двусмысленно ухмылялся, глядя на кулакъ, какъ на стараго знакомаго, съ котсрымъ нъкогда хлъбъ соль важивали... Другіе насажиры нетерпъливо пожимали плечами...
- Ну,-пу! я шучу, сказалъ баринъ, смѣясь ньянымъ счѣхомъ. А у тебя душа, чай, ужъ въ пятки ушла?

Служитель не выдержаль такой веселой сцены и прыснуль, уткнувы нось въ полотенце, которое было перекниуто у него черезь плечо.

— Пятки то у тебя, чай, тоже духовныя? донытывался пьяный, довольный своими остротами.

Въ это время другой служитель подалъ ему на подносъ водку.

— А водку видишь духовными очами? приставалъ ньяный.

Онъ взядъ рюмку, выпилъ, крякиулъ и махиувъ рукой, вышелъ изъ каюты, бормоча: «А дураки то ее слушаютъ, развъснеъ уши.»

Послѣ его выхода Макрида пріободрилась и, поводя мышиными глазками по каютѣ, пододвинулась впередъ.

— Истинно бо, глаголетъ писаніе, говорила она какъ бы сама съ собою, —вѣдай себѣ человѣче, на комъ худое платье—то пьяница, или нагъ ходитъ — то пьяница, кричитъ кто или вопитъ—то пьяница, кто убился или самъ ногу, или руку переломилъ, или голову сломилъ—то пьяница, кто душегубство сотворилъ—то пьяница, кто въ грязи увалялся вли убился, кто до смерти самъ зарѣзался — то пьяница, негоденъ Богу и человѣкомъ пьяница, только единому дьяволу... О-о-охо! немощи наши!

Она вошла въ каюту и направилась къ Гридневу, котораго давно высмотрѣла.

- Здравствуйте, батюшка Василій Парменычь, говорила она, клаияясь Гридневу.—Какъ васъ господь Богъ милуетъ?
 - Спасибо, матушка. Я здоровъ.
- Слава господу, слава его святымъ угодникамъ... А какъ драгоцънное здравіе родителей вашихъ?
 - И они здоровы.
- Благодареніе создателю... Святой жизни родители ваши... За то и на землѣ господь имъ далъ богатства тлѣиныя, и въ будущей жизни уготованы для нихъ богатства нетлѣиныя...

Гриднева покоробило при этихъ словахъ, потому что они тотчасъ же напомнили ему разговоръ со Стожаровымъ, и ему стало стыдно.

«Уготовать то уготовали, да какт!» думалось ему, и глаза его не могли подняться на Стожарова, который отошелъ отъ него и сълъ около Серпороева, съ любопытствомъ разглядывавшаго Макриду. Таволгинъ тоже отошелъ въ сторону и глядълъ въ окно каюты на Волгу. Ему вспомпились давнишнія посъщенія Макридою ихъ хижины, ея чтенія, завыванья вътра около ихъ избенки, разсказы матери объ отцъ, задавленномъ бъляною на этой самой Волгъ... «Неужели и моей могилой будетъ эта страшная ръка?» думалось ему... «А Стожаровъ правъ... Вездъ то слезы людскія, голодъ, холодъ... Вездъто неправда, и вездъто люди другъ дружку поъдаютъ...»

Мышиные глазки Макриды выглядёли и Таволгина.

- Здравствуй, Мотюшка, сказала она.
- Здравствуйте, отвъчалъ Матвъй отрывисто.
- Видъла я, батюшка, какъ ты душу христіанскую спасалъ...

Богъ тебъ проститъ за это единую четь седьмицы твоихъ прегръшеній, сказала она набожно.

- А сколько это выйдеть единая четь седьмицы? спроспяъ вдругъ Матвъй, оборачиваясь къ Макридъ.
- Единая четь седьмицы?.. Не вѣдаю, батюнка: не всѣ словеса писанія открыты нашему разуму, отвѣчала она, и глаза ея попрятались куда-то, точно мыши по поркамъ.

Макрида въ душћ пенавидћаа Таволгина, но боллась высказать это, видя, что молодой Гридневъ принимаетъ въ немъ участіе. Она отъ старой Гриднихи узпала, какое оканиство учиниять въ ихъ домъ змѣенышъ Мотька, знала, что онъ отшатнулся отъ старой вѣры, сообщила объ этомъ роднымъ Матвън, которые и прокляли его. Она могла догадаться, что такой какъ Мотька змѣенышъ, не нобольшійся стараго и грознаго Гриднева, можетъ спльно ужалить ее, немощную рабу божію, и потому она, льстясь къ молодому Гридневу, котораго тоже подозрѣвала въ отщененствъ, увивалась и около его любимца.

- А вы Мотюшку, знать, къ себъ въ прикащички берете, Василій Парменычъ? спросила она Гриднева, и глаза оя, точно мыши, опять выюркнули изъ норокъ ц забъгали по каютъ.
 - Нътъ, онъ вдетъ вотъ съ шими.

Гридневъ указалъ на Стожарова и Серпороева.

- Тоже, видно, по торговать? спросила она снова.
- Нътъ, учиться... Они его въ университетъ везутъ.
- О-о-хо-хо! Куда Мотюшка залетълъ... Прилучается ласточка къ орлиному гивздышку, говорила она, качая головой.
- Что-жъ, въ ормы выйдетъ, высоко летать станетъ, отвѣчалъ шутя Гридневъ.
- II насъ сърыхъ утицъ бить будетъ, и наши перушки по чисту полю пуститъ.
 - Зачъмъ же?
 - Какъ, батюшка, зачёмъ? Ужъ такова орлу линія.

Глаза ея злобно сверкиули, и опять словно мыши, нопрятались по норкамъ.

- А коли сфрыхъ утицъ орелъ не бъетъ, такъ стервятникой, батюшка, кормится, добавила она скромно, и вздохнула.
 - А вы теперь куда тдете? спросилъ се Гридиевъ.

— По свъту мычусь да гръхи мои тяжкіе занашиваю, словно ризу ветхую треняю... Истреплется риза гръховиая, легче въ могилу будеть ложиться.

Она замолчала и какъ-то нерѣшительно топталась на мѣстѣ. Ее занимала какая-то тайная мысль.

- Мотюшка! а, Мотюшка! снова говорила она.
- Что вы?
- Материее-то благословение везешь въ гивздышко орлиное?
- Beay.
- А бабушкино?
- И оно со мной.
- То-то же. Орломъ-то станешь, налетай на Тарлыкъ Могилуто материну да бабкину люди покажутъ.

За дверью каюты послышался голосъ пьяцаго пасажира, который декламировалъ:

Замерзають быстры рѣки, Лъзутъ въ шубы человъки.

Макрида встрененулась и заметалась, словно гусь на гололедиць. Пьяный отворилъ дверь и разставилъ руки, увидъвъ опять Макриду.

- А! ты здёсь! сказалъ онъ.
- Здёсь, кормилецъ, сказала она робко.
- А я думалъ, что тебя черти взяли. Аль такихъ и они не берутъ? Макрида перекрестилась.
- А покажи мив, гдв у тебя духовныя очи? спрашиваль пьяный.
- Опи невидимы, родимый.
- То-то! А то я бъ тебѣ ихъ выкололъ. Человъкъ! водки...

Пьяный сълъ къ столу. Макрида невидимо скрылась.

— А! улепетиула духовными ногами... Такъ то лучше... Въ Москвъ вамъ шлюхамъ водъ, а у насъ на Волгъ не водъ ..

Пьяный весело посмотрёль на остальныхъ пасажировъ.

Стожаровъ, Серпороевъ, Гридневъ и Таволгинъ вышли на палубу. На палубъ, между тъмъ, уже ораторствовала Макрида въ кругу собравшихся около нея толстогрудыхъ и глуполицыхъ бабъ и косматоборадатыхъ мужиковъ, кои поглупъе, и шевеля коротенькими, толстыми, точно покусанными пчелами пальцами на своемъ широкомъ животъ, закованномъ въ желъзный обручь, въщала:

«И вхожу я, мать моя, въ опую келію и на встрѣчу мив ивкій выопошъ съ лентіемъ на плечѣ, зѣл благообразсиъ, и рѣче ми опый выопошъ: «Зачѣмъ, мати Макрида, входишь ты въ сію келію? Въ евтой самой кельи мужскъ полъ, овіи токмо въ рубашкахъ, овіи же въ единыхъ точію штанахъ». И отвѣщлю я тому выопошу: «для меня все едино, что мужскъ полъ, что женскъ, потому-де плоцкими мошми очами я инчего не вижу, ни мужсаой плоти не вижу, а гляжу я де духовными очами и вижу-де единыя души человѣческія безъ рубашки и безъ плоти». И поклонися миѣ тотъ выопошъ и отыде на страну. И гляжу я, мать моя, духовными очами въ опую келью, и вижу все мужскій полъ, овіи въ одеждахъ, овіи токмо въ рубашкахъ, овіи же точію въ единыхъ брюкахъ, гляжу, касатки мои, и ничего не вижу, а вижу токмо единыя души человѣческія».

 Вретъ чернохвостая лисица, замътилъ про себя пъговолосый мужичонка, слушавшій Макриду, — штаны видитъ, а человъка не видитъ-Сказалъ, сплюнулъ и отошелъ. Макрида продолжала:

«И бысть миж, касатушки мои, виджніе дивное и ужасу подобное. Подходить это ко миж дьяволь во образѣ пьяницы ...»

Бабы ахнули и начали креститься. Ифговолосый мужичонка опять подошель.

«У дьявола того глаза огненные, а изъ роту, мать моя, импетъ съра горящая и жупелъ съ винищемъ... По сърпому-то духу, мать моя, я и узнала, что это дьяволъ, врагъ рода человъческаго. Но я, касатка моя, не испужалась. И вопрошаетъ меня дьяволъ: — А какъ ты, голубушка, сюда затесалась? И отвъщаю я, говорю: — Духовными ногами, говорю, пришла... У меня, говорю, пичево плоцково нъту, а все духовное. — А меня, говоритъ дьяволъ, какими очами видишь? — Духовными, говорю. — Счастливъ, говоритъ дьяволъ, твой богъ, Макрида, что у тебя духовныя очи, а то-бъ я тебъ, говоритъ, давно ихъ исткиулъ. — Аминь, аминь, говорю я, разсыпься, а сама крещусь... Онъ и разсыпался. Остался одинъ токмо выопошъ съ лентіемъ на плечъ.»

— Это половой то съ полотенцемъ на плечъ, замътилъ Таволгинъ Гридневу, которые слышали, какъ за пароходной трубой разглагольствовала Макрида.

300

- Да в лентіс-то у этого выоноши очень грязное, со своей стороны зам'ятилъ Гридиевъ.
- Все вретъ чернохвостая, проговорилъ спова пътоволосый мужичонка, слушавшій Макриду.
- Ноив, слышь, только бабайъ дьяволы показываются, замѣтнаъ другой голосъ.
- Знамо, времена не тѣ нонѣ... Нонѣ воля, земщина... Ину пору и дьяволу бока намнемъ, оттого и носа мужикамъ не кажетъ.
 - Въстимо времена... все времена...
 - Это што и говорить... нонъ тово...
 - Што тово?
 - Да ничево.
 - То-то ..
 - Эхъ, жисть мужицкая!
- А коли-бъ у меня не были духовныя очи, онъ бы миѣ, окаянный, выкололъ мон глазыным, говорила между тѣмъ Макрида, заканчивая свою повъсть о видънія въ мужской каютѣ.
- А у меня, мать Макрида, какі́е глаза? спрашивала курносая, веснущатая бабенка съ телячьним глазами.
 - У тебя, касатка моя, плоцкій глаза, отвъчала Макрида.
 - Такъ мив бы онъ выкололъ?
 - Выкололъ бы, мать моя.
- А у меня, матушка, какіе? спрашивала другая молодуха, острая и смъшливая.
 - У тебя безстыжіе, зам'єтиль п'єговолосый мужичонка и отошель.
- И у теби плоцкій, выколеть и тебъ, отвъчала наставительно Макрида.

Стожаровъ, слушая все это, какъ-то отчанию махнулъ рукой, и проходя къ самому посу парохода, твердилъ задумчиво: «Бъдный, бъдный народъ! До чего тебя изуродовали, до чего довела тебя твоя горькая доля... Долго намъ еще придется возиться съ тобой, и долго будетъ жать тебя голодъ да холодъ, да нужда въ три погибели.»

Д. Мордовцевъ.

XX.

Далеко, очень далеко отъ широкаго поволжекаго раздолья, гдт теперь мыкается Стожаровъ и гдт опъ съ такимъ отчанньемъ махпулъ рукой на горькую долю русскаго человъка, лежитъ родина Григорія Борисовича.

На пологомъ возвышеніи, заросшемъ липами и старыми ветлами, стоитъ небольшой деревянный, почерившій отъ времени домъ, съ такимъ же почерившимъ фронтончикомъ на четырехъ деревянныхъ колониахъ, изъ-за которыхъ видивются окна, какъ бы безмолвно стерегущія и старыя липы съ ветлами, и покатый спускъ къ рѣчкъ Гремячкъ, съ берегами, обросшими по мѣстамъ темнымъ ольховникомъ и зеленою, вѣчно перешептывающеюся съ высокимъ тростии комъ осокою и водяною мельницею, колеса которой, видимыя изъ оконъ дома, казалось пересыпали, особенно при яркомъ солнцѣ, полные ковши брильянтовъ, и темнозеленую полосу лѣса подъ противоположною мѣловою горою, и эту мѣловую гору, и синюю безконечную даль надъ горою.

На старомъ, почернъвшемъ домъ, и на бокахъ и на крышъ, видны бълыя заплаты, которыя какъ то странно, по красиво бросаются въ глаза изъ-за пожелтъвшей зелени старыхъ липъ, точно свътлые шевроны на рукавъ стараго солдата, который донашиваетъ ихъ до могилы. На старыхъ ветлахъ, изъ-за редкой, поблеклой зелени, выдъляются точно темные комья, такія же какъ домъ старыя грачевыя и вороньи гитяда, въ которыя давно когда-то забиралась маленькая рука Гриши Стожарова, росшаго среди шума ліса и птичьяго говора. Каждую веспу старыя ветлы оживають, покрываются зеленью, гивзда наполняются птицами, а лъсъ и вся окрестность стономъ стонетъ отъ птичьяго говора, только русой головки Гриши уже не видно среди этой зелени, не видно его маленькой руки, продирающейся въ грачевыя гитада, не слышно его звонкаго голоса среди птичьяго говора и весенняго неугомона. Гриша учится, Гриша ръдко натажаеть въ Оболонье, а тамъ и совстмъ не стало видно Гриши, который совсёмъ забылъ Оболонье, забылъ птичій говоръ и весенній неугомонъ природы, забылъ старыя лины и ветлы съ грачевыми и вороньими гитадами, забылъ свою любимую ртчку Гремячку, гдт онъ бывало, пробираясь межъ темнымъ ольховникомъ, прислушивался, какъ зеленая осока перешентывается съ высокими, скрыпучими камышами. Забылъ онъ и мельничныя колеса, которыя на его глазахъ полными ковшами пересыпали брильянты въ ртку. Забылъ Гриша и стариковъ своихъ, которые въ немъ души не чаяли. Гриша сталъ Григоріемъ Борисовичемъ Стожаровымъ. У Стожарова въ душт начался свой говоръ и псугомонъ. Стожаровъ забылъ тихое Оболонье и бродитъ по Россіи и по Европъ, отыскивая счастье человъческое, подобно тому какъ одинъ древній чудакъ, все вслъдствіе того же неугомона, искалъ человъка дисмъ при свътъ фонаря.

Почерийла отъ времени и мельница на Гремячий, а ийсколько разъ возобновлявшіяся колеса все продолжали вертйться и шумйть, все пересыпали брильянты изъ одного міста въ другое. Шумъ колесъ доносился до стараго дома. На заріз слышно даже было, какъ по укатанной плотиніз гремійли крестьянскія телійги, отправлявшіяся въ поле.

Въ старомъ домѣ, гдѣ родился Стожаровъ, также все постарѣло—
и люди и предметы. Тихо было всегда въ этомъ домѣ, потому что,
послѣ дѣтства Гриши, уже никогда въ немъ не слышно было живительнаго дѣтскаго ленета и бѣганья. Старики Стожаровы жили
скромпо и уединенно, такъ что только изрѣдка обычная тишина дома нарушалась наѣздомъ кой какихъ сосѣдей, по и эта, какъ бы
нечаянно забравшаяся въ старый домъ шумливая жизнь, скоро опять
улстала изъ стараго дома. И стѣны дома, и мебель, и литографіи
на стѣнахъ—все обветшало и какъ бы обезцеѣтѣло. Обветшали и
обезцеѣтѣли и лица стариковъ. Обветшалъ и бой стѣнныхъ часовъ,
пъкогда звонкій, голосистый, веселый, а теперь тихій, медленный,
точно задумчивый и нерѣшительный, какъ походка стариковъ, все
думающихъ о своемъ бродячемъ сынѣ, все прислушивающихся къ
виѣшнимъ звукамъ, не напесутъ ли эти звуки знакомаго голоса ихъ
любимаго, единственнаго сына.

А сына все нътъ, все нътъ. Наносятся вившие звуки въ тихій, старый домъ, но то или звуки неугомонной весны, или вавыванья снъжной зимы съ мятелями, или шумливос, однообразное битье во-

ды объ мельшиныя колеса, а знакомаго голоса все не напоситъ въ старый домъ виёшияя заокопная жизнь, проходящая мимо стараго дома и его старыхъ тоскующихъ по сыив обитателей, хотя задъваетъ и этотъ домъ и его обитателей.

Въ окна стараго дома заглядываетъ утреннее сентябрьское солице, которое подиялось уже довольно высоко, такъ что свътъ его, врывавшийся въ тихія комнаты черезъ позеленьвший стекла, съ обветшалыхъ стъпъ перешелъ уже на сгарый, давно потертый крашеный полъ и лежалъ на немъ длинными паралелограммами. Эти свътлые паралелограммы бросало солице и въ угольную комнату стараго дома, въ которой находились старики Стожаровы.

У письменнаго стола, на которомъ лежатъ бумаги, и всколько книгъ, въ порядкъ сложенныхъ, и счеты, сидитъ Борисъ Григорьевичъ, и сквозь очки, положенныя не на перепосицу, а на середниу сухаго, ивсколько орлинаго поса, внимательно читаетъ газету, отодвинувъ ее на такое растояніе отъ глазъ, что, казалось, не читаль что тамъ написано, а только разсматривалъ цвътъ бумаги. Морщиинстое лице старика сосредоточено, по видимому, на томъ, что опъ видель на бумаге сквозь свои очки, и светлорусыя, нависшія брови иногда хмурились, какъ будто бумага, разсматриваемая имъ, передавала не то, что хотелось бы видеть на ней старику. Белый лобъ гораздо нокойнъе всего лица, а правая рука иногда какъ бы не хотя мяла поля газеты, но не рвала ихъ потому, что они слишкомъ тонки и беззащитны. Бълая, гладко обстриженная голова по видимому уже давно потеряла всв наружные признаки, по котсрымъ можно было бы судить - черные ли были на ней волосы въ молодости, русые ли или совершенно свётлые. Изжелта бёлые усы упрямо торчать винзь, какъ торчали они сорокъ лътъ назадъ, тогда еще не бълые, а только обожженные порохомъ, когда Стожаровъ и объдалъ и спалъ на пушечномъ лафетъ и когда спорилъ объ закладъ съ товарищами по турецкой компаніи, что пов'єситъ свой любимый кисеть съ табакомъ на вратахъ Цареграда, какъ Олегъ повъсилъ тамъ свой боевой щитъ-и проигралъ закладъ.

Въ сторонъ отъ него, въ старомъ, высокомъ и глубокомъ кожаномъ креслъ, вся облитая лучами солица, сидитъ старушка и вяжетъ, не замъчая, какъ старый котъ катаетъ по комнатъ ся клу-

бокъ, то перебрасывая его изъ ценкой лапки въ другую, то подкрадываясь къ нему со встми предосторожностями, предписываемыми кошачьими законами на предметъ изловленія мышей и зазъвавшихся воробьевъ. Голова старушки ничемъ не покрыта, но бълизна волост заставила бы подумать, что старушка въ ченчикъ-такъ бълы эти мягкіе волосы. Носъ старушки также вооруженъ очками, кругдыми и большими какъ двъ луны, но она не смотритъ въ эти очки, а только по временамъ стрые, нткогда бойкіе и світлые, а теперь полинявшіе глаза, не стъсняясь присутствіемъ на носу очковъ, взглядывають то на читающаго старика, то на окно, въ которое видивются и старыя липы съ ветлами, и темный ольховникъ съ камышемъ и ръзучей осокой у берега Гремячки, и мельница съ неугомонными колесами и дорога, теряющаяся въ синей дали. Губы старушки иногда шенчутъ какія то слова, и въ этихъ словахъ слышится то имя Гриши, то счетъ какихъ-то дней, мъсяцевъ, JATA...

Шуршанье газетнаго листа заставляеть кота припадать къ полу, принимать нужныя предосторожности, какъ бы въ ожидании приближающагося непріятеля; но потомь опять все вниманіе отдается клубку, и опять идутъ военные маневры по полу...

Подъ окномъ раздается строкотанье сороки—и котъ и старушка вздрагиваютъ, но только последняя, вздохнувъ, шенчетъ съ неудовольствіемъ— «лгунья», и онять погружается въ счетъ нетель, дней, мъсяцевъ, лътъ...

Строкотанье сороки опять сбиваетъ ее со счету...

Поганая сорока! ужъ не болтала бы попусту, лгунья эдакая!
 шепчетъ старушка, и опять считаетъ.

Котъ прислушивается; по ръчь не къ нему относится, и онъ опять весь отдается клубку и своимъ, ему одному извъстнымъ, думамъ.

— Вотъ скоро и осень на дворъ, а его все нътъ, снова говоритъ старушка, уже громко, и, минуя очки, взглядываетъ на окно, а потомъ на старика.

Брови старика хмурятся, газетный листъ ръзко шумитъ въ его костлявой рукъ, бълые усы падаютъ какъ будто еще ниже; но старикъ молчитъ.

Въ окно глядятъ лины и ветлы, и темный ольховникъ, и шумливый камынъ надъ рѣкою и синяя даль, и солице, которое какъ бы хочетъ сказать старушкѣ: «Вы сло не видите, а я вижу его точеную голову, вѣчно занатую, вѣчно думающую... оно видимъ былъ для меня и тогда, когда бродилъ далеко отъ родины, когда разстилалось надъ нимъ голубое небо юга, и сердце его болѣло не за васъ, старые, забытые люди, а за весь несчастный міръ божій... Зачѣмъ же вы только объ немъ думаете, когда передъ вами цѣлый міръ, и эта проходящая мимо васъ жизнь, и эта незанимающая васъ зелень, и эта синяя даль!..»

— А у меня ужъ и четвертая дюжина шерстяныхъ чулокъ для него готова на зиму, а онъ все не ъдетъ, опять заговариваетъ старушка, стараясь вызвать на разговоръ старика, и посматриваетъ на него искоса.

Старикъ тоже отводитъ глаза отъ газеты и черезъ плечо смотритъ на старушку.

- Вѣдь онъ у пасъ, матушка, не о четырехъ ногахъ; что ты ему четыре дюжины однихъ шерстяпыхъ чулковъ павязала, говоритъ старикъ, и снова смотритъ сквозь очки на газету.
 - Кто-жъ говоритъ, что о четырехъ...

Котъ, по видимому обрадованный началомъ разговора, бросилъ клубокъ и сталъ тереться у подола платья старушки. Даже какъ будто на него паводило тоску это тоскливое ожиданіе сына.

Опять тихо въ комнать. Опять шуршитъ газетная бумага, да съ губъ старушки срывается шопотъ—счетъ ли петель, или счетъ дией, мъсяцевъ и лътъ, проведенныхъ ею въ ожидании любимаго сына. А липы да ветлы все глядятъ въ окно, у котораго сидитъ старушка, темный ольховникъ стоитъ пе шелохиется, синяя даль все синъе и синъе становится, а проъзжая дорога тяпется какъ будто все дальше и дальше... Но никого не видно на этой дорогъ.

А сорока все строкочетъ подъ окномъ, и только пущую тоску наводитъ на старушку.

— А еще въщуньей называется, подлая пустомеля! ворчитъ старушка, и черезъ очки, словно черезъ заборъ въ чужой огородъ, смотрвтъ и на сороку, и на старыя липы, и на синюю даль, и на дорогу, на которой никого не видно.

- Ты съ къмъ ругаешься? спрашиваетъ старикъ.
- Да вотъ сорока... все попусту мелетъ... только сердце надрываетъ.

Старушка вздохнула, а брови старика опять нахмурились, бълые усы точно еще болье упали книзу.

— Вотъ какіе пыньче молодые люди, сыновья-то какіе... и знать пе хотять родителей, снова заговариваеть старушка.— Нътъ, мы пе такія были въ молодости.

Старикъ круто поворачивается.

- А что вы въ молодости дълали, позвольте спросить? заговорилъ онъ. —Танцовали да амуровъ вышивали?
- Все-жъ лучше, чъмъ забывать старуху мать да отца. Амуры амурами, а родителей помнили.
- Не одии родители у него, матушка, на умѣ... У него дѣло. Старику хотѣлось вѣрить, что сынъ забываетъ ихъ для великаго дѣла, оттого такъ и говорилъ; а между тѣмъ у самаго щемило на сердцѣ: все ему хотѣлось посмотрѣть на Григорія, пожить съ нимъ, посмотрѣть поближе на его дѣлтельность.
 - Ныньче не тъ времена, матушка...
- Ужъ хоть бы ты глазъ мит не кололъ своими временами! говорила старушка съ сердцемъ. —Дались ему эти времена...Точно мы сами не жили... Въдь, чай, тоже были времена и тогда.
- Времена временамъ розь, матушка! Въ наши-то времена молодежь пила, плясала да воевала, на лафетахъ и жила и спала, а ваша сестра тапцовала да амуровъ вышивала. Тенерь не то.
- Что-жъ, теперь ужъ, по вашему, пикто и не танцуетъ и не пьетъ, и военныхъ теперь никого иътъ? Ужъ будто и амуровъ теперь барышни не вышиваютъ?
 - Вышивать то вышивають, матушка, которыя поглупте.
 - А умныя-то что делаютъ?
- Учатся, работаютъ, поступаютъ на должности, докторами дълаются...
- Учились и въ наше время не хуже теперешняго... А что докторами-то не были, такъ это женщинъ, а особливо дъвушкъ, неприлично... Да и мужчины все тъже остались.

— Тѣ же да не тѣ же, матушка... Мы вонъ думали все о пушкахъ, да о туркахъ, да на лошадяхъ гарцовали...

Старивъ закашлялся. Онъ вспоминят, какъ онъ, молодымъ офицеромъ, гарцовалъ на съромъ въ яблокахъ передъ окнами Катюши, полполицей и яспоглазой дъвушки, которая теперь поглядывала на него черезъ очки своими потухшими глазами.

- А теперь что же? волновалась сморщенная, выцвътшая и сгорбившаяся Катюша.
- Теперь, матушка, молодежь думаетъ не о лошадяхъ, а о народъ, заботится, какъ бы его просвътить.
 - Хамовъ какъ ни просвещай, они все хамами останутся.

Ужъ слишкомъ добла старушку тоска о сынъ, оттого она и выражается старчески сердито о хамахъ; а въ сущности хамы знали ее какъ добрую, сердобольную старушку. Накипъвшая на сердит боль требовала исхода. Горе волновало ее до забвенія справедливости, до забвенія даже чулка, который она вязала для своего сына съ священной добросовъстностью, и она спускала нетли, путалась въ счетъ, грозила въ окно пальцемъ сорокъ «лгуньъ», ногрозилась даже на воробья, весело чирикавшаго подъ окномъ. Подбородокъ ся, заострившйся отъ старости, ея губы, ввалившіяся отъ беззубья, дрожали какъ въ лихорадкъ, голова и руки также дрожали.

- Ныпѣшняя молодежь, матушка, пишетъ, литературой запимается, рабочій вопросъ, вонъ, разработываетъ, женскій вопросъ, пародныя школы, земство, политика, братья славяне... Много дъла пыпѣшней молодежи...
- Все лихія больсти выдумывають, ворчала старушка, вполив, впрочемь, увъренная, что изъ всей молодежи только одинъ ел Гриша не выдумываеть лихихъ больстей, а забылъ мать просто по молодости, по неопытности.
- Намъ, матушка, стыдно вспоминть наши времена, продолжалъ старикъ увлекаясь: —вино да карты, женщины да лошади, на мужнка смотръли какъ на соху или на борону, за гончую по два тягла давали... А теперь вонъ почитай.

И старикъ ткнулъ пальцемъ въ газету.

— Еще читать меня заставишь, учиться... будеть, поучилась, начиталась въ молодости...

- -- Тутъ Григорій пишетъ, потому и говорю.
- Гриша?... Ахъ, ты господи!... Покажи, покажи...

 И старушка сползла съ кресла, запуталась въ вязаньф, спотыкнулась на клубокъ, прижала хвостъ коту, обругала его, подошла къ сголу и поправила очки.

— Покажи, гдъ Гриша...

Старикъ показалъ пальцемъ на подпись.

- Такъ, такъ... Григорій Стожаровъ... Батюшка мой, голубчикъ! И старушка набожно поцъловала то мъсто, гдъ было напечатано «Григорій Стожаровъ».
 - Что-жъ онъ пишетъ, Борюшка? о чемъ?
- Пишетъ, что не любитъ свою старуху мать, что никогда къ ней не прівдетъ, что теперь, слышь, не такія времена, чтобъ матерей любить...

Старикъ засмъялся и черезъ очки поглядълъ на жену. Старушка взяла его за ухо.

— Вотъ тебъ, вотъ тебъ, старый лгунъ! Не лги, не лги!

И старикъ и старушка закашлялись. Котъ встрепенулся и отчаянно пачалъ прыгать по стульямъ и по окнамъ.

- Григорій пишетъ еще, чтобъ ты ему чулокъ не вязала, продолжалъ старикъ тъшиться.
- Полно, полно врать-то, Борюшка! Утёшь ты меня... Что-жъ онъ и въ правду что-ли о славянахъ тамъ о вашихъ пишетъ, или о мужикахъ?
- О мужикахъ, Катюша, да о земскихъ дѣлахъ... Остро такъ пишетъ.
- Еще-бъ не остро... Не въ кого ему дуракомъ-то быть, развъ въ мать простушку да необразованную.

Старушка поднесла газету къ губамъ и снова поцѣловала подпись сына.

— Какъ мелко-то напечатано... Глазки бы онъ свои, голубчикъ, не испортилъ... Онъ и маленькимъ близорукъ немножко былъ — какую-то тамъ звъзду на небъ все не могъ усмотръть.

Старушка бережно положила газету на столъ и снова помъстилась въ своемъ кожаномъ креслъ. Увлекаемый общимъ весельемъ котъ взобрадся ей на колжин и все старался своимъ пушистымъ хвостомъ сбить очки съ носа старушки.

И солнце, казалось, веселье и привътливые заглядывало въ комнату, и синяя даль казалась привътливою, оживали и старыя липы подъ окнами, и темный ольховникъ, и порыжъвшій камышъ съ зеленою осокою падъ ръчкой—все оживало и улыбалось полипялому, но повесельвшему взгляду старушки, и даже сорока казалась не обман пицей, а наивною болтуньей. отъ которой вовсе не зависълъ пріъздъ дорогаго сына.

- Вотъ бы прітхалъ къ намъ, пожиль съ нами, посмотрѣль бы на своихъ бывшихъ мужиковъ, коли онъ ихъ такъ любитъ, занялся бы хозяйствомъ... Вонъ ты ужъ старъ... гдѣ тебѣ за всѣмъ усмотрѣть?
 - Усмотрю.
 - Ну, служить бы сталъ ..
 - Гдѣ, матушка, ты ему мѣсто припасла?
 - Ну, въ земствъ тамъ, что-ли, посредникомъ, мировымъ судьей...
- А ты его, матушка, сама чай въ короли бы прочила? спросилъ старикъ улыбаясь.
- Отчего-жъ и не въ короли? не глупъй бы былъ другихъ нъмецкихъ да турецкихъ.

Старикъ самъ готовъ былъ прочить сына въ короли и въ полководцы, и въ законодатели; но молчалъ объ этомъ.

- Нътъ, матушка, не захочетъ онъ ин по земству служить, ни въ мировые судьи не пойдетъ.
 - Отчего-жъ бы и не пойдти?
 - Не такой онъ вижу я это... Что-то другое онъ замышляетъ.
 - Что-жъ это можетъ быть такое, Борюшка?
 - Ужъ это, матушка, его дъло... Дурнаго онъ не выдумаетъ.

Старикъ догадывался, хотя смутно, на основании того что онъ зналъ о сынѣ, что Григорій ищетъ чего то другаго, чего ему не можетъ дать ни земство, ни мировые судьи. Не ради должности мироваго судьи, которую онъ могъ всегда получить, потому что имѣлъ и цензъ и образованіе, -исколесилъ онъ всю Россію и Европу, не ради того, чтобъ разбирать подравшихся да проворовавшихся мужиковъ (на что станетъ и всякаго судебнаго слѣдователя и всякаго честна-

го становаго) учился онъ почти до тридцати пяти лѣтъ и работалъ на ліонскихъ, брюссельскихъ и бирмингемскихъ фабрикахъ и заводахъ заурядъ съ простыми поденьщиками, жилъ по годамъ въ рабочихъ асоціаціяхъ Германіи и Англіи, пахялъ землю въ Мекленбургъ вмъстъ съ мекленбургскими таглеперами... иътъ, старикъ чуялъ, что сынъ его дальше пошелъ чъмъ шли знакомые ему дъятели, что онъ выискивалъ другихъ путей для отысканъя счастья человъческаго.

- Все-таки прівхаль бы къ памъ, разсказамь бы все, говорила старушка задумчиво.
- Можетъ и прівдетъ.

Старикъ не въритъ самъ въ возможность того, что говоритъ; но упорно ждетъ сына, ждетъ еще упорнъе жены, потому что даже съ ней не раздъляетъ своихъ тайныхъ думъ, своехъ ожиданій и мучительныхъ сомивній.

Опять тихо въ старомъ домъ. Опять далекое солице, слъдившее за ихъ сыномъ въ годины блужданій его по бълому свъту, какъ бы хочетъ сказать старикамъ: «Зачъмъ такъ ограниченны ваши желанія, бъдные, забытые люди? Зачъмъ только его, вашего сына, ждете вы, зачъмъ въ него одного положили вы вашу жизнь, ваши думы? Въдь міръ такъ великъ: желайте большаго, и большее дастся вамъ. Кто многаго ищетъ, многое находитъ. А кто ищетъ малое, единое —тотъ и это малое, единое теряетъ»...

А старики не слушаютъ солнца и думаютъ только о сынв, потому что старикамъ не о чемъ больше думать, потому что старость всегда бъдна, всегда, какъ нищій, носится съ одной сумой, да и эту послъднюю суму теряетъ или ее отнимаетъ жизнь и люди.

- Пора бы ужъ и жениться ему, снова заговариваетъ старушка, поглядывая то на старика, то на синюю даль, въ которой теряется пробажая дорога. Мы бы ему хорошую невъсту нашли .. Я бы его дътокъ пяньчила.
- Не тѣ ныпьче времена, матушка, чтобы жениться, снова возражаетъ старикъ, а самъ въ душѣ желаетъ того же, что и жена, только признаться не хочетъ.
- Опять ты съ своими временами! Все у него времена!.. Да развъ ужъ въ эти времена пикому и не жениться? волновалась старушка.

- Отчего не жениться людямъ празднымъ. А они вонны въка, матушка.
- Такъ что-жъ, по твоему, воинамъ и болтаться весь въкъ бобылями?
- II пусть болтаются... Они на войнъ, а на войнъ жена руки свяжетъ, а дътки свяжутъ и руки и поги.
- Господи ты мой! воскликиула старушка въ отчалны, такъ что испугала кота; что-жъ это за времена такія проклятыя! Не люби мать, не почитай родителей, не женись... Да такъ и родъ людской переведется.
- Кто Богу служитъ—не женись, кто въку служитъ—также не женись. Вотъ какъ, мать моя.

Старушка всплеснула руками.

- Да откуда ты, мой голубчикъ, всего этого набрался, скажи на милость?
 - Отъ Григорья.
- -- Точно Григорій съ инмъ вмѣстѣ въ лошадки игралъ и учился вмѣстѣ, какъ послушаешь.
- Не вытет я учился съ пимъ, а учился у пего, Катюша... Вотъ что!
- Да ты, я вижу, Борюшка, совежих съума спятилъ! Ужъ не хочешь ли въ другой разъ въ молодежь записаться?
- Записался бы, Катюша, да насъ съ тобой молодежь не возъметъ... Ей насъ не нужно.

Старушка только вздохнула. Какъ бъсъ шевельпулась въ цей память молодости, и въ умѣ ел певольно сложилась фраза: «а когдато и я нужна была молодежи... Полнолицая, ясноглазая Катя... Ахъ, какъ давно, какъ давно это было!...»

- Ну, прась волосы, отпусти бороду, коли хочешь записаться въ молодежь, ворчала старушка,—а я ужъ одна свой въкъ доживу... Гдъ намъ отсталымъ! Это вы все передовые люди...
- Что-жъ, матушка, и впрямь досадно, что не во время родился.
- Такъ, такъ! ропщи теперь на Бога, старый гръховодникъ.
- И буду роптать... Потому даромъ мы небо коптили, ничего не дълали.

- Что-жъ, кайся теперь, что и на мив женился.
- Я не каюсь, матушка, а жаль только, что на своемъ вѣку мы инчего пе сдѣлали... Въ наше время всѣ только собакъ гоняли, и вонъ теперь за насъ и отдувайся наши дѣти. Такъ то, Катюша.
- А что жъ бы ты едблалъ? Какія такія дёла творить бы сталъ?...
- Да много, матушка, дъла... Вонъ народъ голодаетъ, грубъ, безграмотенъ, тамъ вонъ славяне упрекаютъ насъ, что мы ничего для нихъ не сдълали... А мы собакъ гоняли да на мужикахъ съ колокольцами вздили.
- Ахъ ты господи! вотъ присталъ!.. Ну, и поди цълуйся съ своими мужиками да съ славянами... Всъ эти мужчины, и старый и малый, всъ на одпу стать непутные какіе-то, все бы имъ до старости вътрогонинчать... легковърные какіе-то: всему-то върятъ, всему-то радуются, старое время ин во что ставятъ, а все только «наше время», да «наше время» будто только и свъта что въ окиъ, а свое время забыли.
 - Да вспомнить-то его, Катюша, нечъмъ, кромъ худаго.
 - А теперь скажешь хорошо?
 - Хорошо, Катя.

Старушка даже перевернулась въ креслѣ, спустила петлю, дала шлепка ластившемуся къ ней коту, проворчавъ: «ты тоже, чай передовой... за наше время... все-бъ тебѣ по крышамъ дазить!» и стала тревожно глядѣть въ окно.

- Хоть бы однимъ глазкомъ изъ могилы поглядёть послё, чтото сдёлаютъ наши дёти, наши внуки, продолжалъ старикъ, котораго годы какъ бы вовсе не состарили, хотя и разбили его древнее тёло.
- Ну и поглядишь, когда меня похоронишь, отвъчала старушка, не глядя на мужа.
- Поглядъть бы, продолжалъ старикъ, какъ это вотъ черезъ наше Оболонье пройдетъ желъзная дорога... вагоны эти, локомотивы... дымъ... Станцію тутъ у насъ бы, вонъ тамъ гдѣ гумпа...
 - Разоритъ насъ эта желъзная дорога, продолжала старушка.
 - Славяне по ней поъдутъ, продолжалъ свое старикъ.

— Хоть бы провалились всё эти славяне!.. Въ наше время пиканихъ этихъ славянъ не было, а лучше жилось — дёти родителей почитали, твердила свое старушка.

Женщина почти всегда и вездѣ была консервативна, особенно пожилая и старуха. Въ молодости ей все равно, къ какому бы лагерю ни принадлежать, подъ какимъ бы знаменемъ ни стоять, лишь бы ее любили, поклонялись ел красотѣ, и она всегда охотиѣе шла за тѣмъ знаменемъ, подъ которымъ могла найдти больше поклонинковъ. Съ лѣтами, жизнь, попримявшая ее, понстрепавшая ся красоту, какъ бы выбрасываетъ ее за бортъ корабля жизни, тогда какъ мужчина и въ старости дѣйствуетъ, принимаетъ участіе въ общечеловъческой работѣ, и оттого менѣе окисляется. Женщина же непремѣнно окисляется и враждебно относится ко всему живому, потому что между этими живыми ей одной иѣтъ мѣста, одна, одна тамъ лишняя. Оттого мужчина бываетъ молодъ и въ семьдесятъ лѣтъ, тогда какъ старуха — никогда.

Такъ было, впрочемъ, до сихъ поръ. А что будетъ дальше, то будетъ, безъ сомпѣнія, лучше.

- Мужикъ нашъ будетъ богатъ, мечталъ старикъ.
- Опять хамы!.. Ну времячко!..

Старушка отъ волненья оборвала нитку.

- Нѣмцы насъ не будутъ презирать, продолжалъ мечтать старивъ.
- Ну, чего еще? Женишься въ другой разъ на славянкъ... Тошно даже слушать тебя.
- По желѣзной дорогѣ къ намъ пріѣдетъ Григорій, говорилъ старикъ.
 - Вотъ одно умное слово сказалъ... Да когда это будетъ?
- Когда ты, матушка, сорокъ сороковъ дюжинъ чулокъ успъешь навязать.

При этихъ словахъ старушка онять впала въ раздумье. Ей въ самомъ дѣлѣ представилась желѣзная дорога, идущая черезъ Оболонье, хотя она никогда не видала что такое желѣзная дорога, что такое рельсы, вагоны. Ей видѣлось только выглядывающее изъ вагона дорогое лице, и изъ непроглядной, синей дали она узнавала это лице между тысячами лицъ, различала своими старческими гла-

зами каждую морщинку на этомъ лицъ... И вотъ оно все ближе, ближе... Вагоны останавливаются тамъ, у самыхъ гуменциковъ, позади избы Савелья, и изъ вагона выходитъ Гриша, такой блъдиый, такой задумчивый... А старушка тутъ же, у самаго вагона—доплелась таки старыми, развишченными погами до Гриши, и Гриша узнастъ свою старуху мать, не глядитъ даже на отца, а только на нее глядитъ и проливаетъ радостныя слезы... «Какъ я давно не видалъ васъ, маменька», говоритъ опъ, и обнимаетъ ее, ведетъ подъруки, а съ старикомъ отцомъ даже забылъ поздороваться—такъ обрадовался матери!

- Я бы въ Воронежъ тогда съйздила, говоритъ старушка, очнувшись отъ своихъ грезъ.
 - Когда это, матушка? спрашиваетъ старикъ...
 - Да когда у насъ желъзная-то дорога будетъ.
 - A!.. Всякому свое... Кому дъло, а ей Воронежъ.
- А тебѣ бы чего? снова вскидывается старушка на мужа.... Къ славянамъ бы своимъ, чай, поѣхалъ?
 - Отчего-жъ и не повхать, коли можно?
 - То-то можно! Да къ лицу ли тебъ славяне-то придутся?
 - Къ лицу, матушка.
 - А мив сдается, какъ къ коровъ съдло.

И опять тихо въ старомъ домъ. Все тъже липы да старыя ветлы глядятъ въ позелентлыя отъ времени и непогодъ окна, все тоже слышится осторожное, неръщительное постукиванье маятника, тоже сентябрьское солще рисуетъ на крашеномъ, потертомъ полу свътлые четырехугольники, которые уже изъ паралелограммовъ обратились въ квадраты, тоже ожиданье радости томитъ старыхъ, забытыхъ жизнью людей.

А въ сторонъ отъ нихъ жизнь бъетъ кипучимъ ключемъ... Какъ изъ омута какого бездоннаго она поднимаетъ вопросъ за вопросът, да вопросы все жизненные, неотложные, проклятые вопросы, какъ ихъ называетъ Гейне, вопросы прямые и ръзкіе до ципизма... И люди спъшатъ ръшить эти вопросы, чтобъ до могилы пичего не осталось перъщеннымъ, и въ числъ этихъ людей мыкается тотъ, кого ждутъ въ Оболонъъ старые, забытые люди...

XXI.

Въ компату, въ которой сидъли и тосковали о сыпъ старики Стожаровы, вошло или вфриће вкатилось еще одно очень старое существо, не шаркающее, а такъ сказать шамкающее ногами. Существо это, впрочемъ, шамкало и языкомъ, какъ шамкало погами. Это была очень старая, очень сухая и очень маленькая старушонка. Лице ея, перестченное морщинами въ такихъ направленіяхъ, въ какихъ едва ли можетъ быть перестченъ до невозможности старый человтческій образъ, выражало положительную доброту, которой старость придавала какое-то умиллющее спокойствіе. Глаза старушонки слабо выглядывали изъ-подъ какихъ-то навъсовъ, образовавшихся изъ-складокъ повисшей подъ бровями старой, пересохшей кожи. Маленькая, узенькая голова ея почти совершенно лишена была естественнаго прикрытія, хотя темъ не менее жиденькіе волоссики, кое-где нощаженные всесокрушающимъ временемъ, не были съды, а казались только выцватишими и принадлежащими какъ будто другой человаческой головъ, не той, на которую они случайно попали. При всемъ томъ, движенья этого, по видимому не въ мъру зажившагося на землъ, существа были довольно живы и юрки, какъ и самое шамканье ногъ и языка было быстро не по летамъ, только казалось, что шамкая по полу довольно быстро, существо это всегда готово было упасть и не ушибиться - такъ сухо и безплотно казалось это перестаръвшееся тъло. Одъто оно было въ темное ситцевое платье, сверху котораго еще надъта была черная ваточная кацавейка.

Это была старая илия Аверьяниха, выносившая на рукахъ Гришу Стожарова и еще не болже какъ двадцать иять лётъ назадъ умъвшая лазить по деревьямъ, когда ея питомецъ забирался слишкомъ высоко на какую нибудь старую липу, увлекаемый жаждою достать вороньи яйца.

Аверьяниха, неслышно вкатившись своимъ безплотнымъ тёломъ въ компату, дёлала своими костлявыми, такими же какъ и все ся тёло безплотиыми руками какіе-то телеграфическіе знаки Стожаровой. Стожаровъ, сидъвшій спиной къ входной двери, не видълъ этихъ

знаковъ. Аверьяниха показывала рукой на окно, а потомъ какъ бы на потолокъ, и при этомъ въ лице ея выражалась какъ будто радость, но въ такихъ формахъ, въ какихъ могла развъ проявиться радость на застывшемъ лице мертвеца, лежащаго въ гробу, еслибъ только лежащія въ гробу лица могли когда либо проявлять что инбудь похожее на радость.

Старушка Стожарова встрепенулась и съ несвойственной ея лътамъ живостью подбъжала къ Аверьянихъ.

- Что? спросила она, шопотомъ, между тъмъ какъ руки ея тряслись и не могли сложиться ни на груди, ни у пояса.
- Пыль, матушка Катерина Митревна, въ свою очередь отвъчала шамкающимъ шопотомъ Аверьяниха.

Стожарова точно окаментла на мъстъ, только голова ся затряслась и заходила изъ стороны въ сторону.

- Охъ, держи меня... темно, простонала она.
- У меня у самой, матушка, подкатилось, бармотала Аверьяниха, силясь поддержать барыню. Какъ увидала это пыль голубушку, руки и ноги подкосились... А она-то, матушка, пыль-то, клубомъ...
- Веди меня... показывай, говорила Стожарова, все еще какъ бы виъ сознанія.
- Такъ и валитъ, такъ и валитъ, матушка, клубомъ пыль-то. А мое сердечушко такъ и закатилось...
 - 0хъ, это онъ...

Старика Стожарова тоже будто что подняло на ноги.

- Кто онъ? спросилъ онъ порывисто.
- А она-то клубомъ, клубомъ, матушка.
- Да кто она? спросилъ уже съ сердцемъ старикъ, недоумъвая что сталось съ объими старухами.
 - Пыль, батюшка баринъ, такъ и клубится, такъ и клубится.
 - Что-жъ что пыль?
 - А ничего, родной мой...

Старикъ начиналъ догадываться въ чемъ дѣло, по старался скрыть свою безмѣрпую радость, которая на первыхъ порахъ проявилась какимъ-то испугомъ.

- Върно Григорій вдетъ? спросилъ опъ, и въ старческомъ голосъ оказалась какъ бы трещина.
- Ныль, батюшка баринъ, по дорогъ... Сама видъла съ подвалки.
- Нойдемъ... покажи, снова проговорила старуха Стожарова съ усиліемъ.

Аверьяниха повела ее къ выходу. Оставшись одинъ, Борисъ Григорьевичъ заметался. Онъ котѣлъ отворить свой письменный столъ, по руки его тряслись и не попадали на ключъ. Ощупавъ ключъ, онъ вертѣлъ его не въ ту сторону, въ которую слѣдовало, и съ дрожью въ голосѣ шепталъ: «Вотъ и онъ пожаловалъ... всномнилъ пенатовъ... А глупыя старухи совсѣмъ растерялись...» И онъ силился засмѣяться, по смѣхъ выходилъ беззвучный. Дрожащія руки, наконецъ, отперли столъ, и ухватились за лежавшую въ немъ зрительную трубу. «Посмотримъ, посмотримъ» шепталъ онъ, и поспѣшилъ вслѣдъ за растерявшейся женой и старой изнькой. «Посмотримъ, кто то раньше увидитъ».

Старикъ совсѣмъ растерился, хотя положительно пе хотѣлъ этого показывать «глупымъ старухамъ». Старухъ онъ нагналъ на узенькой лѣстницѣ, ведущей на чердакъ стараго дома, откуда Аверъчниха, какъ съ обсерваціоннаго пункта, отчасти по приказанію барыни, отчасти по влеченію своего собственнаго стараго, но все еще бившагося сердца, сторожила каждый день пріѣздъ своего вскормленника. Старухи помогали одна другой взбираться на лѣстницу и взаимно другъ другу мѣшали.

- Ну-ка, пу-ка, правду ли говоритъ казанская татарская княжна Суюмбека, говорилъ онъ, слъдуя за старухами.
 - Какая татарская княжна? спрашивала его жена.
- Суюмбека, матушка.. Она вѣдь съ высокой башин наблюдала, какъ Грозный Казань браль.
- Охъ, Борюшка! тебф бы все шутки, а у меня въ глазахъ потемифло.

Наконецъ, они были на чердакъ у слуховаго окна, и глядъли вдаль на дорогу.

- Ну, что видите? спрашивалъ старикъ.
- Пыль, Борюшка, по дорогъ, отвъчала Стожарова.

- Ишь какъ клубится голубушка, говорила Аверьяниха, приглядываясь въ даль своими старыми глазами.
 - Дайте я посмотрю на Грознаго, осударь Иванъ Васильича.

Старикъ наводилъ свою зрительную трубу по указанному направленію, но дрожащія руки отказывались служить ему. Труба ходила ходенемъ и показывала то кустъ неклена, то мельничное колесо, то собаку, стоящую на мельничной плотинъ и лающую на вътеръ, то клочекъ голубаго неба...

- Покажи мив его голубчика, приставала старуха жена.
- Постой, Катюша... Дай самому взглянуть, отвёчаль онъ.

Ныль подпималась все ближе и ближе въ спуску на мельницу, а дрожащіл отъ волненія руки старика все не могли навести фокусъ трубы на искомый предметъ.

- Вотъ онъ съ горки спускается, голубчикъ, бормотала Аверьяниха, у которой зръніе, не смотря на старость, было лучше, чъмъ у господъ.
 - А видишь ты его самого, Аверьяновна? спрашивала Стожарова.
- Нѣтъ, матушка, будто колеса вижу, а его золотаго не вижу. Наконецъ, старикъ навелъ свою трубу. «Не можетъ быть, шепталъ онъ,—не туда направилъ... нѣтъ, такъ, такъ...»
- Видишь, Борюшка? Что видишь? Говори, не мучь меня, спрашивала, нагибаясь къ его плечу, взволнованная мать.
 - Вижу, матушка.
 - Его? Сокровище наше?
 - Нътъ, спопы.

У старухъ и руки опустились. Съ горки, дъйствительно, спускалась телъга съ сиопами. У старика также точно что порвалось въ сердцъ; но опъ и тутъ побъдилъ себя.

- А можетъ онъ, нашъ золотой, ужъ проъхалъ, а спопы послъ подоспъли, утъщала ихъ и себя Аверьяновна.
- Нътъ, Аверьяновна, не быть этому... не видъть ужъ мнъ моего солнышка, говорила опечаленная мать.
- Что-й то, матушка! какіе еще ваши годы: поживете, увидите, настапвала Аверьяниха.
- Эхъ ты, княжна татарская! говорилъ Стожаровъ, обмануло тебя твое сердце.

- Чъмъ, батюшка, обмануло?
- Да вотъ, спопы приняла за Григорія.
- На все Господь, батюшка баринъ, отвъчала покорно старая пяпя.
- Оно-то такъ, а все-таки ты прозѣваемь, и не увидишь, какъ
 Григорій Казань возьметь въ полонъ.
 - Помилуй Богъ отъ такой бёды, набожно сказала ияпя.

Старикъ махнулъ рукой и пошелъ съ чердака. За нимъ поплелись и опечаленныя старушки. «Экое горе, шентала Аверьяниха: — снопы, а не баринъ нашъ золотой.»

И опять въ старомъ домѣ потянулась прежиля однообразная жизнь. полная тоски и ожиданій. Каждый день Аверьяниха дазила на чердакъ и наблюдала оттуда ветхъ протожавшихъ по большой дорогт: но уже не ръшалась тревожить господъ изъ-за всякаго встававшаго въ отдаленіи облачка пыли, а только въ раздумын шентала сама съ собой: «а може и это снопы, а не онъ, золотой нашъ». Старушка Стожарова начала новую дюжину чулокъ для своего любимца, и каждый день сквозь окно бранилась съ сорокой, то грозя ей нальцемъ, то называя ее лгуньей, пустомелей и неблагодарной итицей. Въ неблагодарности она упрекала сороку за то, что бросала ей иногда за окио кусокъ говядины, въ падежде, что сорока-вещунья напророчить ей прівздъ сына; но неблагодарная сорока упосила говядину, снова появлялась подъ окномъ, снова строкотала, а молодой Стожаровъ все не прівзжалъ. Старикъ Стожаровъ продолжалъ читать газеты и тъ немногія книги, которыя у него имълись, въ томъ числѣ книгу доктора Бока «Будьте здоровы», а по временамъ вносилъ свои наблюденія въ дневникъ, который онъ велъ съ первой холеры, то-есть съ тридцатаго года, и изъ котораго можно было видъть, какимъ метаморфозамъ подвергало время убъжденія этого человъка, у котораго быль природный свътлый умъ и довольно наблюдательпости. Въ иной день опъ отправлялся на деревню къ мужикамъ потолковать о работахъ, и непремъпно заводилъ разговоръ о повыхъ временахъ, о новыхъ номещичьихъ, земскихъ и крестьянскихъ порядкахъ.

На ту пору воротились оболоньевскіе мужики Лодыга и Артемка изъ Петербурга, куда они ходили искать своего счастія, подобно тому какъ ихъ молодой баринъ искаль этого счастья, впрочемъ пе

своего личнаго, а вообще человъческаго счастья по Европъ и по всей Россіи. Лодыга и Артемка пробыли въ Петербургъ иъсколько лътъ и воротились теперь — одинъ съ небольщимъ запасомъ деньжоновъ и горькой опытности, другой -съ большимъ запасомъ столичной лакейской цивилизаціи и развращенности. И того и другаго тянуло въ Петербургъ недовольство существовавшимъ порядкомъ вещей, и хотя тотъ и другой искали счастья, но Артемка видълъ его далеко не въ томъ, въ чемъ находилъ его Лодыга. И того и другаго на родинъ глодала нужда, и того и другаго давили не ласковыя обстоятельства и безталапливость, которыя давили и другихъ мужиковъ; по другіе смирялись передъ нуждой и несли на своихъ плечахъ столько тяжести, сколько могли поднять и протащить до перваго упаду. А Лодыгу и Артемку эта непосильная тягота выдавила изъ обычной колеи и они ръшились на то, на что обыкновенно ръшаются сказочные горемыки - пошли искать черта, чтобы продать ему свою душу. Характеры обоихъ мужиковъ были разные, но одинаково несутеричивые: если Лодыгу называли огнивнымъ кремнемъ, то Артемку положительно можно было назвать порохомъ.

По поводу прихода Лодыги и Артемки, старикъ Стожаровъ засталъ на деревиъ большую суматоху. Оба пришлецы были героями дия, только Лодыгу разиня ротъ слушали мужики и по временамъ охали, а Артемка былъ фокусомъ впиманія бабъ и дѣвокъ.

Увидъвъ стараго барина, Лодыга подошелъ къ нему и сиялъ шанку. Старикъ обрадовался, узнавъ одного изъ своихъ прежинхъ забіякъ, котораго впрочемъ любилъ за смышленость.

- Здорово, Лаврентій, сказалъ старикъ, вглядываясь въ загоръвшее лице Лодыги. Давно ли прибылъ къ памъ?
- Утръсь только Богъ привелъ... Не усиълъ еще поклопиться и вашей милости, баринъ.
 - А Артемій не съ тобой?
 - Съ нами, сударь... И Артемка домой захотълъ.

Подошелъ и Артемка. За ними надвипулись къ барипу всё оболоньевскіе мужики, бабы, дёвки и ребятишки.

— Ну что, Лаврентій, хорошо ли житье па сторонъ? спрашивалъ старикъ.

- Хорошо, баринъ, тамъ, гдъ насъ пътъ, а еще того лучше,
 гдъ людей пътъ, отвъчалъ Лодыга, тряхнувъ косматою головой.
 - Отчего жъ такъ?
- Гдъ люди, баринъ, тамъ и нужда, а нужда то въ Питеръ не но врышамъ ходитъ, а по людямъ.
 - Такъ ты, значитъ, не радъ, что ходилъ?
- Не отъ радости ходилъ, а отъ бездолья... А радость-то въ Питеръ и на фунты не продаютъ—дорога оченно.
- Это точно что такова товару и въ милютинскихъ лавкахъ не найдешь... Арбузъ еще можно купить, а радость не купишь, замътилъ съ своей стороны Артемка, охорашиваясь и поглядывая на бабъ.
- Λ тычки тамъ почемъ на базар\$ ходятъ? спросилъ одинъ оболоньевскій острякъ.
- Тычковъ, братъ, нонъ нигдъ не продаютъ и даромъ не даютъ.
 Евтотъ товаръ выводится, потому времена не тъ, отвъчалъ Артемка.
 - А у насъ на тычки урожай, по старому.
- Однако заработали ли вы что-нибудь? спросилъ Стожаровъ-Или съ пустыми руками воротились?
- Нѣту, баринъ, како́ съ пустыми! Что было на рукахъ мозолей, такъ пзъ Питера принесли на кажинный мозоль по десятку... Не было. кажись, мозолей на синнъ, такъ въ Питеръ нажили... Диви бы сердце—кажись, сердцемъ ни воду не таскалъ, ни дрова не рубилъ—а и на сердцъ мозоли, да такіе болючіе, баринъ, говорилъ Лодыга. Тяжела она, денежка мѣдная, что крешеному пароду достается, а кажись въ ней и въсу не сколько... У насъ что—наша сторона благодатиая, а тамъ чего мы наглядълись, такъ пида сердце кровью обливается.
 - Что-жъ вы тамъ видѣли? спросилъ Стожаровъ.
- Всего видъли, баринъ, и наслышались вдоволь... Что нашего брата рабочаго приходитъ туда кажинный годъ, что мретъ его тамъ— и сказать нельзя. Везутъ это туда нашего брата вагонами полны вагоны, а назадъ-то воротится малая часть все събстъ нужда да голодъ, да болъзни разныя... Кажись изо всей Россіи слезы туда, какъ ръки въ море, стекаются...

- Не однъ, дядя Лавренъ, мужицкія, а и господскихъ не мало, замътилъ Артемка.
- Оно и то правда, да наши-то злезы, парень, покрупнъе господскихъ и потяжеле ихъ будутъ.

Старикъ Стожаровъ, сидя на завалинкъ, молча слушалъ жалобы Лодыги на крестьянскую пужду. Онъ и прежде подмътилъ эту черту за Лодыгой, а теперь она, кажется, высказывалась въ немъ еще ръзче, потому что, дъйствительно, мужикъ потерся на сторонъ и видълъ много такой нужды, о какой въ ихъ мъстности и понятія не имъли. Въ Петербургъ Лодыга видълъ рабочій людъ изъ самыхъ объдныхъ мъстностей Россіи. Отъ этого наплывающаго каждый годъ въ столицу народа Лодыга узналъ, каково живется въ другихъ мъстахъ, объдныхъ, безземельныхъ. Онъ видълъ, какъ гнилыя горячки косили рабочій народъ сотнями, потому что этотъ народъ образомъ жизни своей поставленъ въ такія условія, которыя даютъ менъе возможности уберечь себя отъ этихъ бользней: чтобы заработать себъ кусокъ хлъба, онъ неръдко вынужденъ работать даже въ ущербъ своему здоровью.

Вотъ отчего Лодыга положительно увърялъ, что мужицкія слезы покрупнъе и потяжеле барскихъ.

- Не говори этого, Лаврентій, зам'ятилъ Стожаровъ на посл'яднія слова Лодыги, — крупны и тяжелы тоже и господскія слезы.
- Оно правда, батюшка Борисъ Григорьичъ, бываютъ и господскія крупненьки, что и говорить, да счетъ-то не ровенъ: на сотню другую мужицкихъ, може одна господская приходится.

Артемка при этомъ не утерпълъ, чтобъ не потъщить бабъ и дъвокъ. Обративъ къ нимъ свое веселое, загорълое лице и скорчивъ гримасу, онъ шопотомъ сказалъ имъ: «Мужицка-то слезища во какая» (онъ сжалъ свой кулакъ и приложилъ къ щекъ); «а барскаято слезинка вокенькая» (онъ показалъ на кончикъ ногтя). Бабы и дъвки захихикали и потупились.

- Теперь-то чёмъ мужику не житье? Теперь онъ вольный, замётилъ добродушно старикъ Стожаровъ.
- Что воля, батюшка Борисъ Григорычъ! И песъ воленъ бъгать по улицъ и брехать на кого душенька забажаетъ, а что тутъ

проку?.. Все передъ кускомъ-то хвостомъ виляетъ, снова возразилъ кремень Лодыга.

Артемка сталъ показывать пальцемъ какъ собака хвостомъ впляеть, и спова насмёшилъ бабъ и дёвокъ.

- Странио, говорилъ старикъ Стожаровъ задумчиво, какъ будго около него и не было крестьянъ,—и мой Григорій тоже пишетъ въ своихъ статьяхъ... Такъ всёмъ не хорошо, говоришь ты, Лаврентій? спросилъ онъ, обращаясь къ Лодыгъ.
- Не знаю, барпиъ. Може кому и хорошо жить на свътъ, а я говорю что видълъ самъ да отъ людей слышалъ... Нашему брату мужику маятно жить.
- Чемъ же вы недовольны?
- Мы, батюшка Борисъ Григорычъ, всёмъ довольны, и вашей милостью довольны.
- Это что и говорить, замътили другіе мужики, у насъ баринъ добрый.
- Да я вамъ теперь не баринъ, возразилъ старикъ, вы сами по себъ, а я самъ по себъ... И у васъ земство, и у насъ земство, и у васъ посредникъ, и у насъ посредникъ.
- Опо точно—все какт следовать, снова началь Лодыга, да не того мы отъ земства чаяли... Выбирайте, слышь, гласныхъ, они-де будутъ ваши антиресы блюсти. «Какіе—моль такіе антиресы?»— «Да чтобъ меньше, говорить, налоговъ было». Вотъ мы и выбрали. А налоговъ-то больше вотъ по самую какъ есть шейку завалили налогами.
- Ужъ такъ-то, милый, блюдутъ, что и-и-и! отозвался какойто другой мужикъ.
- Знамо, блюдетъ котъ сало, такъ и поги масляны, замътилъ оболоньевскій острякъ, по прозвищу Куликъ.

Старивъ "Стожаровъ въ душѣ самъ сознавалъ, что положеніе крестьянина туго идетъ къ улучшенію, что выбившись изъ барщины, опъ все еще долженъ тижкимъ трудомъ завоевывать себѣ право на существованіе, а существованіе все-таки незавидное, воля всетаки не выглиула его изъ пужды. Съ реформами потребностей явилось больше, повинности стали сложиће: мужикъ плати и на содержаніе крестьянскихъ учрежденій, содержи и посредниковъ, и земскія

управы, и мировыхъ судей; а у мужика остались все тъже двъ руки и двъ ноги, да въ добавокъ десять глотокъ, которыя онъ долженъ заткнуть хлъбомъ.

Стожаровъ заговорилъ о новыхъ судьяхъ.

- Оно-то такъ, батюшка Борисъ Григорьичъ, повый судъ дѣло хорошее и разбойника не выпуститъ на волю за грѣшныя денежки, какъ выпускалъ старый судъ, и праваго въ обиду пе дастъ; да намъ-то, баринъ, круго приходится, говорилъ Лодыга.
 - Чѣмъ-же?
- Судья-то тебя судить, а ты-то его и корми, и обувай, и одъвай.
- А какъ же, дядя Лавренъ, возразилъ Артемка, конь тебя возитъ, ты и корми за это коня; кто же даромъ служить будетъ? Артемка, однако, соскучившись серьсзнымъ разговоромъ, отошелъ къ-бабамъ и началъ имъ плести про Питеръ.
- Сидишь это въ трактиръ, чаи распиваешь, а тебъ какой нина-есть паренекъ газету читаетъ... Пьешь это и слушаешь.
- Объ чемъ же, Артемушка, читаютъ?
- Обо всемъ—и объ Напаліонъ, и объ Гусевомъ переулкъ, просвъщеніе тамъ всякое... теперича безъ евтово пельза... образованіе такое.
- A много тамъ трактировъ, дядя Артемъ? спросилъ одинъ парень.
- Много! Въ кажинномъ тебъ домъ трактиръ, харчевия, кофейия, кандитерска — это господские кабаки, клубы тамъ разные, тоже на манеръ кабаковъ — вездъ водка...
 - Ой ли! Такъ, поди, дядя всъ спились?
 - Безъ евтово, парень, нельза образование такое пошло...
 - И бабы ньютъ? спросила одна баба, охотница до выпивки.
 - Тамъ бабъ нъту, тетка: все барышни да мамзели.
 - Ой ли! А хто-жъ родитъ ребятъ?
- Мамзели родятъ... А отчего мамзели родятъ? Оттого что всть хотятъ... Идетъ это по прешпекту мамзель голодная — тамъ вст мамзели голодныя, потому дорого все — на встръчу ей кавалеръ: «хочешь, говоритъ, мамзель, ъсть?» — «хочу, говоритъ, кавалеръ давно не ъла.» — «А родить, говоритъ, хочешь?» — «Не хочу», го-

ворить... Кавалеръ и уйдетъ, а мамзель голодаетъ... Голодаетъ день, голодаетъ другой, опять идетъ по прошпекту, и опять ей кавалеръ попадается: «хочешь, говоритъ, мамзель, ѣсть?» -- «хочу», говоритъ.—«А родить согласиа?» говоритъ.—«Согласиа...» Ну, поъстъ—и родитъ.

Бабы и дѣвки пришли въ ужасъ отъ того, что имъ наплелъ Артемка.

- А хто-жъ, Артемушка, дътей тамъ кормитъ? спросила одна сердобольная молодуха.
 - Птица кормитъ.
 - Что ты врешь! Не слушайте его, бабы, онъ вреть.
 - -- Инъ не слушайте, коли вру.
 - Говори, говори, дядя Артемъ, приставали парни.
- Есть тамъ большущій пребольшущій домъ—все Оболонье помъстится въ немъ, а на домъ тамъ птица... Сидитъ это птица, распустила крылья, а утробу свою разрываютъ, а маленьки пичушки кровь ея пьютъ—тъмъ и питаются.
 - Кто-жъ евти пичушки, дядя?
 - Мамзельскія дѣти.
 - Ну, городовъ! говорили бабы.
 - А кабаковъ-то, кабаковъ-то что! дивились парип.
- Что кабаки! кабаки плевое дъло... образование тамъ главное вотъ что...

Бабы и парни ръшительно не понимали въ чему Артемка ръчь клонить.

- Тамъ всѣ грамотные, продолжалъ Артемка, —колп ты не грамотный, тебѣ въ глаза наплюютъ.
 - Что ты?
 - Пра! Грамота теперича первое дѣло.
- А ты нонѣ ужъ разп грамотный, дядя Артемъ? спрашивали его.
 - А безъ грамоты, ты думаешь, я бы произошелъ все?
 - -- Хто жъ тебя научилъ?
- Господа научили и книжекъ надавали.
- Чудное это дѣло, говорила одна старая женщина, слушая Артемку, грамотъ учатъ эти господа, книжки даютъ, а коли дѣвка съ

голоду помираетъ да честь забываетъ, такъ ей куска хлъба не дадутъ господа.

- Эхъ ты, тетка Маланья! отозвался Артенка, —господа госнодамъ розь... тъ что насъ мужиковъ грамотъ учатъ, сами ину пору голодаютъ, а тъ что за мамзелями гоняются — книжекъ не читаютъ, а просто съ жиру бъсятся.
- А что толку-то въ грамотъ, рази она мужику хлъбъ дастъ?
 опять спросила тетка Маланья.
- Знамо дастъ! Кто ученъ, тотъ уменъ, а умный человъкъ не токмо хлъба, но и богатство наживетъ. А коли будемъ богаты, намъ всъмъ будетъ хорошо.
 - И мамзелямъ хорошо будетъ? спросили другія бабы.
- И мамзелямъ, и вамъ хорошо будетъ, смъясь отвъчалъ
 Артемка.
 - Жпи!
- Чаво жди! сказано будетъ—и будетъ. И Артемкъ хорошо будетъ, и теткъ Маланъъ не худо.
 - А когда оно будеть?
 - Когда всъ будутъ грамотные.
 - И тетка Маланья? спросилъ одинъ паренекъ.
- И тетка Маланья, отвъчалъ Артенка, лукаво подмигивая бабъ.

Тетка Маланья плюнула и отошла.

 Пришла свинья изъ Питера, вся истыкана, сказала она, и вызвала общій хохотъ.

Другая часть оболоньевцевъ, скучившаяся около стараго барина, также толковала о современныхъ вопросахъ, но только разсматривала ихъ не съ той точки зрѣнія, на которую поставилъ своихъ слушателей Артемка.

Бываютъ такіе періоды въ исторіи человѣческихъ обществъ когда во всякую жизнь, по видимому самую изолированную, некольно врываются вопросы самаго жгучаго свойства, и о чемъ бы ни заходи рѣчь, вопросы эти такъ или иначе зададутся сами собой и всякаго втяпутъ въ ихъ разрѣшеніе.

Періоды эти бывають въ переходныя эпохи гражданскихъ обществъ, и въ такой именно періодъ живемъ мы и невольно подчиняемся безпокойнымъ требованіямъ времени. Въ такія эпохи, литературное произведеніе, не касающееся общественныхъ жгучихъ вопросовъ современности, останется незамъченнымъ. Одно и тоже настроеніе охватываетъ разомъ всй классы общества, одинаково не даетъ снать и Наполеону и Артемкъ. Тетка Маланья, заговоривъ о томъ, что сегодия ў нея хлѣбы перекисли, отъ дрожжей непремѣнно нерейдетъ къ общественнымъ вопросамъ, волнующимъ Оболонье и ея окрестности, и фактъ перекисанья хлѣбовъ непремѣнно поставитъ въ зависимость отъ общественныхъ явленій, потому что по настоянію мироваго посредника всѣ крестьяне были заняты молотьбою для пополненія общественныхъ запасныхъ магазиновъ, и бабы, работавшія вмѣстѣ съ мужиками, не успѣли заготовить ни хорошаго хмѣлю, ни хорошихъ дрожжей.

Оттого тетка Маланья такъ была въ этотъ день «грустно настроена», такъ устала отъ «мучительныхъ думъ» но неудавшимся хлъбамъ, что нервио слушала вранье Артемки; накидывалась на него и даже выразила безчеловъчное желанье, чтобы всъмъ толстымъ животы были распороты.

Изъ стараго дома пришелъ мальчикъ звать барина. Старикъ тотчасъ же подиялся и ушелъ. Крестьяне остались продолжать свои толки о томъ, что каждаго занимало.

XXII.

Дома сгарикъ Стожаровъ засталъ какого-то молодаго человъка. Онъ былъ одътъ довольно порядочно, хотя загоръвшее лице и загрубълыя руки его изобличали, что онъ или долго палился подъ солицемъ, какъ только могутъ палиться крестьяне, привыкшіе и къ томительному жару и къ трескучему морозу, или исполнялъ такую грубую работу, которая не соотвътствовала его костюму. Онъ сндълъ на крыльцъ положивъ голову на руки, и когда, при появленіи старика, поднялъ эту голову, глаза его сверкнули какимъ-то страннымъ огнемъ, хотя глаза были по видимому изъ такихъ, которые называются столчими и которые ръдко отражаютъ то, что дъ-

лается внутри человъка. Волосы были черны какъ смоль, и хотя острижены были гладко, однако показывали, что до нихъ давно не касались ни гребенка, ни щетка. Ръденькая, такая же смоленая, какъ и голова, бородка и широкія скулы напоминали обликъ не русскій, не европейскій. Такіе облики встръчаются только на востокъ да иногда въ южной Россіи и въ Поволжьъ.

- Съ къмъ имъю честь говорить? спросилъ Стожаровъ.
- Карамановъ, отвъчалъ молодой человъкъ.

Прошу пожаловать въ комнату.

Карамановъ слегка поклонился. Старикъ вошелъ въ домъ, Карамановъ за инмъ.

— Вы не родственникъ Льва Семеновича Караманова? спросилъ старикъ.

Молодой человъкъ вскинулъ на старика свои стоячіе глаза и минуту медлилъ.

— Да, къ несчастью я сыпъ этого негодяя, отвъчаль опъ.

Въ глазахъ старика выразилось педоумѣпіе и что-то похожее на испугъ. Опъ слишкомъ ясно разслышалъ слово «негодяй», что не могъ не повѣрить своему старому слуху. Стожаровъ зналъ, впрочемъ, Караманова съ песовсѣмъ хорошей стороны и пожалуй самъ думалъ объ немъ какъ о пегодяѣ, по слышать такой жесткій отзывъ сына объ отцѣ—ему казалось невѣроятнымъ. Опъ былъ не подготовленъ къ этому. Онъ былъ захваченъ въ расплохъ. Онъ ноложительно не зналъ что ему думать и что сказать.

- Что же... угодно вамъ? спросилъ старикъ, отступая отъ Караманова.
- Мит вст говорили, что вы честный человтит... Это такое ртдкое явление между людьми, что я пришелт посмотртть на васъ, отвъчалъ Карамановъ, не спуская съ старика своихъ стоячихъ какъ бы застывшихъ въ орбитахъ глазъ.

Старикъ молчалъ.

- Я зпалъ вашего сына, продолжалъ Карамановъ.
- Какъ, вы знали Григорія? спросняъ старикъ, оживленный однимъ напоминаньемъ о любимомъ сынъ.
 - Да, я знаю его.
 - Гдъ же вы его видъли? интересовался старикъ.

- Въ Петербургъ... Я жилъ съ нимъ... Мы работали съ нимъ вмъстъ... А гдъ онъ теперь?
- Я самъ не знаю, отвечалъ старинъ грустно. Онъ надъялся отъ Караманова узнать что-либо о сынъ. —Такъ и вы его давно не видъли? спросилъ опъ.
 - Больше года.
- Больше года... Это такъ недавно... А я его больше десяти явтъ не вижу, сказалъ старикъ еще болве грустно.
- Онъ скоро долженъ быть у васъ, сказалъ Карамановъ увъренно.
- Но какъ вы это можете знать? живо спросилъ старикъ, видя въ словахъ Караманова смутную надежду на то, на что опъ самъ не надъялся.
- Мит писали... Онъ кончаетъ свою работу и прітдетъ къ вамъ, отвъчалъ Карамановъ.
- Какую работу?.. Я пичего не знаю... Я только читалъ косчто въ журпалахъ и въ газетахъ что писалъ мой Григорій, говорилъ старикъ взволнованнымъ голосомъ... Какая его работа?

Карамановъ улыбнулся какъ-то странно, одной стороной губъ, какъ улыбаются собаки, не рѣшившіе еще въ умѣ своемъ, кусать ли имъ того, кто стоитъ передъ инми, или вилять хвостомъ.

- Мы оба взяли съ пимъ по очень трудной работъ, сказалъ опъ, продолжая улыбаться по-собачьи и перепося свой застывшій взглядъ отъ Стожарова на окно, за которымъ видиѣлись старыя лины и ветлы. Мы оба съ вашимъ сыпомъ ищемъ ринезмовъ въ языкъ современнаго человъчества.
 - Какихъ ринезмовъ? спросилъ старикъ съ удивленіемъ.
- Носовъ, которые Востоковъ открылъ въ славянскихъ языкахъ...
- Юсовъ!... Извините, батюшка, я инчего не понимаю, говорилъ старикъ, теряясь отъ загадочныхъ словъ незнакомца, который выдавалъ себя за человъка, близкаго его дорогому сыну.
- Мы съ Григорьемъ Борисовичемъ задали себъ по задачъ: опъ пайдти между людьми прочное счастье, личное и общественное, и узнать на какой почвъ можетъ произрастать этотъ ръдкій

плодъ и можетъ ли даже расти... Вогъ онъ и ищетъ, сказалъ Карамановъ, и собачья улыбка сбъжала съ его спокойнаго лица.

Старикъ задумался. Затерянность его не уменьшалась, а увеличалась, кажется; но онъ все-таки искалъ нитку Аріадны, которая вывела бы его изъ этого лабиринта недоумѣній.

- А вы? спросилъ опъ Караманова: –вы что ищете?
- Я положиль себь найдти честнаго человька, отвъчаль Карамановъ — А не найду, такъ хоть узнаю, какимъ молокомъ слъдуетъ кормить дътей, чтобъ изъ имхъ вырастали честные люди... только не молокомъ женщинъ...
 - И что жъ, нашли? спрашивалъ старикъ, начинавшій уже опасаться, не съ больнымъ ли онъ имъетъ дъло.
 - Иътъ, не нашелъ, отвъчалъ Карамановъ. Женское молоко, значитъ, не имъетъ тъхъ элементовъ, которые влили бы честность въ кровь и въ мозгъ человъка...

Старикъ начиналъ думать, что его дурачитъ молодой человъкъ. «Ныпъшніе молодые люди издъваются надъ старостью», думалъ онъ. — Можетъ быть и Григорій вышелъ такимъ же разбойникомъ...» Старику стало и грустно и горько. Въ немъ заговорило чувство болъе живое, чъмъ скорбъ, и болъе глубокое, чъмъ досада.

- По вашему, молодой человъть, выходить, что у меня или мать, или кормилица была не женщина, а какое-нибудь животное, потому что вамь сказали, будто я честный человъть, сказаль старикъ послъ нъкотораго раздумья: а честь, по вашему, даетъ не молоко женщины.
- Поэтому я и прищелъ убъдиться лично, дъйствительно ли вы честный человъкъ, отвъчалъ Карамановъ спокойно.

Старикъ вынесъ и эти слова. Онъ надъялся узнать что нибудь о сыпъ.

- А сынъ мой честный человъкъ? спросилъ опъ.
- Сынъ вашъ больше умный человѣкъ, чъмъ честный, но онъ положительно не подлецъ...
 - Я не понимаю васъ, сказалъ старикъ.
 - Посят поймете... Вашъ сынъ вамъ скажетъ кто я и кто онъ. Старикъ онять задумался. Онъ готовъ былъ слушать даже дерзо-

сти, лишь-бы узнать что-либо о сынв. Слова незнакомца казались ему запосчивостью молодости.

- Въ одной старой книжкъ есть слѣдующій разсказъ, молодой человѣкъ, сказалъ опъ, не гляди на незнакомца. Нѣкто сказалъ оньософу Эмпедоклу: «пятьдесятъ лѣтъ живу и на свѣтѣ, тридцать лѣтъ ищу вездѣ умныхъ людей, и ингдѣ не нахожу ихъ.» «Другъ мой!» отвѣчалъ ему философъ: «умныхъ паходятъ только умные.»
- Какой же выводъ изъ этого допотопнаго анекдота? спросилъ Карамановъ.
- А тотъ, молодой человъвъ, что честныхъ тоже находятъ только честные, отвъчалъ старикъ съ улыбкой.

Карамановъ засмъялся.

- -- Это хорошо, сказаль онъ. -- Но въдь не все similia similibus... Свинья скоръй находить гдъ растуть трюфели, чъмъ человъкъ.
- За то свинья и не берется розыскивать честныхъ людей, а знаетъ только гдъ трюфели и гдъ помойная яма, возразилъ старикъ.
- Это положительно честная черта, сказалъ Карамановъ. Вы ругаете человъка прямо въ глаза—это честно. А мой отецъ говоритъ, что когда ты ръжешь человъка и онъ уже хрипитъ у тебя подъ пожемъ, ты и тогда не говори ему правду, а скажи: «какъмиъ жаль тебя, бъдный... Успокой, господи, твою душу въ селени праведныхъ.»

Старикъ начиналъ сердиться.

- Такъ вы пожаловали ко мий за тимъ, чтобы узнать, какимъ молокомъ меня выкормили— женскимъ или животнымъ? спросилъ опъ съ раздражениемъ въ голосъ.
 - Иттъ, я пришелъ къвамъ искать работы, отвъчалъ Карамановъ.
 - Какой работы?
 - Какая у васъ есть... Конечно крестьянская.
 - Я опять не понимаю васъ, сказалъ старикъ.
 - ІІ не зачёмъ... Вамъ сыпъ вашъ растолкуетъ меня.
 - Зачъмъ же Григорія приплетать сюда, батюшка?
- Вашъ сынъ сказалъ миѣ, что я всегда найду у его отца пріютъ... А я пріюта не хочу—я пщу работы.
 - А что же вашъ батюшка не далъ вамъ работы?

- -- Батюшка махнулъ на меня рукой, а я на него объими... Батюшка училъ меня грабить на большой дорогъ.
- Хоть убей меня, я инчего не понимаю, говорилъ старикь съ отчаяньемъ.
 - И не трудитесь.
- Такъ что-жъ вы не ищете себъ другихъ запятій, гдъ нибудь въ другомъ мъстъ?
- Искалъ, да честной работы пигдъ не нашелъ... Вездъ надо быть безчестнымъ, чтобъ ужиться... Вездъ надо поддълываться, а я не хочу и не умъю.

Старикъ не находилъ словъ. Въ головъ у него ступало, сердце сильно билось. Опъ опустился на первый полавшійся стулъ.

- Что-жъ вы, молодой человъкъ, службою не займетесь, сказалъ опъ, не зная, продолжать ли ему этотъ разговоръ.
- Службой!... Моя совъсть не собачій хвость, чтобы ею вилять передъ начальникомъ.
 - А литература?
- Я не индъйка, чтобы въчно прятать голову, когда грозитъ опасность, а выставлять наружу только свой хвостъ.
 - Ну, хоть бы по земскимъ учрежденіямъ, продолжалъ старикъ.
- Пусть другіе лазять по чужимъ карманамъ, отвъчалъ Карамановъ попрежнему спокойно.

Старикъ съ сердцемъ илюнулъ. Ему казалось, что онъ видитъ передъ собой какое-то чудовище.

- Такъ чего-жъ вы хотите? спросилъ опъ, все болъе и болъе раздражаясь.
 - Пахать землю.
 - --- Что-жъ, вы хотите снять у меня участовъ?
- Нътъ. На съемъ нужны деньги, а у меня пътъ ни гроша;
 есть только двъ руки да двъ ноги.

Старикъ хотълъ было сказать ему: «у тебя, молодой человъкъ, не двъ, а четыре ноги», но удержался, вспомнивъ, что его послалъ къ нему Григорій.

- Такъ оцъпите мои руки и мои ноги—головы тутъ не нужно, продолжалъ Карамановъ.
 - Какъ же ихъ цёнить?

- Да такъ же, какъ вы цёните подельщика... Почемъ теперь мужикъ работаетъ въ день?
 - Теперь цёны высокія.
- Ну, тёмъ лучше для меня, и тёмъ хуже для васъ... Такъ вы меня берете?
 - Какъ же это-я не соображу.
- Что-жъ тутъ соображать? Дъло ясное. Хотите меня взять въ батраки?
- -- По въдь гы, молодой человъкъ, дворянинъ, сынъ богатаго помъщика... Какъ же вамъ идти въ батраки?
- Вы, я вижу, не можете отрёшиться отъ старинныхъ предразсудковъ. Васъ пугаетъ то, что я дворянинъ. Эка важность! Кто знаетъ, можетъ быть ваши оболоньевскіе мужики—прямые потомки древнихъ дворянъ, а вотъ вы все же, не стыдясь, заставляли ихъ пахать вашу землю и молотить.
- Но отчего бы вамъ пе избрать другаго запятія, болье благороднаго? говорилъ старикъ.
- A развъ хлъбопашество подлое запятіе? Чъмъ опо пеблагородно?
- Такъ-то такъ, —всякое запятіе благородно, отвѣчалъ старикъ.
- Ну, пѣтъ, не всякое занятіе благородно, снова возразило чудовище, благородныхъ-то очень мало... Тамъ, гдѣ неблагородныя условія жизни, гдѣ неблагородныя отношенія людей между собою, тамъ и занятіе неблагородно. Чтобы, кажется, могло быть честиѣе занятія литературой, наукой? Тутъ прямое служеніе идеѣ правды, добра и общечеловѣческой пользѣ; служеніе наукѣ и свободному слову святое служеніе, казалось бы. А выходитъ паоборотъ. По мнѣнію, напримѣръ, «Русскаго Вѣстника», всякій, кто участвуетъ въ «Дѣлѣ», въ «Отечественныхъ Запискахъ», во «Всемірномъ Трудѣ», въ «Вѣстникѣ Европы», въ «Искрѣ», въ «Голосѣ», —вредный человѣкъ. Такъ?
- Такъ, отвъчалъ старикъ, совершенно сбитый съ толку «чудовищемъ».
- По мивнію же «Двла», всякій, кто пишеть въ «Русскомъ Въстникъ», въ «Отечественныхъ Запискахъ», во «Всемірномъ Тру-

дъ», въ «Голосъ», въ «Въстникъ Европы» — больше чъмъ подлецъ и преступникъ, больше чъмъ злодъй, хуже чъмъ воръ, глупъе чъмъ идіотъ... «Въстникъ Европы» видитъ негодяевъ и идіотовъ въ другихъ журналахъ. «Искра» спеціально занималась стараніемъ убъдить всю читающую Россію, что русская литература — навозъ. Другіе говорятъ, что навозъ — именно и есть покойная «Искра» и что всъ писатели воруютъ четвертаки... Такъ гдъ же тутъ честное занятіе, когда сама литература разоблачаетъ свою продажность?

- Старикъ невольно сознавалъ, что собесѣдникъ его правъ, пе по страниому свойству человѣческой натуры недовърчиво относиться ко всему повому, непривычному, собесѣдникъ этотъ казался ему еще болѣе безобразнымъ чудовищемъ.
- Такъ, такъ, говорилъ старикъ, и уже начиналъ со страхомъ смотръть на Караманова.
- А что можеть быть честиве занятія, какъ служба отечеству? пророджаль Карамановъ, упорно глядя на старика своими стоячими глазами; такъ ивтъ, и тутъ исподлили святое двло. Честно только пахать землю. Если мой сосвдъ Карпъ будетъ пахать черноземъ, а я суглинокъ, если у Карпа уродится, а у меня не уродится хлъбъ, я не назову за это Карпа подлецомъ. А когда я писалъ въ журналъ Шульгина, меня журналъ Хана называлъ разбойникомъ; когда же сталъ писать въ журналъ Хана, то журналъ Шульгина назвалъ меня самоубійцею... Такъ вы меня берете въ свои батраки? вдругъ спросилъ опъ, спохватившись, что съ старикомъ и пе следовало такъ распространяться.

Вопросъ снова поставилъ старика въ затруднительное положеніе. Такое упорство въ понятіяхъ и такая эксцентричность не казались ему пормальными. Онъ сознавалъ, что молодой человъкъ чъмъ-то боленъ. Но чъмъ? Болъзнью воли? Болъзнью разсудка? Но пътъ, его логика не имъетъ ничего фальшиваго, только во всемъ какое-то требованіе крайности. Чъмъ же онъ боленъ? Старику вдругъ пришло на мысль, что современные люди всъ немножко больны, непормальны, все равно какъ боленъ его сыпъ, какъ боленъ этотъ Карамановъ, и что опи «больны временемъ», какъ бываютъ иные больны чахоткой, гемороемъ, а эти больны тъми идеями въка, которыя носятся въ атмосферъ и невидимо проникаютъ во всъ умы.

— Вы, молодой человъкъ, больны, сказалъ онъ, глядя въ стоячие глаза Караманова.

Карамановъ улыбнулся.

- -- Чъмъ? спросилъ опъ, и стоячіе глаза какъ будто помутились какой-то повой мыслыю.
- Вы больны... временемъ, отвъчалъ старикъ съ разстановкою.
- Какъ временемъ?
- Такъ просто-повымъ временемъ...
- Это журналомъ-то Киркора? ивтъ, благодарю покорно! «Новымъ Временемъ» и «Въстью» болепъ мой почтенный родитель, крупный землевладъленъ. А я здоровъ.
- Нътъ, вы больны, пастанвалъ старикъ, больны нашимъ временемъ.
- Ну, «Наше Время» умерло, отвъчалъ Карамановъ съ лънивою усмъшкою.
- Вы, молодой человъкъ, говорите остроты, я вижу, замътилъ старикъ съ неудовольствіемъ.
- Я не виноватъ. Вы вызвали меня на каламбуры; а я пришелъ говорить о дълъ. Такъ хотите нанять меня?
- Нътъ, вы лучше такъ у меня поживите... Можетъ, скоро пріъдетъ Григорій... Вы поговорите съ нимъ... Можетъ, опъ вамъ что присовътуєтъ... А покамъстъ живите у меня, говорилъ старикъ неръщительно.
- На чужой счетъ я жить не стану... Я даже отъ отца не бралъ денегъ, когда былъ студентомъ, хоть я его прямой наслъдникъ, а половина имънія моя, отъ матери... Я ему и теперь заплатилъ за столъ и за квартиру.

Слушая эти слова, старикъ мысленно повторялъ: «боленъ временемъ...»

- Такъ, какъ же быть? говорилъ онъ, не смёл глядёть въ стоячіе глаза Караманова.
- Очень просто: наймите меня, и я сейчасъ же отправлюсь съ ваш ми мужиками паръ парить или молотить.

Настойчивость Караманова доказывала, что сопротивление невозможно, и старикъ готовъ былъ убъдиться въ справедливости требованій страннаго молодаго человъка. Онъ готовъ былъ думать, что

это духъ времени проявияется въ такихъ необыкновенныхъ формахъ, тъмъ болъе, что и въ литературъ, эхо которой иногда доходило до старика въ видъ нъкоторыхъ повременныхъ изданій, онъ замъчалъ тъ же страиные признаки в такія же удовительныя требовація, какія предъявляль ему молодой Карамановъ. Въ ивкоторыхъ статьяхъ своего сына онъ видель тоже что-то похожее на то, что онъ теперь слышалъ отъ сидъвшаго передъ нимъ «чудовища». Если это было, по его мижнію, озорство, то озорство повальное, эпидемическое. Старикъ видълъ необходимость покориться, тъмъ болье, что за спиной этого чудовища, ему казалось, стоялъ его Григорій и грустные глаза сына говорили старику: «Отецъ, уступи требованіямъ времени- опо всесильно, а требованія его-законъ природы... Не борись съ могучей волной этого времени: эта волна-девятый валь, страшный валь, роковой силы котораго такъ боятся матросы... Уступи, отецъ, а то захлеснетъ тебя этотъ валъ и выбросить за бортъ твоей утлой лодки-душегубки, въ которой, подобно тебъ, разъвзжають по свирвному океану жизни всв отставшие отъ великаго корабля современнаго человъчества... Покорись, отецъ, требованіямъ въка, новыя иден всегда вытъсняютъ старыя идеи, какъ новое покольніе, по неизменнымъ законамъ жизни и смерти, всегда вытёсняють поколёніе старое, отживающее...»

- Я обижу Григорія, если приму васъ на такихъ условіяхъ, сказалъ старикъ послъ нъкотораго молчанія.
- Нътъ, сынъ вашъ увидитъ, что вы понимаете требованія въка, и ему не стыдно будетъ сказать, что вы его отецъ, тогда какъ мнъ стыдно носить одиу фамилію съ негодяемъ Карамановымъ.
 - Ну, будь по вашему, сказаль старикь съ тяжелымъ вздохомъ.
 - Такъ назначайте цвну, настапвалъ Карамановъ.
- Я плачу лётнику тридцать рублей, а годовому рабочему пятьдесять, садовнику восемьдесять...
- Садовникомъ я не могу быть, а простымъ чернорабочимъ могу... такъ пятьдесятъ рублей?
 - Да, это обывновенная цѣна.
- Такъ я согласенъ, сказалъ Карамановъ вставая. Вотъ мой паспортъ.

Карамановъ выпулъ изъ кармана бумагу и подалъ ее Стожарову. Это былъ его кандидатскій дипломъ.

- Зачимъ же это? говорияъ старикъ, разсматривая дипломъ. Такъ вы кандидатъ правъ?
- Да, я кандидатъ науки, которая научаетъ какъ строить тюрьмы. На какую же работу вы меня опредълите? спросияъ опъ потомъ.
- Выбирайте сами, отвъчалъ старикъ, уже окончательно покорившійся «требованіямь въка» и сыну, который выглядывалъ нзъ-за синны Караманова.
- Такъ я пойду къ прикащику онъ назначитъ мив работу, сказалъ Карамановъ и всталъ, чтобы идти.
- Куда же вы? откушайте виёстё съ нами... Теперь самая объденная пора.
- A развъ ваша прислуга и ваши рабочіе вивсть съ вами объдають? спросиль Карамановъ.

Старика удивиль этотъ вопросъ... «Иътъ... но...» Опъ не зналъчто отвъчать.

- Если ваши люди объдаютъ отдёльно отъ васъ, то я нойду къ шимъ — тамъ мое мъсто, сказалъ Карамановъ, намъреваясь уйдти.
- Какъ же это?.. Пегодится... неловко... Нътъ, откушайте съ

Старикъ всталъ, подошелъ къ Караманову и взялъ его за руку.

- Вы меня, старика, совсёмъ сбили съ голку... Я не пущу васъ, говорилъ опъ; что же скажутъ люди, что скажетъ Григорій, что л его друга послалъ об'єдать на кухию.
- Сынъ вашъ поблагодаритъ васъ за это, отвъчалъ Карамановъ.
- Да какъ же это... Я не могу, говорилъ старикъ, котораго эта исторія совствъ утомила и разбила морально.
- А коли не можете, такъ позовите объдать съ собой всю вашу прислугу, тогда и я съ вами остапусь.
- Что же это такое будеть?.. Такъ развъ и сынъ мой будетъ объдать на кухиъ?
- Можетъ быть, если за послѣдніе полтара года доразвился до этого.

 Ну, дёлайте какъ хотите, сказалъ старикъ, и махнулъ рукой.

Карамановъ поклонился и пошелъ къ двери. Но потомъ остановился.

- Я забылъ спросить васъ, сказалъ онъ, —на вашихъ харчахъ нанимаются у васъ рабочіе или на своихъ?
 - На моихъ.
- Ну, такъ я прямо пойду на кухню... Я сегодня еще не ълъ ничего.

Молодой человъкъ вышелъ, а старикъ такъ и остался на мъстъ съ растопыренными руками.

Карамановъ прошелъ прямо на кухню. Тамъ уже никого не было изъ рабочихъ, а оставалась одна стрянка Грушка, которая, стирая со стола, ворчала на кого-то... «Ишъ, проклятыя!.. Не долго вамъ локать мое молоко... Вонъ какъ солнышко-то низко ходитъ... Зн-мой-то всѣ околѣсте... Ишъ—ишъ, мерзавки»!..

Стрянка Грушка ссорилась съ мухами, которыя были ея смертельными врагами... «Не досадно было-бъ, коли-бъ только воровали, а то ишъ ты, все загадятъ, заилюютъ, да и сами-то потонутъ въ молокъ да въ маслъ, а вонъ Аверьяниха все пилитъ, мухъ-де господамъ не подавай къ столу... А какъ ихъ не подашь, коли сами въ блюдо садятся?» ворчала она.

- Здравствуй, тетка, сказалъ Карамановъ, входя въ кухню.
- Здравствуйте... Вамъ кого? спросила Грушка.
- Тебя, тетка... Прошу любить да жаловать.

Грушка ни какъ не могла понять зачёмъ она ему понадобилась.

- Вы въ барину? спросила она его.
- Нѣтъ, теперь къ тебъ.
- По что, кормилецъ?
- Да вотъ я панялся къ вашему барину, отвъчалъ онъ.
- Въ лакеи что-ль?
- Нътъ, въ рабочіе.
- А! въ работники, значитъ... А я думала, въ лакен вонъ одежа-то у васъ барская.
 - Изношу эту, куплю мужичью.

- Это можно... Вонъ у пасъ умеръ одинъ мужичокъ, такъ послъ него продаютъ дешево.
 - Ладно, куплю... А давно ваши ребята пообъдали?
 - Давно, кормилецъ.
 - Такъ, чай, не все поъли.
 - Гдт все потсть? Въ печи остатки.
 - Такъ покорми меня, тетушка: я смерть какъ тсть хочу.
 - Изволь, кормилецъ.

Грушка бросилась къ печи, потомъ къ столу, потомъ къ полкамъ, обругала своихъ враговъ, мухъ: «ишъ, окоянныя! все бы имъ воровать чужое добро, а изтъ чтобъ самимъ добыть», потомъ снова кинулась въ печи, въ столу, достала ложки, ноживъ, поставила миску, соль... Карамановъ сълъ на лавку и машинально следилъ своими стоячими, будто усталыми глазами за движеніями стряпки. «Вотъ гдъ теперь потечетъ моя жизнь», думалъ онъ: «вести бесвду съ этою теткой, жить жизнью, сердцемъ и мыслью батрака, войдти въ батрацкіе интересы, отрѣшиться отъ всего міра, который внъ батрачества, убить въ себъ потребности, которыя развиваютъ въ человъкъ образование, богатство, знанія, изъ крупнаго землевладъльца, кандидата правъ и литератора выродиться въ поденьщика и узкими нитересами поденьщика заглушить въ себѣ всѣ высокіе человіческіе интересы, однимъ словомъ буквально влізть въ шкуру парода, чтобъ попять этотъ пародъ и слиться съ пимъ, отдать свое барское, бълое, изнъженное тъло посконной рубахъ и сермягъ, облечь узкую, дворянскую ногу въ опучу и дапоть, чтобъ на себъ самомъ почувствовать всю прелесть онучи и силу лаптя-вотъ мое призвание... А они назовуть это юродствомъ, факирствомъ! Пусть называютъ... Я не Рахметовъ, который спалъ на гвоздяхъ для измъренія величія своей силы и для закала своего тъла и своего духа до великой могучести... Я не буду спать на гвоздяхъ, потому что это, по малой мѣрѣ, не логично и пахиетъ веригами и монашескимъ безцъльнымъ самобичеваньемъ... Я буду работать и думать съ народомъ, чтобъ научиться спасти этотъ народъ... Да тамъ вездъ подлость, гдъ дъйствовали Рахметовы... Тамъ не было у нихъ почвы, а мы должны почву приготовить»...

- А вы чьехъ будете? спросила его стряпка.

- Мы были карамановскіе, а теперь шичьи, отвъчаль Карамановъ.
- A! карамановски... Знаю... Баринъ-то у васъ лихъ, сказывали.
 - Дьяволъ... А вашъ?
 - Нашъ-то?.. Нашъ ничаво.
 - А ты чья была, тетка? .
 - Ихня, стожаровска.

Объдъ былъ готовъ, и Карамановъ принялся за ъду.

- Вотъ и видно лакея, замътила стряпка.
- А что, тетка?
- Не помолясь тыв.
- Точно, тетка, это по лакейски.
- То-то я вижу, что вы не мужикъ.
- Хочу быть мужикомъ.
- Экъ добра захотълъ... Аль надобло тарелки барски лизать?
- Да, тетка, надовло лакействовать.

Въ это время въ кухню вбъжалъ казачокъ и, остановившись у порога, съ изумленіемъ смотрълъ на «чуднаго барина», который, какъ опъ успълъ узнать отъ господъ, «изъ баръ пошелъ въ мужики». Грушка накипулась на него.

- Ты чаво зенки то выпучилъ? спросила она ворчливо, потому что не любила казачка наравив съ мухами. Казачокъ имълъ обыкновеніе пугать ее, влетая въ кухню съ приказапіями, точно на пожаръ, и заставляя ее иногда ронять изъ рукъ горшки, проливать молоко, обжигаться при пробъ кушанья, и проч. и проч.
- Самъ баринъ идетъ, отвъчалъ казачокъ, продолжая безсмысленными отъ изумленія и отчасти испуганными глазами смотръть на Караманова.
- Что ты мелешь со сна? Куды онъ идетъ? спрашивала Грушка не менъе изумленная.
 - Сюды идетъ... къ нимъ...

Казачокъ показалъ глазами на Караманова, который усердно насыщался батрацкими щами.

Въ дверяхъ показался старикъ Стожаровъ. Появление его произвело и на Грушку и на казачка необыкновенный эфектъ, потому

что старикъ никогда не бывалъ въ кухив, и настоящій его приходъ показался и стряпкъ и казачку чъмъ-то сверхъестественнымъ, чему могло равняться развъ только то, если-бъ стоящая на Гремячкъ мельница сама сошла съ своего мъста и явилась въ кухию молоть свою бълую муку и толочь свое желтое пшено. Казачокъ отскочилъ въ сторону и такимъ взглядомъ глядёль на стрянку, какъ бы хотель сказать: «Ты говорила, что потолокъ не провалится — а воть и провалился»... Стрянка отошла въ другую сторону, и, придерживая лёвой рукой локоть правой руки, которою въ то же время поддерживала свой жирный подбородокъ, стояла пригорюнившись, какъ бы желая выразить своимъ тяжелымъ вздохомъ таковой упрекъ мухамъ непосъстнымъ: «ну, вотъ теперь самъ баринъ увидитъ, каково мив малться-то съ вами, аспиды .. Баринъ самъ увидитъ, что завли вы мою головушку бъдную... моченьки моей ивтъ съ вами... Ишъ, ишъ, проклятыя! такъ къ мискъ-то и лезутъ, словно бы имъ я щи-то принасала»...

- Какъ это вамъ нестыдно, Аркадій Львовичъ! Что вы дъмаете! говорилъ старикъ Стожаровъ, останавливалсь на порогъ.
- Щи вмъ, отвъчалъ Карамановъ, очень вкусныя... неугодно ли попробовать?

Еще болье глубокое изумление выразилось на лицахъ казачка и тряпки. Мельница дъйствительно сошла съ своего мъста и явилась въ кухию молоть свою бълую муку и толочь свое желтое ишено. Даже мухи не привлекали вниманія стрянки, которая стояла съ разинутымъ ртомъ, изобличавшимъ такую сильную степень изумленія, что оно чуть ли уже не граничило съ столбиякомъ... «Такъ это баринъ», думала она, добольная впрочемъ тъмъ, что похвалили ея щи: «что ужъ это иыньче дълается съ господами, и ума не приложу л...»

- Въ самомъ дёлё должно быть нослёднія времена приходять, говорилъ старикъ, разводя руками.
- Да, послѣднія времена... только для старыхъ порядковъ, отвѣчалъ Карамановъ: ветхій міръ долженъ обновиться и должна на этой бѣдной землѣ произрасти новая жизнь... А вѣдь все, подчиняющееся закону роста, растетъ не сверху внизъ, а снизу вверхъ... спизу, понимаете?...»

XXIII.

Аркадій Львовичъ Карамановъ, казавшійся старику Стожарову «чудовищемъ», былъ сынъ богатаго помѣщика Караманова, имѣніе котораго находилось въ сосѣдствѣ съ имѣніемъ Стожаровыхъ.

Развитіе Аркадія совершалось между двумя положительно несовмъстими правственными вліяніями. Съ одной стороны отецъ, для котораго абсолютно не существовали никакія нравственныя правила, съ другой стороны—вліяніе учителя, одного изъ студентовъ московскаго университета, въ продолженіи четырехъ лътъ пріфажавшаго на канпкулы въ имъніе Караманова, въ село Кологривы, къ отцу своему, кологривскому священнику Конвоксову, и, по приглашенію Караманова, учившаго его сына Аркадія.

Въ основании учения Конвоксова лежали два правственные принципа — правда и честь. Подъ эти два принципа онъ подводилъ всю жизнь съ ея явлениями и требованиями. Всѣ науки, всѣ знания, по учению его, имѣли исходной точкой абсолютную правду, а всѣ явления жизни и человѣческия отношения должны стремиться къ выражению абсолютной честности. Въ правдѣ и чести, по этому учению, совмѣщалось все—и польза, и добро, и наслаждение, и свобода. Онъ училъ Аркадия не дозволять даже раждаться въ себѣ мысли, которую нельзя было бы высказать громко, при всѣхъ. Наконецъ, онъ даже и принципъ чести подводилъ подъ принципъ правды—гдѣ правда, тамъ и честь, и такимъ образомъ все счастье человѣчества, его свободу, его развитие и матеріальное богатство онъ училъ искать— только въ правдѣ.

Вотъ пѣкоторые изъ афоризмовъ Аркадія, усвоенные имъ подъ вліяніемъ Конвоксова.

Если бы люди не лгали, то никогда бы не плакали, развѣ только отъ физическихъ болей, да и то песравпенно меньше, чѣмъ они плачутъ вь настоящее время.

Если бы люди не лгали, то никогда не были бы голодны и бёдность на землё не существовала бы: богатый потому богать, что онъ лгалъ передъ богатымъ и бёднымъ, добиваясь ихъ общаго добра, а объдими потому бъденъ, что лгалъ передъ богатымъ и бъднымъ, а равно передъ собой, предаваясь лъни, не заботясь о томъ, о чемъ долженъ заботиться человъкъ.

Если бы люди не лгали, то была бы на землѣ абсолютная свобода: люди, которые лишили другихъ свободы, были лгуны, да и тѣ, которые лишились свободы, лишились ее помощью лжи... Турецкіе султаны всегда лгали, называя себя сынами солица и братьями луны, и этой ложью закабалили въ неволю миліоны людей, а эти миліоны въ свою очередь лгали, показывая видъ, что вѣрятъ, будто ихъ султаны—сыны солица и братья луны.

Если бы люди не лгали, то никогда не лилась бы даромъ ихъ кровь рѣкою, пикогда не было бы войнъ: если бы Наполеонъ I не лгалъ передъ императоромъ Александромъ I, то ужасы 12-го года были бы невозможны и Москва не была бы сожжена; если бы Александръ Македонскій не лгалъ, называя себя сыномъ Юнитера Аммона, то онъ не облилъ бы кровью всю Азію и южную Европу.

Если бы мужчины не лгали, то женщина пикогда не была бы рабою: ложью и лестью мужчина сдёлалъ изъ нея паразита.

Если бы женщины не лгали, то пикогда не были бы такими жалкими и безполезными существами: желая правиться и вліять на мужчину, женщина лжетъ и дібломъ, и словомъ, дажи всёмъ тібломъ своимъ лжетъ, и оттого несчастна.

Если бы папа не лгалъ, онъ не держалъ бы въ правственномъ рабствъ цълую половину міра.

Если бы купцы не лгали, они не обирали бы бъдныхъ.

Если бы убійца не лгалъ, онъ никогда не былъ бы убійцею.

Если бы воръ не лгалъ, онт не былъ бы воромъ.

Если бы Карамановъ, отецъ Аркадія, не лгалъ, опъ давно бы си дът въ острогъ.

Если бы, вообще, люди не лгали, они были бы абсолютно честинь, а сладовательно и безгранично счастливы.

А какъ во власти человѣка лгать и ие лгать, то отъ человѣчества зависитъ его безграничное блаженство на землъ.

Но всему этому видио, что Конвоксовъ былъ большой чудакъ, но Аркадій безиврно любилъ этого чудака и быстро, въ одно лёто, усвоиль вск его афоризмы, потому что они были такъ просты, такъ односложны, и такъ тожественны между собою.

Когда бывало Карамановъ-отецъ говорилъ съ своими крестьянами и увърялъ ихъ, что онъ заботится о ихъ благосостояніи, Аркадій не стъсниясь говорилъ отцу въ глаза при крестьянахъ: «ты лжешь, папаша», или обращаясь къ крестьянамъ, говорилъ: «не въръте папашъ: онъ васъ не любитъ—онъ злой», и когда отецъ наказывалъ мальчика за эти проступки, упрямый Аркадій никогда не просилъ прощенья, а даже подъ розгами повторялъ: «я сказалъ правду... ты злой, ты лгунъ!»

Доктрины Конвоксова, безъ сомивнія, не такъ бы глубоко въвлись въ характеръ Аркадія, если-бъ мальчикъ съ самаго дътства не получиль отвращенія къ безчестнымь и жестокимь поступкамь отца, который умъль оправдать самую крайнюю подлость своихъ действій и безнравственную парадоксальность попятій о чести. Карамановъотецъ держался того правила, что каждый полженъ заботиться только о себъ, и чтобы человъку было хорошо, опъ можетъ позволять себъ все, всякую подлость въ отношенін къ другому, всякую ложь, даже воровство и убійство, а для равновъсія должны всь тако заботиться о себъ, то-есть должны все оправдывать и все позволять себъ, и тогда, по закону конкуренціи, долженъ выиграть тотъ, кто всёхъ умиве, хитрве, подаве и деятельнее. По его словамъ, если бы всё люди были одинаково безправственны - тогда все человёчество было бы одинаково счастливо и подлецовъ бы не было. Однимъ словомъ, доктрины его были положительнымъ отрицаніемъ доктринъ Конвоксова и его нравственныхъ началъ, которыя, можетъ быть по закону контрастовъ, даже еще до вліянія на Аркадія ученій Конвоксова, сами собой развивались въ его сынь. «Если я украду у тебя платокъ изъ кармана, то и ты непременно долженъ украсть у меня-и тогда нравственное равновъсіе не нарушится» - вотъ девизъ Караманова-отца. Но какъ бы по страпной игръ природы, по какому-то капризу случая, въ сынъ развивались діаметрально противоположныя понятія и подъ вліяніемъ Конвоксова стали такъ сказать невытравимы въ немъ на всю жизнь.

Аркадій до того свыкся съ крайними попятіями, внушенными ему отчасти природою, отчасти учителемъ, что отецъ иначе не смотрълъ

на него какъ на правственнаго урода и притомъ самаго опаснаго. Опъ даже боялся своего сына, который самымъ наивнымъ образомъ разоблачалъ передъ всѣми не только его неблаговидные поступки, по даже тайныя, тщательно скрываемыя, нечистыя побужденія сердца.

Прітажаетъ, напримъръ, къ нимъ однажды сестра Карамановаотца, старая дъва, на долю которой досталось большое имъніе. Отецъ Аркадія, который имълъ виды на ея богатство, всегда въ ней заискивалъ, и на этотъ разъ немялъ сестръ, что она у него ръдко бываетъ, что онъ такъ радъ ее видъть.

— А развъ ты ее теперь любишь, папа? спросилъ Аркадій отна.

Отецъ испугался, справедливо опасалсь, что сыпъ его выдастъ.

- Да, люблю, отвъчалъ отецъ.
- Когда ты ее полюбилъ? спова спросилъ Аркадій.
- Я всегда ее любилъ, отвъчалъ отецъ, чувствуя приближение скандала.
- Не въръте ему, танте, сказалъ Аркадій, обращаясь къ теткъ.
 - Почему же, дружовъ? спросила она.
- Потому, милая танте, что въ попедъльникъ онъ называлъ васъ старой потаскущей и желалъ, чтобъ вы скоръй умерли...

Скандалъ вышелъ полный, а любителя правды жестоко высъкли.

Въ другой разъ прійхаль въ Кологривы купецъ для закупки шерста. Онъ уже сторговалъ большую партію этого товара у Караманова, какъ вошелъ Аркадій.

- Не покупайте у него шерсти, обратился онъ къ купцу.
- Купца удивили слова мальчика.
- Не слушайте его, витшался отецъ: онъ у меня пдіотивъ бегомъ убітый.
- А онъ лгупъ, продолжалъ Аркадій, не слушая отца и попрежнему обращаясь къ купцу.
- Что вы говорите!
- Я говорю правду... Не покупайте шерсти... Она въ середпиъ не мытая...

- Вонъ отсюда, негодяй! ты лжешь, закричалъ отецъ.
- Нѣтъ, ты лжешь... Ты вчера говорилъ старостѣ: «какъ мы ловко купчишку паршиваго на шерсти падуемъ.»

Героя правды схватили за шиворотъ и выволокли въ другую компату. Но и «паршивый» купчишка всталъ, чтобы осмотръть шерсть. Шерсть дъйствительно оказалась не вся мытая.

Матери Аркадій лишился въ раннемъ дѣтствѣ и потому, не любя отца, онъ весь сосредоточился въ своемъ собственномъ дѣтскомъ мірѣ, богатомъ фантазіями. Ложь, которую онъ постоянно видѣлъ въ домѣ, до того опротивѣла ему, что опъ возненавидѣлъ все, въ чемъ видѣлъ хотя мельчайшую тѣнь неправды, притворства, умалчиванья. Когда онъ былъ еще болѣе маленькимъ мальчикомъ и когда отецъ еще смотрѣлъ на него какъ на невинпаго ребенка, Аркадій перѣдко говорилъ отцу: «Сегодня я тебя пе люблю... ты гадкій, злой». Въ другой разъ мальчикъ ласково обращался къ отцу: «ты сегодня, папка, хорошій, и я люблю тебя, а вчера ты былъ противный». Или о себѣ самомъ: «Сегодня я былъ гадкій, злой, точно ты, папка».

Не только старикъ Стожаровъ, но и отецъ Аркадія смотрѣлъ на сына какъ на чудовище. А маленькое чудовище только тѣмъ и было странио, что говорило всѣмъ правду, какъ оно ее понимало.

Въ гимназін товарищи и любили, и боялись Караманова. Спачала смотрѣли на пего какъ на силетника, шпіона, фискала, и мпого колотили его; а потомъ, когда увидѣли, что опъ и себя постоянно выдавалъ, бить перестали, но удалялись отъ него. Опъ прямо
говорилъ учителю: «оставьте меня безъ объда—и сегодия не знаю
урока, я лѣнился.»

Опъ разобличалъ и учителей. Учитель словесности читалъ своимъ ученикамъ, конечно тайно отъ начальства, извъстное письмо Бълинскаго къ Гоголю, еще бывшее тогда въ большой модъ. Когда вошель въ классъ директоръ, и учитель на вопросъ сго, чъмъ опи теперь заняты, отвъчалъ, что опъ объяснялъ имъ старинные риторическіе термины, именно фигуру умолчанія, Карамановъ возразилъ:

— Нътъ, Николай Гавриловичъ, вы намъ этого не объясняли.

Учитель и директоръ смѣшались. Товарищи съ улыбкой взгдя нули на Караманова, потому что знали его слабость.

- Какъ такъ? спросилъ директоръ.
- Николай Гавриловичъ читалъ намъ письмо Бълинскаго... Онъ, върно, ошибся.

«Дуракъ!» поръшили товарищи. А скандалъ все-таки вышелъ. Но Карамановъ былъ далеко не дуракъ. Знанія его были таковы, что имъ удивлялись всё товарищи, хотя Карамановъ по видимому не особенно прилежно готовилъ уроки, за то читалъ запоемъ. Изобличенный имъ учитель, Николай Гавриловичъ, сталъ впослъдствіи лучшимъ другомъ Караманова и называлъ его «абсолютно цъльнымъ характеромъ», хотя и предрекалъ ему, что онъ добромъ не кончитъ: «изъ такихъ, говаривалъ онъ, какъ Карамановъ, выходятъ или свътила земли или величайшіе злодъи».

Потомъ, подъ вліяніемъ Конвоксова, окончательно укрѣпплось въ Карамановъ то, что было заброшено въ него своевольною природою и причудливымъ складомъ обстоятельствъ.

Въ университетъ товарищи называли его новымъ Колумбомъ, который долженъ открыть новый свътъ съ невъдомыми людьми. Въ университетъ же онъ окончательно разошелся съ отцомъ, отказался получать отъ него содержание и началъ жить своимъ собственнымъ трудомъ. «Все что вы имъете (писалъ онъ къ отцу) нажито вами и вашими предками безчестно, а потому я отказываюсь отъ присылаемыхъ миъ вами субсидій, хотя не отказываюсь отъ правъ наслъдника. Все нажитое вами добро я возвращу тъмъ, у кого опо было награблено».

И только послѣ этого началась его тяжелая, трудовая жизпь, полная страшныхъ разочарованій и неустанной борьбы съ тѣмъ, что онъ называлъ ложью жизни. Эту ложь онъ находилъ и во взаимныхъ отношеніяхъ людей, и въ наукѣ, въ искуствѣ, въ литературѣ, во всемъ, на что только обращалъ свой такъ-сказать разъѣдающій анализъ. Въ концѣ концовъ онъ, по естественнымъ законамъ развитія, бросилъ все гдѣ видѣлъ фальшъ (а онъ видѣлъ се вездѣ) и обратился къ народности, «къ корню». Онъ пришелъ

къ убъжденію, что съ корня надо начать обновленіе человъчества и его ветхихъ, неудачныхъ, обидныхъ порядковъ.

- Тавъ вы надъетесь, что ваши ученія о народности обновятъ сплы народа, вочеловъчатъ его и сдълаютъ счастливымъ? спрашивалъ онъ одного изъ поборниковъ народности.
- Да, мы надъемся, отвъчалъ тотъ; по крайней мъръ мы не нашли другихъ пріемовъ, болъе цълесообразныхъ.
- А я думаю, что васъ народъ меньше знаетъ, чѣмъ вашихъ противниковъ.
 - Почему же? Напротивъ.
- Нътъ... Посмотрите что дълается у насъ, за къмъ идетъ молодежь... Конечно не за вами.
- Но мы съ народомъ, а народъ съ нами, возражалъ поборникъ нородности.
- Ошибаетесь: народъ идетъ туда же, куда и молодежь... А отчего? спрашивалъ Карамановъ.
- Оттого что вожаки молодежи потворствують ея слабостямь, какъ и слабостямъ народа... Мы бы также могли повести за собою народъ, но считаемъ это безчестнымъ, отвъчалъ поборникъ народности.
 - Нътъ народъ не пойдетъ за вами.
 - -- Почему же?
- Потому что вы въ бархатномъ халатъ, потому что вы говорите съ народомъ изъ роскошнаго кабинета.
- Но въдь и свободное слово въ народу, какъ и слово божіе, должно быть проповъдуемо въ церкви съ амвона, и проповъдующій его облекается въ золотую ризу.
- Нѣтъ, возражалъ Карамановъ, вы сипинте съ себя бархатный халатъ, надъпьте сермягу, да ступайте на базаръ, на площадь, на рынокъ тамъ въ особенности въ васъ нуждается народъ. Киньте ваши роскошные кабинеты, отказывайтесь отъ привычныхъ удобствъ, идите въ народъ, раздъляйте его жизнь, его труды, сливайтесь съ нимъ, изучайте его потребности, его нужды, а тамъ развивайте, образуйте и ведите его къ счастью, къ другой жизни.
 - Вы увлекаетесь, господинъ Карамановъ.

- Къ сожалѣнію нѣтъ, хотя я такой же вакъ и вы богатый номѣщикъ... виноватъ, не помѣщикъ, потому что такого слова, къ счастью, уже нѣтъ, а крупный землевладълецъ, но надѣну ланти, сермягу— и пойду въ народъ.
 - Что-жъ вы тамъ будете дълать?
- Пахать, косить... Въ кабакъ, на пашнъ, на торжкъ, —тамъ я буду учить народъ.

Карамановъ говорилъ это въ то время, когда уже рѣшился «слиться съ народомъ», когда испробовалъ всѣ пріемы общественной дѣятельности и нашелъ вездѣ ложь и незнаніе народиыхъ нуждъ. Онъ было поступилъ на службу въ какой-то департаментъ, но тотчасъ же бросилъ эту службу, говоря, что онъ никакъ не можетъ принудить свою руку каждый день повторять въ офиціальныхъ бумагахъ одну и ту же лживую фразу: «имъю честь покорнѣйше просить», «имъю честь сообщить» и т. п. Какая тутъ честь просить кого-нибудь, да еще покорнѣйше?», говорилъ онъ, уходя нзъ департамента.

Сдълавшись сотрудникомъ одного журиала, онъ требовалъ отъ редакціи, чтобъ она разобличала анонимы, псевдонимы и иниціалы своихъ сотрудниковъ, — и когда ему было отказано въ этомъ, онъ сказалъ редактору:

- Вы не доносчикъ?
- Нѣтъ.
- Зачёмъ же вы пишете доносы, да еще безыменные?
- На кого? когда? спросилъ удивленный редакторъ.
- На всѣ другіе журналы, на общество, на писателей... Критикъ, пе подписавшій своего имени, — допосчикъ, всякій апонимъ и исевдонимъ — допосчикъ, клеветникъ, потому что не разоблачаетъ своего имени изъ боязни за свою шкуру.
- Но разоблачение имени автора бываетъ иногда неудобно, за мътилъ редакторъ.
 - Да и доносчику пеудобно объявлять свое имя...

Редакторъ пожалъ плечами, а Карамановъ, увидѣвъ, какъ опъ говорилъ, въ литературѣ «ту же фальшъ что и въ жизни, взаимную между журналами ругань пзъ-за подписчиковъ, ругань, на которую особенно падки журналы, падающіе въ общественномъ миѣніи

и писатели безсильные, дюжинные, никъмъ не читаемые и бездарные пачкуны», оставилъ и литературное поприще, говоря: «рано еще намъ писать... надо учить народъ и самимъ учиться».

Съ Григорьемъ Стожаровымъ Карамановъ познакомился года за три до начала нашего разсказа, и одинаковость взгляда на безобразіе большинства современныхъ общественныхъ явленій и человъческихъ отношеній сблизила ихъ весьма тѣсно, хота Карамановъ и признавалъ въ Стожаровъ только «однобокаго человъка», какъ онъ выражался.

- Почему же я однобокій человъкъ? спрашивалъ его Стожаровъ во время одной изъ ихъ продолжительныхъ бесъдъ.
- Потому что я вижу въ васъ только однобокую честность, отвъчалъ Карамановъ.
- Я не понимаю васъ, говорилъ Стожаровъ, что за однобокая честность?
- Честность на половину, пасивная честность... Когда вы уживаетесь въ этомъ безобразномъ обществъ, хотя и ратуете противъ

его дикихъ порядковъ — вы уже не полный человъкъ и честность ваща не полная.

Результатомъ этого разговора, особенно когда Карамановъ сообщилъ Стожарову свои планы, было то, что Стожаровъ сказалъ съ грустью: «поша, которую вы берете на себи, можетъ быть только вамъ по плечу, а моихъ силъ едва ли бы хватило на это.. Впрочемъ, и не безполезно ли брать на себи такую страшную тижесть, подъ которой можно подломиться»...

— А подломлюсь—вначить такъ тому и быть... Надо же когда нибудь начинать, отвъчаль Карамановъ.

XXIV.

Въ смурый сентябрьскій день, по гладко укатанной дорогь, ровной трусцой бъжить тройка деревенских замухрястых лошаденовь, запряженная въ дряблую тельжонку. Тельжонка переплетена веревками и уложена съномъ. На облучкъ сидить такой же, какъ и лошаденка, замухрястый мужиченка и помахпваетъ обдерганнымъ мочальнымъ кнутикомъ на лошадокъ, то называя ихъ «другами любезными», то «нодлецами». Изъ тельжонки выглядываетъ такое же смурое какъ день лице съ нахлобученною на глаза шапкою и пристально приглядывается къ сърой дали, изъ которой мало-по-малу выстунали предметы, видимо поглощавшіе все винманіе проъзжаго. Видивлся полуобнаженный отъ зелени льсъ, сърая мельпичная крыма, бълесоватая полоса посъръвшей подъ сърымъ небомъ узенькой ръчки, сърыя избы съ почеривышими соломенными крышами и сърый, стоящій на отшибъ господскій домъ съ бълыми полосами заплатъ, напоминавшими бълые шевроны на рукъ стараго солдата.

Это было Оболонье, къ которому бъжала тройка замухрястыхъ лошаденокъ по гладко укатанной дорожкъ. Смурое инце, глядъвшее на Оболонье, было лице Стожарова-сына, который, подобно Одиссею, послъ долгихъ странствій, возвращался на родину, съ чувствомъ бользненнаго сжиманія сердца при видъ этого маленькаго, заброшеннаго мірка, который когда-то казался ему такимъ обширнымъ, под-

нымъ такой росконной и поэтической жизни. Лошадки все болъе и болье ускоряють свою ровную трусцу, возбуждаемые мочальнымъ кнутикомъ и близостью жилья, съ доброй мёрой овся въ перспективъ. Вотъ уже подъ колесами мъловая почва горы, которая маленькому Гришъ казалась Атлантомъ, поддерживавшимъ небо на своихъ могучихъ плечахъ. Вотъ подъ горою начало перелъска, за которымъ начинается лёсъ съ его обдерганными деревьями и дупдастыми пнями, подъ корнями которыхъ водились когда-то потатуйки. И въ сыромъ, осеннемъ воздухф, подъ стукъ колесъ, слышится Стожарову однообразное тутуканье потатуйкъ, хотя потатуйки давно уже отпъли свои весеннія пъсни, а монотонное тутуканье ихъ вызывалось только памятью Стожарова, перепесшею его въ дътство, въ міръ глуныхъ, узенькихъ, но такихъ радужныхъ дътскихъ мечтаній. Вотъ вправо изъ-за коряваго дубняка и изъ за переплетеннаго старымъ, увядшимъ хиблемъ липняка видибется стекляная полоса озера Рыбнаго, съ которымъ такъ много связано детскихъ воспоминаній: память Стожарова подобно волшебнику, вызывающему тъни умершихъ, вызываетъ стараго, бълоголоваго, сгорбившагося Назарыча, который, сидя на своей лодчонкъ-душегубкъ, ъдетъ по Рыбному съ закинутою на ухо лесою блесны, которою онъ ловитъ жадныхъ, остронордыхъ и зубастыхъ щукъ, тогда какъ изъ лёсу несутся звуки какой-то заунывной, долгой, точно тоскующей пъсни. Это дурачовъ Гавря деретъ лыки и поетъ, долго, безконечно поетъ и такъ жалобно, что маленькій Гриша нередко плакалъ подъ эту пъсню... И Стожарову слышится пъсня Гаври, которая давно умолкла, давно схоронили и того, кто ее пълъ, а въ памяти Стожарова все еще звучить эта пъсня, звучить въ продолжении двадцати лътъ гдъ-то тамъ далеко въ мозгу, подъ череномъ, и вызываетъ по временамъ и дурачка Гаврю, и бъловолосаго стараго Назарыча, и зеркальную поверхность Рыбнаго, потонувшаго въ велени, въ ръзучей осокъ и шумливыхъ, безпокойныхъ камышахъ... Вотъ уже не видно и Рыбнаго, а къ телъгъ, на которой сидитъ Стожаровъ, приближается старый, раскидистый дубъ съ поросшими у кория темножелтыми грибами-трутняками, но уже не слышно надъ этимъ старымъ дубомъ ръзкаго крика кобчика, крика, который тоже засълъ въ памяти Стожарова, какъ засъло въ ней все, что прошло по ней отъ

дътства - и жалкій Гавря съ его надрывающею сердце пъснью, н потопувшее въ зелени Рыбное, и все Оболонье съ знакомыми лицами мужиковъ; и лица брюссельскихъ рабочихъ, и роскошныя картины юга, и падающія отъ колониъ храма Петра въ Рим'в длинныя тънн и пъсня венеціанскаго гондольера, и грохотъ парижскихъ улицъ, и причудливая тёнь отъ могильнаго памятника Прудона, и шумъ колеса оболоньевской мельиицы-все засёло въ памяти Стожарова, и все въ ней поднималось какъ живое, какъ будто только вчера или сегодня видънное и слышанное. И тутъ же, въ съромъ туманъ, вставаль блёдный, грустный, такой милый обликь Вари, и подъ скрипъ колесъ телъжонки звучалъ и тогда, когда жалкій Гавря пълъ надъ Рыбнымъ свою безконечную пъсню, и тогда когда венеціанскій гондольеръ пълъ свою баркаролу, звучалъ и тогда даже, когда Стожаровъ работалъ въ Ліонт на фабрикт и подъ шумъ машинныхъ колесъ думалъ о Россіи, о Варъ, объ Оболоньъ и о жалкомъ Гавръ, сдиравшемъ лыки себъ на лапти. Все это-и мусоръ, и перлы, и слезы, и ръжущее горе, и мимолетныя радости, и колыбельную пъсню матери, и похоронное слово надъ темной могилой Добролюбова, и ръзкій крикъ кобчика надъ старымъ дубомъ — все это разомъ вивщала въ себъ память и не ошибалась въ размъщеным этихъ воспоминаній въ глубокомъ, широкомъ и памятливомъ сердцѣ Стожарова.

Вотъ и знакомая плотина, обсаженная плакучими вербами, гибкія вѣтви которыхъ мокнутъ въ водѣ, какъ будто въ ней хотятъ утопить свое, певѣдомое человѣку горе... Вотъ и Гремячка, такая тихая и скромная выше плотины, и такая шумливая подъ мельничными колесами, такая живая, дѣятельная, потому что тамъ опа работаетъ, заставляетъ двигаться пеугомонное колесо, кормитъ все Оболонье своею неустанною работою... А тамъ уже видиѣется и старый домъ съ колонками и бѣлыми заплатами на крышѣ и на бокахъ, напоминающими солдатскіе шевропы, и старыя липы съ ветлами, унизанными темными грачевыми гиѣздами, въ которыхъ, въ теченіе десяти лѣтъ, смѣнялись десятки поколѣпій крикливыхъ грачей... Невидно только старой собаки Гривки, которая бы, подобно Одиссееву аргусу, встрѣтила своего хозяпна безсильнымъ виляньемъ хвоста, какъ старый, издыхающій на кучѣ навоза аргусъ встрѣ-

тилъ Одиссея, досыта намыкавшагося по бълу свъту... Старой собаки давно нътъ—она не дождалась своего хозяина.

Вотъ и весь дътскій міръ Стожарова — такой маленькій, бъдный, съ такою простою, хотя милою для сердца обстановкою. Но когдато этотъ мірокъ казался такимъ широкимъ, богатымъ и такимъ полнымъ счастья, что кажется, не выбрось Стожарова прихотливая судьба изъ Оболонья, не занеси его въ шумливый Петербургъ, а тамъ—за моря и за океаны, за тридевять земель, на роскошныя земли юга, въ богатые и шумные города Европы — мірокъ Стожарова казался бы ему полнѣе всего великаго, видѣннаго имъ міра, и счастье его въ этомъ узенькомъ міркъ было бы полнѣе, законченнѣе, какъ полно и законченно было оно въ дѣтствъ, когда концомъ міра казалась мѣловая гора, упиравшаяся въ самое небо.

«Неужели же мы въ себъ самихъ носимъ наше счастье и разсыпаемъ его на нашъ собственный міръ, созданный нами же и живучестью нашего же собственнаго богатаго сердца? (думалъ Стожаровъ).
Въдь митъ, полудикому мальчику, этотъ жалкенькій мірокъ казался
такимъ полнымъ и такое полное счастье я черпалъ изъ него такъсказать пригоршнями, такое законченное счастье, что полите и закончените его я уже не находилъ нигдъ, вдали отъ этого бъднаго
Оболонья, впродолженіе десятилътней бродячести по свъту, по югу
и стверу, по родинтъ и по чужбинтъ... Върно только глупость можетъ быть полно и законченно счастлива...»

Мельница шумно работаетъ и хлопотливыя колеса переливаютъ холодиую воду своими широкими ковшами. Воробьи, чуя приближеніе голодной зимы, подобно западно европейскимъ рабочимъ, снуютъ по плотинъ цѣлыми воробьиными асоціаціями, и куда полетятъ два три воробья, туда летитъ и вся голодиая асоціація, такая же безсильная передъ хворостиной мельника и засыики, какъ безсильны западныя асоціаціи передъ капиталомъ и фабрикантомъ подкрѣпляемымъ, вмѣсто хворостины, полисменами и стрѣлковыми ротами. У мельницы копошится народъ. Согнутыя въ три погибели человѣческія спины таскаютъ тяжелые мѣшки съ мукой, чтобы кормить голодныхъ людей, которымъ, какъ и голоднымъ воробьямъ, грозитъ хворостина въ видѣ нужды, безденежья, безздоровья и бездомья.

Провзжаетъ мимо мельницы Стожаровъ и вглядывается, не бро-

сится ли въ глаза знакомое лице, виденное имъ въ детстве. Хочется ему своими глазами провърить дъйствіе времени на лица чедовъческія, на ихъ выраженіе, хочется ему знать, какія тінн навсло это время, дъйствіе котораго онъ испыталъ на себъ, на своемъ лицъ, на своей спинъ, на волосахъ своихъ уже серебрившихся серебромъ съдины, наконецъ на своемъ мозгу и даже тамъ, глубоко, на сердцъ, - какія тъши это время навело на знакомыя ему лица, съ которыми онъ росъ вмъстъ или которыя далеко обогнали его годами и ростомъ.... Но знакомыхъ лицъ онъ не видълъ, а то, что видель, только напоминало ему что-то несовсёмъ незнакомое, такъ какъ дъйствіе времени на лица было сильнъе даже самой намяти, берегшей въ своемъ запасъ только тъ лица, которыя были знакомы тогда давно, а не видоизмънение ихъ подъ дъйствиемъ времени, заботъ, нуждъ, болъзней и радостей... Казалось бы, что вонъ тамъ, у толчен, стоитъ Поля, внучка Назарыча... Такъ пътъ, едва ли это она: то была стройная, красивая дёвушка, у которой русая коса, доходившая до колённыхъ сгибовъ, ломила своей тяжестью граціозно склоненную на бокъ молодую голову, а бълое съ здоровымъ загарцемъ лице освъщалось живыми преграсными глазами; у толчен же стояла какая-то баба, по видимому съ лицомъ Иоли, по не то было это лице — грубое и корявое съ худобой и бол взненною темнотою цвъта кожи, и не та была эта коса, что была у Поли, а какіс-то жалкіе волосенки, выбивавшіеся всклокоченными и безцвътными прядями изъ подъ безобразной головной повязки... Итъ, это не Поля, а ея видоизмънение, жалкое, грубое, неизящное.... Казалось бы, что вонъ тамъ, на мельничномъ жорновъ, сидитъ Навлуша Извоевъ, красивый парень, иткогда достававшій Гришт орлиныя яйца съ самыхъ высокихъ деревьевъ оболоньевскаго лъса, и самый звоикій голось въ деревенскомъ хороводъ... Такъ ивть, едва ли это онъ: у того было смёлое, веселое лице, а лице этого, осупувшееся и отупъвшее отъ времени, горя и заботъ, изръзапо морщинами, и смёлость его смёнилась какою то запуганностью, веселость - горькою озабоченностью.... Ивть, это не Павлуша, а сго видоизмънение, постаръвшее, робкое, некрасивое.

Вмёсто Поли и Павлуши выступають иныя молодыя лица и своими ногами беззаботпо затирають даже слёды погъ, оставленные на землъ людьми отживающими, уступающими имъ свое мъсто и право голоса въ хороводъ жизни...

- Никакъ молодой баринъ **детъ, слышатся голоса около мельнины.
 - Онъ и есть... Ахъ, матки мои! возглашаютъ бабы.
- --- Нътъ, не онъ, говоритъ робко Поля (это была она)... Смурый больно да худящій...
- Гдѣ ему быть! говоритъ Павлуша (это тоже былъ онъ)....
 Нашъ баринъ за синими морями.
 - И съ бородой, матка, словно бы купецъ...
- Что борода... Нонъ такія времена—нонъ и цари заморски съ бородами живутъ.

Всѣ останавливаются, смотрять на проѣзжаго. Не узнають. Онъ да не онъ... Время и его зацѣпило... Узнають... Онъ, онъ!.. Есть что-то въ лицѣ человѣческомъ, чего и время стереть не въ состояніи... Узнали... Шапки снимають—и онъ снимаетъ...

- Онъ, мой красавецъ, говоритъ Поля, и вздыхаетъ, и отворачивается: не узнаетъ онъ меня, дурнущую...
- Онъ, соколъ нашъ, говоритъ Павлуша, и поднимается съ жорнова.

По плотинѣ идетъ молодой мужикъ съ калмыковатымъ лицомъ и съ странными, какъ бы стоячими глазами. На плечѣ у него длинный холщевой мѣшокъ, наполненный мукою. Смуглое лице, какъ смоль черные волосы, загорѣлыя руки, синяя рубаха и штаны—все покрыто мукою. Даже на длинныхъ рѣсницахъ осѣлась мука точно иней. Раздававшіеся около мельницы голоса о томъ, что ѣдетъ баринъ, заставили этого мужика пріостановиться съ своею тяжелою ношею.

Да, это Стожаровъ, говоритъ мужикъ съ мъшкомъ на илечъ,
 и лице его принимаетъ странное выраженіе.

Телёжонка Стожарова приближается. Ямщикъ помахиваетъ мочальнымъ кнутикомъ. Стожаровъ слышитъ нёкоторые изъ возгласовъ; но знакомыхъ голосовъ не узнаетъ.

 Здравствуйте, Стожаровъ, говоритъ мужикъ съ мѣшкомъ на плечѣ. Стожаровъ приподнимается въ телъжонкъ. Все лице его выражаетъ изумленіе.

 Здравствуйте, Стожаровъ! вы не узпаете меня? спова говоритъ мужикъ съ мъшкомъ на плечъ.

Стожаровъ дъйствительно не узнаетъ лица; но узнаетъ голосъ... Голосъ знакомый, недавно, кажется, имъ слышанный... Это голосъ Караманова... Но гдъ мужикъ взялъ голосъ Караманова?..,

- Карамановъ! Это вы? вскрикиваетъ Стожаровъ съ удивленіемъ.
 - Да, это я, отвъчаетъ мужикъ, ставя мъщокъ на плотину.
- Что вы здъсь дълаете? спрашиваетъ Стожаровъ еще съ большимъ удивленіемъ.
 - Мелю вашу пшеницу.
 - Какъ! Зачъмъ! Что это значитъ?
 - Это ваша мука; а я вашъ батракъ.

Это быль Карамановъ. Стожаровъ смотрѣлъ на него долго и пристально, и что-то радостное и гордое загорѣлось у него въ глазахъ. Это истомленное лице и глубоко запавшіе глаза, которые выражали что-то такое, что напомпило ему другія лица, видѣнныя имъ во время мыканья по Европѣ, этотъ страниый для богатаго землевладѣльца нарядъ, на которомъ видиы были слѣды грубой и тяжелой работы, эти иѣкогда иѣжныя, теперь загрубѣлыя руки, это добровольное самоизгнаніе человѣка молодаго, образованнаго, богатаго, это не въ мѣру крайнее и пе въ мѣру тяжкое примѣненіе еще не признанныхъ міромъ теорій—все это казалось Стожарову болѣе, чѣмъ причудами необузданной фантазіи его молодаго друга... Нѣтъ, такъ не шалитъ молодость, такъ не оригинальничаетъ... Это не шалость.

- Такъ это примъненіе вашихъ теорій? спросилъ Стожаровъ съ какимъ-то усиленнымъ біеніемъ сердца.
 - Да, это начало дела, отвечалъ Карамановъ.
 - И давно вы начали?
 - Нынтшнимъ лтомъ.
 - Что-жъ, тяжело?

Карамановъ какъ-то странио улыбнулся.

- Говорятъ, тяжело, когда выправляютъ вывихнутую руку...

Колумбу, говорять, тяжело было, когда онъ отчаявался увидёть землю, отвёчаль Карамановь.

Стожаровъ вышелъ изъ телѣги. Его окружили оболоньевскіе мужики и бабы. Тутъ былъ и Павелъ Извоевъ, только Поля стояла въ сторонѣ и какъ-бы украдкой поглядывала на молодаго
барина. Всѣ поздравляли Стожарова съ пріѣздомъ, спрашивали,
какъ жилось на чужой сторопѣ, надолго ли онъ пріѣхалъ къ
старикамъ. Стожаровъ ласково говорилъ со всѣми, узнавалъ многихъ, шутилъ, вспоминалъ нѣкоторые случаи изъ своего дѣтства.

- Однако прощайте, братцы... пора къ старикамъ, говорилъ онъ, направляясь по плотипъ. — А вы со мной? спросилъ онъ Караманова.
- Нътъ, миъ пельзя... Мъшка три осталось еще смолоть, отвъчалъ тотъ, снова взваливая мъшокъ на спину.
- Помилуйте, Аркадій Львовичъ! Разв'в вы не можете передать вашего д'яла кому-нибудь другому?
- -- Не могу... Нанялся продался... Впрочемъ, вы увидите меня въ кухиъ, во время объда.
 - Въ какой кухнъ?
 - Въ вашей... Я тамъ буду объдать.

Мужики какъ-то странно смотръли и на Стожарова, и на Караманова. Къ послъднему они уже нъсколько привыкли и полюбили его. Опп оказывали ему большое почтеніе, предупреждали его желаніи, и любили слушать, когда онъ говорилъ съ ними о предметахъ, которыхъ крестьянское міровоззрѣніе не заключало въ узкой области своихъ знаній. Часто мужики оставляли свои работы и собпрались слушать Караманова, котораго продолжали называть «чужимъ бариномъ», и расходились не охотно, когда онъ напоминалъ имъ о томъ, что они должны были работать. При всемъ томъ они не могли составить себъ опредъленнаго понятія объ этомъ человъкъ, не могли понять побужденій, руководившихъ имъ, хотя видъли, что это не барскій капризъ, что барченокъ не отъ жиру бъсится, а какое-то глубокое горе побудило его дъйствовать такъ, какъ онъ дъйствовалъ. Дъйствія его они истолковывали тъмъ, что онъ наложилъ на себя смиреніе изъ набожности, что страдаетъ онъ за гръхи

своего отца, о которомъ оболоньевскіе крестьвие имѣли не совсѣмъ лестное понятіе. Они смотрѣли на него отчасти какъ на «блаженнаго», какъ на такую личность, какія въ народѣ слывутъ нодъ названіемъ «божьихъ людей». Они часто приходили къ нему за совѣтами и всегда оставались довольны его рѣниеніями. Свободное время Карамановъ проводилъ на деревиѣ, гдѣ или толковалъ съ мужиками, или училъ дѣтей грамотѣ. Дѣти его очень любили и называли «добрымъ учителемъ».

- На долго-ли вы сюда? спросилъ Карамановъ.
- Думаю, падолго... Съ вашей помощью мив будеть легче начать мое двло, отвъчалъ Стожаровъ задумчиво.
 - Какое?
- Какія дълались въ старину... Вспоминте, какъ основывался Римъ, Кареагенъ...
- Что-жъ, разръжете на нолоски шкуру вола, обведете оболоньевскія усадьбы и опашете ихъ плугомъ?
- Нѣтъ, мы обойдемся и безъ шкуры вола... У насъ межи обозначены—на то есть землемѣры, планы, уставныя грамоты.
 - А Дидона будеть въ вашемъ Кароагенъ?
 - Будетъ, отвъчалъ Стожаровъ, ивсколько красивл.
- О́днако прощайте, сказалъ Карамановъ, отправляясь въ мельницу за новымъ мѣшкомъ.
- — До свиданья... Когда же мы увидимся?
 - Когда хотите... Вы свободны, а я работаю.

Стожаровъ догналъ Караманова, крѣпко пожалъ ему руку и простился съ мужиками.

- А что, Павелъ, разоряешь орлиныя гитзда? обратился онъ къ Извоеву.
- Не до орловъ, барниъ... Вороны заклевали, отвѣчалъ Навелъ.
- Ничего, мы всёхъ воронъ распугаемъ.

Стожаровъ снова помъстился въ свою тельжонку. Мочальный кнутикъ взмахнулъ, мужичонкя-ямщикъ назвалъ своихъ лошаденокъ «другами любезными» и «подлецами», причмокнулъ губами, и тельжка двинулась.

- Должно сродственникъ твой, заговорилъ ямщикъ, какъ бы обращаясь къ лошадямъ.
 - Кто? спросилъ Стожаровъ.
 - -- Да что съ тобой говорилъ...
 - Нътъ, не родня.
 - А не мужикъ онъ, вижу.
 - Да, не мужикъ: онъ богатый помъщикъ.
 - Ой ли! Прогулялъ рази добро-то свое?
 - Нътъ, не прогулялъ... Это Карамановъ-знаешь Кологривы?
 - Какъ не знать?.. И барина знаю.
 - Такъ это его сынъ.
 - Аль въ опалъ у родителя-то?
 - Нътъ, самъ бросилъ свое богатство.
 - Что ты! Кому-жъ отдаль?
 - -- Никому.
 - Что-жъ онъ тутотка делаетъ?
- Онъ нанялся въ работники къ моему отцу, и вотъ теперь работаетъ на мельницъ.

Мужичонка задумался, и обозвалъ своихъ лошадей подлецами.

- Онъ, должно, маленько умомъ сшибся, замътилъ онъ.
- Нътъ, не сшибся.
- Съ придурью, значитъ.
- И не съ придурью. Онъ умиве насъ съ тобой.

Мужикъ почесалъ въ затылкъ и сердито сталъ хлестать своихъ лошаденокъ.

- А что, если-бъ всѣ господа стали работать, какъ этотъ, спросилъ Стожаровъ.
- Полагать надо, баринъ, что работа ихъ была бы пустая... Да и то сказать, баринъ: коли бы всё пошли въ мужики, кто-бъ тогда распоряжаться-то нами сталъ?..., Безъ начальства нельзя.
- А если бы всё пом'вщики и всё богатые отдали б'ёднымъ въ раздёлъ свои земли и свои деньги? Какъ ты думаешь, хорошо бы было?

Мужичокъ ухмыльнулся,

- Чаво не хорошо... Всёмъ бы, поди, достано... но, но! други любезные! въ горку!
- А вотъ онъ такой все отдастъ въ ділежку, продолжаль Стожаровъ, желая попытать ямщика.
- Хто отдастъ?
- ___ Да вонъ тотъ, что на мельницъ работаетъ.
- Неужто вправду?
- Вправду. То-то добрый баринъ будетъ... А все дуракомъ назовутъ. Мроб да
- Кто назоветь? Мужики и назовуть, отвъчаль ямщикъ.—Но-но-но! близко... Стожаровъ задумался надъ этими приговорами мужичка... «Какое глубокое правственное паденіе народа (думаль онь)... Всякій смѣлый шагъ кажется ему дерзостью, безумствомъ... Кротъ не нуждается въ солнечномъ свътъ»...

Но думать было некогда. Передъ глазами стоялъ старый домъ, осъненный липами и ветлами. Ворота, въ ожидании пріъзда дорогаго гостя, уже второй годъ раскрыты настежъ. По двору гуляютъ куры, индъйки, цыцарки и юное покольніе собакъ, которых отцы и матери, дъды и бабки, современники молодаго Стожарова и соучастники его игръ, давно покончили свое земное странствіе и остались только въ воспоминаніи старой Аверьянихи, которая къ хроникъ своего вскормленника, молодаго барина, приплетала и хронику здоровыхъ собакъ, всноминая, какъ ея золотой барченокъ тздилъ верхомъ на Какваскъ, ходилъ за зайцами вмъстъ съ Юркой, не любилъ Догоняя и т. п.

Тельга въвхала на дворъ и остановилась у крыльца. Не успълъ Стожаровъ приподняться, какъ на крыльцъ показался казачокъ, растерянно глянулъ на прівхавшаго, растерянно что-то сообразилъ и также растерянно бросился обратио въ домъ. Стожаровъ только теперь пристально взглянуль на домъ, въ которомъ онъ родился, и какое-то грустное чувство шевельнулось въ немъ. Его родной домъ глядълъ такимъ дряблымъ, такимъ маленькимъ и жалкимъ въ сравненіи съ теми зданіями, которыя онъ видель на своемъ веку, въ которыхъ онъ жилъ, обдумывая свое будущее, какъ ему казалось, великое дело. Позеленевшія отъ времени стекла въ окнахъ, пезелеивышая отъ старости крыша, облупившаяся штукатурка стараго фундамента, маленькія, почернівшія колонки, поддерживавшія фроцтонъ дома и казавшіяся когда-то маленькому Стожарову громадными колонами той храмины, которую разрушилъ Самсонъ-все это такъ умалилось, одряблёло, осунилось. Стожарову разомъ представилось, что онъ, порывы котораго не знали границъ, долженъ заживо похоронить себя въ этомъ одряблёвшемъ домикъ, въ маленькомъ захолустью, вдали отъ того великаго движенія, которое чувствовалось имъ и въ Петербургъ, и въ Парижъ, и въ Лондонъ... И ему стало страшно и жаль того, что осталось у него назади... Мірокъ, въ которомъ онъ очутился, вдругъ показался ему могилой, видънный имъ горизонтъ казался такимъ узкимъ... Но великое дёло требуетъ жертвъ, къ великимъ подвигамъ великіе люди подготовляются уединеніемъ, временнымъ замуровываньемъ себя въ стъну, укръпленіемъ силь своего духа вдали отъ тлетворнаго и разъбдающаго въянья обыдепной, ходячей жизненной пошлости и общественной измельченности... Развъ тотъ, доктринами котораго живетъ человъчество вотъ уже около двухъ тысячъ лътъ, не жертвовалъ собой во имя великаго дела, для исполненія котораго онъ явился между людьми? Разве не хорониль онъ себя заживо въ пустынъ, готовясь на міровой подвигъ, когда вдали отъ него, въ тогдашнихъ Лондонахъ, Парижахъ и Петербургахъ, щла такая кипучая жизнь, совершалось по видимому такое великое движение? Нътъ, онъ отвернулся отъ этой кипучей жизни, схоропилъ себя какъ бы въ могиль, самъ носвяль себя въ землю какъ зерно великаго съмени - и потомъ вышелъ на свътъ божій, вынесъ съ собою великое слово, что созрёло у него въ пустыит, и этимъ словомъ опрокинулъ вст порядки міра... И весь міръ пошель за нимъ, за тъмъ, который ушель отъ міра... А развъ не такими же подвигами временнаго удаленія отъ міра подготовили себя къ борьбъ съ этимъ міромъ всъ великіе борцы человъчества? Только великими жертвами творятся великія дёла...

Вей эти мысли разомъ охватили Стожарова, когда онъ входилъ на крыльце своего роднаго дома...

На крыльцё спова выскочиль казачокъ, съ такимъ видомъ, точно опъ помёшался отъ изумленія и радости.

— Ты знаешь меня? спросилъ Стожаровъ изумленнаго казачка.

- Знаю-съ.
- Отецъ и мать здоровы?
- Здоровы-съ... Васъ ужъ оченно ждали...

Изъ съней послышалось охапье и шаркацье ногъ. Стожаровъ погадался, что это родители летятъ къ нему на встръчу, со всею легкостью семидесятильтиихъ ногъ. Переступивъ черезъ порогъ, опъ увидълъ следующую сцену въ растворенную дверь залы: старуха мать, какъ видно, раньше отца успъвшая броситься къ сыну, не оснянла огромнаго пространства, которое, какъ ей казалось, разделяло ел съ сыномъ, и, пройдя форсированнымъ маршемъ гостиную и залу, въ концѣ послѣдней комнаты почувствовала, что старыя ноги подъ ней подкашиваются. Чтобы не упасть, она ухватилась за косякъ. Въ глазахъ у нея номутилось. Между тёмъ отецъ, который все еще умълъ владъть собою, хотя и растерался, хотя и носпъшиль на встричу къ сыну не совсимъ мужественными и благоразумными шагами, однако, увидъвъ старуху-жену «на привалъ», какъ опъ выражался по военному, у зальнаго косяка, поспъщилъ къ ней на помощь, не забывъ сказать: «что, братъ, пошатнулася, за версюшку ухватилася?» Поддержавъ старуху, онъ номогъ ей перебраться черезъ порогъ и великодушно бросилъ ея старое тъло въ объятія сына.

- Гришенька! сокровушко мое! бормотала старуха, осъдая къ полу, точно радость свиданья накинула ей на плечи пудовыя гири и онъ тянули ее своей тяжестью къ землъ, къ гробу.
- Здравствуйте, маменька, говорилъ Стожаровъ, чувствуя, что ему приходилось поддерживать ту, которая когда-то его посила на рукахъ.
 - Гришенька! Гришенька!

Старуха начала повторяться. Въ ея лексиконъ оказался самый инчтожный запасъ словъ, и она начала выражаться языкомъ Спарты... «Гришенька... Сокровушка» — и больше пичего: другихъ словъ она не знала, и только повторяла зады.

Стожаровъ понялъ, что отъ матери ждать больше нечего, и обратился къ отцу, который мужественно ждалъ очереди, переминаясь на мъстъ.

 Здравствуй, отецъ, сказалъ Стожаровь, глядя на старика черезъ плечо матери. — Здравствуй, Григорій.

Старикъ подошелъ, и, взявъ дрожащими руками точеную голову сына, поцъловалъ его въ лобъ.

Въ это мгновенье, въ заднемъ отдёленіи сеней послышался глухой стукъ какъ бы отъ паденія человеческаго тела. Все вздрогнули. Казачокъ, глядевшій какъ старые господа встречали молодаго барина и удивлявшійся, зачёмъ это молодой баринъ обстригъ себе голову «по рекрутски, точно лобовой», а бороду отростилъ «словно прасолъ Кондратуха», бросился туда, гдё послышался странный стукъ, и съ испугомъ воротился оттуда.

- Убилась... до смерти убилась, бормоталь онь; кровь течеть... Всё поглядёли на него съ изумленіемъ.
- Кто убился? спросилъ старикъ.
- Бабушка Аверьяновна... съ подвалки...
- Какъ! упала?
- Упала-съ... тамъ кровь...

Испуганный старикъ поспъшилъ по указанію казачка.

 Такъ и естъ... не дождалась, бъдная, говорилъ старикъ дрожащимъ голосомъ.

Подошли и молодой Стожаровъ съ матерью. На полу, впизу лѣстницы, ведущей на чердакъ, лежало мертвое тѣло старой няни Аверьянихи. Изъ праваго виска старухи сочилась кровь. Она лежала навзничъ, съ раскиданными руками. Худое, пересохиюе отъ лѣтъ и морщинистое какъ сушеная груша лице старушки было серьезиѣе обыкновеннаго.

Она умерла на своемъ постъ. Сторожа каждодневно своего вскормиленника въ слуховое окно чердака и ожидая встрътить его въ богатомъ тарантасъ, а не въ жалкой телъжонкъ, она не замътила, какъ ея «золотой» очутился на дворъ. Догадавшись, что она проглядъла, старушка бросилась внизъ, чтобъ удостовъриться въ прівздъ «золотаго» и предувъдомить о томъ свою «барыньку», но на крутой лъстницъ оступилась своими нетвердыми ногами, ударилась вискомъ о что-то острое— и старой жизни какъ не бывало...

Не ожидаль Стожаровь, что на порогъ роднаго дома онъ будеть глядъть въ лице мертвецу, кто бы ни быль этотъ мертвець. А онъ теперь глядъть въ мертвое лице и думаль: «Какая странная, роко-

вая встръча... Неужели отъ одного нашего приближения должны вымирать старые люди, какъ вымираютъ дики индъйския племена отъ соприкосновения съ евронейской цивилизаціей? Неужели такъ же вымутъ и старые, отжившіе порядки?... Нѣтъ, людскіе порядки крѣпче и долговѣчиѣе самихъ людей, которые ихъ установляли... Что сдълано человѣкомъ, то живетъ дольше, чѣмъ самъ человѣкъ... Домъ долговѣчиѣе плотника... книга долговѣчиѣе своего автора...Странно...»

Мысли эти какъ-то мгиовенио, точно гальваническій токъ прошли по мозгу Стожарова при видъ мертваго, серьезнаго лица, встрътившаго его на порогъ роднаго дома.

Опъ думалъ, что еще можно помочь умершей... Но помощь была уже безполезна: надо было думать о живыхъ, а не о мертвыхъ... Будущее всегда сильнъе прощедшаго...

Д. Мордовцевъ.

(Окончаніе въ слидующемь номери)

сосъдки.

Двѣ красотки въ сосѣдствѣ со мною: Справа—падшая жертва нужды, Слѣва—знатная дама съ семьею, Единица примѣрной четы.

Та открыто любви предается, Изъ-за хлѣба торгуя стыдомъ, Но чужаго добра не коснется И обманъ почитаетъ грѣхомъ.

Эта-жъ важная свътская дама, Домъ картежный открывъ на паяхъ, Грабитъ деньги открыто и прямо Съ шулерами въ преступныхъ связяхъ.

Ту—надежда есть—можно исправить, Съ честной жизнью, съ семьей примирить, Уобжденьемъ горячимъ заставить Добродътель и трудъ полюбить.

Но другую — исправить могила: Посл'в долгихъ мучительныхъ думъ, Въ сталь цинизма она закалила Уб'ъжденія, чувства и умъ.

П. Мартьяновъ.

Mun

XXV.

Небольшал, полуосвъщенная компата полна тъней, которыя, скрадывая настоящія очертанія предметовъ, придають имъ очертанія неясныя, фантастическія. Защищенный ширмочками слабый свъть ночной лампадки, поставленной на небольшомъ столикъ въ отдаленномъ углу компаты, напрасно силится оживить находящісся въ компатъ предметы и человъческія лица — борьба свъта съ мракомъ оказывается далеко неровною, и предметы остаются погруженными въ полумракъ, живыя лица кажутся блёдными, мертвыми, какъ будто застывшими.

На низкой постели, приставленной къ наименѣе освѣщенной стѣпѣ, неяено очерчиваются формы человѣческаго тѣла, какъ бы случайно брошеннаго и застывшаго, а на бѣлой подушкѣ выдѣляется мертвое лице, худоба котораго кажется поразительною отъ того, что впадины глазъ и щекъ слишкомъ глубоки и лицевыя угловатости бросаютъ слишкомъ рѣзкія, такія же угловатыя тѣпи. Только сильно развитой лобъ кажется не мертвымъ, но спокойнымъ и думающимъ. Мертвое лице по видимому молодо, но какъ-то страшно, до старческой морщиноватости изнурено, изможжено и какъ бы изъѣдено страданіями. Одна рука брошена вдоль тѣла, другая какъ-то свалилась съ кровати и въ висячемъ положеніи какъ бы застыла, какъ застыло мертвое лице и все худое, изстрадавшееся тѣло.

Слабый свётъ лампадки какъ бы силится заглянуть въ лице мертвецу, по тёни отгоняютъ его отъ темнаго угла и все гуще и гуще ложатся на мертвое лице и на всю вытянутую на кровати фигуру.

У изголовья кровати, въ глубокомъ кресяв, видивется другая человъческая фигура, вся погруженная въ твиь и неподвижная, какъ то мертвое твло, которое лежало на кровати. Широкія, осунувшіяся впередъ плечи, свдая голова, низко опущенная на грудь, и сложенныя на груди руки — все это выступаетъ изъ мрака въ неясныхъ очертаніяхъ и какъ бы постепенно стушевывается, отходитъ

по временамъ дальше и дальше, особенно когда свътъ лампадкитускитътъ и какъ бы притухалъ.

Изъ глубины другаго кресла, поставленнаго у противоноложнаго конца кровати, видивется еще одно лице, такое по видимому молодое и прекрасное, но глубоко задумчивое и глубоко печальное.

Полумракъ, господствующій въ комнатъ, не позволяетъ узнать кто эти лица и что свело ихъ у постели, на которой лежало мертвое тъло.

Въ комнатъ такъ тихо, что слышенъ малъйшій порывъ вътра за окномъ и сонное тявканье собаки. По временамъ слышно какъ мышь скребетъ въ подпольт и какъ бы сама прислушивается къ этимъ единственнымъ звукамъ, нарушающимъ мертвую тишину комнаты.

Но вотъ свътъ лампадки какъ бы вздрагиваетъ и освъщаетъ повое лице, показавшееся на порогъ. Задрожавшій отъ лампадки свътъ заставляетъ вздрогнуть и тъпи на лицъ мертваго, и кажется, что это не тъпи дрогнули, а дрогнули и шевельнулись мускулы на мертвомъ лицъ, поднялись брови покойника, дрогнули блъдныя, мертвыя губы, и худыя, ввалившіяся щеки еще болье ввалились. Это дрожанье свъта заставляетъ приподняться изъ глубины креселъ и ту съдую голову, которая была такъ низко опущена на грудь, и другую молодую головку, глубоко задумчивую и глубоко печальную.

Вошедшая неслышными шагами подходить къ ностели и останавливается.

- Что? спрашиваетъ она тихо: давно уснулъ?
- Только что забылся, отвъчаетъ съдая голова.
- Вы бы пошли отдохнули, говоритъ пришедшал, а я посижу вдъсь.
- Ступай, папа, усип немножко, а мы съ Варей останемся, говорить та, которая сидъла у ногъ больнаго, въ полумракъ казавшагося мертвымъ.
- Нътъ, отвъчаетъ тотъ, къ которому относились эти слова, я боюсь васъ оставить... Вамъ будетъ странию съ нимъ.

Опять молчаніе и тишина. Та, которая вошла, также садится въ тёнь. Снова въ эту тихую комнату долетаютъ только неясные виёшніе звуки—неровные порывы вётра да сонное, издалека доносящееся тявканье собаки. Севтъ какъ бы снова притухаетъ п въ комна-

Больной тяжело вздыхаеть и открываеть глаза, которые емотрять куда-то далеко, очень далеко, какъ будто предметы, на которые они смотрять, находятся вий компаты больнаго, вий этихъ стить, и предметы эти видимы только ему одному.

Больной пачинаетъ шептать какъ въ полусиъ, но достаточно ясно для того, чтобы спрящие около него могли слышать его бользненный шопотъ.

— Зачъмъ опъ все висить и качается?.. Все качается, все качается... И у меня голова вружится, когда я гляжу на него... Зачъмъ его не вынутъ изъ петли?.. Зачъмъ! (И губы больнаго горько улыбаются)... Зачъмъ?.. И земля виситъ и качается... И ее инкто не хочетъ вынуть изъ петли... Върно и она сдълала такое же преступление какъ опъ...

Больной закрываетъ глаза и умолкаетъ. Опять тихо кругомъ...

- Ухъ! оборвался... упалъ! говоритъ больной, и весь вздрагиваетъ.
- Онъ бредитъ чъмъ-то, говоритъ шопотомъ Бармитинова, пагибаясь къ старику Канадъеву.
 - Да... Это все тъмъ же... повъщеннымъ.

Больной начинаетъ оглядываться по сторонамъ и пскать кого-то глазами.

- Гдъ опа? Ея пътъ? спрашиваетъ онъ.
- Кто она, Митя? Мать, сестра? спрашиваетъ старикъ.
- Я здёсь, Митя, говорить тихо Марипа.
- А птица моя?.. Ты ся ис отгоняла? спрашиваетъ больной.
- Нътъ, Митя.
- Пропада... давно не прилетала... Ее... заперли... повъсили... связали прылья.

Опять тихо. Слышно только какъ въ стекла точно изъ рѣшета зимпяя выюга сыплетъ мелкимъ сиѣгомъ.

- Слышите, это она съетъ изъ своего ръшета, говоритъ больной, обращаясь иъ присутствующимъ.
- Кто опа, Митя? спрашиваетъ Марипа, пе замъчая какъ отецъ киваетъ ей, чтобъ опа молчала.

- Она... Ананке... это она скетъ изъ ръшета.
- Присутствующіе въ недоумѣніи переглянулись.
- А ты видишь ее? вдругъ спрашиваетъ больной, обращаясь къ отцу.
 - Кого?
- Эту оборванную, страшную женщину... Ананке ее зовуть... Вотъ она, вся въ лохмотьяхъ, съ растречаною съдою косой... Это Ананке... нужда... Какая она старая, а все не умираетъ, все ходитъ по землъ, все стучится въ бъдные домики да въ сърыя избушки... Она всесильна... Она проводитъ морщины по молодымъ лицамъ, бълитъ волосы людскіе, какъ мартовское солнце бълитъ полотна... А вы развъ не видите ее? спрашиваетъ больной.
 - Нътъ, не видимъ, отвъчаетъ старикъ.
- А я вижу... Вонъ она носится надъ землею, какъ туча, и какъ грязные флаги въютъ по вътру ея лохмотья... Вонъ она повисла надъ большимъ городомъ... Въ рукахъ у нея ръшето... Ръшето полно маленькихъ людей... Они выглядываютъ изъ ръшета, поднимаютъ маленькія рученки, и ссорятся, злобно ведутъ между собой перебранку.... Лица большею частью мнъ знакомыя.... Вотъ Ананке встряхиваетъ ръшетомъ, и маленькіе люди присмиръли. Они боятся старухи.

Больной приподнимается на постели. Глаза его напряженно смотрять вдаль. Онъ внимательно прислушивается какъ зимняя непогоды сыплеть въ окна медкимъ снъгомъ.

- Сѣетъ... сѣетъ Ананке... Я слышу шумъ отъ рѣшета... Маленькіе люди смѣшались въ рѣшетѣ какъ чистыя зерна съ нылью и грязью... Посмотрите, изъ рѣшета сыплется то, что помельче пыль, соръ, грязь, а чистыя зерна остаются въ рѣшетѣ... Подъ рѣшетомъ бѣлая страница какой-то книги... Ты видишь, Мариночка, эту книгу? спрашиваетъ больпой, обращаясь къ Маринѣ.
 - Вижу, Митя, говорить она, боясь противоръчить больному.
- На верху страницы написано «Дѣло», продолжаетъ больной, а тамъ лежатъ другія книги, другія бѣлыя страницы... старуха сѣетъ рѣшетомъ... Все мелкое проскальзываетъ и падаетъ какъ пыль на бѣлыя страницы... Нѣтъ, это не пыль, не соръ, а маленькіе люди, съ узенькими, маленькими какъ у лилипутовъ голов-

ками... А какой, я думаю, у пихъ мозжечокъ маленькій... Ты узнаешь ихъ, Мариночка? спрашиваетъ онъ опять.

- Иттъ, не узнаю...
- Да, ты ихъ не знаешь... эти вотъ, самые мелкіе, что раньше всѣхъ выскользиули изъ рѣшета они пачкаютъ своими грязными руками бѣлую страницу «Дѣла»... Воиъ самый маленьяй изъ нихъ, самый ничтожный пачкунъ, съ узенькой головенкой—это Гедебе.
- Какой Гедебе, Митя? спрашиваетъ Марина.
- Гедебе... развъты не знаешь его? Вонъ онъ прыгаетъ по задиниъ страницамъ «Дъла», такой жалкенькій, плюгавенькій, и все начкаетъ ихъ...
- Это Гдб, который иншеть въ «Дѣлѣ», говорить шопотомъ Бармитинова, обращаясь къ Марииѣ. Какой странный бредъ...

Больной беззвучно смѣется.

— Ананке грязнымъ ногтемъ поднимаетъ черепъ на узенькой головенкъ Гедебе, и я вижу мозжечки тамъ, да такіе жидкіе, скудные... И строеніе, форма мозжечковъ странны.

Больной снова беззвучно смѣется.

— Точно у овцы, продолжаетъ онъ. — Овечій мозгъ...

Больной опять прислушивается и говорить:

— А она все светь, все светь... Вонь изъ рвшета еще выпала узенькая головка и начинаетъ прыгать на переднихъ страницахъ «Дъла»... Какъ дико прыгаетъ, какъ кривляется .. Это — Тредьяковскій нашего времени... Онъ обо всемъ говоритъ съ азартомъ, за все хватается и все умъетъ испошлить и измельчить... Я узнаю его...

Больной обхватываетъ руками свою голову и сидитъ неподвижно, продолжая присматриваться къ чему-то далекому, ему одному видимому.

— Болитъ голова? спрашиваетъ его отецъ.

Больной не отвъчаетъ. Мысль его занята чъмъ-то другимъ.

- Что онъ тамъ пачкастъ на бълой страницъ?.. Я вижу слова: «задачи земства», «вопросы русской жизни», «о болъзни хвостовъ у тотемскихъ поросятъ» все это одно за другимъ вылетаетъ изъ его узенькой головенки и ложится на бълыя страницы... Посмотри, Мариночка, какой онъ жалкій...
- Кто жалокъ, Митя? спрашиваетъ Марина.

— Шелгуновъ съ его пеклеванной философіей.

Марина невольно смѣется.

— Какой ты злой, Митя, говорить она.—Что выдумаль — Шелгунова называеть пеклеваннымь философомъ.

Больной съ удивленіемъ смотритъ на сестру и опять прислушивается какъ зимняя непогодь сыплетъ въ стекла мелкимъ сиёгомъ.

— Вся мелочь выпала изъ рѣшета и прилипла къ страницамъ «Дѣла»... Въ рѣшетѣ осталось только то, что покрупиѣе — чистыя зерна... Вотъ Апанке опрокидываетъ рѣшето, и все крупное, чистое, падаетъ на страницы другихъ журналовъ, только на страницы «Дѣла» не упало пи одного крупнаго зерна...

Старикъ Канадъевъ, слушая бредъ больнаго сыпа, грустно качаетъ головой. Онъ чувствуетъ, что ничъмъ не можетъ пособить несчастному, и какъ-то безнадежно ждетъ, что скоро и этого бреда онъ не будетъ слышать, что скоро и эти безумные, глядящіе кудато вдаль глаза закроются на въки. И онъ боится ждать этого страшнаго времени, боится и желать продолжения страданій дорогаго сму существа.

Съ неменьшей болью въ сердцё слушала бредъ больнаго и Бармитинова. У нея было свое горе, глубоко затаенное, и она всъмъ существомъ своимъ чувствовала, какъ это горе подтачивало ее, събдало жизнь, неотходно давило ее и днемъ и почью.

За то впечатлительной Маринъ кажется, что она сама видитъ страшную старуху съ растрепанною съдою косой, слышитъ, какъ шумитъ ея ръшето и какъ падаютъ изъ него маленькіе, жалкіе люди, падаютъ не на бълыя страницы книги, а въ глубокую пропасть.

— Какъ темно стало, говоритъ больной съ какимъ-то страхомъ.— Что это? Куда все исчезло?.. Гдѣ она?.. Пропала... и земля пропала... оборвалась съ петли... упала...

И закрывъ глаза, онъ въ изнеможенъи опрокидывается на подушки... Блъдное лице его вытягивается, руки безсильно валятся вдоль исхудалаго тъла...

— Папа! Папа! онъ умеръ, съ ужасомъ говоритъ Марина, припадая къ колъцямъ отца.

Отецъ бережно приноднимаетъ дочь и, придерживая ее одною рукой, тихо нагибается къ лицу больнаго. Онъ долго стоитъ въ такомъ положенін, прислушиваясь къ дыханью сыца, и на лицъ его выражается глубокое, безотрадное горе.

- Ты бы пошла къ матери, милая, шепчетъ опъ дочери-тебѣ надо успуть, успоконться... У тебя такъ испуганно бъется сердце, что даже я слышу... Уйди, милая.
- Пътъ, папа, я не уйду, я не оставлю тебя... Я хочу глядъть на него... Такъ не долго осталось, говоритъ Марина, прижимаясь къ отцу.
- Нётъ, не говори этого, можетъ быть, это переломъ къ лучшему. Бармитинова также приблизилась къ постели и стала гладить волосы Марины.
- Право, Мариночка, теб'й бы сл'йдовало успуть, говорила она. Вонъ какъ ты вся дрожншь... Подумай, что будетъ съ инми, когда и ты сляжешь.
 - Ахъ, Варя, что-жъ мий дёлать, когда я не могу отойдти отъ него?
- Не можешь, милая, потому что онъ на глазахъ у тебя, а когда не будень видёть и слышать его, тебъ будетъ легче.
- Онъ умретъ безъ меня, говоритъ Марина, ломая руки; я не увижу его больше.
- Не умретъ опъ... Развѣ ты не замѣчаешь, что даже въ его болѣзненномъ бреду теперь больше связности, чѣмъ было прежде? Его бредъ обпаруживаетъ теперь то, о чемъ опъ думалъ въ послѣднее время, что его волповало, печалило.
 - А эта страшная Анапке, Варя? А это ръшето?
- Что-жъ, милая, и это поиятно: когда его привезли сюда и ему стало лучше, опъ жадно набросился на чтеніе, говоря, что многаго не читалъ во сремя болѣзии... Больные первы не выдержали и вотъ ему теперь и мерещется русская литература въ рѣшетѣ... Въдь ты помпишь, какъ опъ раздражительно отзывался о томъ, что русская литература сама себъ вредитъ во миѣніи общества пеприличной бранью, допосами обществу на своихъ же собратовъ литераторовъ за то, что они пинутъ не въ томъ, а въ другомъ журналѣ.
- Да, вы правы, замѣтилъ старикъ Канадъевъ: мы напраспо давали ему читать... Онъ былъ еще такъ болѣзиенно настроенъ.

Больной отврылъ глаза, и ивсколько секундъ глядвлъ на отца, на сестру и на Бармитинову, какъ бы инкого не узпавая.

- Зачъмъ Маркушка яблоки воруетъ? вдругъ спросилъ онъ, обращаясь къ отцу.
 - Какой Маркушка, Митя? спросиль тотъ въ недоумъніи.
 - Волоховъ Маркушка.

Бармитинова и Марина переглянулись. Но старикъ, по видимому, продолжалъ не понимать о чемъ говоритъ его сынъ.

— Зачёмъ онъ негодяй и глупъ, когда жъ долженъ быть умнымъ и честнымъ? Вы не знаете?

Всѣ молчали, не зная что отвѣчать.

- II яблоки ворустъ... И пьянствуетъ, и лжетъ, чужое пальто беретъ... какой подлецъ... Ты его выгони, Мариночка, когда онъ къ тебъ прійдетъ, говорилъ онъ, узнавая сестру.
 - Хорошо, Митя, выгоню.
- Какой влой Гончаровъ, продолжалъ больной, какъ бы про себя. А злится онъ не на Маркушку, а на другихъ... Это не хорошо, малодушно.... А въдь Гончаровъ изъ крупныхъ... онъ въ ръшетъ и не помъстится.

Марина нагнулась къ брату и тихо взяла его за руку. Рука его была очень горяча и суха.

— Митя! милый мой! говорила она, глядя ему нёжно въ глаза, — зачёмъ ты все объ этомъ думаешь? Зачёмъ ты не дашь себё по-кою? Вёдь ты еще такъ слабъ—стоитъ ли волноваться изъ за того, что Маркушка воруетъ яблоки... Выздоравливай лучше, тогда мы съ тобой обо всемъ переговоримъ—и о литературѐ, и о твоихъ планахъ... Къ намъ будетъ часто ходить Варя, и мы всё будемъ такъ хорошо проводить время... А теперь успокойся, не думай о томъ, что тебя волнуетъ... Вонъ какой у тебя жаръ—и голова такая горячая, точно въ огнѐ (она приложила руку къ его головъ).

Шпроко раскрытые глаза больнаго какъ бы мгновенно измѣнили цвѣтъ и форму. Онъ внимательно прислушивался къ тому, что говорила сестра, и вдругъ, прижавъ ея руку къ своимъ горячимъ губамъ, а потомъ, закрывъ этою рукою свои глаза, началъ плакатъ. Марина припала своей головой къ головъ больнаго.

— Бъдный мой! объ чемъ же ты плачешь? говорила опа, не имъя силы удержать слезъ, которыя полились и изъ ея глазъ. — Что у тебя болитъ? Чего тебъ жаль?

Больной продолжаль планать, такъ что все его худое тело судорожно вздрагивало.

- Пусть выплачется, говориять старикть отецт; можетъ быть, ему легче станетъ.
- Да, пусть вмёстё плачуть; онь такъ любить ес, говорила Бармитинова.
- Я въ первый разъ за его болёзнь вижу какъ онъ плачетъ, говорилъ старикъ тихо.

И брать и сестра продолжали плакать.

- Выздоравливай скоръй, милый! только не страдай, говорила Марина, продолжая ласкаться къ брату.
- Развъ ты не знаешь отъ чего я страдаю?.. Мочи моей нътъ, говорилъ больной, и въ голосъ его слышалось дъйствительное горе, глубокое и сильное.
 - Отчего же. Митя?
- Оттого, что миліоны людей страдають... Я хотель имь по- Мил мочь... Не я одинъ хотълъ помочь имъ, а многіе этого хотять—и (писте силъ не хватаетъ. зла больше, чъмъ добра; глупости больше, чъмъ ума; пищихъ больше, чёмъ богатыхъ... И вотъ я падорвался... И не одинъ я-много честныхъ людей погибло, и долго будутъ они погибать, пока...

Онъ замолчалъ, припавъ головой къ рукамъ сестры и постоянно вздрагивая.

- Что пока, Митя?

Больной инчего не отвъчалъ. Видно было, что разсудовъ его, кавъ бы по какому-то капризу природы, спова возвратился къ нему, но у больнаго, разбитаго правственно и физически, не хватало воли удержать порывовъ своей фантазіи, и разсудокъ былъ снова побъждаемъ болъзненностью первовъ и пеобузданностью фантазін, и мысли его снова метались отъ предмета къ предмету, снова сбивались въ направленін, какъ корабль въ бурю, лишенный руля и баласта.

- Милая! не презирай меня, говориль онь, цълуя руки сестры.
- Что ты! что ты, Мити? за что? говорина она, целун его горячую голову.
 - Я слишкомъ много взвадилъ на себя и... переломился... Я...

собака съ перебитымъ задомъ... И они же... будутъ... смъяться надо мной, говориять онъ, съ трудомъ переводя дыхапіе.

- Кто они, Митя?
- Всъ... скажутъ, его завла среда... пошлая фраза!.. Я самъ себя завлъ... Мы сами себя завдаемъ... Мы не Рудины и не Печорины: тъ страдали и погибали отъ недостатка дъла, а мы... отъ избытка дъла...
- Другъ мой! зачътъ же брать на себя дъло не по силамъ? говорилъ отецъ, который видълъ, что въ словахъ сына нътъ бользненнаго бреда.
- Какъ же не брать, когда жизнь... на каждаго честнаго работника взваливаетъ цълую гору?... Кто-жъ возьметъ, когда мы не возьмемъ.
 - Да надрываться-то не надо, другь мой.
- Надрываться... Лучше надорваться, да вытащить тельгу изт тины... Мы... ломовыя лошади... битюки... наша тельга застряла въ тинъ... Что за бъда, если мы всъ поколъемъ... была бы тельга съ дорогой кладью вытащена изъ тины... Мы всъ подохнемъ въ оглобляхъ и въ хомутъ, а тельга и кладь... будутъ снасены...
- Да, въ вашихъ словахъ глубокая, по горькая правда, замътила Бармитинова, которая при этомъ думала: «И мой Стожаровъ изъ такихъ же битюковъ... Теперь ихъ время настало: время Райскихъ и Маркушекъ Волоховыхъ отошло навсегда».
- Горькая! возразиль больной, вглядываясь въ Бармитипову; тъмъ лучше... конечно не намъ... да мы себя и не жалъемъ: неуклюжій обломокъ мрамора не долженъ о себъ плакать, если изъ него рука художника высъкла статую... Мы... подохнемъ... а телъгатаки будетъ вывезена...
- Я согласна съ вами, продолжала Бармитинова: слёдующимъ поколёніямъ легко будетъ катить эту дорогую телёгу по гладкому шоссе да по чугункъ.

Въ это время вдали пронесся глухой, протяжный звоиъ церковнаго колокола. Звоиъ этотъ раздался такъ неожиданно и въ такую необыкновенную пору, что невольно заставилъ всёхъ вздрогнуть и прислушаться, какъ постепенно замирали въ ночномъ воздухъ глухіе, переливные звуки, которые казались отзвукомъ голоса человъ-

ческаго, но такимъ страшнымъ, такимъ безотраднымъ, какъ будто опъ напоминалъ людямъ, что звучитъ не на радость, а только напоминаетъ о чемъ-то неизбъжномъ, неотвратимомъ. Можетъ быть, нотому и былъ страшенъ этотъ крикъ мѣднаго горда, что раздавался опъ въ неурочное время, что въ темнотъ пропосился опъ надъ спящимъ селомъ и что кому-инбудь изъ слышавшихъ этотъ звоиъ диемъ никогда уже больше не придется его услышать ни диемъ; ни ночью...

Марина съ пспугомъ взглянула на отца, а потомъ на брата. Она знала что означалъ этотъ крикъ мъднаго горла въ ночную пору. Больной также съ какимъ-то страннымъ безпокойствомъ поглядълъ на окружающихъ, а потомъ на свою постель.

- Что это такое? спросиль онъ ночти шопотомъ.
- Это, мой другъ, звонятъ у Николы, отвъчанъ отецъ съ невольной дрожью въ голосъ.
 - Зачъмъ же?.. такъ поздно...

Больной испуганно глядёлъ на отца. Звоиъ долго не повторялся. Всё напряженно ждали втораго удара. Ждалъ его и больной, озираясь и прислушиваясь... Колоколъ ударилъ такъ же глухо и протяжио, и опять въ ночномъ воздухё долго замиралъ этотъ страшный, нечеловъческій, но такой знаменательный крикъ...

- Кто это?.. Я? спрашивалъ больной, и хваталъ себя за голову.
- Это... по покойникъ, другъ мой, отвъчалъ старикъ.
- По покойникъ... Развъ я ужъ... умеръ? говорилъ больной съ ужасомъ, и снова бралъ себя за голову. — Это обо миъ звоиятъ?
 - Что ты, Митенька!.. Успокойся... Кто-инбудь умеръ на селъ.
- А я... не умеръ еще?..
 - Помилуй, дружовъ... Богъ милостивъ, тебъ лучше...
 - Кто-жъ это... не вывезъ телъги? спрашивалъ больной.
 - Не знаю, мой другъ... Кто инбудь скончался... Село большое. Колоколъ снова ударилъ, но еще глуше, еще протяживе.

Въ то же мгновенье въ компату больнаго неслышными шагами вошла пожилая женщина. На лицъ ея выражался такой тупой испугъ, что она по видимому пичего не сознавала, только глаза ел, едва она показалась на порогъ, съ ужасомъ приковались къ постели больнаго. Волосы ел, прикрытыя чепцомъ, были въ безпорядкъ и неровными прядями падали на виски и на шею. Это была женщина плотная, высокая. Въ неуловимыхъ чертахъ лица ея проглядывала ръшительность и твердость, хотя въ настоящую минуту лице это и боролось съ тайнымъ ужасомъ.

- Митенька!.. Охъ... голубчикъ мой, тихо, сдержанно простонала эта женщина и въ изнеможеныи опустилась въ кресло около постели.
- Слышите, звонятъ? спросилъ больной, обращаясь къ ней и протягивая руку по тому направленію, откуда донеслось три колокольныхъ удара...
 - Слыхала, Митенька.
 - Это не я умеръ? снова спросилъ больной.

Женщина по видимому готова была вскрикнуть; но она пересилила свой ужасъ, поднялась и нъжно обхватила больнаго за плечи.

- Христосъ съ тобой!.. Христосъ съ тобой, говорила она, цѣлуя его въ голову.
- На меня въпчикъ положутъ... холодный въпчикъ... въпчикъ цъловать будутъ...

И Бармитинова и Марина отошли въ темный уголъ компаты и тихо плакали. У постели больного остались только мать и отецъ.

— Не говори ты этого, дорогой мой... не надрывай своего сердца, дитя мое бъдное! Богъ дастъ, тебъ будетъ легче: не до конца же онъ прогнъвался на насъ и не накажетъ тебя за гръхи наши, говорила мать, поправляя подушки сыну.

Старикъ Канадъевъ, поглядъвъ на часы, подошелъ къ лампадкъ, взялъ стоящій на столикъ пузырекъ съ лекарствомъ и сталъ отсчитывать свътлыя капли, которыя изъ пузырька переливались въ рюмку. Но руки у него дрожали, и онъ подошелъ къ дочери, которая, вмъстъ съ Бармитиновой, укрылась въ тънь за небольшія ширмы.

- Что, папа, не можешь налить? спросила Марина.
- Не могу переливаю: руки дрэжать.
- Бъдный папа! и она поцъловала его дрожащую руку.

Старикъ нъжно погладилъ голову своей любимицы.

 Дай я налью, сказала Марина, и взяла изъ рукъ отца пузырекъ и рюмку.

Больной видель это и горько улыбнулся.

 — Лошадь завлзла въ тинъ... а они хотятъ давать ей капли, сказалъ онъ.—Смъшно.

Лекарство было налито и поднесено больному. Онъ его выпилъ. Принятое ли лекарство произвело на больнаго успоконтельное дъйствіе или успокосніе пришло само собой послѣ нервнаго припадка и больной чувствовалъ физическое утомленіе, только черезъ ифсколько минутъ онъ замолчалъ, а потомъ ровное и спокойное дыханіе дало знать находившимся въ комнатѣ, что онъ успулъ.

Мать больнаго сдълала знакъ рукою, чтобы вст вышли изъ комнаты, и они вышли. Она одна осталась въ компатъ, чтобы прислушиваться къ дыханью сиящаго сына.

18 18 xxvi. 76

Молодой Кападѣевъ взятъ былъ изъ дома умалишенныхъ по совѣту докторовъ, которые находили, что здоровье его начало нѣсколько возстановляться, чаще и чаще стали возвращаться къ нему минуты полнаго сознанія, а между тѣмъ, по мѣрѣ возвращенія разсудка, больнаго возмущала мысль, что его держатъ подъ присмотромъ прислужниковъ и подъ стражею какъ преступника. Рѣже и рѣже онъ началъ говорить о своихъ воздушныхъ экспедиціяхъ, о посѣщеніи его невѣдомою птицею и о своихъ болѣзненныхъ видѣніяхъ.

Съ возвращениемъ разсудка опъ пачалъ искать какой-либо дѣятельности, которая заняла бы его тревожную, ищущую живой работы мысль. Опъ проспяъ, чтобы ему позволено было чтеніе, и при этомъ требоваль, чтобы дали ему такое чтеніе, изъ котораго бы опъ познакомился съ тѣмъ, что за время его болѣзни было сдѣлано въ Россіи и въ Европѣ. Но желанія его не могли удовлетворить, потому что опъ пабрасывался на чтеніе слишкомъ лихорадочно, читалъ по цѣлымъ ночамъ, и чтеніе ему было запрещено.

Онъ просилъ, чтобы ему позволено было писать. Ему позволено было это занятие. Но пользовавший его докторъ скоро замътилъ, что и этому занятию больной отдался съ убийственной торопливостью и горячностью. Когда докторъ сталъ доказывать ему весь вредъ этого

увлеченья работой, больной раздражался, и въ такое время всякое сопротивление ему вызывало болъзненные симптомы и опасное нравственное настроение.

Тогда докторъ написалъ родителямъ Канадѣва, что въ настоящемъ нравственномъ состояніи больнаго онъ находилъ бы болѣе полезнымъ окружить націента такими условіями, которыхъ не могло быть въ распоряженіи доктора, но что всего лучше могло бы подѣйствовать на успокоеніе больнаго пребываніе въ семействѣ или же поѣздка за границу и такія развлеченія, которымъ больной могъ бы отдаться самъ того не замѣчая.

Отецъ Канадъева исполнилъ совътъ доктора, съ которымъ былъ друженъ со школьной скамейки, и взялъ сына домой. Окруженный любящими его лицами, поддерживаемый нёжною дружбою сестры и Бармитиновой, больной на первое время совершенно ожилъ. Такъ какъ въ продолжение университетского курса онъ ръдко прівзжаль домой на каникулы, а потомъ на нёсколько лётъ окончательно отдался усидчивымъ работамъ въ Петербургъ и только переписывался съ сестрой, то, возвратясь въ свой родной домъ, онъ не могъ не поддаться благотворному вліянію со всёхъ сторонъ оказываемыхъ ему ласкъ, и въ нравственномъ состоянии его произошелъ переломъ къ лучшему. По временамъ только онъ говорилъ, что скучаетъ по внигамъ, не знаетъ что дълается на свътъ, жаловался, что излънился, отсталъ отъ хода міровой жизни, не думаеть и не чувствуетъ, какъ онъ щутя выражался, за одно съ человъчествомъ, не дышеть общечеловъческимь дыханьемь, какъ дышаль прежде, когда жилъ въ Петербургъ и жадно пилъ изъ источника міровой духовной жизни. Ему шутя говорили, что пусть онъ на время попьетъ волжскую воду и подышетъ дыханьемъ варгунинскаго міра, что Варгуны и тихое Заволжье-такая же часть человъчества, какъ и Петербургъ со всею Россіею, но что потомъ, набравшись силъ, онъ можетъ, какъ сказочный чертъ, горами качать и дышать дыхапьемъ всего человъчества.

О видъніяхъ, которыя являлись ему въ болъзненномъ состояніи, о таинственной птицъ, которая навъщала его, о его воздушныхъ полетахъ никто не упоминалъ, и онъ самъ не говорилъ о нихъ, какъ будто бользненный бредъ, мучившій его ижсколько лють, окончательно не остался въ его обновленной памяти.

Мало по малу ему дозволено было чтеніе, по съ тёмъ условіемъ, чтобы читать вслухъ, вмѣстѣ съ сестрой и Бармитиновой, которая чаще всего навѣщала семейство Канадѣевыхъ. Тавимъ образомъ у Канадѣевыхъ начались чтенія. Чтеномъ были или Марина или Бармитинова. Послѣ чтенія начинались толки, споры, сужденія о прочитанномъ. Канадѣевъ всегда поражалъ свое маленькое общество неожиданностью и рѣзкостью своихъ приговоровъ. Иногда во время чтенія онъ задумывался, «отсутствовалъ», какъ шутя говорила ему сестра и грозила пальцемъ.

- Ты гдъ, Митя? спрашивала его иногда Марина неожиданно. Дмитрій не всегда находилъ отвътъ на такой вопросъ.
- Ты куда сейчасъ уходилъ? спрашивала она снова.
- Я инжуда не уходилъ, я здёсь былъ, отвёчалъ Динтрій, приходя въ себя.
- Нѣтъ, ты леталъ куда-то... Ну, говори, гдѣ былъ, что видѣлъ?

Дмитрій улыбался и ничего не отвѣчалъ. Иногда опъ сознавался въ своихъ духовныхъ alibi:

- Я былъ въ Петербургъ... въ публичной библіотекъ, говорилъ онъ, встряхивая головой, какъ бы сгоняя со лба пеотвязную муху.
 - То-то, гадкій!.. А что дёлалъ тамъ?
 - Слушалъ, какъ кашляетъ блёдный юноша надъ грудою кингъ.

II Марина и Бармитинова съ боязнью переглядывались. — Они догадывались, о какомъ блёдномъ юношё говорилъ опъ.

Тогда его самаго заставляли читать вслухъ, чтобъ онъ не имълъ возможности «крылатою мыслью міръ облетать». Дмитрій покорялся и читалъ усердно.

Такъ какъ это было зимой, то Марина и Бармитинова нередко приглашали Дмитрія кататься съ ними или на салазкахъ съ волжскаго берега, или на конькахъ. Движеніе на воздухё укрёпляло больнаго; но часто, глядя, какъ сестра его скользила по льду на желёзныхъ полозкахъ своихъ хорошенькихъ коньковъ, онъ задумывался и лице его принимало опасное выраженіе.

- Митька, гадкій! ты опять убѣжалъ отъ насъ? спроситъ бывало сестра.
- Дмитрій Константиновичъ! поддержите меня, помогите подняться на гору, скажетъ бывало Бармитинова.

Дмитрій вздрагивалъ и оглядывался по сторонамъ.

- Ты гдъ былъ? признавайся, пристаетъ сестра. Дмитрій молчитъ.
- Говори, гдъ былъ?
- Смотрёлъ, какъ тотъ преступникъ, въ бёломъ мёшкё, катается по воздуху безъ коньковъ.

И Бармитинова и Марина опять догадывались о комъ онъ говоритъ, и имъ становилось страшно.

Но эти опасные симптомы рѣже и рѣже повторялись съ больнымъ, такъ что черезъ иѣсколько мѣсяцевъ по возвращеніи въ Варгуны онъ казался совершенно здоровымъ.

Однажды, во время чтенія, ему подали письмо, которое получено было въ Варгунахъ съ послѣднею петербургскою почтою. Дмитрій быстро вскрылъ письмо и жадно пробѣжалъ его глазами. И Бармитинова и Марина, которыя слѣдили за нимъ, замѣтили, что онъ сильно измѣнился въ лицѣ при чтеніи письма, и когда клалъ его потомъ въ карманъ, руки его сильно дрожали. Имъ овладѣло сильное волненіе, котораго онъ не могъ скрыть: то вставалъ и какъ бы порывался ходить по комнатѣ, но тотчасъ же вновь садился, то подходилъ къ окну и разсѣянно глядѣлъ на разстилавшуюся подъ окномъ бѣлую поверхность Волги, покрытой льдомъ и снѣгомъ. Зеленые глаза его стали какъ-то свѣтлѣе и прозрачнѣе, хотя смотрѣли нѣсколько сердито, а бѣлый лобъ оттѣнился какою-то особенною мыслью, которая вызывала рѣшимость, требовала исполненія.

- Откуда письмо, Митя? спросила Марина, которая знала, что братъ не имѣлъ отъ нея тайнъ.
- Изъ Петербурга, отвъчалъ онъ, останавливаясь передъ Бармитиновой и задумчиво глядя ей въ лице.
- Вы что на меня такъ смотрите? спросила Бармитинова съ улыбкой.

Дмитрій немного подумаль и отвічаль: «Я вижу вась вь первый разь».

Бармитинова не знала какъ понять его слова, и смутилась. Марина съ боязнью подошла къ брату и положила ему на плечо свою маленькую ручку.

- A меня который разъ видинь? спросила она, зная, что шуткой своей она иногда развлекала больнаго.
- Тебя знаю съ дѣтства, отвѣчалъ онъ, и снова посмотрѣлъ на Бармитинову.
- Ужъ не касается ли меня это письмо, которое вы получили?
 спросила последняя.
 - Да, оно, касается... и васъ, отвъчалъ Дмитрій.
- Кто же бы могъ писать обо миѣ изъ Петербурга? сказала она въ раздумы и стала припоминать всѣхъ, кто могъ ею интересоваться.— Не знаю, прибавила она задумчиво.

Дмитрій молчалъ. Волиенье не оставляло его. По лицу Бармитиновой между тъмъ успъли пройдти и тъни и свътъ, и глубокіе глаза ся отразили какую-то тревогу, охватившую ея душу.

- Вы знакомы съ Стожаровымъ? спросила опа, не глядя на Дмитрія.
- Нѣтъ, отвѣчалъ опъ. Впрочемъ, я много объ пемъ слышалъ и много объ пемъ знаю.

Бармитинова опять задумалась.

- Митя! я вижу, ты начинаешь имъть отъ меня тайны, сказала наконецъ Марина, надувая губки.
 - Какія тайны?
 - А письмо?

Дмитрій вынуль инсьмо изъ кармана и, отдавая его сестрѣ, сказалъ: — читай.

- Нътъ, Митя, мит совъстно, возразила Марина, не ръшалсь заглянуть въ чужое письмо: тутъ есть что-то такое, что взволновало тебя.
- Можетъ быть и тебя взволиуетъ, отвъчалъ Дмитрій.
 - А Варю? спросила сестра.
 - Варвару Григорьевну не взволнуетъ.

Марина рѣшилась заглянуть въ письмо. Она пробѣжала его глазами, взглянула на подпись, потомъ снова стала читать, причемъ лице ея вспыхивало...

- Кто онъ такой? спросила она.
- Блёдный юноша, отвёчаль Дмитрій.

Марина съ испугомъ посмотръла на брата, потомъ на Бармитинову.

Господи! они опять что-то затъваютъ! вскричала она въ отчаньи.

Дмитрій молча пожалъ плечами и снова сталъ ходить по комнатъ.

- Варъ можно прочесть? спросила Марина.
- Читай вслухъ, отвъчалъ братъ. Я увъренъ, Варвара Григорьевна не скажетъ, что мы «что-то затъваемъ».

Марина стала читать.

«Карамановъ правъ былъ, когда говорилъ, что я брошу и публичную библіотеку, и мой магистерскій экзаменъ, и мою дисертацію, лишь только меня обвъетъ вътромъ нашихъ широкихъ полей да обхватитъ дымомъ курныхъ избъ, да когда я самъ, извъдавъ нужду, извъдаю всю глубину нуждъ народныхъ. Нынъшнимъ лътомъ я побывалъ тамъ у васъ, въ сердцевинъ Россіи: меня обвъяло русскимъ вътромъ, отъ меня отвъяло эту затхлую, разъйдающую мозгъ столичную атмосферу, и я извъдалъ и дымную копоть курпыхъ избъ и глубину нуждъ народныхъ.

«Я бросаю груды исписанных мною здъсь бумагь, бросаю Петербургь, бросаю и мою дорогую публичную библютеку, въ которой такъ много работалось и много думалось, въ которой я и съ вами познакомился. Я иду туда, къ вамъ—служить не здъщнимъ узкимъ, браминскимъ интересамъ, а великимъ интересамъ народа.

«Я много пережил» послъ вашего отъбада изъ Петербурга. Подъ вліяніемъ Караманова и Стожарова, какъ между молотомъ и наковальней, и выковался совершенно въ другаго человъка, и не стыжусь признаться въ этомъ вліяніи. Этотъ молотъ и эта наковальня разбили мои лучшія, дорогія върованія, за то, какъ изъ кремня огонь, вызвали изъ меня другія върованья, болье дорогія, болье свътлыя.

«Какъ передъ пришествіемъ Христа ветхій міръ жаждалъ обновленія нравственныхъ законовъ, такъ опъ теперь жаждетъ обновленія законовъ экономическихъ, гражданскихъ. Слишкомъ тяжело стаповится жить людямъ. Въ воздухъ накопилось слишкомъ много электричества, и для того, чтобы не разразилась беземысленная гроза надъ головами инчего невъдающаго большинства, какъ гроза разражается, съ ливнемъ и градомъ, надъ крестьянскими полями и выбиваетъ до тла скудное крестьянское добро, — падо отводить грозу проводниками, и мы хотимъ быть проводниками наконившагося электричества.

«Развѣ вы не видите, что вездѣ повторяется исторія Рима передъ его паденіемъ? Эти по видимому безпричинныя самоубійства, почти безпрестанно повторяющіяся, особенно между молодежью, неслыханныя преступленія во всѣхъ сферахъ общества, разладъ въ сословіяхъ, въ семьѣ, въ литературѣ—развѣ вы не видите, что всё расменлось, все разшаталось, подгиило. Это тоже новтореніе Рима и его оргій: люди отравляютъ себя на пирахъ, убиваютъ себя въ веннахъ, душатъ и рѣжутъ другъ друга.

«У насъ развъ почти не тоже? Литература гоняется за типами, за идеалами, а ихъ иътъ. Ищутъ «новыхъ людей» — и находятъ самозванцевъ, которые сами называютъ себя «новыми людьми», но ихъ общество не признаетъ за искомыхъ «людей». Идетъ одно обличеніе идіотовъ и негодяевъ да неумѣлыхъ людей: Литенновы, Потугины, Раскольниковы, Райскіе да Маркушки Волоховы — все это не то, чего намъ нужно, не то, что у насъ есть. Развъ можно удовлетвориться туманными Загайными у Марка Вовчка, Загайными, которыхъ авторъ намъ не показываетъ, а показываетъ только ихъ комнату да сапоги? Развъ Маркинсонъ, Оглобинъ да Теленьевъ Гирса! А что опи сдълаютъ и чему они служатъ?

«Иѣтъ, литература не дастъ намъ живыхъ хорошихъ людей, не дастъ и идеаловъ для подражанія. Даже Рахметовы теперъ устаръли. Современиъ всъхъ Оглобниъ у Гирса, да онъ слишкомъ уже вросъ въ почву и не поможетъ росту народа, прозябающаго на этой почвъ.

«А мы хотимъ помочь ему расти, и сами будемъ расти съ инмъ, сплетаясь кориями и вътвями и давая общіе плоды. Мы идемъ въ пародъ, въ курныя избы, и будемъ тамъ жить, будемъ тамъ пахать и съять—не современныя идеи, а просто рожь, ячмень и ишеницу, а послъ ужъ и идеи, если достаточно удобримъ почву, унавозимъ ес».

При последнихъ словахъ Марина улыбнулась.

- Ты что? спросилъ ее братъ.
- Такъ... Развъ современныя идеи навозъ? отвъчала она.
- Навозъ, серьезно сказалъ братъ;—за то навозъ помогаетъ росту и питанію... Мы считаемъ за честь называть себя скромнымъ именемъ навоза для будущихъ съятелей... Впрочемъ, читай дальше.

«Мы идемъ въ народъ не съ прокламаціями, какъ дѣлали наши юные и неопытные предшественники въ шестидесятыхъ годахъ (продолжала читать Марина). Мы идемъ не бунты затѣвать, не волновать народъ и не учить его, а учиться у него терпѣнію, молотьбѣ и косьбѣ. То были дѣти, а мы уже не дѣти: мы не вѣримъ ни въ благотворность французскихъ и испанскихъ революцій, ни въ благодѣтельность удобренія земли человѣческой кровью. Исторія научила пасъ не вѣрить этимъ пустякамъ, какъ вѣрили наши предшественники. Мы просто идемъ слиться съ народомъ: мы бросаемъ себя въ землю какъ бросаютъ зерно, чтобъ зерно это взошло и уродило отъ самъ-пятъ до самъ-сто, какъ египетская пшеница.

«Мы бросаемъ города... Я бросилъ даже дорогую мит публичную библіотеку—и идемъ жить въ деревни, «въ глушь», хуже чтиъ «въ Саратовъ». Точно такимъ образомъ нъкогда пошли въ народъ рыбари и бондари (любимое выраженіе Караманова) и вотъ тысячу восемь сотъ шестьдесятъ девять лътъ ведутъ его за собою во имя того, во имя чего они сами шли. Точно такъ же пойдетъ народъ и за нами во ния того, во имя чего мы идемъ къ нему въ курныя избы.

«Мы бросаемь даже книги, литературу, политику, женскій вопросъ... Пусть занимается этимъ кто хочеть; кто *пе способено* идти съ нами—тому и книги въ руки. Все это своего рода чиновники и ремесленники: подмастерья и мастера книжнаго, литературнаго цеха. Эти подмастерья, какъ александрійскіе учепые, забывають народъ, хоть и говорять о немъ жалкія слова и плачутъ о немъ издали изъ Петербурга да изъ разныхъ редакцій, отъ чего народу не легче.

«Наст литература не знаеть, оттого и не изображала еще насъ въ своихъ романахъ и повъстяхъ, не искажала нашихъ словъ, нашихъ намъреній. Но скоро и насъ она узнаетъ, если только не будетъ продолжать изучать насъ изъ Петербурга.

«Оставляя Петербургъ, я не жалѣю о немъ, а напротивъ горжусь этимъ, горжусь моею побѣдою надъ собой. Англійскіе мясіонеры современной цивилизаціи не жалѣютъ даже покидать великолѣнный Лондоиъ, чтобъ идти къ кафрамъ, готентотамъ и дикимъ нидійцамъ, и потому успѣли покорить Англіи половину земнаго шара. Такъ намъ ли жалѣть о Петербургѣ и теряемомъ нами наслажденіи слышать Патти и Луку? За то мы услышимъ Лукерью да Карпа, а это побольше Лукки и Патти.

«Мить Карамановъ писалъ, что они съ Стожаровымъ уже начали наше дъло. А вы ито сдълали, дорогой мой Дмитрій новолжскій? (какъ я привыкъ васъ называть).

«Свой адресъ я вамъ сообщу, когда найду мого ниву, на которую я долженъ лечь навозомъ. — До свиданія. »

Марина остановилась.

- A что значитъ, Митя, два II.? спросила она.
- Въроятно, post scriptum, отвъчалъ братъ. Марина задумалась.
- Гмъ... все по новому, сказала она: по русски... Ужъ какіе!.. Въ post scriptum было сказано: «А у васъ тамъ, говорятъ, есть уже и женщины-люди... Давно пора!»

Глаза Марины сверкнули.

— Женщины-*люди*!... Какъ это мило... Точно мы не люди, а звъри, сказала она и отвернулась. Потомъ, обратившись къ Бармитиновой, она съ ласковой улыбкой прибавила: это вотъ она — люди... Я теперъ тебя, Варя, буду всегда называть людьми.»

H опа бросилась цъловать Бармитинову. Диптрій молчалъ и поглядывалъ то на Бармитинову, то въ окно на сиѣжиую Волгу.

- Ужъ вижу, что затёваете что-то, сказала вдругъ Марина, подходя къ брату, и, положивъ руки къ нему на плечи, ласково глядёла въ его зеленые, задумчивые глаза.— Смотри, Митюкъ, я мамѣ скажу.
- Что-жъ, говори, это ни чему не поможетъ, отвъчалъ Дмитрій задумчиво. — Я увъренъ, напротивъ, что и ты скоро сдълаешься человъкомъ.
 - То-есть «людьми», какъ иншетъ твой другъ? сказала Мари-

на шутливо. — Что-жъ, ты думаешь, я пойду въ артель или въ комуну?

- Ивть, это старо, да и не ведеть ни къ чему.... Комуна и артель это переходныя формы общественнаго строя, какъ убъжище для бъдняка или какъ биржа для поденьщика. Мы уже переживаемъ форму комуны и артели: мы хотимъ идти дальше.
- Куда же миѣ идти, Митя? спросила Марина съ любопытствомъ.
 - Туда куда я пойду, отвъчалъ братъ.
 - Такъ и мнъ быть навозомъ? сказала она смъясь.
 - Да, навозомъ.

Почти все это время Бармитинова молчала. Она внимательно слушала чтеніе письма и глядѣла на Марину. Только при нѣкоторыхъ фразахъ письма брови ея нѣсколько сдвигались, а когда письмо упомянуло о Карамановѣ и Стожаровѣ, руки ея, положенныя на колѣни, крѣпко сжали одна другую. Губы ея едва замѣтно дрогнули, когда Марина прочитала: «А у васъ, говорятъ, есть уже и женщины—люди».

- Да, Мариночка, слово навозъ—некрасивое слово, но рано-ли, поздно-ли этотъ навозъ сдѣлаетъ свое дѣло, сказала она при послѣднихъ словахъ Дмитрія. Карамановыхъ и Стожаровыхъ еще очень мало, но уже хорошо то, что они есть. Надо только, чтобъ имъ помотала женщина, а къ несчастью женщина до сихъ поръ только портила и разрушала то, что создавалъ мужчина.
- Ахъ, Варя! да я согласна съ тобой, только что жъ мит дълать, чтобы быть человткомъ или навозомъ, какъ вотъ Митя называетъ? спросила она съ какимъ-то дътскимъ отчаяньемъ въ голосъ.
- Не быть только похожей на прежнихъ женщинъ и... работать на другихъ, отвъчала Бармитинова.

Между тъмъ и та и другая не могли не замътить, что Дмитрій приходиль все въ большее и большее волненіе. Онъ бралъ письмо, пробъгалъ его глазами и по нъскольку разъ бормоталъ отдъльныя оразы. «Рахметовы устаръли... Да и гдъ онъ? Что онъ сдълалъ для Россіи?.. Отдалъ свои деньги на какое-то заграничное изданіе, точно пе могъ найдти имъ лучшаго мъста...

«Отдалъ бы своимъ мужикамъ, а то нътъ, увезъ заграницу...

Помъщикъ!.. Гдё же люди?.. Потугииъ? Э! какой онъ человъкъ! Поклоняется своей Иринъ да западной цивилизаціп, а налецъ объ налецъ пе ударитъ... Такихъ намъ не надо... не надо и Райскихъ: они весь въкъ гоняются за юпками... Такихъ бы молодцовъ въ рабочій домъ сажать вмъстъ съ Маркушками Волоховыми... Развъ Оглобинъ? Да онъ самъ сознается, что ни къ чему не способенъ... Нътъ, это лучшій человъкъ... А въдь какъ посмотришь кругомъ, тошно станетъ: всъ пошли въ чиновинки—гласные, мировые судьи, литераторы, ученые, учителя... все это чиновинки, а не люди.... Одинъ Оглобинъ»...

Опъ остаповился, замътивъ, что и Марина и Бармитинова смотритъ на него 'съ удивленіемъ.

- Ты что бормочешь, Митя? спросила Марина, боясь возбужденности брата.
- Не я бормочу, а бормочеть русская литература, отвѣчаль опь порывисто, останавливая на сестрѣ свои зеленые глаза. Она говорить безсвязными намеками, полуфразами да экивоками. Ея обязанность—учить русскую молодежь, сказать ей что она должиа дѣлать, указать ей ея дорогу. А наша литература только рисуетъ негодныхъ людей да обличаетъ... Мы сами знаемъ, что у насъ мпого гадкаго, а для разоблаченія этого гадкаго есть особая печать—газета. А наша белетристика должиа учить насъ не насъ, положимъ, потому что мы сами кое-что знаемъ, а тѣхъ, которые ощупью ищутъ своей дороги—и не находятъ ее. Художество художествомъ, а дѣло дѣломъ...
- Ваши слова отзываются стариной нигилизмомъ, замѣтила Бармитинова.
- Не стариной, не пигилизмовъ... Нигилизмъ, какъ и романтизмъ, какъ и крѣпостинчество въ Россіи заносятся уже архивной пылью, горячо возразилъ на это замѣчаніе Дмитрій, приближаясь къ Бармитиновой. Я говорю вотъ о чемъ: молодость любитъ подражать, и безъ подражанья молодость пемыслима... Хоть она и бунтуетъ иногда противъ офиціальнаго профессора и учителя, противъ начальства и опеки, но у нея всегда есть тайный предметъ культа, тайный профессоръ, тайный правственный начальникъ, которому она слѣпо вѣритъ и которому подражаетъ... Въ свое время Печоринъ

былъ срисованъ съ живаго лица, если не съ одного, то въ немъ были представлены черты ходячихъ личностей. Послѣ Печорина студенты и офицеры стали подражать Печорину—это факты, грустиме, правда, но факты... Лопуховъ, Кирсановъ и Рахметовъ были тоже рефракторами, если не живыхъ лицъ, то ходячихъ идей шестидесятыхъ годовъ—и Лопуховы, Кирсановы и Рахметовы нашли подражателей, какъ нашла подражательницъ и Вѣра Павловна... Я эти лица знаю, видѣлъ ихъ, жилъ съ ними...

- Одну изъ нихъ вы теперь видите, вставила свое слово Бармитинова.
 - Кто это, Варя? съ любопытствомъ спросила Марина.
 - Я, отвъчала та.
- И я немножко, Варя—и Марина закрыла руками лице, которое вспыхнуло.
 - Да? спросилъ Дмитрій, обращаясь къ Бармитиновой.
- Да... Но это было давно—въ дни моей юности... Теперь я переросла Въру Павловну.
- A Базарову развѣ не подражали? продолжалъ Дмитрій.—Развѣ не продолжаютъ подражать втайиѣ?
 - Гимназисты только да кадеты, замътила Бармитинова.
- А это развѣ мало! возразилъ горячо Дмитрій. А кому теперь они подражаютъ и кому имъ подражать? Вѣдь прежніе образцы устарѣли для нихъ... Мы все-таки подвинулись впередъ, выросли. Впрочемъ, намъ не нужно образцовъ мы уже выросли изъ стараго платья Рахметовыхъ, Базаровыхъ и tutti quanti. А они-то, подрастающіе, нуждаются въ образцахъ, какъ институтки въ обожателяхъ. Имъ нужна путеводная звѣзда, которой бы они поклонялись втайнѣ, потому что молодость болѣе всего любитъ поклоняться тайнымъ кумирамъ, хотя и сбрасываетъ съ пъедестала явныхъ, всѣми признанныхъ... Молодости нужно вздыхать по комъ-нибудь, по Бѣлинскомъ-ли, по Добролюбовѣ или по Писаревѣ. Но этихъ уже нѣтъ— и она, растительная, вегетальная молодость ищетъ ихъ въ литературѣ, если не находитъ въ жизни. А какіе образцы даетъ имъ современная литература! Гдѣ въ ней идеалы?

Онъ остановился, какъ будто припоминая что-то. Руки его, продолжавшия держать инсьмо, дрожали.

— Не въ романахъ же Гончарова, въ самомъ дълъ, не у Авдъева же и не у Тургенева? Что-жъ, размазия Камышлинцевъ развъ можетъ быть идеаломъ? Да встхъ ихъ возьмите — все это узенькія лица съ узенькимъ міровозрѣніемъ, людишки, надѣвающіе сапоги не по ногамъ и шляпу не по головъ... У любаго нынёшняго гимназиста изъ Ларинской гимназіи и задатки прочиве, и шире міровозрвніе, и цели глубже, действія устойчивее... Ведь не все же литература должна выводить на свътъ божій уродовъ, капитановъ Копейкиныхъ да сластолюбивыхъ Райскихъ-мы и безъ того знаемъ, что у насъ въ Россіи есть уроды и знаемъ, какіе это уроды и гдн они водятся. Не все же держаться за «Шинель» Гоголя да хохотать надъ идіотами, выказывать забденныхъ средою, клеймить раскольниковъ — на это есть полиція да мировые судьи да острогъ. Зачёмъ же изъ литературы острогъ-то дёлать да камеру мироваго судьи? Для такой литературы годятся и чиновники да иолицейские служители. А вы дайте намъ другихъ людей...

Дмитрій приступаль съ своимъ требованіемъ къ Бармитиновой, какъ будто отъ нея зависёло дать этихъ людей.

- Да гдъ-жъ Варя возьметъ ихъ, Митя? замътила Марипа смъясь.
- А если ихъ нътъ? задумчиво спросила Бармитинова.
- Нътъ, есть... Я вамъ укажу на нихъ... Только они не рисуются, не бросаются въ глаза... Одного изъ нихъ вы знаете...

Бармитинова скользнула какимъ-то холодиымъ взглядомъ по лицу Дмитрія, и встала.

- Литература— не выдумщица, сказала она спокойно: она должна передавать вещи и людей какъ они есть... Зачъмъ намъ идеалы? Намъ нужны живые люди—не герои въ мантіяхъ, а простые люди въ пальто и сапогахъ.
- Э! старая пъсия, которую пълъ еще покойный «Современникъ...» Это давно было... А между тъмъ самъ же Чернышевскій рисовалъ «новыхъ людей» и даже болье «людей будущаго...» У насъ есть живые идеалы, и они не въ мантіяхъ ходятъ и не въ сандаліяхъ, а просто въ сапогахъ, ходятъ между нами и задъваютъ насъ своимъ илечомъ, на мозоль намъ наступаютъ.
- А если есть, то литература дурио дёлаеть, что не показываеть ихъ намъ, замѣтила Бармитинова.

— Дурно! Въ томъ-то и горе ея, что лучше-то она не умѣетъ? продолжалъ Дмитрій. — Всѣ романисты — художники, а художники всегда были... плохими мыслителями и мало учились... Имъ удается всегда только схватить наружность человѣка, его костюмъ, сго привычки, а что думаетъ этотъ человѣкъ, особенно если онъ видитъ дальше и глубже художника, да думаетъ о томъ, о чемъ художнику и во снѣ не снилось — это уже не по плечу художникамъ и этого они не передадутъ. Да настоящихъ-то людей художники и не поймутъ — это не про пихъ писано, это выше ихъ разумѣнія... Да что и толковать! Настоящіе то люди и говорить не станутъ съ художникамп: какъ молодежь удаляется отъ стариковъ, такъ и настоящій человѣкъ не легко выскажется передъ тѣмъ, кто не его поля ягода, въ комъ онъ подозрѣваетъ рутинную закорувлость.

Дмитрій волновался все болье и болье. Бользненная возбужденность проявлялась въ каждомъ словь, въ каждомъ движеніи. Марина начинала съ безпокойствомъ наблюдать за нимъ.

- Кто же долженъ изображать такихъ людей? спросила Бармитинова.
- Тотъ кто ихъ знаетъ, передъ къмъ они не скрываются... Только мыслитель можетъ намъ дать пдеалъ человъка и дъятеля.
- Такъ не Стюарту ли Миллю прикажете быть романистомъ, возразила Бармитинова.
- Отчего-жъ и не такъ... Порядочные люди скоръй бы пошли за идеалами Милля, чъмъ за идеалами Дюма.
- Въ такомъ случав, по вашему мнѣнію, всёмъ великимъ философамъ, историкамъ, натуралистамъ и экономистамъ слѣдовало бы подвлаться романистами.
- Конечно, лучше имз быть романистами, чёмъ такими, которые ничему не учились... Да вотъ вамъ примъръ: Чернышевскій былъ далеко не художникъ... Филологія, философія, политическая экономія, критика, общественные вопросы вотъ надъ чёмъ онъ работалъ, вы это знаете. А между тёмъ его единственный романъ, который опъ успълъ написать, возбудивъ бурю негодованія художниковъ, потащилъ за собою все тогдашисе молодое поколёніе, потому что въ этомъ романъ были не только «новые люди», какъ онъ ихъ называлъ, по и «люди будущаго», идеалы... Только хорошій

критикъ и ученый можетъ быть хорошимъ романистомъ. Пиши романы Бълинскій, Добролюбовъ, Писаревъ, пусть будутъ романистами всѣ свѣтила науки...

— Ахъ, Митя, какой ты! возразила Марина, взявъ его за руки; — да не разорваться же свътиламъ науки — пини и романы, и ученыя статьи... Да не увлекайся ты, Митенька! вонъ у тебя какія горячія руки... А какая голова-то горячая (она приложила свою руку къ его головъ) — у тебя жаръ... Ты напугаешь маму.

Бармитинова поияла, что въ такомъ возбужденномъ состояніи разговоръ можетъ быть опасекъ для Дмитрія. По его словамъ она видѣла, что онъ начинаетъ забываться, что высказываемыя имъ сужденія слишкомъ крайни для здороваго человѣка.

- Жаръ! жаръ! говорилъ опъ какъ бы въ забытыи; пусть лучше горитъ мозгъ, чъмъ замерзаетъ, какъ опъ замерзъ у большииства... Я отправляюсь къ нимъ, я хочу съ ними работать.
 - Съ къмъ, Митя? спросила Марина.
 - Съ Карамановымъ, съ Стожаровымъ...
 - Нътъ, я не пущу тебя...

Онъ рванулся, какъ бы его въ самомъ дёлё удерживали.

- Куда ты, Митя?
- Мит душно здёсь, жарко... Я хочу освёжиться.
- Будьте осторожиће, говорпла Бармитинова, подходя къ нему: вы простудитесь.
- Я слышу шумъ въ головъ... Это... птица шумитъ своими крыльями... Это опа, я слышу, я скоро... увижу ее, говорилъ опъ, глядя кругомъ какими-то растерянными глазами.

И Марина и Бармитинова съ ужасомъ глядёли на него. Ни та, ни другая не успёли опомниться, какъ онъ исчезъ изъ комнаты.

Гдв онъ былъ, что двлалъ—никто этого не могъ узнать. Только опъ пропадалъ пъсколько часовъ. Перепуганная Марина просила отца послать розыскивать его, но поиски остались тщетными. Думали, что онъ ушелъ въ стень или перебрался за Волгу. Боллись даже, что въ болвзиенномъ принадкв онъ бросплся въ прорубь или ушелъ искать Караманова и Стожарова. Но ноздно вечеромъ онъ воротился и на всв вопросы отвъчалъ какъ то странио, загадочно. Въ эту же ночь онъ слегъ и черезъ нъсколько недъль былъ уже въ томъ без-

надежномъ состояни, въ которомъ мы его видъли въ полуосвъщенной компатъ.

XXVII.

Наконецъ прошла и зима, въ продолжение которой на Тарлыкъ, въ бъдной избушкъ, занесепной сиъгомъ, не смъли даже упоминать имени пропавшаго безъ въсти Матвъя Таволгина, съ которымъ мы въ послъдний разъ встрътились на пароходъ, когда онъ вытаскивалъ изъ Волги утонувшаго Кузю Ногина, «земскаго ученика».

Въ концѣ великаго поста въ тарлыцкую избушку забрела Макридастранница, которая, по ея собственному выраженію, трепала грѣхи свои, аки посконь, по святой и грѣшной землѣ, ступаючи въ слѣдъ ступни отъ ноги праведника и грѣшника, то есть таскалась по городамъ, селамъ и скитамъ раскольничьимъ, лебезила передъ свѣтильниками горящими и огарками дымящими вѣры правой, то есть передъ милостивцами духовными и мірянами, и подъ конецъ зимы опять пробралась въ Поволжье, на Иргизы и на Тарлыкъ.

Только при ней Мавра осмѣлилась заговорить о своемъ пропавшемъ сыпѣ, но получила неутѣшительныя вѣсти.

- Не видала ли ты, матушка, на вольномъ свъту моего Мотеньку, не проносилъ ли полемъ, лъсомъ, дорогою широкою воронъ костей его бълыхъ? спрашивала она Макриду.
- Воронъ утрось принесъ его гръшную кость нодъ окно, такъ я собакъ отдала, проворчала старуха бабушка, которая начинала заговариваться отъ старости.
- Охъ, матушка! зачъмъ ты мит не отдала его косточки? говорила мать, тяжело вздыхая.

А Макрида, звеня своимъ желъзнымъ поясомъ, говорила:

- Видала я, Маврынька-матушка, его тёло бёлое, грёшное, а костей его у ворона въ черномъ клювё не видывала.
 - Гдъ же ты видала его, свитая душа? спрашивала Мавра.
- Видала я, какъ онъ ступалъ во слёдъ ступни отъ грѣшней ноги, отвѣчала Макрида многозначительно.

- А живъ ли опъ, горемычный мой? говорила мать.
- Живъ былъ... Тъло его яствіями и питіями проклажалось, а душа его черная аки галица, въ костяхъ у коршуна треныхалася.
- Какъ я голубя разорвала, такъ его душу коршунъ когтями рветъ, прибавила какъ бы про себя слъпая старуха.
- Видала я его, мать моя, Мотьку-то, въ видении страниномъ... Вдимъ мы это на пароходъ, на кораблъ бъсовскомъ: бъсы-то черные по палубъ, аки пасажиры, похаживають, людей блазиять, а аньделы-то свътлые, аки голуби распуганные, за пароходомъ летятъ, състь на него не смъють, потому бъсы на палубъ. И хожу я промежъ бъсами, аки овца промежъ волками, и бъсы меня не трогаютъ... И вижу я, мать моя, младенецъ въ Волгу уналъ-словно камень ко дну пошель: Ногина-то старика внучекъ въ воду уналъ. II увидали это аньделы, что за пароходомъ-то летъли, какъ увидали, жаль стало души младенческой, и замахали они крылышками своими бълыми, и спустились къ Волгъ - душу человъческую, значитъ, спасать. Бъсы-то, что на палубъ ходили, и взътлись на это: рады они были, что младенецъ въ воду упалъ. Откуда ни возъмись, мать моя, Мотька твой промежь бёсами похаживаеть какъ свой человъкъ да на Волгу поглядываетъ... Бъсы его возьми да и спихнули въ Волгу... бултыхъ!...

Изъ груди матери вырвался врикъ ужаса. Она, какъ безумная, схватила Макриду за руку и безсмысленио глядёла на нее.

- Утонулъ, пробормотала слъпая старуха, —и костей иътъ.
- Говори!... Утонулъ? утопулъ? кричала Мавра, не вынуская изъ рукъ своихъ руку Макриды.
- Раки глаза выёли, раки кости гложуть, клешиями сердце рвуть, какъ я голубя разорвала, бормотала слёпая.
 - Говори же... Я умру! кричала Мавра.

Макрида освободила свою жириую руку изъ рукъ Мавры и, закатывая свои заплывшіе жиромъ глазки, вздохнула изъ глубины перепоясаннаго желѣзнымъ обручемъ желудка.

— Вода его не приняла, а можетъ Богъ услышалъ мою гръшпую молитву, сказала Макрида. — Какъ бъсы-то спихнули твоего Мотьку въ воду и стали илескатъ радостно руками, восклицая гласомъ веліимъ: «памъ упалъ! намъ упалъ!» — возвела я духовныя очи мои горъ и помолилась о спасеніи Мотьки. И бысть чудо: откуда ни возьмись баринъ какой-то подбъжаль ко мит гръшной, сняль шапку, а голова-то у него словно точеная,—и говоритъ мит: «помолись обо мит, раба божія»—и съ тъмъ словомъ бултыхъ въ воду. Я, мать моя, помолилась, а бъсы-то, глядя на меня, зубами скрежещуть, а взять-то меня не смъютъ, потому вереги на мит святыя. Вотъ аньделы-то спустились къ водъ, чтобъ спасти души христіянскія, а бъсы-то за ними. И началась надъ самой-то водой война промежъ бъсовъ и аньделовъ: отъ бъсовъ, какъ отъ собакъ, клочья шерсти летятъ, а отъ аньделовъ бълыя голубиныя перушки. Только аньделы, мать моя, побъдили, и бъсы, поджавъ хвосты, аки псы смердящіе, удалились... Тутъ приспъть и Гриднихи сынъ, Василій, и велълъ лодку спустить на воду... Такъ въ лодку-то и вытащили изъ воды младенца и барина съ точеной-то головой...

- А Мотю? спросила мать, чуть дыша.
- И Мотьку вытащили, отвъчала Макрида.
- Куды-жъ послъ цъвался Мотя? спрашивала Мавра.
- Съ Гридневымъ убхалъ да съ точеной головой... А на меня и попустись единъ бъсъ, за то что за души-то христьянскія молилась. «Я тебъ, говоритъ, глаза исткну!..» Я заградила ему уста—ну, и не исткнулъ.

Вотъ все что могли узпать о Матвът на Тарлыкъ.

Молодой Гридневъ привезъ его съ собой въ Петербургъ, устроилъ его на квартиръ Серпороева и поручилъ его одному учителю, своему бывшему товарищу, съ тъмъ чтобы Матвъл подготовить къ пріемному экзамену въ университетъ. Самъ же Гридневъ уъхалъ за границею для выполненія своихъ комерческихъ плановъ, о которыхъ опъ говорилъ на пароходъ съ Стожаровымъ.

Но вотъ вскрылась и Волга. Варгунинская пристань очистилась отъ льда и зимовавшіе тамъ пароходы опять зашипъли, опять стали раздаваться свистки...

Свистки эти болѣзненно рѣзали одно сердце—сердце Бармитиновой. Она чево то ждала, и это ожиданіе почему-то связывалось съ приходомъ парохода.

А вотъ почему была такая связь между ея сердцемъ и приходомъ въ Варгуны парохода. Въ продолжении зимы она получала частыя, мелко исписанныя письма. Надъ этими письмами и надъ отвътами на шихъ она просиживала неръдко длинные зимніе вечера, и старая Кузьминишна часто заставала ее въ слезахъ, которыя канали на мелко исписанные листки бумаги. Отвъты на эти письма имъли на накетахъ адресъ: «На кологривскую станцію такой-то губернін и увзда, для передачи въ деревню Оболонье, Григорью Борисовичу Стожарову.» Стожарововъ съ каждой почтой сообщалъ своей Варенькъ о положения его дълъ со времени прівзда на родину. Онъ не скрываль отъ нея техъ трудностей, которыя онъ встретиль, когда его соціальныя доктрины изъ теоретическихъ должны были сдёлаться прикладными, когда выработанныя имъ убъжденія должны были столкнуться съ практической жизнью и съ тяжелою артилеріею рутины, предразсудковъ, исторически установившихся формъ, которыя превратились въ цъпи, и съ еще болъе тяжелою артилеріею человъческой глупости. Онъ писалъ, что пока цёли, для которыхъ онъ работалъ почти со школьной скамьи, для которыхъ отворачивался, какъ отъ страшнаго призрака, отъ своего личнаго счастья, не будутъ достигпуты, онъ не протянетъ рукъ къ этому счастью, потому что оно на всю жизнь будетъ отравлено сознаніемъ безсилія его ума, непримѣнимости теорій, для него казавшихся вѣскими, такъ какъ онъ добыль ихъ годами тяжелой работы, «купиль на въсъ своей собственной крови.» Въ послъднихъ его письмахъ было много недосказаннаго, хотя онъ и прибавляль, что его «великій опыть» уже начипается, что съ весной, въроятно, дъло его обозначится окончательно, и тогда «Сизифъ вкатитъ на гору тотъ золотопосный камень, который раздавиль уже столькихъ гигантовъ, а тамъ-Волга, пароходъ и... самая лучшая учительница самаго лучшаго земскаго училища...»

Волга вскрылась ото льда. Уже не первый разъ отзывается въ сердце Вареньки пароходный свистокъ; но тотъ, кого она ждала, не приходилъ: върно Сизифъ еще не вкатилъ на гору своего непосильнаго камия, да и вкатитъ ли когда-пибудь? не раздавитъ ли его этотъ камень, какъ опъ раздавилъ уже многихъ? Варенька перъдко проходитъ около пристани, вглядывается въ пріъзжающихъ пасажировъ, но не впдитъ ни знакомой фигуры широкоплечаго Сизифа, ни его точеной головы.

Вотъ и сегодия она вышла съ Мариной погулять по своей любимой береговой ложбинъ, которая еще такъ недавно была занесена снъгомъ, и на которой еще такъ недавно торчали изъ подъ снъга оголенныя тычинки кустарника. Изъ земли уже начинаетъ выползать первая зелень и тяпуться къ солнцу, какъ будто этотъ жалкій пырей и этотъ тонкостебельный подснъжникъ можетъ дотянуться до солнца. И солнце, и небо, и всъ звуки оживающей природы — все это возбуждало ожиданіе чего-то хорошаго, свътлаго, радостнаго, во всемъ этомъ сказывались зачатки новой жизни. Въ птичьемъ крикъ, въ нестройномъ, разноголосомъ и какомъ-то задорномъ кваканьъ лягушекъ слышалось такъ много мелодіи, что самый строгій музыкальный слухъ не замътиль бы въ этихъ звукахъ природы дисонанса, недостатка художественнаго выраженья жизни.

И Варенька и Марина сидять у корня того дерева, подъ которымъ мы ихъ видѣли въ прошломъ году, хотя вътви этого дерева еще не усиѣли покрыться зеленью. Лице Вареньки кажется еще блѣднѣе, взглядъ сосредоточеннѣе, чѣмъ это было въ прошломъ году. Остриженная коса усиѣла уже подрости, но не завитая и не подобранная подъ какую либо сѣть или прозрачную покрышку, она падаетъ на плечи и шевелится при малѣйшемъ дуновеньи вѣтерка. Лице Марины, въ которомъ еще такъ недавно было много дѣтскаго, какъ бы возмужало къ веснѣ, очертилось какъ-то отчетливѣе, строже, а взглядъ сталъ такимъ кроткимъ и такимъ глубокимъ, какъ будто маленькая Мариночка и не была никогда ребенкомъ.

Въ сторонъ отъ нихъ, ближе къ Волгъ, на съромъ, гладкомъ пригоркъ сидитъ Дмитрій. Лице его носитъ слъды недавней, тяжкой бользии. По временамъ опъ къ чему-то прислушивается и встряхиваетъ головой, какъ бы желая согнатъ со лба докучливую муху или вытряхнуть изъ головы такую же, какъ муха, докучливую мысль. Иногда онъ оглядывается на сидящихъ подъ деревомъ дъвушекъ, и тогда взглядъ его принимаетъ выраженіе нъжное, но такое грустное, какое бываетъ у людей, когда они прощаются съ чъмъ либо близкимъ, дорогимъ, и прощаются надолго.

— Я много думала объ этомъ, Варя, много плакала даже, а все не вижу никакого выхода, говоритъ Марипа, и въ глубокомъ взгля-

дъ ен дъйствительно выражается раздумье, и раздумье скорбное, чего за ней прежде не замъчала Бармитинова.

- Да, выхода ивтъ... Одинъ выходъ... замужъ, отвъчаеть эга послъдиян, и думаетъ о чемъ-то другомъ.
 - И только?
- II только... Полюбишь кого шибудь, выйдешь замужъ... А тамъ любовь мужа, заботы объ немъ и о дътяхъ...
 - А дальше, Варя?
- Дальше нътъ—это все.

Марина молчитъ. Мысль ея не можетъ помириться съ тъмъ что ей предлагаетъ жизнь, и она спова думаетъ, думаетъ... Недаромъ молодое личико ея возмужало, очертилось ръзче и строже...

- II у мамы все было—это мы... Всю жизнь свою она вложила въ насъ, въ заботы о насъ, о нашемъ воспитании. А что вышло? —Вонъ Митя... ты сама все знаешь... Я—тоже.... не похвалюсь счастьемъ... И вотъ всё заботы мамы ин причемъ—ей же горе... А можетъ быть безъ ен заботъ объ насъ и онъ былъ бы не то что теперь, и я не то что я, говоритъ опять Марина.
- Да, можетъ быть и лучше было бы, отвъчаетъ Бармитинова, и свою думаетъ думу.
- Въ чемъ же выразплась жизнь самой мамаши, гдё результаты этой жизни? Что собственно сдёлала она въ свою жизнь и счастлива ли, утёшена ли тёмъ, что сдёлала? Вёдь нётъ, Варя?
 - Кажется, что нётъ.
 - И вотъ потому-то мнъ жаль ес...
- Но въдь это участь всякой женщины, замътила Бармитинова, продолжая думать о чемъ-то своемъ.
- Ахъ, Варя милая! эта-то участь и мучитъ меня, объ нейто в и думаю... Говорятъ, призваніе женщины любовь и дѣти. Какъ это пошло и узко, какъ оскорбительно это! Вѣдь любовь и дѣти есть и у мужчины, но ему этого мало—и онъ правъ. Любовь и дѣти не поглощаютъ его всего, какъ крота поглощаетъ рытье подъ эемлею. У него есть дѣло, есть трудъ... Вдумайся ты, милая, радибога во всякую женскую жизнь...
 - Вдумывалась.
 - II что-жъ?

- Сначала плохенькое пріобрѣтеніе плохенькихъ познаній гдѣ-пибудь въ институтѣ или даромъ въ гимназіи, чтобъ потомъ тотчасъ же забыть этотъ нищенскій запасъ плохенькихъ знаній, такъ какъ въ жизни эти знаньица окажутся непримѣнимыми. Брянчанье на ройялѣ, чтобъ потомъ забыть и это брянчанье. Потомъ выѣзды, съ спеціальной цѣлью понравиться, найдти себѣ содержателя на всю жизнь.
 - Какъ это оскорбительно, Варя!
- Да, оскорбительно... Но оскорбительные всего то, что мать тымь болье считаеть себя неоскорбленною, необиженною за честь своей дочери, а тымь болье почтенною, тымь болье счастливою, чымь болье мужчинь возбуждаются при виды ея дочери, чымь болье такихь, которые желали бы имыть ея дочь... Понимаешь ты всю грубость этихь словь и понятій, Мариночка?
- Понимаю, Варя: мамаша меня предостерегала памеками—и я поняла все.
- Такимъ образомъ, продолжала Бармитинова, когда дѣвушка нашла себѣ содержателя, ее беретъ этотъ содержатель къ себѣ, вмѣстѣ съ приданымъ, если есть, а нѣтъ—одно ее беретъ... Пойдутъ дѣти и—пресловутыя заботы о нихъ, которыя тоже пи къ чему не ведутъ. Замѣняетъ мать кормилицей, нянькой и гувернанткой, дѣти и отъ этого бываютъ не въ проигрышѣ... А тамъ начинается учепье, учителя и опять-таки не мать. Гдѣ же мать? Что она дѣлаетъ? Внушаетъ добрую правственность дѣтямъ? Э! да это дѣлаетъ и воробей, научая своихъ дѣтей воровать чужія зерна.
- Бъдная, бъдная мамаша! Она все-таки не сдълала насъ ни умнъе, ни счастливъе, замътила грустно Марина. Вонъ хоть бы Митя...

А Митя въ это время, какъ бы сговорившись съ сестрой, думалъ о томъ, какъ безплодно прошло его дътство и первая молодость и какъ опъ только къ тридцати годамъ додумался до того, о чемъ долженъ бы былъ знать съ колыбели, по чего не понимали его родители, а потому не научили и его понимать, и какъ, вслъдствіе этого, почти вся жизнь его была разбита.

 Да, скверно становится, когда подумаешь о нашей женской долъ, продолжала Бармитинова.
 Возьми какую угодно женщину, и

увидишь, что жизнь ея или цёликомъ ухлопана безплодно, или на половину, а непремённо ухлопана. Пока молода, она вси живеть въ томъ, чтобъ ее любили, и ничего больше не дълаетъ. Все таки тутъ ел жизнь хоть чёмъ-инбудь наполнена бываетъ, хоть безполезно для человъчества, но все же наполнена. Перешло за двадцать лътъ, и женіцина уже начинаетъ меньше правиться. Она это видитъ, сознаетъ, что въ жизни ел уже есть прорёха, пустота, воторую нечъмъ наполнить, потому что запятій она пикакихъ не имбетъ, кромъ хозяйства и дътей. Но хозяйство скучно, въ него нельзя положить все богатство души и ума; дети тоже не всецело поглощають женщину, какъ бы она ни любила ихъ. И вотъ женщина ищетъ «вывздовъ» (это слово будеть когда инбудь такимъ же историческимъ терминомъ какъ «барщина», «бурдачество», «карчемство», «дезертирство» и проч.), одиниъ словомъ женщина ищетъ чъмъ-иибудь пополнить замівчаемую въ себів пустоту, недостатовъ дівла. Мужъ идетъ на фабрику, въ судъ, въ парламентъ, мужъ работаетъ, а жена - «вывзжаеть», то есть развозить и собираеть сплетии, толкуетъ о шлянкахъ и о гръшкахъ пріятельницъ. За этими занятіями женщина старбеть, описляется, начинаеть на все брюзжать и охать. Лучшія изъ нихъ пщуть занятій-и не находять, потому что ни къ чему не подготовлены, ничего основательно не знають, не хотять посвятить себя труду, однимъ словомъ - не хотятъ и не умъютъ сдълаться человъкомъ.

- Ахъ, Варя, Варя! приходится сознаться, что и тутъ правъ этотъ... Какъ его? что Митъ-то писалъ... Карамановъ, кажется... Кто онъ такой, Варя? спросила Марина.
- Я его не знаю. Но кажется, онъ другъ твоего брата и Стожарова, отвъчала Бармитинова въ какомъ-то раздумьъ.—Стожаровъ писалъ мив объ немъ... Это какое-то чудо, какая-то титапическая личность.

Марина задумалась. Въ послъднее время она вообще спльно измънилась, особенно подъ вліяніемъ убъжденій брата, которыя чъмъ-то разъбдающимъ входили въ ен молодую, воспріничнвую головку и подъ обаяніемъ которыхъ разбивались ен прежнія върованія. Полубезумныя ръчи брата, въ которыхъ проглядывала большею частью горькая, по мнънію Марины, правда, неотразимо дъйствовали на дъвушку, которая жаждала кипучей, дъятельной жизни и ничего пе находила вокругъ себя.

- Митя! Митя! закричала она брату, который продолжалъ сидъть на пригоркъ и поглядывалъ на Волгу.
 - Зачить онъ теби? спросила Бармитинова.
 - Я хочу его спросить о Карамановъ.

Дмитрій, услыхавъ голосъ сестры, обернулся было въ ней, но потомъ опять сталъ смотрѣть на Волгу. Сестра снова позвала его. Въ голосъ ея слышалось и раздраженье и слезы.

Дмитрій ліниво подошель къ дівушкамъ. Марина взяла его за руки и гляділа ему въ глаза своими большими, блестящими глазами.

— Митя брать! говорила она, съ трудомъ сдерживая приливъ какого-то страстнаго чувства, которое пробивалось наружу и въ огиъ ея свътлыхъ глазъ и въ дрожаньи губъ. — Ты всегда говорилъ миъ, что есть какая-то другая жизнь для женщины... Я не могу дольше прозябать здъсь, я не хочу быть похожей на остальныхъ женщинъ, которыхъ вы жалъете и презираете... Я не знаю что сдълаю съ собой, если дальше останусь здъсь... Митя! спаси меня...

И дъвушка, положивъ голову на плечо брата, горько заплакала.

- · Что ты! что ты, Риночка! говорилъ братъ, съ участіемъ поднимая голову ссстры и заглядывая ей въ глаза.
- Спаси меня, Митя!.. Я не хочу быть такой какъ мамаша, какъ бабушка... Онъ несчастныя, жалкія... Мы всъ такія.

Дмитрій улыбнулся и погладилъ шелковистые сестрины волосы, которые растрепались и падали ей на плечи.

- Чего же ты хочешь, Рина? спрашиваль онъ.
- -- Возьми меня съ собой, Митя... Гдъ твой Карамановъ? Ты въдь къ нему отправляешься? Возьми меня, умоляла она брата, сжимая его руки.
- Ахъ ты глупенькая, Риночка, говорилъ братъ, жалостно и съ улыбкой качая головой. Возьми ее!.. Развъ ты вещь, что тебя можно взять? Да и куда я тебя возьму? Зачъмъ?.. Вотъ вы всъ такія женщины всъ привыкли къ рабству, къ рабскимъ выраженіямъ... ну что, еслибъ я сказалъ тебъ: «Рина, возьми меня съ собой?»

Марина раскрыла свои большіе глаза и глядёла на брата съ удивленіемъ.

 Возьми меня, Рына, съ собой, повторилъ Дмитрій, продолжая улыбаться.

Слаза Марины блеспули маленькой молніей. Эта молнія съ лица Дмитрія перенеслась на лице Бармитиновой, которая продолжала глядёть задумчиво на Волгу.

— Такъ я сама уйду куда глаза глядять, сказала она твердо и ръшительно. Если она (Марина поглядъла на Бармитинову) могла это слълать, то и я сдълаю... А сломлюсь, пропаду — не буду жалъть о настоящемъ: лучше сломиться и погибнуть, чъмъ гинть въ бездъйствін.

И Бармитипова и Дмитрій поняли, что это были не фразы, не ребичество: и сердцемъ и разсудкомъ угадали опи, что въ сестръ заговорило тоже чувство, которое брата сдълало мученикомъ его собственныхъ увлеченій — эта страстная отзывчивость на вопросы жизни, которые по менъе глубокимъ и менъе впечатлительнымъ натурамъ скользили поверхностно, не заходя глубже кожи.

Марина стояла блёдная, точно похудёвшая, а глаза ея, недавно плакавшіе, были сухи и холодны, какъ зеленые глаза брата во время его болёзпенныхъ припадковъ. Она дышала тяжело, съ усиліемъ, точно въ груди не лоставало воздуха, а руки ея, упавшія съ плечъ брата, крёпко сжимали одна другую.

 Милая! успокойся, ты вся похолодёла, говорила Бармитинова, приподициансь и силясь разжать ея руки.

Дмитрій молча глядёль въ землю и по временамъ вздрагивалъ.

- Успокойся, я прошу тебя, настанвала Бармитинова.
- Успокойся... А ты успокоилась, когда тотъ, кого ты любила, отвернулся отъ тебя... сказалъ, что ты не стоишь его любви, и до тъхъ поръ не смъешь думать о счастьи, пока не накормишь голодныхъ, пока другихъ не сдълаешь счастливыми?.. Успокойся!.. Ты и теперь не успокоплась, я это вижу, говорила Марина ръзко и отрывисто.
- Куда же ты пойдешь, милая? спрашивала Бармитинова, въ первый разъ со страхомъ замѣчая какое-то, прежде ею незамѣчае-

мое, сходство въ выражени глазъ стоявшихъ передъ нею сестры и брата. Зачъмъ ты уйдешь отсюда?

— Я пойду искать мою Онванду... можеть быть и найду... Ты же сама говорила мив о современномъ подвижничестев, о возстаніи противъ мертвыхъ... Твои слова, какъ и слова брата, состарили меня, и я не хочу ужъ возврата къ безсмысленному двтству...

А братъ все молчалъ и упорно глядълъ въ землю, прислушиваясь къ голосу сестры, который казался ему его собственнымъ голосомъ. «Прорвалось!» шепнулъ онъ: «теперь не остановить потока старыми плотинами... Прорвалось... не сдержали запруды...»

Въ это самое мгновеніе на берегу Волги, за крутымъ яромъ, раздался отчаянный дѣтскій крикъ, а вслѣдъ за нимъ чей то старческій голосъ закричалъ: «Держи! держи его! утопится» — и тутъ же на откосѣ крутаго яра обрисовалась фигура мальчика, который, спрыгнувъ съ яру, бросился бѣжать по берегу Волги и, перепрыгнувъ черезъ узкое устье ложбины, скрылся за пригоркомъ. На окрайнѣ яра, откуда спрыгнулъ мальчикъ, показалась фигура старика, который съ отчаяньемъ протягивалъ руки по тому направленію, гдѣ скрылся бѣглецъ, и съ ужасомъ повторялъ: «Мати Божія! спаси его... вороти»...

И Бармитинова и Канадъевы съ изумленіемъ смотръли на то, что въ нъсколько мгновеній произошло на берегу Волги, но не понимали источника тревоги.

— Да это, кажется, старикъ Ногинъ, сказала наконецъ Бармитинова, пристально вглядываясь въ фигуру растерявшагося старика.— Что съ пимъ? Ужъ опять не надълалъ ли чего-нибудь этотъ безпокойный Кузька.

Старикъ продолжалъ кричать: «Мати Божія! вороти его... держи! держи!» — и бросился съ яра въ ложбину. Изъ за пригорка видиълись только его съдые волосы, не прикрытые шапкой, да отчаянно махающія руки.

— Пойдемте въ нему... старивъ нуждается въ помощи, говорила Бармитинова, взявъ за руку Марину, которая все еще стояла вся взволнованная и блёдная.

Канадъевъ, пересканивая, какъ гончая собака, черезъ водоронны и мелкій кустарникъ, въ нъсколько прыжковъ очутился около ста-

рика. За нимъ подощла и Бармитинова съ Мариной. Старикъ сидълъ на землъ и плакалъ. Ему было трудно подняться, потому что, прыгая съ обрыва, онъ ушибъ себъ погу.

- Что съ вами? Что случилось? спращивала испуганная Варенька.
- Кузька... разбойникъ... пронадетъ, говорилъ старикъ, утирая слезы.
- Да что онъ сдълалъ?
- Ахъ, барышия, барышия! продолжаль старикъ отчаянно; онъ погубить себя, утопится...
 - Да скажите же, пожалуйста, что случилось?
- Да вечоръ, матунка барышия, Кузька-то мой, въ самую почь бъжалъ изъ дому... Никто не зналъ гдъ онъ... Только ныиъ утромъ привели его ко миъ добрые люди... поймали почью на седьмой верстъ отъ села... Въ гимназио, слышь, хочу, ну, и бъжалъ, никому не сказамши...

Марина вся вспыхнула при этихъ словахъ и задвигалась какъ бы ужаленизя.

- А теперь что съ нимъ? спросила Бармитинова съ участіемъ.
- Я его маленько посъкъ... Такъ сталъ словно звъренокъ... Вотъ и вдругоредь бъжалъ... Говоритъ утоплюсь... Помилуй Богъ! долго-ль до гръха...

Старикъ растерянно глядёлъ въ ту сторону, гдё скрылся его внучекъ. Канадёевъ, не говоря на слова, бросился по берегу Волги и издали махалъ кому-то руками.

- Отроду не видываль я такихъ дѣтей, говориль старикъ, съ трудомъ приподнимаясь на ноги. И что съ нимъ-ума не приложу, словно сухота у него по ученью-то этому... все бы учиться ему... Времена ли такія— не вѣдаю я...
- Ничего... не бойтесь за мальчика, утёшала Бармитинова старика: — изъ него будетъ прокъ.
- Охъ, ужъ и не знаю, матушка... не къ добру остеръ, паренекъ-то... Събстъ его эта сухота книжная.

А Марина все волновалась: то подходила къ старику и слушала его, то всходила на пригорокъ и смотръла вдаль... «Такой крош-ка—и столько воли, настойчивости... а потому что мужчина... А

мы женщины, жалыя твари . безъ воли, безъ ума,» шептала опа почти вслухъ.

- Ведутъ! ведутъ! сказала она, и вся побледнела.

Эту бледность на лице Марины вызвала одна тайная мысль, которой она никому не открыла.

Бармитинова поспъшила на пригорокъ и дъйствительно увидъла, какъ у самаго берега Волги двигались фигуры. Между инми она узнала Ку́зю, который видимо силплся вырваться изъ рукъ двухъ мальчиковъ, падалъ на землю, болталъ ногами и по временамъ крестился свободною рукою. Канадъевъ что-то говорилъ мальчику, и тотъ поднималъ голову и по видимому успокомвался; но потомъ онять начиналъ биться и падать на землю.

- Бъдный ребеновъ! сказала Бармитинова съ грустной улыбкой.
- Это твой ученикъ, замѣтила Марина съ какой-то завистью въ голосѣ, —и снова какая-то тайная мысль, какъ облачко, прошла по ея лицу и по глазамъ, горѣвшимъ холоднымъ огнемъ.

Старикъ Ногинъ тоже сийшилъ навстрйчу своему внуку, прихрамывая и хватаясь за ушибленную погу: «Ахти, грйхъ какой! ахти, грйхъ какой!» шепталъ онъ и набожно крестился.— «Вотъ до чего дожили...»

Скоро Кузя поняль безполезность своихъ усилій вырваться, и, опустивъ голову, шелъ неровными шагами, поддерживаемый двумя мальчиками.

При взглядѣ на маленькаго плѣнпика, Бармитинова не могла не разсмѣяться. Оказалось, что бѣглецъ былъ арестованъ злѣйшими своими врагами— «казенными учениками,» и одна мысль о томъ, что его, земскаго ученника, поймали «казенные», «двухвосткины ученики», увеличивала страданія бѣднаго мальчика. Казенные ученики, которые не знали что такое почва, для которыхъ троянскія войны были важиѣе «поповой собаки», а отецъ Ганнибала предпочитался «исторіи кусочка хлѣба»— эти злѣйшіе непріятели Кузи перехватили бѣглеца и вели теперь къ дѣдушкѣ. Кузя былъ въ ваточномъ нанковомъ кафтанишкѣ, въ сапогахъ и съ маленькой котомочкой за плечами. Съ этой котомочкой, какъ странникъ, онъ мечталъ добраться пѣшкомъ до губернскаго города. Дорожиую палочку свою онъ бросилъ во время бѣгства.

Наконець онъ приблизился въ сопровождении своихъ маленькихъ приставовъ и Канадъева. Лоце его было красно и покрыто крупными каплями пота. Онъ смотрълъ точно захваченный врасилохъ волченокъ и черные глазенки его не по дътски были злы и необычайно прин. Изъ подлобья онъ украдкой взглядывалъ то на дъда, то на Марину, то на Бармитинову. Когда онъ взглядывалъ на послъднюю, волчы глазенки его принимали ласковое выражение.

- Что ты дёлаешь, разбойшикъ! началъ было дёдушка, взявъ мальчика за руку, которую тотъ сплился вырвать изъ рукъ дёдушки; но Бармитинова ласково остановила старика.
- Позвольте, не горячитесь, говорила она тихо старику: такъ вы все дъло испортите... Дайте и поговорю съ нимъ.

Старивъ отошелъ въ сторону. Марина напряженно глядъла на мальчика, и когда глаза ихъ встръчались, то въ нихъ на мгновенье загоралась искра но видимому взапинаго сочувствія. Бармитинова подошла къ мальчику и взяла его за руку.

— Ты куда это, милый, собрался? спросила она ласково.

Кузя молчалъ; по взглянувъ дъвушкъ въ глаза своими волчыми глазенками и замътивъ въ лицъ дъвушки сочувствіе, ласково улыбнулся.

- Ты хочешь учиться, милый? спрашивала дъвушка.
- Хочу, отвъчалъ мальчикъ.
- А развѣ ты педоволенъ монмъ ученьемъ? спросила дѣвушка.
 Бѣглецъ съ удивленіемъ поглядѣлъ на нее и потупился Волченовъ превратился въ прежияго мальчика.
- Что: жъ ты молчишь? Недоволенъ монмъ ученьемъ? спрашивала Бармитинова.
 - Натъ, я доволенъ.
 - Зачъмъ же ты убъжалъ?

Мальчикъ переминался съ ноги на ногу и молчалъ. Канадъевъ, глядъвшій на него съ видимымъ сочувствіемъ, замѣтилъ какъ бы про себя: «Я бы его пустилъ на свободу... Это орленокъ... пусть выбивается самъ»... Орленокъ взглянулъ на него и потомъ на Бармитинову.

 Вы говорили намъ... о великихъ людяхъ... я хочу... пачалъ было мальчикъ и замодчалъ. Всё улыбнулись, а старикъ Ногинъ прошенталъ со вздохомъ: «Охъ, времена! времена»!

— Такъ ты хочешь быть великимъ человъкомъ? спросила Бармитинова, стараясь скрыть улыбку.

На Волгъ вдругъ раздался ръзкій пароходими свистокъ. Всъ невольно вздрогнули и обернулись. Изъ-за пригорка показался пароходъ и быстро прошелъ мимо ложбины, направляясь къ варгунинской пристани.

- Это Карамановъ за мной пріёхалъ, вдругъ произпесъ Канадѣевъ и, не сказавъ ни слова, быстро пощелъ къ пристани.
- А онъ? спросила Марина, поглядъвъ вопросительно на Бармитинову.
 - Не знаю, отвъчала та упавшимъ голосомъ.

Объ онъ, забывъ и маленькаго бъглеца, неръшительно стоявщаго съ котомкой за плечами, и его дедушку и казенныхъ учениковъ, быстрыми шагами направились въ пристани. Объ дъвушви находились подъ вліяніемъ различныхъ, но почти одинаково мучительныхъ впечативній: и та и другая смутно переживали переломъ въ жизни, который совершался въ нихъ помимо ихъ воли, какъ совершается нравственное развитие, какъ совершается переломъ тяжкой бользни, переломъ, за гранью котораго лежитъ или спасенье или смерть, возрожденье къ новой жизни или окончательная гибель. Въ объихъ изъ нихъ просыпалась ненасытимая жажда счастья, только въ однойсчастья опредъленнаго, давно сознаннаго и разсудкомъ и сердцемъ, въ другой — неопредъленнаго, несознаннаго разсудкомъ, а предчувствуемаго и искомаго сердцемъ. Одна искала этого сознаннаго разсудкомъ счастья, чтобы такъ сказать погрузиться въ него и опочить на время после десятилетней гонки за этимъ счастьемъ, послъ мучительной борьбы за свои права на это счастье. Другая искала самой борьбы, думая, что въ этой борьбъ, въ этой гонкъ за счастьемъ и заключается самое счастье. Но этой борьбы она еще не начинала и потому смотръла на себя какъ на существо педостойное, презрѣнное, ничего не сдѣлавшее.

- Варя, я не пойду туда, говорила она, съ испугомъ глядя, какъ пароходъ приставалъ къ пристани.
 - Куда, милая? спрашивала Бармитинова.

- Къ пароходу.
- Отчего же?
- Тамъ опъ .. Карамановъ, отвъчала она неръшительно.
- Что-жъ изъ этого?
- Я боюсь его... Мив будоть стыдно... При одномъ взглядв на меня онъ подумаетъ: «это женщина наразитъ, это барышня, это не человъкъ»... Ахъ, Варл милал! я сама сознаю, что я не человъкъ.
 - Вудешь человъкомъ.
- Нътъ, Варя, боюсь этого страшнаго Караманова... Митя такъ много говорилъ миъ объ немъ.
 - Полно милая! какое малодушіе... Онъ въдь не звърь.
 - Ахъ, Варя! да я-то звърь дикій... Я ни на что не способна.
 - Неправда, душа моя. Это покажетъ время.
- Нѣтъ, я бѣгу отсюда какъ бѣжалъ Кузя... Вѣдь ты же сама говорила миѣ и Митя часто говорилъ, что намъ, несчастнымъ, можно только бѣгствомъ спасаться изъ нашей исторической тюрьмы, какъ опъ выражался.

Бармитинова ласково потрепала ее по плечу и съ грустью замътила, показывая на голову Марины: «Опасная головка!»

- Опасная!.. Ахъ, Варя моя милая! не брани меня... Вѣдь ты же сама говорила, что намъ надо бѣжать отъ нашего песчастнаго прошлаго, отъ нашего несчастнаго общества, отъ старыхъ порядковъ и понятій, какъ первые христіане бѣжали отъ языческаго прошлаго, отъ языческаго общества, отъ старыхъ языческихъ порядковъ и вѣрованій.... Вѣдь говорила ты это, Варя, тамъ на скамейкѣ, подъ черемухой, когда дьячки испачкали тебѣ дегтемъ ворота, а изъ Петербурга родные прислали тебѣ колкое письмо и бритву со шпорами? Говорила?
- Говорила, милая.... Но въдь тебъ пикто не пачкалъ дегтемъ воротъ и никто не дарилъ тебъ ни бритвы, ни шпоръ.

Марина только заплакала, по ничего не отвъчала. Внутренняя ломка молодаго существа зашла слишкомъ далеко, чтобъ можно было остановиться на полдорогъ.

 Да, подумала Бармитинова, грустио глядя на свою любимицу, всесильная идея вѣка выхватываетъ изъ нашей среды лучшія силы, лучшихъ людей, чтобъ на костяхъ этихъ лучшихъ людей построить мостъ къ острову свободы и человъческаго счастья... Въ основу моста лягутъ кости и головы лучшихъ людей... А много надо головъ, вотъ такихъ хорошенькихъ, какъ эта (она взглянула на Марипу), и такихъ какъ та... точеная (въ ея намяти встала точеная голова Стожарова)... До острова далеко, а море людской глупости такое глубокое—не скоро его запрудишь лучшими человъческими головами... А надо прудить его, надо бросать въ омутъ человъческия головы, чтобъ хоть другіе когда-нибудь добрались по нимъ до острова... На непріятельскую кръпость всегда входятъ по трупамъ храбръйшихъ»...

Съ причалившаго парохода выходили на берегъ два пасажира, которыхъ не могла не замътить Бармитинова. Ихъ встрътилъ Кападъевъ. То. были Стожаровъ и Карамановъ.

— Вонъ опи храбръйшіе, подумала дъвушка, и сердце са какъ бы остановило свою привычную работу...

XXVIII.

Въ великія эпохи обновленія отжившихъ идей и застарълыхъ, ложныхъ человъческихъ върованій, обновляющее начало какъ бы носится въ воздухъ и, помимо колективной воли всъхъ людскихъ массъ, привыкшихъ жить, думать и въровать, на основаніи идей добытыхъ отъ поколѣній предшествовавшихъ, проникаетъ, какъ самый воздухъ и свътъ, чрезъ всъ преграды, и за каменныя стъны кръпостей, и въ плотно запертую келью отшельника, и въ дырявую лачужку бъдняка. Противъ этого носящагося въ воздухъ, обновляющаго начала, какъ противъ саранчи или эпидеміи, ратуютъ жалкія человъческія массы, всегда живущія и думающія по законамъ иперціи, по привычкъ, и по привычкъ любящія даже свои тюрьмы и свои цъпи, какъ ихъ полюбилъ Бониваръ; но война противъ этого начала всегда оказывается безполезною и напрасною, и всегда, райо ли, поздно ли, оканчивается для погруженныхъ въ отжившія иден массъ тёмъ, чёмъ для австрійцевъ кончилось столкновеніе съ прусаками при Садовой и Кенигсгрецъ. Обновляющее начало всегда побъждаетъ начала отжившія, высохшіл отъ времени, какъ сохистъ отъ времени человъческій волосъ и ноготь. Обновляющее начало проникаєть сначала въ лучшія человъческія головы, подобно тому какъ лучи восходящаго солица золотять сначала верхушки самыхъ большихъ деревьевъ лѣса, тогда какъ весь боръ еще теменъ отъ почнаго мрака и почные звѣри еще рыщуть въ темной, густой листвѣ бора.

И воть, подъ вліяніемъ этого обновляющаго начала, подъ лучами этого солица пробуждаются болье чуткія и восиріимчивыя натуры, «новые люди», и бродять эти новые люди между людьми старыми какъ въ темномъ бору, бродятъ и ищутъ счастья этимъ людямъ, согръть и ихъ тъмъ солицемъ, которымъ они сами согръты, научить ихъ добру, научить полезнымъ знаніямъ... Бродять эти чуткія, безпокойныя натуры - эти Флавін Джойн, Бертольды Шварцы, Гуттенберги, Васко-де-Гамы, Кабрали, Лавренціи Валлы, Макіавелли, Рейхлины, Меланхтоны, Саванароллы, Ульрихи фонъ-Гуттены, Эразмы, Моры - бродять они какъ по темпому бору, ищуть счастья другимъ, а эти люди бросаются на этихъ безпокойныхъ, «безсоиныхъ» людей и душать ихъ за то эти безпокойные люди, говорять имъ: «бросьте дурныя привычки, оставьте ваши вредныя в рованія, разрушьте ваши старыя ржавыя цъпи, учитесь, примите обновляющее начало, которое зоветь вась въ новой, разумной жизни, на новыхъ началахъ»....

А тутъ, среди этихъ безсопныхъ, безпокойныхъ, новыхъ людей появлются еще болъе безпокойные, новые люди и говорятъ людямъ: «мы разрушимъ вашъ старый несчастный міръ и создадимъ вамъ міръ новый, счастлявый. И люди считаютъ ихъ безумцами, дерзкими мечтателями... Одинъ такой безумецъ бродитъ по всему лицу земному, стучится и въ блестящіе дворцы и въ жалкія избушки, и всъмъ говоритъ: «я дамъ вамъ новые міры, я открою вамъ новыя земли, невъдомыя моря, невъдомыхъ людей... Я дамъ вамъ еще такую же половину земли, какою вы владъете, на какой вы живете и жили ваши предки»... И надъ нимъ смъются, его гоняютъ и изъ избушекъ и отъ дворцовъ, его называютъ безумцемъ... А безумецъ все бродитъ, все думаетъ свою великую думу... И вотъ опъ открываетъ новый міръ... А люди, которымъ опъ далъ этотъ новый міръ, бросаются на него, мучатъ его и надъваютъ на него оковы... И вели-

кій безумець умираеть, прося, чтобь въ могилу съ нимъ положили и его оковы... Таковы всё великіе безумцы, таковы ихъ безумныя желанья!.. Другой такой безумецъ сидитъ въ уединенной монастырской кельи, и все читаетъ, все думаетъ о чемъ-то... А гадкіе-люди безобразничають, веселятся, дълають преступленія, дълають другихъ несчастными и сами они несчастны, потому что на ногахъ ихъ цъпи, а на лицахъ намордники... И говоритъ имъ безумецъ: «Я сниму съ васъ цъпи и намордники, только не върьте той вредной лжи, воторую вамъ говорятъ вредные люди, бродящіе по улицамъ «въчнаго города», и изъ этого города разсѣявшіеся по всему лицу земному»... И люди-звъри изъ въчнаго города бросаются на этого безумца, но побъдить его не могуть ни силой мышцъ, ни силой слова: будучи всегда въ намордникахъ, они не научились говорить, а безумець умъеть говорить, и побъждаеть ихъ словомъ... Третій безумецъ говоритъ, что земля вертится вокругъ солнца, а не солнце ходить по небу, что даже неба нъть никакого, но что кажущееся небо-просто оптическій обманъ... неба нътъ!... Это безуміе, безбожіе!..

И вотъ эти безпокойные люди, эти безумцы пошатнули всю Европу: многое старое рухнуло, а для новаго пастала эпоха возрожденія... Преобразились нѣсколько и люди, но только... пѣсколько... Все еще они не машли счастья, которое имъ сулять безпокойные, безсонные люди: они ищуть его не тамъ, гдѣ имъ указывають эти безумцы, да и думаютъ, что путы навѣчно приросли къ ихъ ногамъ, и лѣпь ихъ стряхнуть съ ногъ, лѣнь щевельнутся, благо спится въ путахъ, можно и танцовать въ путахъ и дѣтей родить... И думаютъ люди, что лучшаго и природа не судила дать имъ...

А безпокойные люди все не могутъ успокоиться, уснуть, какъ спятъ массы... Все они быются, все они ищутъ человъческаго счастья, чтобъ дать его людямъ... Самимъ имъ не иужно оно — зачъмъ? Они счастливы своимъ безуміемъ, своею пеустанною работою на пользу другихъ... Имъ бы хотълось добиться, чтобы на землъ не было людей ни голодныхъ, ни несчастныхъ, ни обижаемыхъ... И они знаютъ какъ этого достигнуть, да только люди не хотятъ и не умъютъ понять ихъ, не хотятъ протянуть руку, чтобы взять свое счастье... Мало того, бъдные, жалкіе люди, нападутъ на этихъ без-

умцевъ, которые хотятъ дать міру полное счастье, и вяжуть этимъ безумцамъ руки, гонятъ пхъ, ненавидятъ. А безумцы все-таки не надаютъ духомъ, все работаютъ для другихъ, распутываютъ ноги человъчеству, и говорятъ: «бъдные, жалкіе люди! бъдныя, темныя массы! сдълайте только одинъ йагъ впередъ—и вы будете счастливы, вы не будете ин голодать, ин илакать... Уничтожъте только личиую собственность, сдълайте такъ, чтобы пичто лично не принадлежало никому, а принадлежало бы всъмъ, какъ всъмъ принадлежитъ воздухъ и свътъ—и вы будете счастливы... Сдълайте же только этотъ одинъ и—послъдній шагъ»...

По люди не дѣлаютъ этого послѣдилго шага... Они стоятъ... стоятъ цѣлыя тысячелѣтія, болсь сдѣлать этотъ послѣдиій шагъ, стоятъ п... илачутъ, горько плачутъ, и голодаютъ, и грызутъ одинъ гругаго, и убиваютъ одинъ другаго, и воруютъ другъ у друга, и работаютъ до чахотки, до идіотизма, до излома костей, и ведутъ кровавыя войны, и плачутъ, неутѣшпо плачутъ, а все потому, что не хотятъ и не умѣютъ сдѣлать этого послѣдияго шага...

Такимъ безумнымъ, волнующимъ бредомъ горѣла густоволосая, растрепавшаяся головка Марины, которая металась въ своей постели въ ночь того дня, когда Стожаровъ и Карамановъ пріѣхали въ Варгуны. Ей видится, какъ страшная, черная голова Караманова нервно вздрагиваетъ, когда онъ говоритъ эти безумныя, волнующія рѣчи, идя въ комнатѣ Мити, а она, Марина, видитъ въ своей комнатѣ, въ зеркалѣ, отраженье этой страшной головы и слышитъ тѣ безумныя рѣчи... И не спится Маринѣ послѣ этихъ страшныхъ рѣчей, и мечется она въ своей постели, вся въ огиѣ, иногда охватываемая холодомъ и дрожью испуга... А страшная, черная голова все говоритъ, ей кажется, все вздрагиваетъ, а черные, стоячіе глаза равнодушно смотрятъ на Митю и какъ бы приковываютъ его къ стѣнѣ, какъ приковываютъ опасныхъ преступниковъ...

Марина видёла Караманова, когда онъ, сойдя съ парохода вмёстё съ Стожаровымъ, поздоровался съ ел братомъ, а потомъ Стожаровъ познакомилъ его съ Бармитиновой. Марина смотрёла на нихъ издали, потому что чувствовала себя сильно взволнованною предшествовавшимъ разговоромъ съ Бармитиновой и сценою съ пойманнымъ Кузею, и потому не рёшалась подойдти къ пріёхавшимъ. Марину странцо

поразила наружность Караманова: она не могла выгнать изъ головы его спокойныхъ, стоячихъ, свётившихся ровнымъ, какимъ то холоднымъ свётомъ глазъ, надъ которыми чернълись длинныя прямыя и какъ смоль черныя брови; широкое лице, широкія скулы, весь овалъ и цвѣтъ лица какъ и волосъ заставляли догадываться, что подъ смуглой кожей течетъ не совсёмъ европейская кровь, между тѣмъ какъ очертаніе лба и всей головы было прекрасно, какъ будто природа особенно тщательно выработывала эту голову. При взглядѣ на носъ Караманова, Марину особенно поразила сильная развитость ноздрей, и ей при этомъ почему-то вспомвилась лошадь съ норовомъ, которая храпитъ при малѣйшемъ къ ней прикосновеніи. Широкія плечи говорили, что на эти плечи можно было взвалить такую тяжесть, которая рѣдкому была бы по спламъ.

Марину поразилъ и костюмъ Караманова. Сърый суконный као танъ, изъ за котораго видивлась синяя крестьянская рубаха съ косымъ воротомъ, такіе же сърые суконные штаны, убранные въ высокія голенища грубыхъ сапогъ, и на головъ шляна съ гречушникомъ — все это напоминало какого-нибудь парня владимірца съ полотнами, но отнюдь не рисующагося славянофильскимъ костюмомъ провинціальнаго бульварнаго паразита. Все лице его и голая кръпкая шея сильно пострадали отъ загара. Неприкрытыя перчатками руки съ длиными тонкими пальцами также сильно загоръли и загрубъли.

«И это сынъ богатаго помъщика... Странно!.. Такъ вотъ они... титапы», думала Марина, и что-то болъзненно отдалось въ ея сердцъ; но это былъ не страхъ, не предчувствіе опасности, не испугъ, не сожальнье, а все это вмъстъ, смъшанное съ какимъ-то потрясающимъ изумленіемъ. Сразу же Карамановъ сталъ ей непріятенъ, но въ то же время и тянулъ ее къ себъ, какъ тяпетъ насъ почти одипаково посмотръть на поражающую красоту и на поражающее безобразіе, на счастливую невъсту подъ въпомъ и на искаженное лице повъшеннаго.

И густоволосая головка Марины мечется по бёлой подушкё, и треплются тяжелыя пряди волосъ, разсыпавшіяся въ безпорядкё, — потому что жаръ головы заставиль дёвушку сбросить съ себя ночной чепчикъ, —и не спится ей, а передъ глазами ея проходять, какъ

въ калейдоскопъ, раздражающія мозгъ картины изъ видъннаго ею и слышаннаго, и звучать въ самомъ будто бы мозгу, какъ въ рупоръ, какія-то страшныя слова и фразы, которыя засѣли подъ мозгомъ и мучатъ, мучатъ пылающую голову дъвушки. Ей продолжаетъ слышаться отрывочная бесѣда, которую ведутъ между собою ея братъ и Карамановъ, хотя тотъ и другой давно сиятъ, а не спитъ одна Марина и слушаетъ свою намять, которая сй шенчетъ въ уши:

- Вотъ и въ моей сестръ начинаютъ пробиваться наружу эти силы, обрисовывается человъческій образъ: изъ неи выйдетъ женщина-человъкъ, говоритъ братъ задумчиво.
- Не думаю, возражаетъ страшная голова съ холодными глазами она должна быть глуна и мелка.
- Нѣтъ, я ее знаю: она не глупа и не мелка, возражаетъ въ свою очередь братъ.
- Будетъ и глупа и мелка, если теперь не глупа и не мелка, вколачиваетъ Карамановъ слова какъ гвозди въ стъпу.
- Отчего же?

Страшная голова молчить, и холодные глаза молчать, только смоляные волосы на головъ щетинятся какъ у звъря, когда его травятъ

 Она слишкомъ хороша, чтобъ сохранить умъ, говоритъ страшная черная голова, и холодиые глаза становятся еще холодийе.

Марина нетерпъливо поворачивается на нодушкахъ и раскидываетъ руки: ей душно.

- Она не пожалћетъ красоты для дела, говоритъ братъ.
- «Милый Митя», думаеть Марина: «какой добрый»!
- Она не пожалѣетъ красоты, но и красота се не ножалѣетъ, говоритъ черная голова.
- Это старый предразсудокъ, будто умъ събдаетъ красоту и будто отъ думъ она линяетъ, тихо говоритъ братъ.
- Такого предразсудка и не было, снова вколачиваетъ въ стѣну свои жесткія слова Карамановъ: не умъ съѣдаетъ красоту, а красота съѣдаетъ умъ.
- Странно, говоритъ добрый, милый Митя, по логикъ законовъ природы...

— По логикѣ законовъ!.. развѣ въ законахъ есть логика? перебиваетъ страшная черная голова.

Добрый Митя тихо смёстся; не смёстся только черная голова.

— Пишущіе законы справляются не съ логикой, а съ необходимостью, съ потребностями народа, мѣста и времени: а гдѣ необходимость и потребность, тамъ логика забывается, говоритъ черная голова.

Добрый Митя на это замѣчаетъ: «по смыслу законовъ природы, красота и умъ должны быть одно и тоже, а потому самые красивые люди должны быть и самые умные... Самый красивый апельсинъ бываетъ и самый вкусный, потому что красивый и вкусный апельсинъ и есть настоящій апельсинъ».

— Это было бы умно, еслибъ не было совсёмъ по дётски, то есть совсёмъ красиво, другими словами — совсёмъ глупо, говоритъ черная голова: — самый красивый и вкусный плодъ никогда не бываетъ производителемъ, сёменникомъ въ ряду менѣе красивыхъ и вкусныхъ — въ немъ нѣтъ сѣмянъ, производительнаго начала, которое въ растеніи то же что въ человѣкѣ мозгъ. Безсѣменникъ огурецъ и безсѣменникъ бергамотъ, самые красивые между этого рода плодами, ни куда не годятся какъ производители: они красивы, но глупы, и еслибъ огурцы и бергамоты умѣли мыслить и говорить, то самыхъ красивыхъ изъ своихъ собратьевъ они назвали бы дураками, идіотами, и презирали бы ихъ.

«Уродъ»! шепчетъ Марина, ворочаясь въ постели съ боку на бокъ и вспоминая эти слова Караманова.

— Самое красивое дерево то, которое имъетъ много зелени, у котораго много листьевъ, продолжаетъ черная голова, отражающаяся въ зеркалъ, но садовники замъчаютъ, что то дерево, которое ношло въ листья, въ зелень, то есть красивое дерево, не дастъ ни цвъту, ни плода. Они говорятъ, что это дерево ни къ черту не годится, потому что отъ него нътъ никакого толку. Такъ и между людьми, самые красивые бываютъ большею частью очень не далеки.

Марина вспоминаетъ эти слова, и краска досады бросается ей въ лице.

— Такъ по твоему, только уроды и могуть быть умпы? замъчаетъ братъ съ пропіей. «Душка Митя!» думаетъ Марина, вспоминая это возраженіе: «значитъ, писарь нашего становаго долженъ быть геніальнъйшимъ человъкомъ, потому что такого урода свътъ не производилъ.»

— Неть, говорить противный Карамановь, — я только утверждаю, что красота и умь — двѣ взаимно отрицающія одна другую силы и едва ли могуть совмѣщаться въ одномь человѣкѣ безъ ущерба одна другой. У кого на нервомь планѣ его красота, тотъ даетъ мало пищи уму, и умъ его чахиетъ. Воть почему красота съѣдаетъ умъ. Оттого женщина всегда была ниже мужчины, что она больше думала о лицѣ, чѣмъ о головѣ.

И черные глаза блестятъ холоднымъ свътомъ, и смоляные волосы щетинятся на головъ точно на снииъ у звъря, когда его травятъ или когда опъ бросается на добычу.

- А все-таки мол сестра умиенькая дѣвушка, отстанваетъ добрый Мита свою Мариночку.
- Будетъ глупа и пошла... слишкомъ хороша, огрызается ощетипившійся звърь.

Добрый Митя продолжаетъ защищать свою Мариночку: «Рипа можетъ услышать паши слова—она въ своей компатъ», говоритъ опъ.

— Пусть слушаеть — это полезно... Я всегда говорю то что думаю, и ей это скажу, отвъчаетъ Карачановъ небрежно. — Она и теперь занята своей красосой: все заглядывала въ это зеркало, когда была здъсь... ну и выйдетъ кукла, тряничница... Куда ей!

При воспоминаньи объ этихъ словахъ Марина всныхиваетъ и даже приподнимается на постели, но опять густоволосая голова ея падаетъ на бълыя подушки отъ усталости. Она силится заснуть, забыться, хочетъ думать о Варенькъ, а думаетъ о Карамановъ и о «последнемъ шагъ», какой должны сделать люди, чтобы быть счастливыми... Засохшія губы шенчутъ слова этого противнаго Караманова.

«Зачёмъ же люди не дёлаютъ этого послёдняго шага? Зачёмъ они стоятъ, стоятъ цёлыя тысячелётія, боясь сдёлать этотъ послёдній шагъ, стоятъ п—бёдные! жалкіе! глупые!—плачутъ, горько плачутъ, и голодаютъ, и грызуть одинъ другаго, и убиваютъ одинъ другаго поодиночкё, и убиваютъ массами, ведутъ кровавыя войны, и обманываютъ другъ друга, и работаютъ до чахотки, до идіотизма, до излома костей, и плачутъ, плачутъ, неутёшно пла-

чутъ? Зачъмъ же? Неужели затъмъ, что слишкомъ глупы и испорчены исторіей? Глупы?... Красивы?... Зачъмъ они красивы?...»

«Какой же это послъдній шагь?.. и неужели оно его сдълаеть?..» И густоволосая голова Марины мечется по бълой подушкъ, и треплются тяжелыя пряди волосъ, разсыпавшіяся въ безпорядкъ, и не спится ей... Какая мучительная ночь!

Безперемонный приговоръ Караманова разбивалъ точно обухомъ всё дорогія мечты дёвушки, и она сама начинала сомнёваться въ своихъ силахъ, въ своемъ призваніи. Неужели никогда не быть ей женщиной-челов'єкомъ? Неужели и она должна пойдти, какъ всё прочія дёвушки и женщины, избитой тропой, всю свою жизнь, и свое будущее и свои мечты уложить въ урну, какъ кладутъ лобовые и нелобовые номера рекрутъ въ ящики въ рекрутскомъ присутствіи, и ждать, чья рука вытащитъ ея жеребій изъ урны и съ лобовымъ номеромъ поведетъ ее этой рукой подъ в'внецъ? Къ чему же эта проклятая красота, если ее можетъ взять та рука, которая захватитъ въ урнё жизпи лобовой номеръ д'ввушки?.. А другія счастливицы будутъ работать, д'вйствовать какъ д'вйствуетъ Варя, и ихъ ждетъ слава, он'в внесутся на стреницы исторіи, не умрутъ, какъ умруть вс'в прочія, оставивъ посл'я себя отрепья лифовъ и кринолиновъ.

И вплоть до бълаго утра не спала бъдная дъвушка. Сопъ сковаль ея глаза и ея память только тогда, когда подъ окномъ ея спальни проснулись ласточки и мелкимъ, частымъ щебетомъ возвъстили, что и имъ, существамъ не мыслящимъ, надо измыслить себъ кормъ, надо поработать надъ своимъ гиъздышкомъ, поискать и липкой грязцы для него и мягкой шерсти для дътской постельки.

Но въ то время, когда Марина засыпала въ своей комнать, въ сосъдней комнать просыпались ея братъ и Карамановъ. Послъдній привыкъ вставать очень рано, потому что когда онъ былъ въ наймахъ у старика Стожарова, то, въ качествъ батрака, выходилъ на работу вмъстъ съ крестьянами и оканчивалъ день одновременно съ ними. Пробужденіе Караманова заставило проснуться и Канадъева. Карамановъ сидълъ на постели и писалъ что то въ тетрадкъ, положенной на колъняхъ.

- Ты что такъ рано всталъ? спросилъ его Канадвевъ.
- Чтобъ успъть больше прожить и продумать, отвъчалъ Кара-

мановъ, продолжая писать. — Да хочется и сдёлать больше, пока мозги и мускулы не одряблёли. Ты здёшийя земли хорошо знаешь? спросилъ опъ.

- А что?
- Я хочу куппть здёсь имёніе... собственно пустопорожній участокъ земли.
 - Отецъ поручилъ?
- Истъ, отецъ умеръ зимой и оставилъ мит свое имъніе—родовое... Онъ бы и не оставилъ, да родовое... Когда умиралъ, такъ, говерятъ, грозилъ мит кулакомъ, а кулакъ все надалъ на подушку, только я не видалъ, потому что въ это время рубилъ дрова у Стожарова.
 - А большое имъніе? спросиль Канадъевъ.
- Большое... Я вёдь одинъ изъ самыхъ крупныхъ землевлацёльцевъ губерніп.
 - Что-жъ ты тамъ не прикупишь себъ?
- Да я продалъ все имѣніе... въ деньги обратилъ: на эти деньги и думаю купить себъ здъсь землю.
 - Зачёмъ же-тамъ продалъ, а здёсь покупаешь? Капризъ?

Карамановъ пересталъ писать и обратилъ блескъ своихъ холодиыхъ глазъ на Канадъева. Онъ сидълъ нъсколько времени молча, какъ бы изучая лице своего товарища.

- -- Ты еще этого не знаешь, сказаль онъ медленно.—Поминшь наши толки, тамъ, на Васильевскомъ острову; когда мы еще жили комуной, или въриъе—играли въ комунизмъ?
- Помню... То ыло и хорошое и тяжелое время... Мы учились расправлять молодыя крылья, сказалъ Канадъевъ задумчиво.
- Да, учились, по не полетъли... А я хочу полетъть, сказалъ
 Карамановъ, и спохватился, что сказалъ неосторожно.

Канадъевъ вздрогнулъ, расширилъ свои зеленые глаза и сталъ испуганно оглядываться. Зрачки его глазъ тоже расширились неимовърно. Лице какъ бы осунулось, по выражало глубокое вимманіе къ какимъ-то звукамъ, какихъ Карамановъ не слыхалъ. Карамановъ всталъ съ постели, подошелъ къ Канадъсву и сълъ около него.

— Я хочу попробовать сдёлать тотъ последній шагъ, который

люди болтся и не умёють сдёлать, чтобы быть счастливыми, працёдиль онь сквозь зубы.

— Я давно видёлъ, что ты одинъ изъ тёхъ людей, которые способны на этотъ шагъ, сказалъ Канадёевъ, приходя въ себя.— Какъ же это ты сдёлаешь?

Карамановъ еще болъе придвинулся въ Кападъеву и положилъ свою жесткую загрубълую руку на худую и бълую руку Канадъева, какъ бы силясь этимъ вложить свою мысль не только въ его мысль, но и въ его нервы, во все его тъло.

- Мы рѣшились съ Стожаровымъ начать дѣло обновленія общества на новыхъ началахъ, сказалъ онъ съ разстановкой, какъ бы опять стараясь гвоздемъ вбивать свои слова въ мозгъ Канадѣева. Ты, вѣроятно, находишь, что начальныя мой слова слишкомъ громки? вдругъ спросилъ онъ, замѣтивъ, что зеленые глаза Канадѣева выразили не то сомнѣніе, не то насмѣшку.
 - Слишкомъ громки, отвъчалъ тотъ.
- Опи и должны быть громки, возразилъ Карамановъ, какъ бы внутренно ощетиниваясь и сдавливая точно клещами жидкую руку Канадъева. Тамъ гдъ словомъ не прошибешь деревяннаго черепа, надо вбивать это слово обухомъ. Тамъ гдъ словъ не слышутъ, надо кричать.
- Такъ это на мой счетъ? спросилъ Канадъевъ съ какой то тихой улыбкой.
- Ньть, на счеть обновленія общества... Надо дъйствительно обновить его, перевоспитать, создать, хоть изъ земли выкопать, говориль Карамановь съ такимъ жестомъ, точно онъ въ самомъ дълъ изъ земли людей выкапываль. Мы уже начали это дъло. Стожаровъ отдалъ даромъ все свое имъніе бывшимъ своимъ крестьянамъ отдалъ землю, усадьбу, всъ заведенія. «Вы все это обработывали говорилъ онъ имъ: вы и должны этимъ распоряжаться». Онъ отдалъ имъ свое имъніе съ тъмъ, чтобы они пользовались имъ на правахъ общиннато владънія, на правахъ абсолютной общинности.
- На комунистическихъ началахъ? какъ бы переспросилъ его Канадъевъ, не поднимая головы.
- Комунизмъ! фурьеризмъ! снова ощетинился Карамановъ. Не говори ты этихъ старыхъ, пошлыхъ словъ... они истрепались давно

какъ старан туфля, которую падѣвали на всикую грязпую погу и этой туфлей ступали во всикую грязпую лужу и били этой туфлей по самымъ чистымъ человъческимъ лицамъ... Это пугало, которое ставитъ на огороды, чтобъ птица не клевала вишии, но это пугало не мѣшаетъ людимъ воровать и вишии, и огурцы, и яблоки.

— Что-жъ, я не спорю съ тобой, сказалъ Кападъевъ какъ-то покорно: — я самъ знаю, что и фурьеризмъ и комунизмъ отжили свое время; это слишкомъ бабъи, дътскія попятія, окончилъ онъ съ усиліемъ: — не въ нихъ счастье человъчества.

И тотъ и другой замолчали. Канадъевъ не подинмалъ своей головы, какъ будто она слишкомъ была тижела для его исхудалыхъ илечъ и какъ будто не мозгъ былъ подъ этимъ широкимъ череномъ и не думы давили его, а свинецъ. Голова же Караманова держалась примо, бодро.

- Что же Стожаровъ? спросилъ Канадъевъ какъ бы машинально. Карамановъ снова положилъ свою руку на руку Канадъева.
- Отдавъ свое имъніе и свои деньги крестьянамъ, онъ самъ вошелъ въ ихъ общину такимъ же членомъ какъ они всѣ, на равныхъ правахъ. Общинное пользованіе землей, деньгами и всѣмъ имуществомъ, общиный трудъ, общіе заработки, мірской судъ все общее, мірское, съ передѣлами земли, говорилъ Карамановъ по прежнему отчетливо, ровно.
 - И Стожаровъ работаетъ? спросилъ Канадъевъ.
 - Нынтшней весной самъ пахалъ и стялъ.
 - И крестьяне не дичатся его?
 - Ивсколько дичатся все смотрять какъ на барина.
 - A избы?
 - Пока по прежнему... А потомъ будутъ общинныя усадыбы.
 - Передълы земли черезъ сколько лътъ?
 - Какъ покажетъ время и опытъ.
 - А общиниая касса?
 - На правахъ банка.
 - Это экономическая сторона дъла-а правственная?
- Ну, это трудиће, отвѣчалъ Карамановъ какъ бы съ занинкой. — Надо воснитать новое поколѣніе... Тутъ должна быть доброкачественность молока, которымъ вскормятъ это ноколѣніе. Вся за-

бота будеть состоять въ томъ, чтобъ дѣти этой общины не насосались молока ветхозавѣтной валаамовой ослицы.

- Ну... и что-жъ опъ думаетъ?
- Онъ расчитываетъ на здёшнюю учительницу земской школы.
- Это на Бармитинову?
- Да... Онъ, кажется, любить се.
- А съ старой ослицей что онъ сдёлаетъ.
- Uна ослѣпла... Она дъйствуетъ ощунью, по привычкъ... Ее отведутъ отъ молодого поколѣнья.

Канадъевъ сомнительно покачалъ головой.

Видно было, что предметь, о которомь говорили молодые люди быль темою неоднократных ихъ разговоровь въ прежнее время. Они по видимому давно условились въ терминологіи и понимали другь друга. Оттого вопросы и отвъты ихъ были такъ лаконичны.

Въ это время дверь въ ихъ комнату тихонько скрипнула и снова закрылась. Въ коридоръ послышались легкіе шаги.

- Что это? спросилъ Карамановъ.
- Это мать, отвъчалъ Канадъевъ съ неудовольствіемъ; смотритъ сплю ли я.
- A!.. это общая привычка матерей и бабущехъ поглядывать за дътьми и подслушивать... конечно изъ любви...
 - Къ дътямъ? спросилъ Канадъевъ улыбаясь.
- Нттъ... къ искуству, отвъчалъ Карамановъ снова ощетинивансь.
- Художники... искуство для искуства, добавиль Канадвевъ съ горькой усмъшкой.

Въ это время и солнце, сначала осторожно, какъ старуха Канадъева, заглянуло въ комнату, гдъ бесъдовали молодые люди, а потомъ и совсъмъ безцеремонно забралось въ ихъ комнату, но только пе въ дверь, а черезъ окно, какъ Маркушка Волоховъ, и глядъло на неумытыя лица и пепричесанныя головы бесъдующихъ, какъ бы освъдомлясь, поумнъло ли за ночь и сдълалось ли болье счастливымъ бъдное человъчество, и какъ бы считая людскія головы, подобно тому какъ считаетъ пастухъ утромъ свое стадо и освъдомляется о тъхъ овцахъ, которыхъ заръзали за ночь голодные волки. Въ тоже время оно нахально забралось и въ комнату спящей Марины,

которая забыла опустить на ночь сторки у оконъ, и одинаково равнодушно смотрѣло и на густоволосую, золотистую головку Марины, и на пушистый хвостъ съраго кота, по имени Дарвина, растянувшагося въ ногахъ своей барышин.

Утро было такъ херошо, воробы и ласточки своимъ чириканьемъ и пеугомоннымъ щебетомъ о своихъ житейскихъ птичыхъ нуждахъ дъйствовали такъ раздражительно на молодыхъ людей, что они не могли болѣе оставаться въ комнатъ, неумытые и нечесанные тихонько вышли изъ дому и отправились побродить по берегу Волги, благо Волга протекала у самаго полисадника дома Канадѣевыхъ. На дворѣ ихъ встрѣтила дѣвчонка Офроська, большая мастерица ловить летучихъ мышей и большая охотница спать, такъ что однажды мыши, во время ея сна, съѣли у нея на погахъ новые козловые башмаки. Офроська была на посылкахъ у Марины, и на ея обязанности лежалъ уходъ за котомъ Дарвиномъ и за коровой Запавой Путитишной. Въ окно, за уходившими молодыми людьми слѣдило недреманное око матери Канадѣева.

- Такъ ты не останешься въ обществъ Стожарова? спросияъ Канадъевъ, когда они подошли къ береговому уступу.
- Нътъ. Я предвижу и предсказывалъ ему большія трудпости въ исполненіи задуманнаго имъ плана: онъ хочетъ передълать старый крестьянскій міръ въ новую общину. Это значитъ заставить вербу родить груши, заставить расти старое дерево не такъ, какъ оно само росло. Крестьянскій міръ давно сложился на извъстныхъ началахъ. Онъ носитъ въ себѣ историческую порчу, онъ глубоко деморализованъ тѣми понятіями, въ какпхъ его воспитала исторія, принахивающая татарскимъ баскачествомъ. Мы объ этомъ долго спорили съ Стожаровымъ.
 - И что-жъ? спросилъ Канадъевъ.
 - Онъ остался при своемъ, а я при своемъ.
 - Такъ вы съ инмъ разошлись совстмъ?
- Да, разонились, но только за тёмъ, чтобъ произвести отдёльные, самостоятельные опыты падъ созданіемъ повыхъ гражданскихъ общинъ. Онъ хочетъ перевоспитать старую крестьянскую общину, я хочу создать новую. Вотъ почему я ищу пустыню, пикъмъ не заселенную, куплю эту пустыню, и заселю ее. Здъсь въ заволжскихъ

стспяхъ, по сосёдству съ Азісй, всего удобнёе будетъ осуществить мою завётную мысль—сдёлать тотъ великій, послёдній шагъ.

Канадъевъ задумался. Слова Караманова все сще не могли убъдить его въ томъ, что то, что задумала эта черная упрямая голова, сбудется.

- Ты точно Брэйгамъ-Юнгъ, сказаль онъ съ улыбкой: какъ тотъ на рубежъ новаго образованнаго міра, посреди дикихъ индъйскихъ племенъ основалъ царство мормоновъ, такъ и ты хочешь создать свою новую общину на рубежъ Европы и Азіи. Твои попытки отдаютъ мормонствомъ.
- Что мормонство? возразилъ Карамановъ, махнувъ рукой: —въ основѣ его лежитъ таже нравственная ченуха, какъ и въ старыхъ человѣческихъ обществахъ: эти первосвященники ихъ, эти святые мужи, эти храмы, эти дикія вѣрованія—все это таже средневѣковая старина съ гнилою подкладкой, тотъ же капуцинскій плащь, сотквиный изъ гнилой шерсти и сшитой гнилою дратвою. Я не того хочу и не то создамъ...

Они сошли къ самой Волгѣ и шли по берегу. По краю береговой крутизны прошмыгнула Офроська и скрылась: старая барыня командировале ее попаблюсти издали что дѣлаютъ молодые господа. Око матери и женщины не дремало...

— Какъ же ты думаешь начать свое дёло? спросилъ Канадѣевъ, не отводи глазъ отъ Волги, которая безсмысленно катила свои воды... куда!... Она и сама этого не знала...

«И мы не такъ ли, какъ эта безсмысленная стихія, мчимся куда-то по силѣ инэрціи, по законамъ нравственнаго тяготѣнія?» подумалъ Канадѣевъ.

По краю крутизны опять шмыгнула Офроська.

- Я куплю здёсь свободныя земли и заселю ихъ охотниками, говориять Карамановъ: земли свои я отдамъ даромъ моимъ колонистамъ, съ условіемъ, чтобы они разорвали всякую связь съ старыми крестьянскими порядками... Новую общину легче устроить, чёмъ передёлать старую и въ этомъ мы не сходимся съ Стожаровымъ.
 - На какихъ же началахъ ты устроишь свою общину?
- На простыхъ: чтобъ у насъ не было ни бъдныхъ, ни богатыхъ, ни голодныхъ, ни объёдающихъ.

- А собственность?
- У насъ будетъ собственность... Мы не примънимъ къ дълу забавной пословицы Прудона, что «собственность есть воровство.» Для этой пословицы ужъ отошла пора—она устаръла, и нашему покольнію Прудонъ не указъ... Если собственность воровство, то умъ—насиліе: умный всегда сильнъе дурака и забъетъ его вездъ—тутъ равенство невозможно... У насъ будетъ другое правило: «глуность воровство, лъность воровство, певъжество хуже воровства» вотъ наше правило.
- Значить, ты признаешь принципь вознагражденія, принципь платы, принципь заработка, а слёдовательно принципь богатства и бёдности, замётилъ Кападёевъ, зорко глянувъ на него своими зелеными глазами. Это скользко...
- Для неподкованнаго ума скользко... А мой умъ подкованъ прочпо, отвъчалъ Карамановъ, п тоже скользнулъ своими холодными глазами по блъдному лицу Канадъева.

Канадъсвъ взялъ своего друга за плечи, ласково взглянулъ ему въ глаза и сказалъ съ доброй улыбкой: «Ты все такой-же...»

По краю береговой крутизны снова прошмыгнула Офроська, быстро скатилась къ берегу, оправила свое платье, волосы, перевязанные красной ленточкой, и заложивъ руки за фартукъ, проговорила скороговоркой, точно захлёбываясь словами:

- Барыня приказала просить васъ чай кушать.

Молодые люди должны были повориться необходимости: энергія материнской или вообще женской заботливости, въ которой они видъли большую дозу деспотизма, оказалась сильпъе ихъ энергіи. Хотя неохотно, по они пошли домой.

XXIX.

Поздио проспулась Марина послѣ тревожно проведенной ночи. Молодой сонъ подкрѣпилъ ея молодое, живучее тѣло и своей всесильной рукой вытолкалъ изъ ея густоволосой головы всѣ сцены предыдущаго дня—и мучительныя грезы цочи, и волнующія рѣчи Караманова, и его жесткіе отзывы о красотѣ, о самой Маринѣ, о «послѣднемъ шагѣ», который должно сдѣлать человѣчество, чтобы быть счастливымъ. Дѣвушка, закинувъ руки за веклокоченную голову, лѣниво потянулась всѣмъ своимъ, горячимъ отъ сна, упругимъ тѣломъ и прищемила къ кровати пушистый хвостъ кота Дарвина, который въ борьбѣ за свое существованіе не преминулъ цараннуть барышню за голенькую икру и тотчасъ же спрыгнулъ на полъ Дѣвушка проснулась, какъ просыпалась всегда, беззаботно, съ такою довѣрчивостью къ жизни, къ какой обыкновенно привыкаютъ баловни этой жизни.

Но вдругъ лице дъвушки все намънилось. По ен ясному, оттъненному изкрасна-рыжими волосами лбу, по ен иззелена-сърымъ большущимъ глазамъ, по всему лицу ен прошла какая-то тъпь, какая мгновенно проходитъ по поверхности ручья, когда между пимъ и солицемъ медленно проплыветъ бурый коршупъ съ широко распущенными крыльями. Тънь прошла, и снова воротилась на молодое лице, да такъ и осталась на немъ, такъ и затемнила его — коршупъ стоялъ въ воздухъ, закрывая собою солице. Тънь, оставшаяся на лицъ дъвушки, казалась уже не просто тънью, а давала лицу опредъленное выраженіе — это было выраженіе тупаго испуга. Тъни уже пътъ на лицъ, да это и не была тънь — это былъ испугъ... Дъвушка съ ужасомъ вспомпила, что она что-то потеряла, лишилась чего-то дорогаго; но чего — она не могла припомнить. Только сжавшееся какъ подъ клещами сердце говорило, что потеряно что-то...

А потеряно было мпого въ эту ночь... Потеряна увъренность въ свои молодыя силы, въ свое призваніе, въ свое будущее. Потеряна въра въ красоту и въ пригодность ея на что бы то ни было. Потеряна въра въ свой умъ. Потеряна беззаботность молодости, и какъ будто самая молодость потеряна. Точно дълые годы прошли съ вчерашняго дия и оторвали бъдную дъвушку отъ ея прешлаго, которое казалось теперь далекимъ, отъ ея интересовъ, которые теперь уже казались ей чуждыми. Оглядываясь, она видъла какую-то темную пропасть, въ которую упало все, чъмъ жило ея молодое воображенье, а впереди не было ничего, къ чему бы могло тянуть ея сердце: надо было вновь искать чего-то—а чего? не прошлаго же? да и зачъмъ? цвъта его такъ полиняли, жизненность зачахла. Она

чувствовала только какую то пустоту—это одно изъ тѣхъ тупыхъ страданій, которыя скорфе толкають человѣка на самоубійство, чѣмъ острыя.

Дъвушка обвела глазами компату — и компата показалась сй не такою, какою она была вчера, какою была всегда. И стъпы не тъ, и цвътъ обоевъ не тотъ, и не то солице глядить въ окна, какое глядъло вчера, глядъло всегда. Дъвушка пичего не находила прежнято — она себя не находила...

Это было первое сомивніе въ жизни... Ивтъ ничего ужасиве этого сомивнія. Оно выпадаєть на долю одивхъ избранныхъ натуръ, и доводить ихъ или до глубокаго правственнаго наденія, до превращенія въ звъря, до самоубійства, или—до недосягаемой правственной высоты, до всеобъемлющаго величія. Иныхъ это сомивніе завдаєть, унижаєть ниже звъря, другихъ возвышаєть выше человъческаго уровня, возводить до грандіознаго.

Что-то злобное шевельнулось въ сердцѣ дѣвушки, когда она вспомнила, кто отиялъ у нея прошлое и—по видимому—отнималъ самое будущес. Это была первая злоба въ молодой жизни, и дѣвушка даже не поняла этого чувства — такъ оно было для нея ново и мучительно.

Марина повернула голову, глаза ея упали на блестящую поверхпость зеркала, и ей представилось, что изъ-за стекла глядятъ на нее
холодпые, точно изъ чернаго хрусталя сдѣланные глаза Караманова,
и эти глаза говорятъ ей: «жалкое, узкое существованіе.... Оно и
должно остаться жалкимъ и узкимъ»... И Марина ненавидѣла эти глаза, и въ тоже время ей хотѣлось заглянуть въ нихъ, загляпуть
глубоко въ этотъ черный хрусталь и прочесть въ этомъ хрусталѣ
то, что еще такъ недавно она читала въ своемъ сердцѣ, въ своемъ
воображеніи.

Но вотъ въ дверь просовывается страя голова матери.

- Насилу проспулась, говоритъ мать, и зорко оглядываетъ комнату; — мы ужъ и чай давно отпили, скоро кофе будемъ пить.
- А онъ тамъ, мама? спрашиваетъ дівушка, и сама чувствуетъ, что голосъ ея звучитъ різко.
 - Кто, глупая?

- Трубочистъ этотъ, отвъчаетъ она снова надтреспутымъ голосомъ.
 - Какой трубочистъ? Ты бредишь?
 - Нътъ, мама... Тотъ, прівзжій, у насъ?
- У пасъ. Съ Митей все міры пересоздаютъ.... Ахъ, дѣти, дѣти!

Марина нетерићливо передергнула плечомъ.... но старой привычкъ.

- А знаешь, Риночка, говорить мать вкрадчивымъ голосомъ: онъ очень богатый помъщикъ.... Ты бы съ нимъ была бы поласковъе.
 - Ужъ и не подумаю съ такимъ уродомъ?
 - Что ты, дурочка!

Это простое слово, которое Марина слышала тысячи разъ, теперь точно рѣзнуло ее по сердцу.

— Жениха ловить собираемся, говорить опа съ горечью—и отворачивается отъ матери.

Мать съ удивленіемъ смотритъ на нее, и пожавъ плечами, уходитъ изъ комнаты. — «Она белены объълась», замъчаетъ про себя заботливая матушка, и отправляется хлопотать по хозяйству.

Въ дверь просовывается перевязанная красной ленточкой голова Офроськи. За головой входитъ и вся Офроська, чтобъ одёвать барышию.

Запава Путятишна ночью отелилась, барышня, говорить Офроська радостно.

Марина молчитъ.

 Посмотрите, барышня, Дарвинъ муху ловитъ, спова заговариваетъ Офроська.

Дарвинъ дъйствительно сидитъ на окит и старается лапкой схватить большую муху. Марина Молчитъ. Ни охота Дарвина за мухой, ни роды Запавы Путятишны пе запимаютъ ее. Въ ея воображеніи проходятъ какія то тъпи, люди безъ образовъ; въ ушахъ звучатъ жестокія слова этихъ безобразныхъ тъней, между которыми она видитъ широкоплечую фигуру Караманова, и блъдпаго юношу, и Стожарова, и Варю, и своего брата, который смотритъ куда-то вдаль

и къ чему-то прислушивается. «Мы дёлаемъ последній шагъ, говоритъ Карамановъ безвучно, а ты не сдёлала и перваго»...

Марина машинально взглядываеть въ зеркало — и со страхомъ опускаетъ голову. Ей кажется, что Карамановъ смотритъ на нее своним холодиыми, стекляными глазами, и глаза эти смѣются надъней. «Онять веркало», говоритъ онъ и Маринъ становитея стыдно... Она отворачивается отъ веркала и рѣшается не глядѣть въ него. «Зеркало съѣдаетъ умъ женщины, оно съѣдаетъ и ел честность», думаетъ она, и съ боязнью вспоминаетъ какъ часто она глядѣла въ веркало, какъ часто стирала свой умъ и свою честность объ это гладкое, блестящее стекло. «Они правы, эти безжалостные люди, что такъ безпощадно бичуютъ все», шепчетъ ел разсудокъ, а сердце между тѣмъ поетъ какъ больной зубъ, и слезы готовы брызнуть изъ глазъ дѣвушки.

— А зачѣмъ это, барышия, энтотъ молодой баринъ мужикомъ ходитъ? заговариваетъ Офроська.

Марипа не отвъчаетъ. Едва ли она даже и разслышала вопросъ горничной. Офроська заговаривала нъсколько разъ; по все было напрасио: барышия была почему-то неравговорчива. Она казалась очень разсъянною и невпимательною къ своему туалету. Она не хотъла даже, чтобъ ее причесали передъ зеркаломъ «Пусть этотъ уродъ не думаетъ, что я передъ пимъ кокетинчаю», говорила она про себи, выходя здороваться съ родителями и съ братомъ.

- Ты что такая блёдная? спросила ее мать, встрётивъ въ коридоръ.
- Сопъ скверный видъла, отвъчала опа, и пошла отыскивать брата.

Братъ и гость сидъли на балконъ. Марина ласково поздоровалась съ братомъ и сухо поклонилась гостю. Послъдній привсталъ и предложиль ей свой стулъ.

- Благодарю васъ-я не устала, уклонилась Марина.
- Но можете устать, возразиль Карамановъ.

Марина не садилась.

— Не отказывайся Рипа, садись, сказаль брать. — Эта первая въжизии любезность Караманова: онъ еще ин кому не предлагаль своего стула.

 Карамановъ перенесъ свои глаза куда-то въ сторопу и оперся о перила балкона.

- Это не любезность, а дёло расчета, пробурчалъ онъ, все глядя въ сторону.
 - Какого расчета? спросилъ Дмитрій.
- Простаго.... И я не усталь, и Марина Константиновна не устала. Но она можетъ устать скоръе меня.
- Отчего же? спросила Марипа, вскинувъ на гостя свои большіе глаза.
- Отъ непривычки.... да и устоя меньше... Оттого я слабымъ всегда предлагаю свой стулъ, а сильнымъ никогда.
- Я не прошу васъ заботиться о моей слабости, замѣтила Марина, нѣсколько раздражившись внутренно, но съ шипящей любезностью.
- Я и не забочусь, отвъчалъ Карамановъ, и перенесъ глаза на нее.

Дмитрій засмъндся и тоже всталь. Рука его невольно опустилась на золотистые волосы сестры и стала ихъ приглаживать.

- Какая ты трепаная.... Точно въ тюкъ верблюжьей золотой шерсти свою рожицу запрятала, сказалъ опъ, а потомъ, обратись къ Караманову, замътилъ: какой же тутъ расчетъ? Ты уступаешь свой стулъ сестръ, если не изъ любезности, которой ты не жалуешь, то изъ... человъколюбія.
 - Нътъ, по расчету, снова отръзавъ Карамановъ: изъ эгоняма.
 - Какой же туть эгоизмъ? Я не понимаю, замътиль Дмитрій.
- Очень подлый, потому что сложный, отвъчалъ Карамановъ нехотя. — Кто помогаетъ слабому въ пустакахъ, тотъ избъгаетъ возможной необходимости помогать ему въ крупномъ... Дотяни эту ноту до конца, и поймень мелодію моей пъсни.

Внутренное раздраженіе Марины усиливалось; по она прятала его подъ своимъ лифомъ, а на лице не выпускала. Только тамъ подъ лифомъ точно скреблись слова: «Что-жъ опъ, все тёшится, противный?»

- Дотяни самъ, сказалъ Дмитрій, я не въ голосъ.
- Изволь... Предположи, что Марина Константиновна можетъ дъйствительно устать... Предположи даже, что отъ усталости она можетъ упасть въ обморокъ (я отправляюсь отъ пустяка и дохожу

до крупнаго — логически) — и тогда намъ будетъ больше съ ней хлопотъ, чъмъ предложить ей стулъ.

- Натяжка, замътилъ Дмитрій, а у Марины кошка, что скребла подъ лифомъ, изъ подъ лифа перешла въ глаза эти глаза сверкиули; по кошка еще не бросалась на Караманова. Неловкая натяжка, повторилъ Дмитрій.
- Да изъ натяжекъ сщита вся жизнь... Самая смерть—не ловкая натяжка.

Марина упрямо продолжала стоять, хотя ей хотёлось състь, такъ какъ послё тревожно проведенной ночи она чувствовала какуюто разбитость въ тёлё и вялость сказывалась въ ея упругихъ ногахъ.

— Да вотъ, развъ это не натяжка? продолжалъ Карамановъ, садясь на стулъ, и при этомъ какъ бы заскобилъ слъдующія слова. — Когда пошло на состязаніе, я уступаю вамъ призъ въ стойкъ, сказалъ онъ, кланяясь Маринъ.

Кошка не утеривла и бросилась на добычу...

- Вы кокетничаете своимъ остроуміемъ, зазвонила Марина своимъ металическимъ голосомъ, съ скрытымъ шипѣньемъ змъйки, у которой прищемился хвостъ.
- Столько же, сколько вы своими волосами, снова заскобиль Карамановъ. Развъ напримъръ это не натяжка? говорилъ онъ уже безъ скобокъ, медленно и спокойно. Если я даю нищему пятакъ, то потому что боюсь, чтобъ онъ не отнялъ у меня когда нибудь рубля, а то и всего кошелька... Мы помогаемъ нищимъ и изъ жалости и изъ боязии, хотя даже не понимаемъ, что тутъ и боязиь дъйствуетъ, а также расчетъ: если бъ всъ нищіе и всъ бъдные, не получая отъ насъ патаковъ, увидъли необходимость умереть съ голоду, они бы съ насъ, съ имущихъ, содрали кожу и сщили себъ сапоги... Вотъ почему эгоистическій расчетъ требуетъ давать пищимъ пятаки, а дъвицамъ предлагать стулья.

Карамановъ при этомъ взглянулъ на Марину, и губы его сдѣлали такую улыбку, какую дѣлаетъ собака, когда хочетъ укусить, да еще не обдумала своего плана.

— Точно также и честнымъ человѣкъ долженъ быть по расчету, изъ эгонзма, продолжалъ онъ. — Подлецомъ быть не выгодно. Подлецомъ можетъ быть только дуракъ, и всякій подлецъ въ сущности

глупъ. Вполнъ умный человъкъ подлецомъ быть не можетъ—это не расчетъ.

— Напротивъ, возразила Марина, глупый человѣкъ не съумѣетъ быть подлецомъ, а умный съумѣетъ. Оттого и говорятъ: «умный человѣкъ, да подлецъ.»

Карамановъ посмотрътъ на нее какъ-то вскользь и въ стоячихъ глазахъ его выразилось что-то въ родъ минутной неръщимости.

— Я думалъ, что вы все-таки умнъе, сказалъ онъ.

Дѣвушка отъ неожиданности присѣла даже на стулъ, съ котораго всталъ ея братъ.

- Ну, вотъ и съли, добавилъ Карамановъ.
- Дмитрій тихо засмъялся.
- Онъ очень снисходителенъ, Риночка—не правда-ли? сказалъ онъ, и съ улыбкой посмотрълъ на Караманова. Онъ могъ сказать и хуже этого.
- Хуже этого остается только побить меня, прозвонила дввушка своимъ серебрянымъ голоскомъ. — Ну, бейте меня, какъ вы въроятно бъете вашихъ женщинъ — людей, — и она подчеркнула послъднія слова.

Карамановъ въ свою очередь вскочилъ со стула.

- Нътъ, вы умнъе, чъмъ я полагалъ, сказалъ онъ весело.
- А ближе узнаете, такъ увидите, что я умиће васъ... Какъ вы однако скоро мѣняете ваши миѣнія, сказала дѣвушка совсѣмъ весело, и разсмѣялась.

Дмитрій подошель къ ней и поціловаль ее въ голову. «Умница»! сказаль онъ ласково: «а головенка все-таки не чесана».

- Было бы въ головенкъ причесано, а на головенкъ пичего... А вотъ у господина Караманова ни на головъ, ни въ головъ не причесано, я вижу, возразила Марина, глядя своими лучистыми глазами на гостя и стараясь не расхохотаться.
- 9! да вы опасный противникъ, сказалъ Карамановъ, осклабляясь своею собачьею улыбкой. У васъ много остроумія, больше чъмъ ума.... Остроуміе, впрочемъ, низшая способность ума, добавиль онъ въ скобкахъ.
- А тупоуміе еще ниже, отразила дівушка, глядя на него пристально.

Карамановъ по видимому не ожидалъ такихъ рёзкихъ отвётовъ и былъ ими пріятно изумленъ. Дмитрій между тёмъ съ любопытствомъ наблюдалъ за состязаніемъ сестры съ гостемъ и былъ доволенъ отвётами Марины.

- Я радъ, что вы можете сражаться со мной почти равнымъ оружіемъ, сказалъ Карамановъ, подчеркнувъ слово «почти».
- Почти!.. Какая самоувъренность! воскликнула Марина, вбирая въ себя воздухъ, какъ она это всегда дълала, когда выражала крайнее изумленіе. Между остроуміемъ и тупоуміемъ «почти» неумъстно.

Карамановъ, казалось, уже не слушалъ ее. Глаза его, недавняя улыбка и все его темное лице какъ будто застыли. Онъ смотрѣлъ куда-то вдаль, за Волгу, гдъ сърые изломы горъ кой-гдъ зеленъли въ ложбинахъ молодою зеленью.

- Я смотрю на нашъ споръ серьезиве, чемъ вы, можетъ быть, думаете, сказалъ онъ послъ пъкотораго молчанія. - Я говориль, что умный человъкъ не можетъ быть подлецомъ. Я разумъю дъйствительно умнаго человъка. Человъкъ прибъгаетъ къ подлости только тогда, когда для достиженія своихъ цёлей честными средствами онъ не надъется на свой умъ. Воръ воруетъ просто по глупости, потому что у него не хватаетъ ума честнымъ образомъ пріобръсти ту вещь, которую онъ воруеть. Воровство-признакъ глупости. Дожьтоже результать глупости. Даже убійство истекаеть изъ глупости: убійца потому отнимаеть жизнь у другаго, что не умфеть съ номощью своего ума сдълать этого другаго безопаснымъ для себя или выносимымъ. Вполнъ умному человъку не расчетъ быть подлецомъ. Что за охота умному человъку воровать, чтобъ потомъ бояться, что его воровство обнаружится и его посадять въ тюрьму? Что за охота умному человъку быть убійцей? Въдь это и непріятно, и невыгодно... Это наконецъ стыдно, унизительно... Вотъ почему вполив умный человъкъ инкокда не лжетъ, не воруетъ, не убиваетъ - по расчету, изъ эгоизма... Оттого умный человъкъ никогда не притъсняетъ слабаго, потому что это, въ концъ концовъ, невыгодно, нерасчетливо, и оттого умный человъкъ всегда предлагаетъ свой стулъ слабой женщинъ-по расчету, а не изъ любезности.

- Такъ значитъ мы обязаны настоящимъ знакомствомъ съ вами только вашей расчетливости? спросила Марина лукаво.
 - Только расчетливости, отвъчалъ Карамановъ серьезно.
- Безъ расчета вы не дълаете ни шагу? снова спросила дъвушка.
 - Ни шагу...
- II знаешь ли, Риночка, вмѣшался брать, онъ не любиль ни одной женщины, потому что считаеть это невыгоднымъ.

Дъвушка съ новымъ любопытствомъ посмотръла на гостя. Замъчаніе брата не вызвало въ немъ ни отрицанія, ни подтвержденія, ни даже улыбки. Марина склонна была думать, что это своего рода рисовка, напускное оригинальничанье.

- Что-жъ, можно драпироваться во всякія лохмотья, и въ яркія, и въ темныя, замѣтила дѣвушка. Но подъ драпировкой все же остается человѣкъ, чувства котораго не зависятъ ни отъ плаща, ни отъ маски, которыя онъ на себя надѣваетъ... Я не вѣрю вашей искренности, обратилась она къ Караманову, какъ мой папа не вѣритъ, когда я говорю, что разлюбила сладкое.
- Это въ вашей волѣ вѣрить и не вѣрить, сказалъ Карамановъ серьезно. Я вамъ скажу одно только, что я не лгу. Я никогда не лгалъ, даже въ пустякахъ, даже въ шутку.
- Этому, Рина, ты можешь върить, замътилъ Дмитрій; онъ дъйствительно никогда не лгалъ.
 - Что-жъ, я върю... Я сама никогда не лгу.
- Такъ въръте же, что я ни во что не драпируюсь, сказалъ Карамановъ тономъ глубокаго убъжденія. —Рисовка чъмъ бы то ни было—это ложь, кокетничанье. А кокетство я ставлю на одну доску съ воровствомъ, даже хуже кокетство равносильно поджогу чужаго дома. Я не кокетничаю, когда говорю, что не любилъ. Я не смъю шутить тъмъ чувствомъ, которое называютъ любовью.
 - Да кто-жъ имъ шутитъ? спросила Марина.
- Многіе... собственно тъ, которые не любятъ... Я знаю, что чувство, о которомъ мы говоримъ—опасное проявленье человъческой природы. Въ малыхъ размърахъ, дюжинное—оно пошло. Въ большихъ размърахъ, крупное—это великая сила, которая можетъ бытъ и доброю и злою... Сколько я могъ узнать человъческую жизнь,

сила, о которой мы говоримъ—больше злая, чёмъ добрая. Это зависитъ отъ несчастнаго строя нашего общества. А неремёнится этотъ строй, я назову любовь великимъ благомъ... А теперь пока — любить вообще опасно, неблагоразумно, нерасчетливо.

- А если полюбится? спросила девушка серьезно.
- Не надо чтобъ полюбилось.
- Ну, а если случится такое несчастье?
- Отъ насъ зависитъ, чтобъ не случилось.
- Но это невозможно.
- Возможно .. Я знаю по опыту...

Дѣвушка лукаво поглядѣла на собесѣдника. Въ глазахъ ея выразилось не то недовѣріе, не то раздумье.

- А если не убережется человъкъ? спросила она.
- Тогда... ну, тогда ужъ приходится махнуть на все рукой.

Сказавъ это, Карамановъ поглядъть на Дмитрія. Марина также обратила свое оживленное лице къ брату, который стоялъ позади ен стула, опираясь на балконъ и по видимому не слушая о чемъ говорили собесъдники. Въ глазахъ дъвушки мгновенно отразилось чтото похожее на испугъ, когда она увидъла выраженіе лица брата. Лице это казалось спокойнымъ, но слешкомъ серьезнымъ. Дмитрій глядълъ куда-то вдаль, котя глаза его по видимому не останавливались ин на чемъ, что могли видъть и другіе глаза, а просто обращены были въ пространство. Маринъ знакомо было это выраженье глазъ брата. Она уже видъла эти глаза, она знала на что они смотрятъ, и ей стало страшно. Какъ бы съ затаеннымъ вопросомъ она обратила свои недоумъвающіе глаза къ Караманову, и не могла не видъть, что и тотъ замътилъ въ ея братъ что-то такое, чего не могъ поиять.

- Канадбевъ, сказалъ онъ тихо, ты насъ не слушаешь?

Динтрій молчалъ. Онъ слушалъ что-то другос и видёлъ то чего они не видёли. Марина слегка дотронулась до его руки. Онъ вздрогнулъ; но все еще мысль его была не тутъ, не въ Варгунахъ, не на балконъ.

— Ты насъ не слушаешь? снова спросилъ Карамановъ.

Дмитрій посмотръль на него, и глаза его сказали, что опъ дъйствительно не слушаеть.

- Митя, ты о чемъ задумался? спросила Марина, вставъ и положивъ руки на плечи брата.
- Вонъ онъ виситъ на веревкѣ, сказалъ Дмитрій, указывая на горизонтъ, гдѣ стояло бѣлое, длинное, какъ повѣшенный мѣшокъ, облачко.—Тяжело ему... Зачѣмъ земля тянетъ его къ себѣ, душитъ его?.. Палачъ не душитъ, веревка не душитъ, а земля душитъ... тянетъ... силою тяготѣнія душитъ повѣшеннаго... Земля палачъ... здая земля...

Марина испуганно и жалобно посмотръла на Караманова. Тотъ съ участіемъ приблизился.

- Канадъевъ, сказалъ онъ, стараясь стать въ фокусъ зрънія своего друга и привлечь его вниманіе, Канадъевъ! зачъмъ отръшаться отъ дъйствительности, отъ земли?
- Но вёдь ты самъ видёлъ какъ онъ висёлъ, отвёчалъ Дмитрій съ болёе сознательнымъ выраженіемъ глазъ.
 - Видълъ, а теперь не вижу... Зачъмъ вспочинать?
 - А ты не вспоминаешь?
 - Нътъ... Зачъмъ? то прошлое, то сонъ, а у насъ есть дъло.
 - Да, есть...

Онъ нъжно посмотрълъ въ лице сестры, въ ея грустные глаза, и замътивъ, что руки ея лежатъ на его плечахъ, тихо протянулъ къ своимъ губамъ эти руки и поцъловалъ ихъ.

- A у тебя никого нътъ? спросилъ онъ, повернувъ свое блъдное лице къ Караманову.
 - Никого... Зачёмъ?
 - И никто тебя не любитъ?
 - Никто... Зачёмъ? Я самъ никого не люблю.

Дмитрій посмотръль на него недовърчиво.

- Не върь ему, Рина, сказалъ онъ сестръ: это такая добрая душа, хоть и свиръпая на видъ, что не только готовъ снять съ себя послъднюю рубашку для бъднаго, но позволитъ голодному откусить у себя палецъ, если тотъ цопроситъ.
 - Нътъ, не позволю, возразилъ Карамановъ.
- А развѣ ты не снялъ съ себя—помнишь тамъ на Охтѣ, шубы и не покрылъ ею того больнаго?
 - Что-жъ, снялъ, потому что у меня дома была другая шуба...

- А поминшь, мы же съ тобой голодали и кормили другихъ...
- Итть, забыль, сказаль Карамановь равнодушно.

Марина, впрочемъ, такъ была разстроена и напугана болъзненнымъ припадкомъ брата, проявившимся въ это утро, что минутная живость ея тотчасъ уступила мъсто какой-то усталости и снова ее охватила тоска, которую она почувствовала при пробужденіи. Опять Карамановъ сталъ ей казаться какимъ-то неумолимымъ судьею ея совъсти, и она ненавидъла его и въ то же время ничего такъ страстно не желала какъ заслужить его одобреніе, обратить на себя его вниманіе. «Не даромъ тотъ блъдный юноша ношелъ за его словомъ... Неужели и я пойду за нимъ, какъ идетъ безсильная птичка въ ужасную пасть удава?» думала она.

У балконной двери показалась растрепанная голова Офроськи. Красная ленточка была на боку. Лице дѣвчонки казалось встревоженнымъ.

- Барышия! сказала она неръшительно, а, барыщия-съ!
- Что ты? спросила Марииа, вздрагивая.
- У насъ бъда случилась, барышня.
- Что такое! что случилось! спросила дъвушка съ испугомъ.
- Онъ костью подавился... умираетъ-съ.
- Кто умираетъ?
- Дарвинъ, барышня, —костью подавился.

Карамановъ съ недоумъніемъ посмотрълъ и на Марину и на Офроську.

 Это у пасъ котъ называется Дарвиномъ, сказада Марипа вспыхнувъ, и посившио ушла съ балкопа.

Карамановъ, обратясь въ Дмитрію, хотѣль было спросить его о чемъ-то, но снова быль пораженъ страннымъ выраженіемъ лица своего друга, выраженіемъ, которое было у него за нѣсколько минутъ передъ этимъ. Во взглядѣ Дмитрія выражалась не сосредоточенность, не задумчивость, а какая-то отрѣшенность мысли отъ того, что было здѣсь, нередъ глазами.

— Кападъевъ! сказалъ онъ тихо, положивъ руку на плечо Дмитрія, — хочешь настоящаго дъла?

Тотъ посмотрълъ на него такъ, какъ смотритъ человъкъ, который не сразу понялъ что ему сказали.

- -- Хочещь настоящаго дъла? снова спросилъ Карамановъ.
- Дъла... да... дай мнъ дъло... не покидай меня... Карамановъ взялъ его подъ руку и увелъ съ балкона.

XXX.

Пока Карамановъ будетъ подготовлять Канадъева къ «настоящему дълу», мы позволимъ себъ возвратиться къ другимъ дъйствующимъ лицамъ нашего повъствованія, — къ Стожарову и Бармитиновой.

Когда Стожаровъ и Карамановъ вхали въ Варгупы, чтобы приводить въ исполнение свои планы, первый между прочимъ говорилъ своему приятелю:

- Въ варварскія времена поклопенія животной красотѣ женщины, дикіе французы, а за ними и вся дикая Европа, говорили, что «человѣкъ предполагаетъ, а женщина располагаетъ. «Въ менѣе дикія времена идеалистическаго вѣрованія въ идеальную силу человѣка, который разсматривался какъ математическая величина, говорили, что «человѣкъ предполагаетъ, человѣкъ и располагаетъ». Въ болѣе новыя времена, въ которыя мы живемъ, принято уже говорить, что «человѣкъ предполагаетъ, а старуха Ананке располагаетъ». Подъ этой старухой, какъ вамъ извѣстно, подразумѣвается совокупность всѣхъ неблагопріятныхъ условій жизни, съ которыми должно биться человѣчество: старуха Ананке—это все, что насъ опутываетъ и «среда, заѣдающая» того, кто конечно по мелкостности своихъ силенокъ позволитъ ей это канибальство, и человѣческая бѣдность, и голодъ, и давленіе общественнаго молота на общественную наковальню, и рабство во всѣхъ его грубыхъ и деликатныхъ видахъ.
- И вы согласны съ этимъ послъднимъ объясненіемъ? спросилъ Карамановъ.
 - Нѣтъ, отвѣчалъ Стожаровъ.
 - Почему же?
- Да потому что это слишкомъ по дътски—все валить на старуху Ананке: такъ-де пачальство приказало... Старуха сама по себъ не существуетъ, а ее сдълали сами люди. Въ этомъ случаъ со-

временное общество похоже на дикарей, которые натесали для себя деревянныхъ и каменныхъ пдоловъ и приносятъ имъ человъческія жертвы.

- Что же, по вашему, «располагаетъ» всъмъ? спросилъ Карамановъ.
- Глупость, просто человъческая глупость—во всемъ она виповата. Она сдълала и старуху Ананке, и заъдающую среду, какъ дикари дълаютъ своихъ кровожадныхъ деревянныхъ болвановъ, и бъдность, и голодъ, молотъ и наковальню, грубое рабство и деликатное холопство... Что касается лично до меня, то я вытолкалъ ставуху въ шею: я математически высчиталъ что миъ нужно, вымърялъ, взвъсилъ, долго-таки бился съ старухой, но добился своего—мое личное счастье теперь въ монхъ рукахъ.
- II вы его возьмете?
- Возьму... Я долго не бралъ его, потому что какъ Язонъ долго долженъ былъ бороться съ чудовищами.
- Но ручаетесь ли вы, что его чудовища не вырвутъ изъ вашихъ рукъ?
 - Я ихъ убилъ.
 - А случаю вы не върите?
- Не върю... безпричинности и случайности я не признаю: все зависить отъ того, какт я или другіе подготовили то, что должно произойдти.—Случая пъть ни въ природъ, ни въ жизни.

А между тъмъ въ Варгунахъ его ожидало то, что другіе, по общепринятой, устаръвшей человъческой терминологіи, пазвали бы случаемъ, страшнымъ, роковымъ случаемъ, или неожиданнымъ и неотвратимымъ ударомъ безсмысленнаго рока.

Полна глубокаго счастья и для Стожарова и для Вареньки была ихъ встрѣча. Добровольно наложенный ими па себя аскетическій подвигъ во имя идеп, на что способны только люди, которыхъ называютъ или сумасщедшими или фанатиками, а иногда—вѣдь величіе всегда граничитъ съ сумасшествіемъ, съ точки зрѣнія дюжинныхъ, грошовыхъ умовъ—великими, —наконецъ совершенъ благополучно. И Стожаровъ и Варенька могли сказать, положа руку на сердце, что они теперь завоевали себѣ право на свое личное счастье, потому что, поработавъ для другихъ, успѣли дать счастье этимъ другимъ,

успъли накормить много голодныхъ. Стожаровъ затъмъ и пріъхалъ, чтобы взять съ собой Вареньку и уже не разставаться съ нею.

Когда онъ сошелъ съ парохода и когда Канадъевъ предложилъ Караманову остановиться у нихъ въ домъ, Варенька спросила Стожарова:

- А вы ко мит или къ Ногину?
- Конечно къ вамъ, если вы не сочтете неприличнымъ дѣвушкѣ находиться подъ одной крышей съ чужимъ мужчиной.
- Я не считаю этого неприличнымъ, а до другихъ миъ дъла нътъ, отвъчала Варенька. Пусть дьячки меня осуждаютъ за это.
- Правда... Если смотрёть на дьячковъ, то тогда для каждаго мужчины и для каждой дёвушки слёдовало бы строить отдёльные дома или запирать ихъ по особымъ стойламъ.

Затёмъ онъ велёлъ свой багажъ нести въ квартиру Вареньки. Эта квартира находилась во флигеле при домё земскаго училища. Флигель раздёленъ быль на двё половины, изъ которыхъ въ одной, въ надворной, помѣщалась Кузьминишна съ дворникомъ, опъ же и сторожъ училища, по имени Савельичъ; въ другой, которая выходила на улицу, жила сама учительница. При ней находилась, въ качествё горничной, бёловолосая, четырнадцатилѣтияя крестьянская дѣвушка, которую Варенька, за ел вертлявость и постоянную непосъстность, называла перпетуумъ мобиле. Помѣщеніе Вареньки состояло изъ трехъ комнатъ — изъ залы, гдѣ стоялъ ройяль и большой письменный столъ, за которымъ она иногда занималась съ своими воспитанниками, изъ гостиной и спальной, служившей въ тоже время и кабинетомъ для дѣвушки. Стожарову отведена была гостиная.

Весь день Варенька казалась очень оживленною. Большіе прекрасные глаза, и безъ того отражавшіе всю силу впутренняго огня, теперь казались еще болье яркими и еще болье красивыми. На блъдныхъ щекахъ выръзывался яркій руминецъ, чего Стожаровъ не замъчалъ за ней прежде, такъ какъ лице Вареньки всегда было матово-бълымъ.

 Какая ты стала хорошенькая, говорилъ Стожаровъ вечеромъ этого дня, когда они остались только двое.

- Я рада, что правлюсь тебѣ, отвѣчала дѣвушка, а развѣ прежде я была хуже? спросила она.
- Нѣтъ, не знаю, отвѣчалъ опъ, всматривалсь въ ея лице; можетъ быть, это капризъ вкуса, только ты... еще больше похорошѣла.

Дъвушка улыбнулась и взяла Стожарова за руку.

- Какой ты гадкій! сказала она ласково, а если-бъ я была не хорошенькая, ты разлюбилъ бы менл?
 - Не знаю... Впрочемъ, не думаю: тебя и дурную я любилъбы.
- Однако странно, сказала дъвушка задумчиво, сколько я знаю, начальнымъ стимуломъ для любви мужчины къ женщинъ всегда бываетъ красота, между тъмъ какъ женщина можетъ любить вполить безобразнаго мужчину... Прекрасная, изящная герцогиня страстно любитъ какого-инбудь церковнаго сторожа Квазимодо, дъвушка-ребенокъ отдается со всъмъ ныломъ первой любви старику, когда видитъ въ немъ силу ума, благородство характера... Въдъ вотъ ты, какъ страшно подурнълъ, постарълъ, а я люблю тебя больше, чти любила тогда, когда ты былъ бъленькимъ студентомъ... А вотъ вы, сластолюбцы, любите только хорошенькихъ и молоденькихъ: будь старуха геніальна, вы не влюбитесь въ исе, а мы въ старика-генія всю душу положить готовы. Да?
- <u>И да и не да</u>, отвъчалъ Стожаровъ, раздумчиво глядя на яркій румянецъ бълыхъ щекъ дъвушки. Слова объема з на высталя
- Нѣтъ, только ∂a , сказала дѣвушка настойчиво. —Я готова думать, хотя бы мнѣ этого не хотѣлось, что любовь женщины менѣе чувственна, чѣмъ ваша.
- Ты думала, Варя, да не додумала до конца, моя уминца, сказаль онь, притягивая къ себь ея обь бльдныя, хрункія руки и разглядывая ихъ. Мы воть это любимъ воть эти блъдныя, хрупкія ручки, мы любимъ воть эти слабыя, хрупкія, нуждающіяся въ помощи существа... Мы любимъ то, чему можемъ принести счастье, что нуждается въ нашей силь...
 - -- А мы?
- Вы, младшія, слабъйшія дъти природы, любите эту силу— силу ума и силу тъла, хотя бы оно было безобразно. Оттого вы полюбите всякаго мужчину, только дряблаго не полюбите—дряблаго

умомъ и дряблаго тъломъ: умственная и физическая дряблость мужчины возбуждаютъ въ васъ отвращенье.

- Это справедливо только отчасти, мий кажется, возразила дйвушка. — Положимъ, я люблю вотъ эти жесткія руки и вотъ это загрубълое лице (она пригнулась къ лицу Стожарова), потому что эта жесткость и грубость прикрываютъ силу и умъ, но отчего же женщина иногда страстно июбитъ слабаго и жалкаго мужчину?
- Просто по закону контрастовъ, по тому же закону, по которому сильный мужчина любитъ хрупкую, слабую женщину. Сильная женщина, дъйствительно, можетъ иногда любить слабаго мужчину, но только потому, что надъется своей силою создать изъ него человъка... Мы болже всего любимъ актъ творчества... Едва вышедшая изъ дътства дъвочка счастлива и горда бываетъ тъмъ, что заставляетъ пожилаго мужчину полюбить себя... Оттого безсиліе любитъ силу, а сила безсиліе, оттого и красота иногда любитъ безобразіе.

Онъ заиолчалъ, продолжая держать въ своихъ рукахъ руки дъвушки, и задумчиво глядълъ на нихъ.

- Когда же мы поъдемъ домой? спросилъ онъ, прерывая молчанье.
- Я всегда готова, отвъчала дъвушка чуть слышно, и Стожаровъ почувствовалъ, что руки ея дрогнули въ его рукахъ.
 - А на какихъ правахъ? спросилъ онъ снова.

Дъвушка молчала. Руки ея начинали горъть въ рукахъ Стожарова.

— Подъ вънецъ? спросилъ онъ, выпуская ея руки и отодвигаясь. Лице дъвушки вдругъ побълъло, но розовыя пятна не сходили со щекъ. Она подняла голову, и глаза ихъ встрътились: выражене глазъ Стожарова было строго и холодно. Дъвушка закашлялась, и приложивъ платокъ къ лицу, долго его не отнимала. У Стожарова

какъ бы отяжелъло сердце. Онъ снова придвинулся къ дъвушкъ и тихо привлекъ ее къ себъ. Она не сопротивлялась.

- Ты боишься? спросиль онъ ласково.
- Чего боюсь? (голосъ дъвушки, когда она горорила это, какъ бы рвался на части).
 - Переступить черезъ трупъ.

Дъвушка отняла платокъ отъ лица и взглянула въ глаза Стожарова. Глаза эти измъчили прежнее выражение. Она тихо освободилась отъ его рукъ.

- Какой трупъ? спросила она въ недоумвнии.
- Трупъ рутины... Еслъ мы его не переступимъ, не бросимъ за собою, онъ будетъ гнить передъ нами и отравлять нашу жизнь. Дъвушка положила руку на илечо Стожарова. Рука дрожала.
 - Я сама думала объ этомъ, и долго мучила меня эта мысль.
 - И что же?
- Въ трупъ такъ много еще сплы: трупъ этотъ въ состояніи убить и того кто не въ силахъ перешагнуть черезъ него и того кто перешагнетъ. Такихъ примъровъ много.

Стожаровъ съ любовью погладилъ распустившіеся до плечъ волосы дѣвушки, какъ гладятъ любимыхъ дѣтей.

— Свътлая головка, сказалъ онъ, любуясь впрочемъ не собственно головкой, а хорошенькимъ личикомъ дъвушки, — уминца моя! Ты права, — трупъ страшенъ и силенъ: если мы его испугаемся и не перешагиемъ черезъ него, если мы, «сочетаемся законнымъ бракомъ», мы можемъ или погубить себя или должны будемъ обманывать другъ друга. Твои чувства могутъ комиъ измъниться, ты можешь полюбить другаго...

Глаза дѣвушки сверкиули, и она положила обѣ руки на плечи Стожарова.

- Или ты встрётнию другое «слабое, хрупкое существо»—и это «хрупкое тёло» потянетъ тебя къ себъ, и ты захочешь «помочь» ему, сказала дъвушка съ разстановкой и глядя своими искристыми глазами въ глаза Стожарова. Руки его дъйствительно потянулись къ хрупкому тълу дъвушки и обвились вокругъ хрупкой таліп Вареньки. Спльное и кръпкое, вопреки законамъ физики, оббилось вокругъ слабаго и хрупкаго...
- Не думаю, сказалъ онъ, однако не ручаюсь за капризы моего ума и... тъла... Можетъ и потянетъ...

Хрупкая талья дёвушки выскользнула изъ сильныхъ рукъ Стожарова и руки ея соскользиули съ его плечъ.

— Во всякомъ случав, продолжалъ Стожаровъ, лучше обезпечить свободу открытаго отступленія, чвмъ прибъгать къ бъгству или обману. Связанные по рукамъ и по ногамъ закопнымъ бракомъ, мы, если надовдимъ другъ другу, не можемъ свободно разойдтись, потому

что намъ этого не позволятъ, и мы другъ друга задушимъ, конечно раньше задушитъ тотъ, кто меньше любитъ.

Дъвушка было приподнялась съ дивана, на которомъ сидъла, и снова опустилась на мъсто.

- Я все это передумала, сказала она грустно.
- И нашла, что я правъ?
- Правъ, хоть страшно въ этомъ сознаться... Нерасторжимость брака ведетъ за собою страшныя послъдствія—очень часто обманъ, и иногда доводитъ до ужасныхъ преступленій. Вотъ что страшно! Но и «гражданскій бракъ» звучитъ такъ пошло, такъ гадко... истаскали это слово, какъ истаскали нигилизмъ... Я знала одну барышиюворовку, буквально воровку, безграмотную и пошлую, которая, воруя сахаръ, воображала себя нигилисткой и чуть ли не тому же учила свою молоденькую кузину... Вотъ до чего можетъ истаскаться всякое понятіе, когда оно попадетъ въ узкія или грязныя головы... 0! какъ это тяжело! въ какое ужасное, безвыходное положеніе поставяли себя люди!..

Дъвушка въ какомъ-то страстномъ порывъ отчанья ломала руки и, припавъ головой къ столу, горько заплакала, такъ что все ея тъло судорожно вздрагивало.

Стожаровъ пораженъ былъ этимъ взрывомъ отчаянья. Онъ силился приподнять отъ стола голову девушки, но та продолжала илакать.

- Варя! дорогая моя... зачёмъ такое горе? говорилъ онъ испуганно, привлекая къ себё дёвушку; но та снова падала на столъ.
 - Гдт же выходъ? говорила она задыхаясь: гдт спасенье?
- Спасенье въ насъ самихъ, дятя мое дорогое, бъдненькое, утъшалъ ее Стожаровъ.
- Дитя... дитя! говорила навзрыдъ дъвушка; а наши... если они будутъ.

Она не могла договорить.

- Кто наши, милая?
- Дъти!.. точно оборвалось это слово въ груди дъвушки и вылетъло съ рыданьемъ.

Стожаровъ силой приподнялъ дъвушку за талью и какъ малень-каго ребенка прижалъ къ своей груди.

— Плачь тутъ, щепталъ онъ, целуя ея голову.

Дъвушка продолжала плакать, но какъ будто стихало ея страстное отчаянье и горе становилось менъе острымъ и жгучимъ.

- Трупъ... трупъ... говорила она всхлипывая, перешагнуть его можно, но уйдти отъ него нельзя... Онъ притинетъ къ себѣ назадъ холодными руками, онъ задушитъ... не насъ...
 - А кого же, другъ мой?
 - Дътей нашихъ... Твоихъ... моихъ... Чьи они будутъ?..
- Чьп они будуть? Наши: твои и мои. Фамилія ихъ будеть «Стожаровы-Бармитиновы.» И ты будещь Стожарова-Бармитинова, и я буду Стожаровъ-Бармитиновъ. Ты не потеряещь своей фамиліи— у тебя ее не отнимуть бракомъ... Это обидно для женщины... Жена съ честью носить фамилію своего мужа, и мужъ долженъ съ честью посить и хранить фамилію своей жены, фамилію той, которую онъ любить, которая дала ему счастье... Ионимаешь, Варя?

Дъвушка все еще не успоконвалась. Все тъло ел вздрагивало.

- Будеть, будеть, дитя мое, говориль Стожаровь, отирая ей слезы, какь это дёлають маленькимь дётамь.—Зачёмь такой взрывь отчаянья?
 - Я не могу... я разстроена...

Дѣвушка мало-по-малу оправлялась. Она сама припала головой къ груди Стожарова.

- Вотъ и говори, что это хрупкое тѣло не обаятельно, сказалъ опъ съ волненьемъ, что эта безпомощность и безсиліе не вызываютъ силу на жертвы: теперь, для твоего успокоенья, я готовъ дать мое грубое, сильное тѣло на истязанье... Это-то чувство побуждаетъ меня биться и за счастье русскаго народа, за голодиыхъ, слабыхъ, обиженныхъ...
 - Ты добрый... ты благородный, шептала дъвушка.

Въ съняхъ послышались торонливые шаги. Варенька рванулась отъ Стожарова.

- Зачтыть? Ты всегда развт такъ будещь стыдиться? спросиль опъ.
- Всегда... Я не могу... при другихъ...
- -- Даже если-бъ мы и обвънчались?
- Даже и тогда... всегда...

Дъвушка подвинулась на другой конецъ дивана и старалась опра-

виться; но лице ея не умѣло лгать, потому что никогда никого не обманывало.

— Ты права, сказалъ тихо Стожаровъ.

Въ дверяхъ показалась бъловолосая перпетуумъ мобиле. Изъ за нея выглядывала такая же бълокурая, растрепанная головка Куви Ногина.

- Ты что такъ поздно? Опять бѣжалъ? спросила Варенька, замѣтивъ своего ученика.
- Нътъ, не бъжалъ, Варвара Григорьевна, отвъчалъ мальчикъ, по обыкновенію тереби свой искомканный картузъ.
 - Что же случилось? спросила дъвушка снова.
 - Я... меня дъдушка... (Мальчикъ замялся).
 - Что, опять посѣкъ?
- Нътъ, дъдушка везетъ меня въ гимназію... лътомъ... на пароходъ...
 - Очень рада за тебя, сказала дъвушка.
- Дъдушка говоритъ, что купитъ мнъ столько книгъ, сколько я подниму... А я, Варвара Григорьевна, подниму цълый пудъ...

Восторгъ и торопливость мъщали мальчику говорить. Онъ былъ весь красный.

- Скажи дёдушкё, что я очень рада, проговорила дёвушка, глядя на Стожарова, который ласково улыбался мальчику.—Прощай.
- Прощайте... Я скажу дъдушит, что Варвара Григорьевна очень рада...

Съ этими словами мальчитъ выскользнулъ въ дверь. Слышно было какъ онъ, сбътая съ крыльца, говорилъ торопливо: «Савельичъ! а Савельичъ! Варвара Григорьевна очень рада, что меня отдаютъ въ гимназію»...

Перпетуумъ мобиле, между тъмъ, прошмыгнула по всъмъ комнатамъ, нигдъ не останавливаясь, дотронулась до нъкоторыхъ предметовъ, мебели, вещицъ, нъкоторыя переставила съ мъста на мъсто, звякнула чайными чашками, пошуршала какими-то бумагами, снова прошмыгнула, раза два зацъпилась, раза три стукнула, повертълась на мъстъ и остановилась на секунду передъ своей госпожой, по видимому готовая снова куда-то бъжать, стучать, зацъпляться, шуршать, звякать и вертъться.

 Гдѣ прикажете постелить барину? спросила она впоныхахъ, какъ бы ей нужно было бѣжать куда либо сломя голову.

Варенька посмотрвла на Стожарова, не зная что отвъчать.

- Мит все равно—я могу лечь даже на дворт, въ кухит, подъ заборомъ. Я вездт буду хорошо спать, сказалъ Стожаровъ улы бансь.
- Нѣтъ, нѣтъ! поторопилась Варецька, вы ляжете въ гостипой, тамъ широкій и длинный диванъ. — Постели тамъ, Перпетинька.
- Напрасно... Я могу спать на гвоздяхъ какъ Рахметовъ, замътняъ Стожаровъ.

Перпетуумъ мобиле бросилась въ гостиную и завозилась тамъ словно во времи пожара. Потомъ она стремглавъ понеслась въ спальню барыни, пошумѣла и повозилась тамъ, сбѣгала разъ пять въ кухню, раза три въ темпотѣ, въ сѣняхъ, палетала на дверь, снова вихремъ проносилась черезъ компаты, и наконецъ, затворивъ зальную дверь, улеглась въ крошечной передней, и тотчасъ же заснула.

Скоро разошлясь по своимъ комнатамъ Варенька и Стожаровъ. Хотя диванъ въ гостиной былъ очень широкъ и длиненъ, однако Стожарову казался онъ хуже Рахметова ложа, потому что сонъ упорно отказывался закрыть усталые глаза Стожарова. Онъ впрочемъ долго читалъ, хотя чтеніе мало его запимало въ эту ночь. Его мучила безотвязная мысль: въ состояніи ли перенести Варенька ту суровую жизнь, которая ожидала ее въ Оболоньъ, и имѣлъ ли онъ право закабалить дъвушку въ свое захолуст. ное царство потому только, что девушка его любила. А если она разлюбить его, если опротивьеть ей та аскетическая жизнь, которая ей готовилась, и въчная возня съ крестьянскими дътьми, которыхъ Стожаровъ намфревался воспитать въ идеальныхъ гражданъ идеальной общины? Что станется съ ихъ собственными дътьми, которыя вёроятно будуть у нихъ и которыя не могуть быть ни Стожаровыми, пи Бармитиновыми, потому что не получать правъ состоянія?.. Онъ видъль передъ собой тоть страшный трупъ, черезъ который слёдовало переступить, и трупъ этотъ выросталь въ гору, и черезъ эту гору не было никакихъ человъческихъ силъ перебраться... Нътъ, отъ прошлаго не легко отрываться: отвернуться отъ него нельзя, потому что оно столько же прошедшее, сколько на-

стоящее и-что еще ужасите -- оно и будущее держить въ своихъ когтяхъ... За себя Стожаровъ не боялся: онъ застраховаль себя отъ всёхъ постороннихъ вліяній, отъ трупа, труса, огня и меча. А Варенька? Достанетъ ли у нея стойкости? Не вспомнитъ ли она, впоследствін, техъ пошлыхъ приманокъ света, на которыя такъ падви всв женщины, даже порядочныя, и не потянеть ли ее въ этотъ свътъ, гдъ для женщины такъ обаятельна вся его киргизская обстановка — визиты, танцы, глазки да лапки, унижающій человіка успъхъ въ этомъ киргизскомъ свътъ и растивнающее мозгъ и тъло ничегонедъланье свътскихъ кретиновъ и кретинокъ?.. И вотъ ему чудится, что онъ уже видитъ свою Вареньку въ киргизской кибиткъ — въ свътской гостиной, и Варенька, по обычаю всъхъ киргизокъ, оголена на столько, на сколько нужно для-возбужденія киргиза, и болтаетъ она по киргизски о предметахъ, могущихъ интересовать только киргизовъ, и подходять къ ней киргизы и по киргизски любезничають съ нею, и потомъ киргизы и киргизки смѣшиваются, кружатся какъ хлысты около чана съ водой и какъ хлыстовки съ голыми плечами и грудями прыгаютъ киргизки, а киргизы хватаютъ ихъ за талію, за руки, и плящутъ они какъ дикари около костра, а киргизски поютъ: «пляшу, плящу, самца прошу».... И слышится Стожарову запахъ трупа.... Киргизы и хлысты смѣшались — у нихъ одно вѣроисповѣданіе, одни традиціи, они всё дети того же трупа.... И видить онъ въ стороне бивдное лице, какія бывають только у истязаемыхъ, и лице ему это знакомо, потому что опъ видель это лице въ гробу... Да, это оно, это лице Добролюбова... Какъ онъ попалъ въ кпргизскую кибитку? Что вызвало его изъ гроба?.. Безумные! говоритъ это блъдное, истомленное страданіемъ лице: «Зачъмъ вы останавливаете движеніе человіческой мысли? Зачімь вы зацерживаете работу лучшихь людей? Не для васъ ли они проводять безсонныя ночи, отказываясь отъ собственнаго счастья, отъ сытнаго куска хлъба? А вы что дълаете? Вы продолжаете тупо смотръть на свой позоръ, на свое безобразіе, которое не кажется вамъ безобразіемъ потому, что вамъ позволяють любезничать съ киргизами? Гдё же ваша честь, гдё вашъ умъ?... Зачёмъ вы живете, жалкіе, безполезные киргизы? Уступайте мъсто новымъ поколъніямъ и не дотрогивайтесь до нихъ вашими

грязными руками... Ваше темное царство кончается: вы плящете вт одеждё мертвыхъ, и не слышите какъ стучатъ подъ бальпую музыку ваши пересохшія подъ саванами кости... Но вы смертью не разділаетесь съ землею: васъ оповоритъ исторія, будущее поколініе за то, что вы лучшихъ ея людей замучили вашей тупостью, вогнали въ гробъ вашимъ равнодушіемъ». Добролюбовъ закашлялся — и кашель былъ такой тяжелый, надрывающій сердце...

Стожаровъ проспулся и сталъ прислушиваться. Надрывающій сердне кашель продолжался гдъ-то въ стороиъ... Неужели это все еще кашель Добролюбова?.. Нѣтъ, это не сопъ, это дъйствительность, и едва ли дъйствительность эта не сграните самого сна. Это кашляла Варенька, и такимъ странинымъ, опаснымъ кашлемъ.

Стожаровъ вскочилъ съ постели, наскоро одёлся и вышелъ изъ своей спальни. Въ темнотъ онъ добрался до двери, за которой слышался болъзненный кашель дъвушки, и не зналъ что ему дълать. Онъ хотълъ тихонько постучать въ дверь, но руки его такъ дрожали, что онъ сначала не ръшился на это. Онъ слышалъ какъ будто ускоренные шаги за собою—это стучало его собственное сердце.

Кашель смолкъ. Стожарову слышалось только какъ стучало его серцце. Слышалось ему еще что-то вродъ слабаго, болъзненнаго сто-на за дверью. Наконецъ, воля пересилила испугъ и дрожанье рукъ, и Стожаровъ тихонько постучался въ дверь спальни, и почему-то ему тотчасъ представилось съ ужасомъ, что онъ стучится въ гробовую доску.

- Кто тамъ? послышался слабый голосъ изъ спальни.

Стожаровъ не узналъ этого голоса, хоти ужасъ его говорилъ ему, что онъ знаетъ чей это голосъ.

— Это я, сказалъ онъ вздрагивая и тёломъ и голосомъ. — Могу я войдти къ вамъ?

Отвътъ замедлился.

- Ты больна? спросиль онъ снова, и безсознательно ломаль свои руки съ такою силою, что если-бъ это были менъе кръпкія руки, то онъ передомиль бы пхъ кости.
 - Ничего... Войди, послышался тотъ же голосъ.

Стожаровъ дрожащею рукой пріотворилъ дверь и остановился. Опъ почувствовалъ во всемъ своемъ тѣлѣ такую встряску, что готовъ былъ

упасть. Но онъ не упаль—встряска была слабъе его. Въ спальни горъла свъча. У постели, въ глубокомъ креслъ, сидъла Варенька, вся въ бъломъ, точно въ саванъ — въ бълой ночной блузъ и бъломъ спальномъ чепцъ... «Саванъ, саванъ», застучало въ сердцъ у Стожарова, но этотъ стукъ сердца былъ слабъ, чтобы повалить на землю все тъло Стожарова. Онъ удержался на погахъ, только схватился за то мъсто, гдъ стучало сердце.

Варенька глядёла на него съ улыбкой, съ такою кроткою, ти-хою, ласковою, по за то съ такою слабою.

— Неприлично мужчинѣ входить въ спальню дѣвушки, сказала Варенька съ тою же кроткою и слабою улыбкою.

Стожаровъ автоматически подошелъ къ ней и автоматически, тихо опустился передъ ней на колѣни, съ смутною мыслью, что ему падо поближе увидѣть лице дѣвушки. Она протянула къ нему руки. Онъ взялъ ихъ—руки были холодны.

- Что съ тобой, дитя мое? спросилъ онъ, чувствуя, что слезы подступаютъ не къ глазамъ, а какъ будто къ горлу, и душатъ его.
 - Ничего... Кашель.

Нечаянно глаза его упали на бълыя широкія завязки чепчика Вареньки, — и онъ весь задрожалъ. На одной лентъ онъ увидълъ свъжее пятно крови... Голова его какъ будто похолодъла и волосы на ней зашевелились... Это былъ моментъ, въ который съдъютъ волосы даже на самой молодой головъ... Онъ какъ будто слышалъ, что и его волосы съдъютъ, поднимаясь одинъ за другимъ.

Варенька тоже замътпла кровь на лентъ и быстро, дрожащими руками, сбросила съ себя чепчикъ. Стожаровъ чувствовалъ, что и его руки холодъютъ. Онъ готовъ былъ вскрикнуть, но боялся своего собственнаго голоса, и молчалъ, — только зрачки его глазъ расширились и были неподвижны какъ у умирающаго.

- Милый!.. не бойся.... это кашель, говорила Варенька, нагибаясь къ нему и обхватывая его голову.
- А кровь... неужели такъ далеко зашло? бормоталъ онъ какъ бы безсознательно.
 - Нътъ, пътъ... это ничего, утъщала его дъвушка.
 Стожаровъ откинулся назадъ и глядълъ ей въ лице все еще съ

какимъ-то оцепенениемъ въ чертахъ и съ оцепенениемъ во всемъ телъ.

 Неужели поздпо? шепталъ опъ, какъ бы боясь, чтобы его не услышали.

Варенька снова закашляла и схватплась объими руками за грудь. Стожаровъ какъ помѣшанный и съ ужасомъ оглядывался не зная что ему дѣлать, гдѣ искать спасенья. Дѣвушка принодиялась съ кресла, сдѣлала шагъ къ постели и остановилась: преднествовавній припадокъ кашля но видимому обезсилилъ ее. Тутъ только Стожаровъ понялъ что ему дѣлать: онъ взялъ дѣвушку на руки и какъ маленькаго ребенка понесъ къ постели. Онъ уложилъ ее, поправилъ подушки, бережно разулъ ее и прикрылъ легкимъ одѣяломъ. Дѣвушъка перестала кашлять и съ любовью глядѣла на Стожарова.

 Какая у меня няня мидая, говорняя она съ слабою улыбкою. — Подойди ко миж, нагипсь...

Стожаровъ подошелъ и пригнулся къ блёдному лицу дёвушки. Двё слезы упали на это лице.

— Какъ стыдно... Мужчина плачетъ... милый мой!

Стожаровъ осторожно поправилъ ей волосы, которые, безъ чепца, разсыпались по подушкъ, приложилъ руку къ головъ дъвушки, пощупалъ пульсъ, и что-то обдумывалъ.

Сядь поближе ко мнъ, чтобъ я тебя видъла... Вотъ такъ...
 дай руку.

Стожаровъ сълъ у ногъ дъвушки, взялъ ее за руку и молчалъ.

- Ты что же такой хмурый? спросила Варенька ласково.
- Я боюсь утомить тебя ты такъ ослабила, отвичаль опъ; лучше усни если можещь, а я посижу около тебя.

Дѣвушка дѣйствительно очень ослабѣла и скоро закрыла глаза. Ей было такъ покойно на сердиѣ, такъ пріятно было сознавать, что она не одна, что сонъ ея оберегаетъ что-то доброе, любящее, сильное. Ей казалось, что воротилось ея безмятежное, хотя безсмысленное дѣтство — и годы борьбы съ жизнью, годы сомиѣній, ожиданій, все это отошло далеко, далеко, и впереди всѣхъ картинъ прошлаго выступало суровое, но доброе и ласковое лице Стожарова.

Дѣвушка заснула, а Стожаровъ все сидѣлъ около нея, опустивъ голову и по временамъ взглядывая на блѣдное кроткое, съ зловѣщимъ румянцемъ на щекахъ лице Вареньки. И отдавались въ ушахъ у него чым-то суровыя слова: «Проклятые! проклятые! проклятые»! Посмотрите что надълало ваше тупое равнодушіе, ваша преступная глупость. Зачёмъ вы убиваете лучшихъ людей? Зачёмъ вы ее убили, когла она съ васъ же хотъла снять позоръ, поднявъ на свои плечи то, что вы всё должны были поднять, и сломилась подъ тяжестью ноши? А вы что дълали, жалкіе, преступные идіоты и идіотки? Вы наряжались, выбъжали, плясали и любезничали съ киргизами, полобно паразитамъ, уничтожая результаты труда лучшихъ людей, подтачивая подъ корень ихъ святое, велякое дело. Когда же вы опомнитесь, когда покаетесь, поумниете, когда вы ноймете что вамъ двлать, чтобъ только не погибало изъ-за васъ то что есть лучшаго на землъ? Опомнитесь, одумайтесь! Вы слишкомъ низко упали, чтобъ можно было упасть еще ниже.... Вы умъете думать — и думаете только о томъ, что унижаетъ человъка... Вы умъете читать и во всёхъ книгахъ читаете только о своемъ безвозвратномъ позорѣ, о ващемъ глубочейшемъ наденіи, и вы не понимаете даже, что это объ васт пишется, и вамъ не стыдно читать о вашей собственной гиусности... Поймите же, что это объ васъ говорится, объ васъ, безполезно живущихъ на землъ и ничего не прибавляющихъ къ работъ лучшихъ людей человъчества... Вы не умъете краснъть отъ стыда, вы такъ низко упали, что васъ не оскорбляютъ даже пощечины, которыя публично даютъ вамъ въ книгахъ, на театральныхъ подмосткахъ, съ професорскихъ канедръ... И вы живете, вы не умираете, а умираетъ она, которая взяла на себя вашъ трудъ, которая хотъла закрыть вашъ глубокій позоръ... Такъ умирайте вы, а лучшіе люди, мученики мысли и труда, пусть живутъ... Прочь съ земли все безполезное, останавливающее работу мысли человъческой! Прочь! скройтесь съ глазъ честныхъ людей! Вы не замажете ни бълилами, ни румянами следа публичныхъ пощечинъ на вашихъ щекахъвашъ позоръ проглядываетъ въ васъ, какъ въ глазахъ падшей, глубоко падшей женщины и проглядываетъ позоръ ея безвозвратнаго папенія»...

Въ такихъ безотрадныхъ мысляхъ утро застало Стожарова у постели Вареньки Бармитиновой

XXXI.

Поздно проспулась Варенька послѣ этой мучительной ночи, и первый, кого она увидѣла въ своей спальни, былъ Стожаровъ. Его нельзя было узнать — такъ онъ нохудѣлъ и постарѣлъ за эту почь, прислушиваясь къ тихому дыханью спящей и снова переживая всю свою жизнь, изъ которой его собственная упрямая воля исключила всѣ радости и изъ которой теперь, казалось, сама эта неумолимая жизнь, сама старуха Ананке, которой онъ не вѣрнлъ, грубо вычеркивала его единственную и послѣднюю радость.

Стремительно рванулась къ нему дѣвушка, увидѣвъ блѣдное, почернѣвшее лице Стожарова; но онъ тихо остановиль ее, боясь, чтобы не было для нея убійственнымъ всякое правственное потрясеніе. Какъ и прежде, онъ бережно взяль ее на руки словно пятилѣтияго ребенка и осторожно положилъ на постель, закутавъ въ одѣяло ея похолодѣвшія ноги. Какъ съ хрупкимъ фарфоромъ обращался онъ съ этимъ непрочнымъ тѣломъ, боясь раздавить въ своихъ жесткихъ сильныхъ рукахъ дорогую ношу, и когда Варенька, уложенная имъ въ постель, обвилась было вокругъ его загорѣлой толстой шеи, онъ бережно отнялъ отъ себя бѣлыя и слабыя руки дѣвушки, и велѣлъ ей лежать смирно, пока онъ не посовѣтуется съ докторомъ.

Разспросивъ ее обстоятельно о пачалѣ и ходѣ болѣзни и, попросивъ Кузьминишну не отходить отъ барышии (перпетуумъ мобиле онъ боялся поручить уходъ за больной, чтобы вертлявая горпичная не утомила ее своимъ метаньемъ и хлопаньемъ), Стожаровъ отправился въ домъ Канадѣевыхъ, чтобы посовѣтоваться съ Карамановымъ насчетъ здоровья Вареньки. Карамановъ, работавшій и въ университетѣ и въ медвиниской академіи за десятерыхъ, имѣлъ еще въ Петербургѣ репутацію хорощаго доктора и отличнаго діагноста, а вольной практикой послѣднихъ лѣтъ увеличилъ свои знанія.

Стожарова провели въ комнату Дмитрія, гдѣ былъ и Карамановъ. Вслѣдъ за Стожаровымъ вошла и Марина, съ которой онъ уже былъ знакомъ послѣ встрѣчи у Вареньки. При взглядѣ на Дмитрія онъ вспоминлъ, что видѣлъ его въ домѣ умалишенныхъ, когда тотъ разсказывалъ ему о своихъ полетахъ падъ землею, о повѣшенномъ юноштѣ, и просилъ его выпустить на свободу. Дмитрій по видимому узналъ Стожарова, но только не могъ припомнить гдѣ и когда видѣлъ его.

Искаженное лице Стожарова не могло не поразить Караманова. Марина также замътила въ немъ печальную перемъну.

- Что случилось? спросилъ Карамановъ безъ всякаго предисловія.
- Случилось то что вы предвидёли вашимъ дьявольскимъ, безжалостнымъ умомъ, какъ бы простоналъ Стожаровъ, опускаясь на близстоящій стулъ.

Марина съ недоумъніемъ и страхомъ посмотръла и на того и на другаго. Особенно зловъщею казалась ей страшная голова Караманова.

- Что, върно старуха Ананке втирается въ вашу жизнь? спросилъ онъ тихо, какъ бы кусая собесъдника своими холодными глазами.
 - Да .. Пойдемте сейчасъ ко мнъ...

Торопливый голосъ его дрожалъ. Карамановъ понялъ, что что то очень острое и сильнее надръзало этотъ голосъ, потому что такого человъка какъ Стожаровъ можно было пришибить только очень здоровымъ обухомъ. А Дмитрій все вглядывался въ него и старался припомнить гдѣ видълъ его; но не могъ.

- Значитъ и вы не все математически расчитали... Нашлась и у васъ Ахиллова пятка, только подъ лѣвымъ подреберьемъ... жаль мнѣ васъ, сказалъ Карамановъ, и въ голосѣ его дрогнуло что-то вродѣ чувства.
- Довольно объ этомъ! Надо спасать ее... Спасите мнѣ ее, говорилъ Стожаровъ порывисто, и, взявъ Караманова за руку, приподнялъ его со стула.

Карамановъ всталъ. За нимъ встали и Канадъевы. Карамановъ торопливо собрался. Грубое лице его освътилось какою-то силой. Вдругъ Марина бросилась къ Стожарову и, ломая руки, проговорила шопотомъ испуга: «Ради Бога! кого спасать?.. Вареньку?..

Стожаровъ молча опустилъ голову. Эта сильная точеная голова какъ бы не держалась на плечахъ.

 Спасите ее! спасите ее! съ тъмъ же испуганнымъ, сдержаннымъ крикомъ бросилась Марина къ Караманову и хватала его за руку. — Я пойду съ вами... Я хочу ее видъть... Карамановъ! спасите ее! Всятдъ затъмъ всъ они вчетверомъ отправились въ квартиру Вареньки. Карамановъ молчаль — и всъ молчали. Всъ какъ будто инстинктивно сознавали, что тутъ нужна его сила — и всъ невольно подчинялись ему. Марина взглядывала иногда на его безстрастное лице и силилась разгадать что думастъ онъ, зачъмъ брови его иногда какъ бы вскидываются къ щетинистымъ волосамъ, нотомъ углы губъ злобно опускаются, а за ними опускаются и черныя брови. «Откуда же въ немъ эта сила, передъ которой всъ склоняются?» думала Марина, и въ сердцъ ел творилось что-то неладное.

Стожаровъ провелъ Караманова прямо въ спальную Вареньки. Марина и Дмитрій остались въ другой комнатѣ. Но вскорѣ изъ снальни вышелъ и Стожаровъ, еще болѣе блѣдный и разтроганный. Опъ сѣлъ на стулъ и ехватился руками за голову.

- Что? спросила Маркиа шопотомъ.
- Онъ выслалъ меня... Онъ за нее и за меня бонтся... За меня? (II Стожаровъ рванулся было къ двери, но остановился).

Долго тяпулось томительное ожиданіе, точно всёмъ въ той закрытой компате готовился смертный приговоръ. Всё молчали, только Дмитрій вногда что то шенталь про себя и проводиль рукою по своему блёдному, широкому лбу. Марин'в невыразимо было жаль Стожарова. Она хотёла подойдтя къ нему, утённить его; по силь не хватало.

Наконецъ Карамановъ вышелъ изъ спальни. Темное лице его казалось еще болѣе темнымъ. Стожаровъ бросился въ нему и... Марина вздрогнула!.. Стожаровъ стоялъ на колѣняхъ передъ Карамановымъ и цѣловалъ его руку... Глаза Караманова пи на кого не глядѣли, но Марина разомъ замѣтила, что иѣтъ въ нихъ того холода, какимъ они всегда отдявали, а было что-то теплое, мягкое, грустное.

— Вы спасете ee? какими-то жгучими звуками проговориль Стожаровъ.

Карамановъ поднялъ его, но ничего не говорилъ.

— Въдь еще не поздио? падрывалась грудь Стожарова.

Марина взглянула въ глаза Караманова и почувствовала, что дыханіе ея захватываетъ. Холодные глаза Караманова... плакалв!..

Поздно, произнесъ Карамановъ хринло, точно у него въ горят пересохло.

Словно снъгомъ сыпнуло на встхъ отъ этого одного слова... «Поздно!...» Стожаровъ снова рванулся было къ двери спальни, но Карамановъ схватилъ его своими тонкими, хотя загрубъльми ружами, и словно желъзными клещами приковалъ къ мъсту.

- Что вы!.. Добить ее хотите... Дайте ей еще пожить посмотръть на васъ передъ смертью, говориять онъ хриплымъ шонотомъ.
- Вы лжете!... Лжетъ ваша наука... лгутъ ваши знанія, шипълъ Стожаровъ, напрасно силясь вырваться изъ желъзныхъ рукъ Караманова.—Я спасу ее!
- Бъдный! бъдный! говорилъ Карамановъ и плакалъ... по темному лицу его катились сдезы.

Стожаровъ началъ умолять молодаго доктора, чтобъ тотъ пустилъ его къ больной. Потомъ снова метался въ какомъ-то бъщенствъ. Но Карамановъ не пускалъ его.

- Я не позволю добивать ее такъ скоро, говорилъ Карамановъ все тёмъ же сильнымъ шопотомъ; —лучше васъ добью сразу вашимъ горемъ... скоръе встанете... Зачёмъ тянуть ваши муки? Ничто не спасетъ ее: у нея чахотка...
 - Я зналъ это самъ... но она излечима...
- Нѣтъ... это галопирующая... во весь опоръ несется къ смерти... Не толкайте въ могилу бъдную дѣвушку!
- -- Га! я васъ туда столкну, если вы ее...

Стожаровъ не докончилъ безумной угрозы... Онъ снова упалъ на колъни и цъловалъ руки Караманову. Марина и Дмитрій такими же умоляющими глазами смотръли въ темное лице и въ заплаканные глаза молодаго человъка, какъ будто въ этихъ глазахъ, по ихъ собственному произволу, могла заключаться и жизнь и смерть Бармитиновой.

 Скажите! она не умретъ! умолялъ несчастный, и гордая голова его валилась къ ногамъ Караманова.

Тотъ силился приподнять его... «Бъдный! горе сильнъе его», говорилъ онъ безнадежно... А точеная голова все валялась на полу, все не поднималась отъ ногъ Караманова.

Вдругъ Маряна и Дмитрій отступили назадъ въ какомъ-то нѣмомъ ужасъ. Въ дверяхъ показалась больная. Она была въ бѣломъ капоть съ наброшенною на плечи шалью. Неподобранные и незавитые волосы разсынались по плечамъ. Она была блъдите, чъмъ накапунт этого дия, по румянецъ на бълыхъ щекахъ и добрая улыбка придавали лицу ей столько красоты, что Марина чуть не вскрикиула, увидъвъ свою любимицу. Но ин Карамановъ, ин Стожаровъ не видъли ее.

Сцена, которую застала Варенька, сильно смутила се. Она тоже отступила назадъ. Но когда обратилось къ ней темное, заплаканное лице Караманова и блёдное, искаженное лице Стожарова подпилось отъ полу, она поилла страшный смыслъ нёмой драмы, и съ камимъто груднымъ, глухимъ, перехваченнымъ въ горлё крикомъ обвилась около шен Стожарова. Стожаровъ дрогнулъ всёмъ тёломъ, по твер до подиялся съ полу и подиялъ съ собой на рукахъ дёвушку. Карамановъ, Дмитрій и Марина безмольно глядъли на нихъ, боясь шевельнуться.

Карамановъ раньше другихъ пришелъ въ себя, п, приблизившись къ Стожарову, спокойно и какъ бы шутя сказалъ ему: «будетъ вамъ! Поставьте ее на полъ... Это, наконецъ, не прилично обниматься при посторониихъ».

Варенька еще крѣпче обвилась вокругъ шен Стожарова. Стожаровъ еще остороживе и ивживе сталъ поддерживать ее, не давая ей коснуться ногами пола.

Сударыня, стыдпо, сказалъ шутя Карамановъ; — я вашъ докторъ — слушайтесь меня.

А у самого доктора, хотя онъ и старался шутить, въ горяв по видимому засъла пробка. Варенька черезъ плечо взглянула на него и улыбнулась.

- Пустите ее, настанвалъ Карамановъ, а иначе я силой отинму ее у васъ.
- Попробуйте... (Только и отвъчалъ Стожаровъ: опъ точно номъщался).

Марина, долго боровшаяся съ собой, наконецъ не оснанла себя и бросилась къ своей любимицъ. «Варя? Варюша милая! зачъмъ ты хвораешь? Развъ я не говорила тебъ, что надо лечитьса? Ты давно кашляешь... А ты все говорила, что это пустяки... Вонъ какая ты!»

Варенька быстро соскользнула на полъ съ рукъ Стожарова и об-

— Что съ тобой, дъвочка? говорила Бармитинова. — Я думала, что вотъ посыплется жемчугъ на серебряное блюдо, а она вонъ плачетъ... Перестань!

Марина всхлипывала. Карамановъ, вскинувъ глазами на Стожарова и Канадъева, тихо сказалъ: «Будъте умнъе», — и вышелъ въ другую комнату. За нимъ вышелъ и Стожаровъ, видимо пошатываль. Варснька, замътивъ Канадъева, дружески протянула ему руку. Тотъ схватилъ ее и не выпускалъ изъ своихъ руку: почему-то страшно ему было выпустить руку этой дъвушки, потому что въ своемъ болъзненио впечатлительномъ умъ онъ уже... считалъ ея дни... «разъ... два... десятъ... двадцатъ»... онъ уже видитъ ее въ гробу... хоронилъ ее... слышалъ какъ шуршитъ подъ гробомъ полотно, на которомъ спускаютъ гробъ въ могилу... слышалъ звуки падающихъ на крышку гроба комьей варгупинской черной земли... а въ гробу видълъ это бълое, прекрасное лице дъвушки...

- Вы счастливы, я думаю, прівздомъ вашего друга, говорила Варенька, не вынимая своей руки изъ руки Дмитрія.
 - Да, я радъ, отвъчалъ тотъ машинально.
 - Какая оригинальная голова, продолжала Варенька.
- Онъ страшный.... я боюсь его, Варя, сказала Марина, дъйствительно вздрагивая при воспоминаньи о Карамановъ, о его темномъ лицъ, о его жесткихъ словахъ.
- А коли боишься, такъ полюбишь, замѣтила Варенька шутливо; онъ умница... своими стекляными глазами онъ читалъ меня насквозь, и—въ четверть часа прочелъ отъ доски до доски.
- И меня прочелъ, Варя... говоритъ: я дура... красивый випсекъ съ пустъйшимъ содержаніемъ и глупъйшимъ текстомъ.

Варенька тихо улыбнулась на это, а у Марины большіе глаза заискрились не то влагой слезъ, не то блескомъ обиднаго огня. Она какъ бы инстинктивно сознавала, что чувства ея къ Караманову становятся опасными, чъмъ-то вродъ неосторожной ходьбы по обрыву пропасти... Голова кружится, ноги дрожатъ отъ ужаса, а заглянуть въ пропасть такъ и тяпетъ, такъ и тянетъ... Она не знала что съ ней — любитъ она его или ненавидитъ... Да, ненавидитъ, раздражительно ненавидитъ! А за что? За обиду самолюбію? но это пошло... За его злобу, за его темное лице, за его щетинистые волосы, за его ледяные глаза? .. Но это темное лице свътилось слезами о Варенькъ, эти ледяные глаза плакали теплыми слезами участія... Иътъ, она пенавидитъ его за тотъ страхъ, который онъ ей вселяетъ...

XXXII.

Страшиан чахотка дъйствительно «галопировала» съ своей жертвой и стремительно приближала ее къ могияъ... Въ заволжскихъ Варгунахъ такъ много свободныхъ земель, варгунинскій выгонъ такъ общиренъ—есть гдѣ вырыть могилу бѣдной дѣвушкѣ, есть гдѣ лечь на свободѣ молодому тѣлу, молодымъ костямъ...

И варгунинскимъ дьячкамъ, что пачкали заборы въ квартиръ стриженой учительницы, будетъ раздолье: они будутъ читать по мертвой учительницъ, получатъ за это рубли и полтины, будутъ ъсть сладкую кутью на ея похоронахъ и запивать виномъ да медомъ.

И литературнымъ понамарямъ, звонарямъ, дьячкамъ, дьяконамъ и попамъ раздолье: напишутъ деготькомъ на литературныхъ заборахъ, что вотъ-де не соваться бы женщинъ не въ свое дъло, не искать труда, а знать бы только свою спальную да отъ въка ей предназначенное исканіе самцовъ, а затъмъ — рожденіс, кормленіе и правственное уродованіе дътей...

Галопируетъ чахотка къ варгунинскому выгону, быстро галопируетъ...

Варенька давно кашляла... А кому какое дёло, что Варенька кашляла?.. Вонъ и родовитый Аркадій Стенановичъ кашляетъ: много пилъ на своемъ вёку, донился до водяной—и кашляетъ, глухо кашляетъ... Вонъ и Соничка Валеткина кашляетъ: много плясала съ дётства, сильно перетягивала свое безполезное тёло, слишкомъ много ничего не дёлала, слишкомъ много выёзжала, такъ что изъёздила свой послёдній умишко, слишкомъ много и слишкомъ многихъ любила,— пу, кашляетъ, звоико, и рёзко кашляетъ... Вонъ и петаскавшійся Вася

Паскуда кашляетъ.... Отчего-жъ Варенкѣ не кашлять?.. не надрываться бы столбовой дворянкѣ надъ ученьемъ мужичатъ, надо бы было выйдти за гвардейца, конь котораго умиѣе сѣдока—тогда бы пе кашляли...

Лежитъ на бълой постелькъ тънь Вареньки, и сидитъ у бълой постельки тънь Стожарова... Дии и ночи идутъ, и такъ скоро проходятъ, а тънямъ пътъ сна, нътъ успскоенья... Мертвенно блъдная ручка Вареньки свъсилась съ постельки, и голубыя жилки пе наливаются кровью, а заливается кровью лишь сердце Стожарова, заливаются слезами глаза его запавшіе, обезувъченные муками безсонныхъ ночей...

Тънь Вареньки улыбается благодарною улыбкою: въдь у Вареньки все есть что она любила и что ее любило... А на крыльцъ сидитъ Кузя Ногинъ и горько плачетъ—не радуетъ его перспектива гимназіи, не радуетъ его цълый пудъ книгъ, и десятичныя дроби кажутся ему теперь ничъмъ не выше и не важнъе персидскихъ войнъ и отца Ганнибала.... И дъдушка Ногинъ часто приходитъ къ земскому училищу и справляется что «наша благодътельница»? —А благодътельница лежитъ въ своей постелькъ, бълыя рученки раскидала, ясными глазыньками на своего мила друга смотритъ... И понуро ходятъ земскіе ученики подъ окнами своей учительницы... «Слышишь, Ряполовъ, это она кашляетъ»... Да, это дъйствительно она кашляетъ, пока еще не засыпанъ этотъ кашляющій ротикъ заволжскимъ тучнымъ черноземомъ.

А въ сердце Марины уже демонъ поселился, демонъ темноликій, щетинистоволосый, холодноглазый, и боится она этого демона, и какъ тънь ходитъ по пятамъ его.... Тамъ смерть стучится въ молодую грудь, а въ другую молодую грудь демонъ жизни забирается, чтобы и эту молодую жизнь скомкать, обезцвътить румяныя щечки, залить слезами огонь молодыхъ глазъ, изсосать, высушить страстью молодыя, упругія груди да подвести поближе къ краю могилы — не чужой, а Марининой.

И въ самому темноликому демону въ сердце затесался, — демонъ бълоликій, золотокосый, большеглазый... Эдакую врасоту выростила заволжская ширь! Эдакую силу обаятельную выкормили люди, съющіе пшеницу! Эдакую муку людямъ взделъяло поволжское сол-

нышко, вспоила сфроберегая, мутная Волга-матушка! И гнетъ эта сила упругую силу демона темполикаго, гнетъ какъ медвъдь дуги дубовыя... А кръпокъ демонъ темполикій, кръпче дуба матераго осокора жесткаго — не гнется, не ломится.... «Не такое мое дѣло, чтобы объ любвяхъ думать, на мечтанія да воздыханія время тратить.... Есть на это цълый легіонъ, что въ озеръ генисаретскомъ когда-то щетинку полоскалъ, а теперь по паркету шаркаетъ да любезности красавицамъ на ушко нахрюкиваетъ... А памъ некогда»!

Тихо бродитъ по компатамъ перпетуумъ мобиле — не звякиетъ, не грохиетъ, ни за что не зацъпитъ, ничего не уронитъ, и все прислушивается не позоветъ ли ее барышия красавица. А барышия красавица не зоветъ ее, никого не зоветъ. Лежитъ барышия тихо въ постелькъ своей, и кашляетъ по временамъ ея грудка бълая, надсацившаяся, и хватается перпетуумъ мобиле за свою грудь, точно у нея самой въ молодой груди здоровое сердце отрывается. А на улицъ бълоглазыя галки не въ пору раскричалися — и перпетуумъ мобиле тихонько подходитъ къ окиу и сердито грозитъ имъ своимъ кулакомъ, чтобъ не кричали, барышиъ красавицъ спать бы не мъщали.

Карамановъ часто посъщаетъ свою паціентку. Онъ хотъль бы обмануть и себя и другихъ; но онъ не умъстъ обманывать ни себя ни другихъ—никого въ жизни не обманывалъ.

- Нѣтъ надежды? спрашиваетъ Марина, боясь чтобы слезы не брызнули изъ ея большихъ глазъ.
- Есть надежда, отвъчалъ Карамановъ глухо: скоро перестапетъ страдать.

Марина закрываетъ лице руками, а сквозь пальцы капаютъ слезы. Карамановъ не закрываетъ своего лица руками — свищовыя слезы капаютъ ему внутрь, на сердце.

- Увядаетъ и отрывается отъ стебля лучшій цвѣтокъ, говоритъ онъ...—Дорогой алмазъ брошенъ въ огонь—и пропалъ, а виновныхъ никто не накажетъ.
- А кто виновные! спрашиваетъ Марина, отрывая руки отъ лица.

[—] Вы всъ.

- Мы? а не вы?
- Вы! (камнемъ падаетъ это слово Караманова на сердце Марины). Вы, только вы! Каждый за себя долженъ отвъчать передъ судомъ исторія не пастоящей исторіи, а будущей. Настоящая то исторія похожа не на судью, а на бывшаго кръпостнаго, которому боязно сказать правду про господъ. Мы будемъ отвъчать за себя, а вы, женщины, за себя. Вы слишкомъ много унизили достоинство человъка. Вы думали больше о своей красотъ, а не о дълъ. Вы всего ждали отъ ума и труда мужчины любуйтесь же трудами вашихъ рукъ! Поздно вздумали вы приняться за дъло: вы не добились ни равноправности съ мужчиной, ни свободы труда, ни свободы дъйствій. Ваши школы жалки. У васъ нътъ высшихъ учебныхъ заведеній, у васъ нътъ университетовъ. А мы этого давно добились для себя. А вы добьетесь ли?
- Добьемся, возражаетъ Марина, и глаза ен испрятся блескомъ силы.
- А пока добьетесь тысячи лучшихъ женщинъ зачахнутъ въ борьбъ съ обстоятельствами какъ зачахла Бармитинова. И она не одна. Мужчинъ легче стать человъкомъ, чъмъ женщинъ. Мужчина съ дътства готовится быть дъятелемъ, а вы, въ массъ, даже учиться не хотите. Выбиваются изъ васъ крупныя единицы какъ Бармитинова; но имъ не легко подняться высоко. Не подготовленныя съ дътства, съ отрочества, эти единицы должны сами, уже въ позднихъ лътахъ, брать съ бою университетскую науку. Ну, или со срамомъ отступаютъ, мъняютъ дипломъ на серьги да на собачьи ожерелья, или надламливаются.
 - Но намъ не даютъ университета, говоритъ Марина.
- Не дають! Возьмите сами.... Увидять, что вы хотите дъйствительно учиться—вамъ дадутъ десять университетовъ. Не ждите подачки, а сами возьмите.

Марина покорно опускаетъ голову.

- Вы убили Бармитинову, говоритъ Карамановъ не гляди на собесъдницу.
 - Я! Боже мой! чъмъ я ее убила?
- А тъмъ, что не помогали ей по школъ... Она просто затянулась.

- Я помогала ей иногда.
- Иногда... А туалетомъ своимъ вы- «иногда» занимались, или всегда?

Марина вспыхнула. Слезы готовы были брызнуть; по она сдержалась.

- 0, вы правы, говорить она, въ отчаяные складывая руки на колфияхъ. — Я проклинаю теперь всфхъ пустыхъ женщинъ. Та, которая инчего не сделала въ свою жизнь, не облегчила ни чей трудъ, никому не помогла своими руками, своею головою — та больше чёмъ безчестна. Она — воровка чужаго труда. чужаго времени, чужихъ силъ, чужихъ денегъ, чужой мысли. Онаубійца: она убивала мужа, брата, отца, которые убивали пля нея свое здоровье. 0! я теперь понимаю васъ - и какъ это страшно, боже мой! Да, я убійца, подлая убійца и воровка! Я убила Варю... Охъ, я больше чёмъ Варю убила: убила Бълинскаго, Добролюбова. — всёхъ лучшихъ людей я убила — мы, гадкія твари, убили ихъ! Эти люди для насъ трудились, для насъ чахли, не спали ночей... О! сколько крови на нашей совъсти, на нашихъ подлыхъ рукахъ! Варя! милая Варя! я твоя убійца, я гадина, которую следуетъ раздавить... О, какъ все гадко и инзко въ насъ, женщинахъ! Въ то время когда мы танцуемъ на пустыхъ балахъ, великіе люди для насъ же работають о нашемъ счастьв, развитін и о нашей свободъ думаютъ... Великіе, святые мужчины!
- Ужъ и святые! А съ къмъ вы на балахъ танцуете? не съ мужчинами? спрашиваетъ Карамановъ, улыбаясь своей собачьей улыбкой.
- Но то пдіоты.... То такіе воры и убійцы великихъ людей какъ и мы.

Входитъ Офроська и говоритъ Караманову: «Пожалуйте-съ къ Варваръ Григорьевиъ—имъ дурно... Прислали за вами».

XXXIII.

Ночь. Лунная, тихая, теплая, безоблачная. Въ такія почи, обыкновенно, хорошенькія, бёлобрысенькія, немножко золотушныя ив-

мочки, умѣющія родить такихъ великихъ людей какъ Шиллеръ, Гёте, Берне, Гейне и Бисмаркъ, любятъ гулять на мондшейнъ гдѣ бы ни былъ этотъ мондшейнъ—на Васильевскомъ ли островъ или на островъ Рюгенъ, и мечтать, вполнъ добросовъстно, немножко о любви, немножко о хозяйствъ.

И въ Варгунахъ, противъ дома земскаго училища, волотушная нѣмочка, сидя на крылечкѣ, вяжетъ подъ блѣднымъ мондшейномъ чулочки своему будущему сынку, котораго она надѣется родить, когда будетъ совершеннолѣтняя и когда влюбится въ нее колонистъ изъ колоніи Екатеринштадта и женится на ней, если только ея фатеръ согласится дать за нею въ приданое десять коровъ и двѣ лошади, которыя еще жеребятами пасутся въ табунѣ колоніи Базель и Богъ дастъ не околѣютъ отъ ящура, который ходитъ по колоніямъ и моритъ скотъ колонистовъ.

Вяжетъ нѣмочка чулочки и мечтаетъ, поглядывая на свѣтлыя окна квартиры Вареньки Бармитиновой. А въ окна небольшой залы
видны три высокія свѣчи въ высокихъ подсвѣчникахъ, и стоятъ эти
свѣчи не на столахъ, а около длиннаго стола, и бросаютъ эти свѣчи свѣтъ на лежащее на столѣ мертвое тѣло. Блѣдно и прозрачно
это нѣкогда красивое тѣло, да оно и тепфь красиво, и теперь прекрасно, только чего-то въ немъ нѣтъ, и оно стало холодно, неподвижно. Глаза закрыты, и тѣни отъ рѣсницъ падаютъ такія длинныя,
такія прямыя, и дрожатъ эти тѣни какъ будто оттого, что у мертвой
вѣки моргаютъ. Нѣтъ, не моргаютъ, не моргнутъ ужъ больше, а это
дрожитъ пламя свѣчи отъ дыханья дьячка, читающаго по покойницѣ.

Читай, читай, усердный блюститель старины! Ты первый мазаль дегтемъ ворота земскаго училища, чтобы насолить той, которая теперь лежитъ на столъ. Читай же, читай, пока тебя самого не положили на столъ и не прочитали надъ тобой того, что ты теперь читаешь.

И дьячокъ читаетъ, усердно читаетъ, и только по временамъ чувствуетъ, что его сердце точно кто клещами сдавливаетъ.

У гроба стоитъ Стожаровъ и смотритъ въ мертвое лице Вареньки. У него никто не сдавливаетъ сердца клещами какъ у дьячка: сердце его спокойно; оно слишкомъ долго ныло, слишкомъ переболъло, когда было объ комъ болъть, а теперь застыло. Иногда точеная голова пригибается къ мертвой головъ Вареньки, обросшая

30.

волосами щека прикладывается къ гладкой, холодной щекъ умершей; но холодъ смерти такъ страшенъ — живая щека не выдерживаетъ холода мертвой щеки, и точеная голова подинмается, и Стожаровъ онять смотритъ въ лице умершей, опять о чемъ-то думаетъ.

Думай, думай! тебъ есть надъ чъмъ подумать...

А мы оставимъ мертвыхъ и тёхъ, которые должны хоронить мертвыхъ. У насъ есть еще живые.

На берегу Волги, вправо отъ дома земскаго училища, опустивъ поги съ береговой крутой осыпи, сидитъ кто-то, облитый блёднымъ свётомъ луны. На пристани и въ Варгунахъ все заснуло, и тихо кругомъ. Не спитъ только тотъ кто читаетъ по мертвой да тотъ кто любилъ мертвую. Не спитъ еще иёмочка, вижущая чулочки своему будущему Адамушкѣ, да не спитъ, какъ видио, эта голова надъ береговой осыпью, которая тоже, вёрно, о чемъ-пибудь думаетъ.

И еще кто-то не спитъ... Жизнь имъетъ свои права, и сй иътъ дъла до того, что тамъ, облитое свътомъ трехъ восковыхъ свъчей, строго смотритъ на божій міръ блъдное лице мертвой дъвушки, какъ бы укорающее живыхъ зачъмъ они живутъ и думаютъ о жизни... Къ береговой осыпи пробирается еще одна тъпъ, пробирается робко и осторожно, какъ бы боясь своихъ собственныхъ шаговъ.

Слышенъ шорохъ шаговъ пробирающейся тъци. Тотъ кто сидитъ у крутой осыпи цоворачиваетъ голову и всматривается въ тъпь.

- Кто это? спрашиваетъ онъ тихо.
- Это я, Марина, отвъчаетъ тънь.
- Зачёмъ вы здёсь однё?
- Я къ вамъ пришла... Я... не могу...

Голосъ у Марины дрожитъ. Дрожатъ и колѣни у бѣдной дѣвушки. Она вся дрожитъ. Карамановъ (это былъ онъ) встаетъ и молча смотритъ въ блѣдное лице Канадѣевой.

- Я не могу здёсь оставаться, говоритъ Марина, видимо съ трудомъ пересиливая себя.
 - Я это видълъ, отвъчаетъ Карамановъ.

Марина молчитъ. Въ ней происходитъ мучительная борьба, изъ которой она по видимому не выходитъ победительницей. Карамановъ замъчаетъ какъ она дрожитъ, и ему становится жаль ея.

— Вы озябли? говорить онъ ласково.

- Да... Мив страшно.

Онъ беретъ ее за руку. Рука холодна какъ у мертвой Вареньки, руку которой онъ цъловалъ недавно. Карамановъ снимаетъ съ себя картанъ.

-- Бъдная дъвочка! говоритъ онъ, -- дайте я васъ прикрою.

Онъ осторожно накидываетъ дъвушкъ на плечи свой каттапъ и говоритъ: «запахнитесь, а то простудитесь, захвораете.»

Гдё-то на селё, должно быть у общественныхъ магазиновъ, въ сонной тишинё ночи раздается протяжный выкрикъ часоваго: «слушай!» Ему отвёчаетъ другой такой же выкрикъ, у пристани, вёроятно около хлёбныхъ амбаровъ Гриднева.

- Вы когда ѣдете? спрашиваетъ Марина, и глаза ея стараются заглинуть въ темные, глубокіе глаза Караманова.
 - Завтра, послѣ похоронъ, отвѣчаетъ тотъ.

Дъвушка вздрагиваетъ всъмъ тъломъ и, закрывая лице руками, шепчетъ: «О, боже мой! съ къмъ же я останусь!»

- Да, мит жаль васъ, говоритъ Карамановъ, какъ бы про себя.
- И вы никогда не воротитесь къ памъ? спрашиваетъ дъвушка, снова стараясь заглянуть въ его глубокіе глаза.
- Въроятно... Вы знаете я ъду въ степи покупать участокъ. Вы имъете также понятіе о нашихъ планахъ съ Стожаровымъ. Его планы на половину разрушились... Напрасно онъ привязывался къ слишкомъ ломкому счастью! (Карамановъ какъ-то безнадежно махнулъ рукой). Я буду остороживе его: я не поставлю исполненіе моихъ плановъ въ зависимость отъ того, что можетъ разбиться какъ фарфоровая чашка... Я не привяжусь къ тому, что ломко, я не положу мое сердце на остріе меча...

Дъвушка плотно запахивается кафтаномъ, чтобы не дать замътить какъ она дрожитъ.

- А если къ вамъ привяжутся? говоритъ она.
- Тёмъ хуже для той, которая будеть такъ несчастлива: опасно связывать свою судьбу съ судьбою рудокопателя, который, можетъ быть, и не выйдеть изъ глубокой подземной шахты.

Дъвушка сбрасываетъ съ себя кафтанъ и хочетъ удалиться. Карамановъ ее не останавливаетъ. Онъ только глубоко забираетъ въ себи воздухъ, потому что въ широкой груди у него оказывается его мало. Онъ поднимаетъ съ земли кафтанъ и говоритъ тихо: «простудитесь.»

Марина уходитъ, а Карамановъ снова садится на крутую осыпь и свъшиваетъ ноги... «Все пропало, все, все!» говоритъ Марина въ отчаяньи, перовимии шагами уходя отъ берега, и въ изнеможении опустилась на землю.

Въ это время у ногъ мертвой Вареньки болъе, чъмъ въ десятый разъ раздаются протяжныя, пъвучія слова, абсолютная безнадежность которыхъ понятна только тъмъ, кто терялъ что либо самое дорогое въ жизни. «Блаженъ мужъ, иже не иде на совътъ нечестивыхъ и на пути гръшныхъ не ста и на съдалища губителей не съде, но въ законъ господни воля его и въ законъ его поучится день и нощь...» А Стожаровъ все смотритъ въ прекрасное лице покойницы, которое становится все строже и строже, и думаетъ, мучительно думаетъ о чемъ то... О чемъ же какъ не о своей жизни, у которой отняли и цъну и цъль?

И Карамановъ не сходить съ крутой осыпи: ему душно въ домахъ, ему страшно и стыдно смотръть въ лице той, которая теперь лежитъ на столъ и которую опъ не могъ спасти, какъ и той, другой, которую, быть можетъ, онъ губитъ. Но онъ не проситъ Марину воротиться: «легче ампутировать руку—поболитъ, перестанетъ; а отръзанной головы уже не приставишь».

А голова уже отръзана -- опъ этого не знаетъ.

За нимъ снова шорохъ и тѣнь. Тамъ, въ томъ маленькомъ домикъ, смерть все принизила, а тутъ жизнь, избытокъ жизни все принизить хочетъ.

Опять передъ инмъ стоитъ Марина. Голова ея поднята гордо... Скоро, скоро принизится эта гордая головка!

Карамановъ встаетъ поспѣшно. Въ груди его кажется ужъ слишкомъ много воздуху, такъ много, что даже его широкая грудь не можетъ вмъстить всего.

- Карамановъ! развѣ вы не видите, что я люблю васъ? говоритъ дѣвушка, стараясь стать такъ, чтобы лунный свѣтъ падалъ на лице Караманова.
 - Вижу, отвъчаетъ онъ.

Темное лице его освъщается: лунный ли свътъ на него упалъ,

или это вышелъ свътъ изнутри его самого и блеснулъ въ его холодныхъ глазахъ, только темное лтце его освъщается.

— Я самъ тъмъ же несчастливъ, прибавляетъ онъ, и въ его твердомъ голосъ слышутся какія-то вибраціи — этотъ голосъ дрогнулъ, горло сжалось, а темное лице все блъднъло, блъднъло.

Если бы на лице дввушки не падала твиь, то можно было бы замътить, какъ отъ этихъ словъ Караманова по лицу ея прошли какія то полосы свъта, а по глазамъ—молніи.

- Въдь страданье имъетъ свои права, какъ и голодъ, права котораго вы признаете... А я... я страдаю, говоритъ дъвушка.
- Кто-жъ виноватъ въ вашихъ страданияхъ? какъ бы машинально спрашиваетъ Карамановъ, самъ понимая всю глупость и пустоту вопроса и съ ужасомъ, и въ тоже время и съ радостью (по свойственному человъческой природъ гнусному дуализму), сознавая, что... голова уже отръзана и приставить ее нельзя.
- Вы виноваты! отвъчаеть дъвушка на глупый вопросъ умнаго человъка. Вы виноваты уже тъмъ, что въ васт я встрътила силу, противъ обаянья которой я не могла бороться... Я боролась я ненавидъла васъ, глубоко ненавидъла, а теперь, видите, я люблю васъ, я выпрашиваю у васъ чувства какъ милостыни, какъ подачки!

Она потянулась было къ нему объими руками, но разомъ отскочила. Онъ тоже рванулся къ ней...

— Прочь! прочь! не дотрогивайтесь до меня! рѣзко шепчетъ дѣвушка, отшатываясь въ сторону. —Вы виноваты, всѣмъ виноваты! Вы говорили — неосторожно говорили, замѣтьте, что виновата красота, которая тянетъ къ себѣ. Вы говорили, что виновать богачъ за то, что онъ богатъ, а другой бѣденъ и голодаетъ. Вы говорили, что виновата власть за то только, что она власть... Всякая сила виновата за то только, что она сила и можетъ угнетать безсиліе, можетъ принизить человѣка. Вы виноваты тѣмъ, что принизили мою голову, мою гордость, мой дѣвичесвій 'стыдъ! я ненавижу васъ! Прощайте!

Дъвушка стремительно уходитъ.

— Подождите! не обвиняйте меня! говоритъ Карамановъ задыхающимъ голосомъ. — Тутъ вы сильнъе меня... Я васъ долженъ нена-

видёть, а между тёмъ.... я васъ люблю, люблю такъ, какъ (онъ развелъ руками по направленію къ двумъ противоположнымъ сторонамъ горизонта) весь этотъ необъятный міръ живыхъ людей любить не можетъ.

Марина останавливается. При приближенія Караманова, она подинмаетъ руки, какъ бы желая обхватить его шею.

— Нътъ, иътъ! не прикасайтесь ко миъ, говоритъ опъ со страхомъ, отступая отъ дъвушки.

Марина мгновенно какъ бы превращается въ камень.

— Я боюсь васъ, я боюсь вашей страшной силы, говорить опъ; — я боюсь подчиниться этой силь—вы сильнье меня. Вы убъете меня, вы уложите меня на столь между трехъ свъчь, какъ Стожаровъ уложилъ Бармитинову... Я думалъ, что сильнъе меня пътъ, — о, какъ и страшно ошибся! — Зачъмъ вы отняли у меня мою голову, мою волю упрямую? Зачъмъ вы сказали миъ, что вы...

Онъ останавливается въ перъшимости.

- Что люблю васъ? спрашиваетъ Марина груднымъ шопотомъ.
- Да... Вы отрёзали волосы у Самсона.... Я думаль начать великое дёло—и я бы его сдёлаль—этотъ послёдній шагь къ свободё и счастью человёчества. А вы рубите миё пополамь обё поги—за моимъ великимъ дёломъ я буду думать не о дёлё, а о васъ.
- Карамановъ! милый! шепчетъ дъвушка, снова протягивая къ нему руки.
 - --- Не подходите близко! я ни за что не ручаюсь...

Опъ отступаетъ. Марина снова стоитъ неподвижно съ вытяпутыми руками.

— Уходите отъ меня... спрячтесь.... а иначе и вы и я.... въ опасности... Я не ужду отсюда—мон плавы рушатся, говоритъ опъ, оглядываясь по сторонамъ какъ бы ища спасенья.

Дъвушка прыжкомъ кошки достигаетъ до Караманова.

— Такъ я же тебя возьму, если ты меня не берешь, шенчетъ она шопотомъ груди, въ которой перехватило дыханіе, и въ одно мгновеніе гибкія руки живымъ ожерельемъ охватили толстую шею Караманова. Онъ зашатался, машинально сдѣлалъ было изъ своихъ грубыхъ рукъ поясъ вокругъ тальи дѣвушки, по тотчасъ же разнялъ руки и упалъ на колѣии, пригибая съ собой къ землѣ и дѣ-

вушку, которой тонкіе пальцы не разц'яплились, а руки не отнадали отъ плечъ и шен Караманова.

- Пощадите себя и... меня! умоляеть онъ какою-то отчаянною дрожью хришлаго голоса. Пощадите! я долженъ вхать...
- Нътъ, ты не увдешь... Я не пущу тебя, шепчетъ дъвушка, прижималсь грудью къ груди Караманова; я не отпущу тебя... или возьми меня съ собой... вотъ такъ, унеси...

И Карамановъ чувствуетъ, что къ его сжатымъ губамъ прильнули жаркія губы дѣвушки и палитъ его жгучимъ дыханьемъ... «Карамановъ? милый Карамановъ! ты мой... я никому не отдамъ тебя»... И губы не отрываются, и грудь не отрывается.

У Караманова закружилась голова. Дальше онъ не могъ выносить этой пытки, и сплился оторвать отъ себя дъвушку, но оттолкнуть ее сплою, грубо—руки не поднимались...

- Я не могу на васъ жениться... я...
- Мит все равно... Я буду твоей кухаркой, рабой только у тебя..., Карамановъ!; милый, милый мой!

Карамановъ дѣластъ послѣднее усиліе. Онъ отталкиваетъ отъ себя сбѣпми руками грудь дѣвушки... Пальцы Марины разиимаются—и она падаетъ на землю.

— Карамановъ! что вы сдълали! съ испугомъ говоритъ она, приходя въ себя, но не надолго. За этимъ сознаніемъ мгновенно послъдовалъ обморокъ.

Испугъ охватываетъ Караманова. Онъ видитъ обморокъ дъвушки.

— Марина Константиновна! успокойтесь, шепчетъ онъ, нагибаясь

 — Марина Константиновна! успокойтесь, шепчетъ онъ, нагибаясь къ ней.

Марина не слышить. «Марина! Марина»! шенчеть онь, припадая къ ея лицу горячей щекой: «Я любяю тебя... Любяю больше всего на свътъ.... слышишь — милая, милая моя»! Марина не слышить.

Дрожащими руками онъ старается развязать ей шнуровку, растегнуть воротничокъ— руки не слушаются... Онъ разрываетъ шнурки, срываетъ пуговицы, поднимаетъ дѣвушку на руки... «Воздуху, вѣтру»! шепчетъ онъ растерянно.... А воздуху нѣтъ — весь пропалъ, весь вышелъ, и вѣтеръ вижетъ подлость молчать, когда онъ нуженъ, имъетъ гнусность притихнуть, когда опъ долженъ оживить дъвушку... Нътъ ни вътру, ни воздуху-- пичего пътъ, все пропало!

Карамановъ, сжавъ безчувственное тёло дёвушки въ своихъ сильныхъ рукахъ, бросается къ крутой осыпи, чтобы нести дёвушку къ водъ; но крутизна останавливаетъ его... Какъ у груди кормилицы, лежитъ у него на рукахъ дёвушка, и онъ не знаетъ что съ ней дёлать... Человёкъ растерялся п—докторъ растерялся, потерялъ голову.

Съ ношей на рукахъ опъ бросается въ домпку, гдѣ лежитъ мертвое тѣло Вареньки... «Вотъ и другое мертвое тѣло», говоритъ въ немъ какой-то ужасный голосъ: «положите ихъ рядомъ—и ступайте воспитывать повое общество людей, людоѣды»... Но тѣло Марины не холодно—это не трупъ... Теперь его жесткія, пересохшія губы льнутъ къ раскрытымъ губамъ дѣвушки. «Милая! Мариночка! я не уѣду»... Иѣтъ, это не трупъ—тѣло теплое, гибкое... Оно еще не успѣло сдѣлаться трупомъ, не захолодѣло, не вытяпулось... И жесткія, сухія губы хотятъ оживить дѣвушку.

Онъ въ домикъ смерти, а Марина все еще у него на рукахъ

-- Мати божая! что съ барышней? вскрикиваетъ съ старческой визготой хриплая Кузъминишна.

— Ей дурио...

Марина открываетъ глаза, и руки ея какъ выонки опять выотся около шен Караманова. «Милый! Карамановъ»!.. Милый незамътно проноситъ ее въ гостиную и бережно кладетъ на кушетку, освобож дая свою шею отъ выонковъ.

— Дайте воды, бабушка.

Бабушка убъгаетъ за водой... «Милый! не уходи отъ меня»!... А за стъной слышится ръжущее по нервамъ чтеніе, теплятся свъчи... «Милая! не уходи отъ меня»! теплятся свъчи... «Милая! не уходи отъ меня»! теплятся свъчи... вадавленная горемъ, точно засыпанная могильной землей. Но милая не слышитъ... она ушла!

И тамъ и тутъ—тѣже судороги жизни, отстанвающей свои права, тѣже правственныя конвульсін, тоже порыванье тѣла и мысли къ тому, что пужно тѣлу и мысли.

XXXIV.

Буря жизни прошла надъ тъми, кто подвернулся подъ ея неумолимые законы— и стихла. Теперь, можетъ быть, свиръпствуетъ надъ другими индивидуумами, въ другомъ мъстъ. И тутъ накутермила, и тайъ пакутермитъ—и пътъ на нее ни суда, ни апеляціи. Однихъ уложила въ могилу, по другимъ какъ желъзнымъ стопудовымъ колесомъ переъхала и искалъчила. Сломила одного, другого, третьяго. Тамъ только разбила еще не распустившуюся почку жизни. Здъсь попримяла, разбросала въ разныя стороны то, что должно бы было быть вмъстъ.

Варенька Бармитинова этой бурей сброшена въ могилу и засыпана землей.

Марина, эта только что распустившаяся почка роскошнаго цвѣта, попривяла, осупулась, пожелтѣла въ одну ночь.

Стожаровъ попалъ подъ тяжелое колесо — и смотритъ изломаннымъ, примятымъ, но не убитымъ — его не легко убить.

И по Караманову перекатился тяжелый камень, но не раздавиль его, а выковаль еще болье упрямую волю: эта воля сквозить въ почернъвшемъ какъ береговая осыпь лицъ, въ глазахъ, нъкогда холодныхъ, стекляныхъ, а теперь горящихъ не то огнемъ страсти, не то блескомъ запрятанной далеко куда-то вглубь злобы.

Черезъ окно смотрятъ на Волгу безумные глаза Канадъева, и онъ хочетъ разслышать что шепчетъ черпая птица на ухо повъшенно-му. Буря и его носила какъ лохмоть съна, оторваннаго отъ копны, и, разщепавъ въ воздухъ, бросила.

И у Кузи Иогина сформировался смыслъ въ маленькомъ личикъ: оно поблъдиъло, вытянулось, смотритъ строже, и въ глазахъ сквозитъ небывалая солидная задумчивость. Зацъпила его буря—и еще не такъ зацъпитъ, когда будетъ за что зацъпиться.

Старику Ногину навела новыя морщины на лице, попритушила огоньки въ усталыхъ глазахъ, забълила бълой амальгамой послъдніе волоса.

У Супони подъ Куканью ногу оторвало да сърое солдатское лице поброизировало: ломотой да одышкой отзывается Кукань. У Серпороева кандидатскій дипломъ въ карманъ, золотая медаль въ залогъ, до чахотка въ груди.

Старики Стожаровы въ землю смотрятъ... ивтъ Гриши — опять пропадъ, опять только старый котъ на утвуу остался.

На Тарлыкѣ беззубая, слѣпая старица Гликерія грызетъ своими затвердѣвшими челюстями Мавруньку, зачѣмъ родила Мотьку-аспида... А Мотки-аспида все-пѣтъ: Мотька въ Питерѣ чахиетъ надъ книгами и клянетъ свое сумрачное дѣтство, пичему его не научившее. Мотькѣ трудио, у Мотьки уже зловѣщая зелень въ лицѣ и зловѣщая раздражительная тряска первовъ; подъ часъ ему хочется всему человѣчеству салазки своротить на сторону...

У Гриднева растуть капиталы по мёрё того какъ голодають люди... И къ молодому Гридневу свиное снокойствіе, вмёстё съ рублими, забирается въ сердие; мозгъ затягиваеть наутиной рутины.... Жирёсть сердце, жирёсть и мысль, а мозгъ какъ куколка въ паутинё только изрёдка вздрагиваетъ отъ посторонняго прикосновенія.

Заилыла жиромъ и Макрида страница. Не истренала своего пухлаго бабьяго тъла, хоша истренала свои гръхи какъ ризу ветхую... Зажиръвшія ея духовныя очи уже видятъ то, чего здравый смыслъ допустить не можетъ.

Коту Дарвину собами хвостъ пообгрызли въ борьбъ за существование буря жизни прошла по его хвосту. Запава Путятишна благимъ матомъ реветъ, давно не видя барышин—и по жизни коровы прошла буря, и ей душистое съпо не въ съпо.

Нѣмочка чулочки связала подъ мондшейномъ и кроитъ пеленки будущему Адамушкѣ. Офроська мечтать начинаетъ о сосъдскомъ париѣ:

Его стрые глаза

Порютъ сердце безъ пожа.

Перпетуумъ мобиле горько плачетъ на свѣжей могилѣ барышникрасавицы въ барышниныхъ принелевыхъ ботникахъ.

И надъ всѣмъ этимъ виситъ понурое, собравшееся илакать чужими слезами варгунинское, оболоньевское да интерское сермяжное небо. Только варгунинскіе дьячки, мазавшіе дегтемъ заборъ, навессълѣ—подвынили на похоронахъ.

Пароходъ отходить отъ варгупинской пристани. На палубѣ—зеленый и злобный Стожаровъ. Зеленое лице его дергаетъ. О бокъ съ нимъ- черный какъ насмоленая дратва съ темнымъ и шершавымъ какъ заржавѣвшая гиря лицемъ Карамановъ. Злые глаза его прекрасны, только для того кто понимаетъ всю красоту его злобы.

На крутой осыпи стоитъ Марина. Золотыя косы ея какъ бы почернъли. Молодое лице зажолкло. Заплывающіе слезами глаза не имъютъ способности оторваться отъ темнаго какъ ржавая гиря лица Караманова.

- Вы теперь куда! говоритъ Карамановъ Стожарову. Стожаровъ махнулъ только рукой.
- А планы? снова спрашиваетъ Карамановъ.
- Ихъ-то я й бду выполнять, какъ-то отрывисто звякнулъ Стожаровъ. — А вы?
 - Я тоже-не отступлюсь.
 - А съ ней какъ? (Стожаровъ указалъ на Марину).
 - Пусть выкуется совсёмь въ человека-тогда возьму.
 - А если сломится какъ моя? (Стожаровъ вздрогнулъ).
 - Нѣтъ, эта кръпче чуть меня не перековала по своему.

По пристани проходять знакомые намъ калѣки перехожіе и тя нуть за душу своими голосами, тоже разбитыми нѣсколько:

Не плацьте, моя меньшая братья, Нишшіе люди, убоги! Будете вы сыты и пьяны, Будете обуты, одёны, Будете тепломъ да обогрёны.

— Да, жди! говоритъ Супоня, ковыляя по палубъ на деревянной ногъ, которую онъ добылъ подъ Куканью.

Другой пароходъ подходитъ къ пристапи. Оба парохода почти сходятся палубами.

- А! Стожаровъ! слышится голосъ съ пришедшаго парохода.
 И Стожаровъ и Карамановъ оборачиваютъ на голосъ свои сумрачныя липа.
 - А, это ты, Надя?
 - Я. А гдъ Варвара Григорьевна?
 - Въ могилъ.

Серпороевъ (это быль онъ) только махнулъ рукой.

— Ты куда? спрашиваетъ Стожаровъ.

- На подножный кормъ.
- А дъла какъ?
- Ничего... Дипломъ, золотая медаль и туберкулы въ легкихъ. (Серпороевъ кашляетъ. Стожаровъ и Карамановъ еще больше темиъютъ).
 - А Валя? спрашиваетъ Стожаровъ.
 - Тоже въ могилъ... Умерла родами.
 - Какъ!
 - Такъ... Отъ меня подлеца... Это-то меня и доконало.

Съ задней палубы допосятся слова Макриды-странницы: «И доходила я, лебедки мон, до пупа земли. А на пупъ келейка стортъ, а въ келейкъ старый престарый старичекъ...»

Толстогрудыя и глуполицыя бабы вздыхають надъ «пупомъ земли». Одинъ мужикъ фыркаетъ. Другой сплевываетъ. Макрида умолкаетъ.

- А чугунку, слышь, паря, у пасъ саратовцы оттягали, говоритъ закорузлый мужичонка.
- Пусто-бъ имъ было, окаяннымъ! замъчаетъ другой, сиповатый, лахматый, точно граблями чесаный.
 - А мы свою жиганемъ.
 - Жиганемъ-та, паря, жигачемъ, коли животы не подведетъ.
 - А пупъ-атъ земли съ гору большую, снова начинаетъ Макрида.
- Фу ты сволочь бабы! имъ бы все пупъ да пупъ, итътъ чтобы про земство да про чугунку, огрызается чесаный граблями касматникъ.
- A мы и ну жарить его пушками, и ну жарить! говоритъ своей кучкъ Супоня.
 - Ишь ты! Значить весь свъть заполониль?
 - Весь какъ есть.

Пароходъ трогается. Карамановъ машетъ шляпой на берегъ и низко, низко кланяется. Глаза его заплакали бы, если-бъ такіе глаза могли плакать при другихъ. Пожелтъвшее личико Марины, съ котораго закапали слезы, круппыя и тяжелыя какъ свинцовыя пули, скрывается подъ вуалью. «Онъ не обманетъ» (шепчетъ дъвушка).. «Онъ никогда въ жизни не лгалъ... О, какъ страшно и хорошо любить такихъ людей!..»

Пароходъ безтолково заболталъ колесами, замутилъ воду. Ушелъ. Черная, какъ насмоленная дратва, голова все глядъла съ парохода на берегъ, а на берегу изъ-подъ вузли крупныя слезы чаще и чаще падали на береговую осыпь.

Въ это миновенье мимо Марины кто-то стремительно пробъгаетъ къ самой крутизнъ берега. Она съ ужасомъ узнаетъ въ немъ своего безумнаго брата Дмитрія, который въ послъдніе дни опять забольть, и его боялись выпускать изъ дому. Онъ вырвался въ окно, увидъвъ отъъзжающаго Караманова, что держали отъ него въ тайнъ.

Сумашедшій подбъжаль къ крутизнь, остановился и протинуль впередь руки, говоря отрывисто:

«Колоссъ на глиняныхъ ногахъ просыпается... Видишь, видишь, Риночка! онъ проснулся... Лилипуты падаютъ съ его плечъ въ море.. Тонутъ, захлебываются... Онъ стряхиваетъ съ своихъ ногъ турецкіе и нѣмецкіе кандалы... Видишь? Слышишь звенитъ иноземное, антиславянское желѣзо, сброшенное гигаптомъ съ славянскихъ ногъ... Гигантъ ношелъ... видишь—онъ шагаетъ по морю, по горамъ... Рина! Рина! пойдемъ за нимъ, догонимъ его, онъ уходитъ отъ насъ, онъ бросаетъ всѣхъ кто спитъ... Иди за мной!.. Сѣверный колоссъ проснулся—это знаменія времени... Иди за нимъ!..»

Не успѣла Марина подбъжать къ безумцу, какъ онъ уже съ крутизны летѣлъ въ Волгу, которая сѣро-желтыми спиралями гнала струи подъ самыми его ногами.

Глухой всплескъ воды... Пузыри надъ водою—и снова водяныя струи спиралями пошли куда ихъ гнала сила земнаго тяготънія...

- Утонулъ! утонулъ! раздался отчаянный голосъ Марины.
- Утонулъ! послышались голоса на пристани.

Изъ воротъ дома Канадъевыхъ показались двъ съдыя головы: то были отецъ и мать безумца-угопленника и Марины.

Но было уже поздно. Вода унесла и трупъ безумца и отчаянныя головы живыхъ безумцевъ—Стожарова и Караманова.

Пароходъ скрылся изъ глазъ. А воротится ли онъ съ Карамановымъ? — Этотъ вопросъ, впрочемъ больше интересуетъ Марину, чѣмъ насъ. А иасъ больше интересуетъ другой вопросъ: дадутъ ли Стожаровы и Карамановы бѣднымъ людямъ то счастье, идея о которомъ засѣла въ ихъ упрямыя головы?

Но на этотъ вопросъ можетъ отвъчать только время.

ловкій господинъ.

Рыжій, съ розовимъ лицемъ,
Въчно бодръ и юнъ,
Франтъ напудренный, bel homme,
Бойкій говорунъ,
И въ гостиныхъ высшихъ сферъ,
И въ гостиныхъ Фринъ,—
Всюду видънъ герръ фонъ-деръ...
Ловкій господинъ.

Съ либераломъ—либералъ,
Съ краснымъ—комунистъ,
Съ консерваторомъ—вассалъ,
Съ рыцаремъ—дантистъ,
Какъ любезный кавалеръ,
Истый нѣмцевъ сынъ,
Политиченъ герръ фонъ-деръ...
Ловкій господинъ.

Отъ души, какъ вѣрный другъ,
Онъ готовъ помочь:
Призанять изъ добрыхъ рукъ,
Попросить: отсрочь,
Сдѣлать сдѣлку, une affaire
А la дворянинъ,
Предобрѣйшій герръ фонъ-деръ...
Ловкій господинъ.

Именитыхъ зная львицъ,
Весь нашъ demi-monde,
И красавицъ продавицъ
Кружевъ, лентъ и блондъ,
Общій завтракъ иль раг paire
Promenade ins Grün-Въ мигъ устроитъ герръ фонъ-деръ...
Ловкій господинъ.

А сыграть кто любить, твхъ Просить онъ къ себъ,
У него пріють для всвхъ,
Силенъ кто въ борьбъ,
Ромъ, паштеты, редереръ,
Устрицы и джинъ,—
Все имъетъ герръ фонъ-деръ...
Ловкій господинъ.

И живеть, не зная нуждь,
Этоть человёкь,
Веззаботно, дёлу чуждь,
Трется весь свой вёкь
Межь тузовь, актрись, гетэрь,
Львиць и балеринь,
Златокудрый геррь фонь-дерь...
Ловкій господинь.

MILE

П. Мартьяновъ.



Deacidified using the Bookkeeper process.
Neutralizing agent: Magnesium Oxide
Treatment Date: Jan. 2007

Preservation Technologies
A WORLD LEADER IN PAPER PRESERVATION
111 Thomson Park Drive
Crarbery Township, PA 16066



LIBRARY OF CONGRESS



00024216640